

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ



19

ВЕНЕЦΙΑ



Ф. М. Достоевский.

Фотография начала 1860-х годов.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ПУБЛИЦИСТИКА И ПИСЬМА
ТОМА XVIII—XXX



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1979

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

1861



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1979

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

III. КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Читать, чтать, а после — хватать!

Фамусов. «Горь от ума»

В прошлом и в нынешнем году много говорили у нас, и в литературе и в обществе, о необходимости книги для народного чтения. Делались попытки издания такой книги, предлагались проекты, чуть ли не пазначались премии. «Отечественные записки» напечатали в своей февральской книжке проект «Читальника», то 10 есть книги для народного чтения, и почти с укоризною обращались к нашим литераторам: вот, дескать, мы напечатали проект «Читальника», а кто отзовется на этот проект? хоть бы кто из литераторов сказал о нем свое мнение. Мы именно хотим теперь заняться этим разбором. Но прежде чем мы приступим к нему, скажем несколько слов и о любопытном общественном явлении, именно о появлении подобных проектов и о всеобщих хлопотах высшего общества образовывать низшее. Мы говорим: «всеобщих», потому что *настоящее* высшее, то есть прогрессивное, общество всегда увлекало за собой большинство всех высших классов русского общества, и потому если и есть теперь несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся за прогрессивным большинством, и если останутся крайние упорные, то замолчат от бессилия. 20

Мы потому говорим об этом так *наверно*, что в обществе постиглась наконец полная необходимость всенародного образования. Постиглась же потому, что само общество дошло до этой идеи как до необходимости, увидело в ней элемент и собственной жизни, условие собственного дальнейшего существования. Мы этому рады: мы говорили еще в объявлении о нашем журнале: 30 «Грамотность прежде всего, грамотность и образование усилен-

ные — вот единственное спасение, единственный передовой шаг, теперь остающийся и который можно теперь сделать. Мало того: даже при возможности и других шагов грамотность и образование все-таки остаются единственным первым шагом, который *надо* и должно сделать». Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соединения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все ¹⁰ наши силы в отдельной с народом жизни, истратили и испортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, вытасченную из воды на песок. Но обо всем этом скажем подробнее после. Обратим сперва внимание на факт, в высшей степени поразительный и знаменательный, на факт, имеющий даже глубокое историческое значение в русской жизни, поразивший нас уже давно, но проявившийся теперь в чрезвычайно резком явлении. Мы говорили об этом факте и прежде. Теперь же видим яркое доказательство того, что мы не ошибались в его существовании.

²⁰ Этот факт — глубина пропасти, разделяющей наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и оказалось, что мы даже не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о всенародном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге для народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что мы все как-то уж молча, безо всяких ³⁰ лишних слов, разом сознали, что всё написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто согласились без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом.

«В этом факте ровно ничего нет особенно поражающего, — могут нам ответить. — Дело ясное: один класс образованный, другой нет. Необразованный класс не поймет образованного с первого разу. Это случалось и случается всегда и везде, и тут нет никакого особенного значения».

⁴⁰ Положим так, мы теперь не будем спорить об этом. Но мы все-таки до сих пор не придумали, что дать народу читать. Это как вам покажется? Ведь надо же согласиться, что промахи наши в этом случае пресмешные, удивительные. Посмотрите на все проекты народных «читальников» (уж одно то, что об этом пишут проекты!). Написаны они людьми умными и добросовестными; а между тем — ошибка на ошибке. Некоторые же ошибки доходят до комического.

А между тем, опять повторяем, все эти читальники, все эти проекты пишутся у нас литераторами опытными и талантливыми. Иные из них приобрели себе славу знатоков народной жизни. Что ж они до сих пор сделали?

Скажем более: мы, с своей стороны, в высочайшей степени уверены, что даже самые лучшие наши «знатоки» народной жизни до сих пор в полной степени не понимают, как *широка* и *глубока* сделалась яма этого разделения нашего с народом, и не понимают по самой простой причине: потому что никогда не жили с народом, а жили другою, особенною жизнью. Нам скажут, что смешно представлять такие причины, что все их знают. Да, говорим мы, все знают; но знают отвлеченно. Знают, например, что жили отдельной жизнью; но если б узнали, до какой степени эта жизнь была отдельна, то не поверили бы этому. Не верят и теперь. Те, которые действительно изучали народную жизнь, даже *жили* с народом, то есть жили с ним не в особой помещичьей усадьбе, а рядом с ним, в их избах жили, *смотрели* на его нужды, видели все его особенности, прочувствовали его желания, узнали его воззрения, даже склад его мыслей и проч. и проч. Они ели вместе с народом, его же пищу; другие даже *пили* с ним. Наконец, есть и такие, которые даже вместе с ним работали, то есть работали его же простонародную работу. Хоть мало таких, да есть. И что ж? Эти люди вполне убеждены, что они знают народ. Они даже засмеются, если мы будем им противоречить и скажем им: «Вы, господа, знаете одну внешность; вы очень умны, вы много заметили, но настоящей жизни, сущности жизни, сердцевины ее вы не знаете». Простолюдин будет говорить с вами, рассказывать вам о себе, смеяться вместе с вами; будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего *посконного* земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив. Пусть сами вы оденетесь (или судьба вас оденет) во всё посконное, пусть вы будете даже работать вместе с ним и нести все труды его, он и этому не поверит. Бессознательно не поверит, то есть не поверит, если б даже и хотел поверить, потому что эта недоверчивость вошла в плоть и кровь его.

Разумеется, причина тому, во-первых, вся предыдущая наша история, во-вторых, взаимная слишком долголетняя отвычка друг от друга, основанная на разности интересов наших. Доверенность народа теперь надо заслужить; надо его полюбить, надо пострадать, надо преобразиться в него вполне. Умеем ли мы это? Можем ли это сделать, доросли ли до этого?

Наш ответ: дорастаем и дорастем. Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, сделается.

Да, но как это делается?

В нынешнем году правительство высочайшим манифестом даровало народу новые права. Таким образом призвало его к наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним словом, — к развитию. Мало того, оно до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую суть будущей народной жизни. В то же время высшее общество, прожив эпоху своего сближения с Европой, свою эпоху цивилизации, почувствовало само собою необходимость обращения к родной почве. Эта необходимость предчувствовалась уже задолго прежде и, при первой возможности выразиться, — выразилась. Оба исторические явления совершились вместе и пойдут параллельно.

Кстати, наши журналы в последнее время довольно много толковали о народности. Особенно выходили из себя «Отечественные записки». «Русский вестник», вступив благополучно на свою новую, болгаринскую, дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству «Отечественных записок», усомнился даже в существовании русской народности.

И кто же вознегодовал на «Русский вестник», кто серьезно начал защищать и отстаивать перед ним действительность русской народности, то есть доказывать ему, что она существует? — «Отечественные записки», те самые «Отечественные записки», которые *ничего* не признают народного в Пушкине. Что за комизм!

Между прочим, «Отечественные записки» говорят:

«Мысль, сказанная нами год назад (то есть что в Пушкине ничего нет народного), не была плодом того ярого журнального раздражения, которое многих заставляет говорить вещи дикие, лишь бы обратить на себя внимание: этим промыслом, слава богу, мы не имеем надобности заниматься».

О боже мой! верим, вполне верим. Вы так *добродушно* напали на Пушкина и с таким *добродушием*, вот уже целый год, попрекаете литераторов в том, что на статью вашу не обращают серьезного внимания, что мы никаким образом не можем принять вас за ярого Герострата или кого-нибудь в этом роде. Такая слава вам не нужна. Вы люди «ученые», вам дороже всего *истина*. По-нашему — вы просто немецкие гелертеры, переложенные на петербургские нравы, серьезно отыскивающие с фонарем в руках русскую народность, которая от вас спряталась, и не видящие, что у вас происходит под самым носом.

А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским вестником» и доказывать ему, что есть русская народность, а он обратно, что нет русской народности, — что, если вдруг русская народность возьмет да найдет вас сама? Куда денутся тогда все *аглицкие* теории «Русского вестника» и аглицкие масштабы, под которые не подходила русская народность! Воображаю я и защитника ее в «Отечественных записках». Он будет чрезвычайно удивлен.

— Но ведь это не русская народность? — скажет он, смотря ей прямо в глаза.

— Нет-с, это русская народность, — кто-нибудь ответит ему.

— Гм! «может быть да, а может быть нет»; во всяком случае я не узнаю ее.

— Очень может быть, но только это она.

— Гм! Неужели?

— Да.

— Как-то не верится... Во-первых, обусловлено ли это явление? Совпадает ли оно с известными и принятыми наукой принципами? Между прочим, г-н Буслаев говорит в своей книге...

И так далее, и так далее. Одним словом, повторяется случай с «метафизиком».

Да, они метафизики. Нам говорят (и мы не один раз это слышали), что «Отечественным запискам» отвечать стыдно. Почему? что за аристократизм? Нам говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с глухими о музыке.

Положим так: с слепыми трудно говорить о цветах; но мы ведь вовсе не хотим разуверять и переубеждать *ученый журнал*. Мы говорим для публики. Признаемся, мы намерены даже тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина. Конечно, отвечать г-ну Дудышкину чрезвычайно *трудно*, но ведь без труда ничего не делается...

Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в «Борисе Годунове». Вам вдруг говорят, что в нем нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; потому что никогда не бывало у нас, при царях московских, таких уединенных, независимых монахов-летописцев, которые умерли для света и для которых истина в их елейном смиренномудром прозрении стала дороже всего; летописцы, говорят нам, были люди чуть не придворные, любившие интригу и тянувшие в известную сторону. Да хоть бы и так, вскрикиваете вы в удивлении: неужели пушкинский летописец, хоть бы и выдуманный, — перестает быть верным древнерусским лицом? Неужели в нем нет элементов русской жизни и народности, потому что он исторически неверен? А поэтическая правда? Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели «Илиада» не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?

А ведь «Отечественные записки» сплошь да рядом щеголяют подобными доказательствами. Ну что после этого им отвечать, когда главного-то дела, сердцевины-то дела они не понимают?

Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалопаю двадцатых годов.

Попробуйте поспорить.

— Как не народный? — говорим, например, мы. Да где же и когда так вполне выразилась русская жизнь той эпохи, как в типе Онегина? Ведь это тип исторический. Ведь в нем до ослепительной яркости выражены именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека в известный момент его жизни, — именно в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждают русское общество и проситься в его сознание. Мы в недоумении стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почувствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом...

— Да с какой стати вы находите это всё в Онегине? — прерывают нас *ученые*. — Разве это в нем есть?

— А как же? разумеется, есть... Онегин именно принадлежит к той эпохе нашей исторической жизни, когда чуть не впервые начинается наше томительное сознание и наше томительное недоумение, вследствие этого сознания, при взгляде кругом. К этой эпохе относится и явление Пушкина, и потому-то он первый и заговорил самостоятельным и *сознательным* русским языком. Тогда мы все вдруг стали прозирать и увидели в окружающей русской жизни явления странные, не подходящие под так называемый европейский наш элемент, и в то же время не знали, хорошо ли это или дурно, уродливо или прекрасно? Это было первым началом той эпохи, когда наши передовые люди резко разделились на две стороны и потом горячо вступили в междоусобный бой. Славянофилы и западники ведь тоже явление историческое и в высшей степени народное. Ведь не из книжек же произошла сущность их появления? Как вы думаете? Но при Онегине всё это еще только едва создавалось, едва предугадывалось. Тогда, то есть в эпоху Онегина, мы с удивлением, с благоговением, а с другой стороны — чуть не с насмешкой стали впервые понимать, что такое значит быть русским, и, к довершению странности, всё это случилось именно тогда, когда мы только что начали настоящим образом сознавать себя европейцами и поняли, что мы тоже должны войти в общечеловеческую жизнь. Цивилизация принесла плоды, и мы начали кое-как понимать, что такое человек, его достоинство и значение, — разумеется, по тем понятиям, которые выработала Европа. Мы поняли, что и мы можем быть европейцами не по одним только кафтанам и напудренным головам. Поняли и — не знали, что делать? Мало-помалу мы стали понимать, что нам и нечего делать. Самодеятельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматри-

вание, саморазглядывание. Это уже не был холодный, наружный, кантемировский или фонвизинский скептицизм. Скептицизм Онегина в самом начале своем носил в себе что-то трагическое и отзывался иногда злобной иронией. В Онегине в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж принесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее? Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обществе нашем, в том обществе, которое наиболее 10 отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла высшего своего развития. У Пушкина это чрезвычайно верная историческая черта. В этом обществе мы говорили на всех языках, праздно ездили по Европе, скучали в России и в то же время сознавали, что мы совсем не похожи на французов, немцев, англичан, что тем есть дело, а нам никакого, они у себя, а мы — нигде.

Онегин — член этого цивилизованного общества, но он уже не уважает его. Он уже сомневается, колеблется; но в то же время в недоумении останавливается перед новыми явлениями жизни, не зная, поклониться ли им, или смеяться над ними. Вся жизнь 20 его выражает эту идею, эту борьбу.

А между тем, в сущности, душа его жаждет новой истины. Кто знает, он, может быть, готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. Этому человеку не устоять; он не будет никогда прежним человеком, легкомысленным, не сознающим себя и наивным; но он ничего и не разрешит, не определит своих верований: он будет только страдать. Это первый страдалец русской сознательной жизни.

Русская жизнь, русская природа пахнула на него всем обаянием своим. Прошла перед ним и русская девушка — тип единст- 30 венный до сих пор во всей нашей поэзии, перед которым с такою любовью преклонилась душа Пушкина как перед родным русским созданием. Онегин не узнал ее и, как следует, сначала поломался над ней, отчасти оказался и хорошим человеком, и сам не знал, что сделал: хорошо или дурно? Зато он очень хорошо знал, что сделал дурно, застрелив Ленского... Начинаются его мучения, его долгая агония. Проходит молодость. Он здоров, силы просятся наружу. Что делать? за что взяться? Сознание шепчет ему, что он пустой человек, злобная ирония шевелится в душе его, и в то же время он сознает, что он и не пустой человек: 40 разве пустой может страдать? Пустой занялся бы картами, деньгами, чванством, волокитством. Чего ж он страдает? Оттого, что нельзя ничего делать? Нет, это страдание достанется другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился, и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем; он чувствует, что хоть она

и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, — и он с пропией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и *зачем*? Он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет. О, если б он был настоящим эгоистом, он бы успокоился!

Чего мне ждать? тоска, тоска! —

восклицает это дитя своей эпохи среди неразрешимых сомнений, странных колебаний, певыяснившихся идеалов, погибшей веры в прежние идолы, детских предрассудков и неутомимой веры во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и никаким скептицизмом, никакой пропией не разбиваемое. Да! это дитя эпохи, это вся эпоха, *в первый раз* сознательно на себя взглянувшая. Нечего и говорить, до какой полноты, до какой художественности, до какой обаятельной красоты всё это — русское, наше, оригинальное, непохожее ни на что европейское, пародное. Этот тип вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И всё та же жажда истины и деятельности, и всё то же вечно роковое *«нечего делать»!* От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти.

И всё ведь это действительная правда, повторялось *действительно* в нашей жизни. Являлась потом смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха, — с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. Но время идет вперед, и последняя точка нашего сознания достигнута. Рудин и Гамлет Щигровского уезда уже не смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. Они только смеются иногда над самими собою, они еще не умеют уважать себя, но они уже почти не эгоисты. Они много, бескорыстно выстрадали... В наше время

— Да помилуйте! — восклицает ученый журнал, — где же, в чем тут народность?

— Как народность? — говорим мы, разинув рот от недоумения.

— Ну да, русская народность! — говорит г-н Краевский, стараясь помочь г-ну Дудышкину, — ну там сказки, песни, легенды, предания... ну и всё прочее...

— То есть не совсем то, — поспешно прерывает г-н Дудышкин своего достойного сотрудника по критической части, — а вот что:

ВРЕМЯ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ М. ДОСТОЕВСКАГО

Т О М Ъ I

ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ВАУРАДА ПРАНА.

1861 .

вся ли Русь исповедует элементы поэзии Пушкина, или только мы одни, образованные? Ведь народный поэт носит в себе и политические, и общественные, и религиозные, и семейные убеждения народа? Ну что ж это за народный поэт, если ничего из его поэзии не проникло в народ, в *настоящий* народ?

— А вот и договорились! Так, стало быть, вы уж не признаете и за народ высшее общество, так называемых «образованных»? Что ж они, по-вашему, — уж и не русские? Да что за дело *в этом случае*, что народ государственным переворотом так резко разделен на две половины? Вся разница в том, что одна половина образованная, другая нет. Ведь образованная половина доказала же, что она тоже русская, тот же народ; ведь дошла же она до мысли о соединении с народным началом. А так как эта образованная половина более развита, более сознает, чем необразованная, то в ней и явился народный поэт. А вам бы хотелось такого народного поэта, который заговорил бы прямо народным языком, прежде совершившегося в народе процесса развития и сознания? Да когда же и где это бывало? Трудно и представить себе такого поэта. Если у французов есть, например, Беранже, то разве он для ¹⁰ всего народа поэт? Он поэт только парижан: огромное большинство французов и не знает, и не понимает его, потому что не развито и не может понять, а сверх того, исповедует и другие интересы. А если Беранже все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, как у нас Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения народа, как у нас, во Франции не было. Да позвольте, наконец: вы, кажется, прямо определяете народность — простонародностью? Неудивительно после того, что вас никто не понимает. Почему, с какой стати народность может принадлежать только одной простонародности? Разве с развитием народа исчезает его народность? ²⁰ Разве мы, «образованные», уж и не русский народ? Нам кажется, даже напротив: с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче выступает наружу. Разве во времена Перикла греки были уже не греки, как триста лет назад? Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воротиться на родную почву. Мы сознали только, ⁴⁰ что мы разъединились чисто внешними обстоятельствами. Эти внешние обстоятельства не давали остальной массе народа следовать за нами и таким образом привнести в нашу деятельность все силы русского народного духа. Мы сознаем только то, что мы слишком уединенная и маленькая кучка, и если народ не пойдет вслед за нами, по той же дороге, то нам нельзя будет вполне себя выразить, и мы выразим себя слишком односторонне, слабосильно и даже — смело можно сказать — даже не так, как выразили бы мы себя, если б весь русский народ был с нами. Но из этого еще

не следует, чтоб мы потеряли народный дух, чтобы мы переродились? Почему же мы не народ? Почему вы лишаете нас этого почетного названия?

Нет, вы неправы. Вы правы только в одном: что мы не весь народ, а только часть его; но Пушкин, бывши поэтом этой части народа, был в то же время и народный поэт: это бесспорно. Вам это непонятно? Но скажите, повторяем мы опять, где же вы видели такого народного поэта, как вам он представляется? Был ли он когда-нибудь, возможен ли он по вашему идеалу? Рассудите: если явится такой поэт, как вы воображаете, об чем же он будет говорить? Он выразит «все политические, общественные, религиозные и семейные убеждения народа», говорите вы. Так; Беранже вот и выражал это же, но выразил всё это только для небольшой части французов сравнительно с массой всего народонаселения, именно для тех, которые жили, которые заинтересованы были в политическом, общественном, религиозном и семейном движении нации. Остальные же французы даже, может быть, и не слыхали о Беранже, потому что еще ни в каком движении не участвовали. Когда же будут участвовать, то хотя у них и будет свой новый Беранже (непременно) и выразит он что-нибудь новое, что-нибудь такое, что старому Беранже и не грезилось, но, несмотря на то, и старый Беранже поймется ими. Они не могут его обойти: во-первых, он будет иметь для них историческое значение, а во-вторых, потому что он народен, потому что он все-таки выражал мнения, верования и убеждения французского же народа. Точно так и Пушкин. Одна часть (и самая большая) русского народа почти совсем не участвовала в том, в чем участвовала другая, и разъединение продолжалось чрезвычайно долго. Пушкин был народный поэт одной части; но эта часть, во-первых, была сама русская, во-вторых, почувствовала, что Пушкин первый сознательно заговорил с ней русским языком, русскими образами, русскими взглядами и воззрениями, почувствовала в Пушкине русский дух.

Она очень хорошо поняла, что и летописец, что и Отрепьев, и Пугачев, и патриарх, и иноки, и Белкин, и Онегин, и Татьяна — всё это Русь и русское. Не одно современное, слегка офранцузенное и отрешившееся от народного духа увидело в нем общество. Общество знало, что так может писать только Булгарин. Разумеется, смешно отвечать на такие вопросы: где же это русское семейство, которое хотел изобразить Пушкин, в чем его русский дух, что именно изобразил он русского? Ответ ясен: надобно хоть немножко понимать поэзию. Отбросим всё, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его «Песни западных славян», прочтите «Видение короля»: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через сознание поэта и, главное, — в первый раз нам поэтом указанная. В первый раз — это не

шутка! Да, почти в первый раз вся красота, вся таинственность и всё глубокое значение народной легенды было постигнуто массой нашего общества. Вы говорите, что в простонародьи не отразился Пушкин? Да, потому что простонародье не двигалось в своем развитии, а не двигалось потому, что не могло двигаться. Оно и грамоте не умеет. Но чуть только развитие коснется народа, Пушкин тотчас же получит и для этой массы свое народное значение. Мало того, будет иметь для нее историческое значение и будет для нее одним из главнейших провозвестников *общечеловеческих* начал, так гуманно и так широко развившихся в Пушкине, а это-то и самое нужное, потому что всё раздвоенное наше заключалось в том, что одна часть общества пошла в Европу, а другая осталась дома. С общечеловеческим элементом, к которому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через Пушкина.

Скажем более: мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого простонародья, — не Кольцов, например, который был неизмеримо выше своей среды по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. Такой поэт, во-первых, может выражать свою среду, но не возносясь над ней отнюдь, а приняв всю окружающую действительность за норму, за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями, которые сочинялись как-то созерцательно в минуту самого пения. Мог бы он явиться и в другом виде, то есть не принимая за норму всё окружающее, а уже отчасти отрицая ее, и изобразить какой-нибудь момент народной жизни, какое-нибудь движение народное, какое-нибудь желание его. Такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно народ. Но во всяком случае он был бы не глубок и кругозор его был бы очень узок. Во всяком случае Пушкин был бы неизмеримо выше его. Что нужно, что народ, на теперешней степени своего развития, не поймет всего Пушкина? Он поймет его потом и из его поэзии научится познавать себя. И зачем народный поэт должен быть непременно ниже развитием, чем высший класс народа? По-вашему, ведь непременно выходит так. Пушкин на той степени своего развития, на которой он стоял, никогда бы не мог быть понят простонародьем. Неужели ему, для того чтоб его понимало простонародье, следовало непременно идти к нему и, заговорив его языком (что он очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие? Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом иногда неверны, ошибочны и, что плачевнее всего, форма идеалов народных часто именно противоречит тому, к чему народ стремится, конечно, ментально противоречит. В таком случае Пушкину пришлось бы иногда странным вещам поддакивать. Пришлось бы скрывать себя, веровать предрассудкам, чувствовать ложно. Каким же хитрецом представляете вы себе народного поэта и даже каким пейзажем с фарфоровой чашки!

Но, положим, наконец, что совсем не надо скрывать свое развитие и надевать маску. Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, благородно и смело. Что народ всё поймет и оценит, будет благодарен за правду и что стоит только выговорить эту правду простым и понятным народу языком.

Не будем спорить. Во всяком случае такой поэт был бы не сильнее Пушкина и далеко бы не выразил того, что выразил Пушкин. Для такой деятельности Пушкину надо бы было бросить настоящее свое дело и свое великое назначение, часть сил своих оставить втуне, намеренно сузить свой кругозор и сознательно отказаться от половины своей великой деятельности.

А в чем состояла его великая деятельность? Опять-таки повторяем: чтоб судить об ней, нужно прежде всего хоть немножко понимать поэзию.

«Русский вестник», между прочим, не отдает чести Пушкину потому, что он не известен в Европе; потому что Шекспир, Шиллер, Гете проникли всюду в европейские литературы и много привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин нет. Какое детское требование!

Не говорим уж о том, что и самый факт во многом неверен²⁰ В самом деле, действительно ли Шиллер и Гете известны во Франции? Они известны во Франции несколькими ученым, несколькими серьезным поэтам и литераторам, да и то большею частью по переводам; в оригинале же и того меньше. Шекспир тоже; разве в Германии, и то только в образованном кругу, Шекспир известен; но во Франции его слишком мало знают. Не их вина, разумеется, но, конечно, они до сих пор немного сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у себя дома.* «Русский вестник», кажется, бессознательно впал в ошибку: он, вероятно, судил об общечеловеческом влиянии вышепоименованных великих поэтов по русскому обществу. Да, Шиллер, действительно, вошел в плоть и кровь русского общества, особенно в прошедшем и в запрошедшем поколении. Мы воспитались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии. Шекспир тоже. Даже Гете известен у нас несравненно более, чем во Франции, а может быть, и в Англии. Английская же литература, бесспорно, несравненно нам известнее, чем во Франции, а может быть, и в Германии. Но «Русский вестник» только плюет на эти факты; для него они не факты, потому что не подходят под его мерочку. Ему указывают на факт необыкновенного³⁰ общечеловеческого стремления русского племени, указывают на одного из провозвестников этого стремления — Пушкина, говорят ему, что явление это неслыханное и беспримерное между народами, что оно может свидетельствовать о чрезвычайно оригиналь-

* Мне рассказывали достоверно о существовании в Париже таких литераторов, которые не знают Барбье. Не то что не читали, а даже имени-то не знают. Где ж им после этого знать Шиллера?

ной черте русского характера, что оно, может быть, есть главная сущность русской народности. Но «Русский вестник» не слушает, а говорит, что и самой-то народности нет. . .

А главное, чем виноват Пушкин, что его покамест не знает Европа? Дело в том, что и Россию-то еще не знает Европа: она знала ее доселе только по тяжелой необходимости. Другое дело, когда русский элемент войдет плодотворной струей в общечеловеческое развитие: тогда узнает Европа и Пушкина, и наверно отыщет в нем несравненно больше, чем до сих пор мог отыскать «Русский вестник». А ведь тогда стыдно будет перед иностранцами-то! . .

Россия еще молода и только что собирается жить; но это все не вина.

«Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность, указывают, как на доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитие в России государственного начала.

По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековая, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду.

Велик был тот момент русской жизни, когда великая, вполне русская воля Петра решилась разорвать оковы, слишком туго сдавившие наше развитие. В деле Петра (мы уж об этом теперь не спорим) было много истины. Сознательно ли он угадывал общечеловеческое назначение русского племени, или бессознательно шел вперед, по одному чувству, стремившему его, но дело в том, что он шел верно. А между тем форма его деятельности, по чрезвычайной резкости своей, может быть, была ошибочна. Форма же, в которую он преобразовал Россию, была, бесспорно, ошибочна. Факт преобразования был верен, но формы его были не русские, не национальные, а нередко и прямо, основным образом противоречившие народному духу.

Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»; они пошли за преобразователем слепо и помогали власти для своих выгод. Если не все, то почти так. Где же было тогда народу угадать, куда ведут его? До него и теперь-то достигла только одна грязная струя цивилизации. Конечно, невозможно, чтобы хоть что-нибудь не прошло в народ живо и плодотворно, хоть бессознательно, хоть только в возможности. Но то, что было в реформе нерусского, фальшивого, ошибочного, то народ угадал разом, с первого взгляда, одним чутьем своим, и так как — повторяем — не мог видеть хорошей, здоровой стороны ее, то весь, одним разом от нее отшат-

нулся. И как стойко и спокойно он умел сохранить себя, как умел умирать за то, что он считал правдой!

Но идея Петра совершилась и достигла в наше время окончательного развития. Кончилось тем, что мы приняли в себя общечеловеческое начало и даже сознали, что мы-то, может быть, и назначены судьбою для общечеловеческого мирового соединения. Если не все сознали это, то многие сознают. Но по крайней мере все сознаются, что цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности. «Русский вестник» бесконечно неправ, говоря, что «там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет», и «Отечественные записки» совершенно правы, отвечая ему на это:

«На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей глубине. Известен результат этих споров на Западе: крутой поворот европейских литератур к самостоятельности, к народности...»

Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, замечательно стремится к сглажению и к соединению их воедино. Может быть, «Русскому вестнику» это очень досадно, но английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще всё в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности.

Образованность и теперь уже занимает у нас первую ступень в обществе. Всё уступает ей; все сословные преимущества, можно сказать, тают в ней... В усиленном, в скорейшем развитии образования — вся наша будущность, вся наша самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед, и, что важнее всего, путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе.

Настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное. Но без настоящего, серьезного, правильного образования тотчас же является в обществе феномен, в высшей степени вредный и пагубный: это *наука вне науки*. Так как жажда знаний и науки никаким образом не может уничтожиться в обществе, тем более в теперешнем нашем, то при малом развитии настоящего правильного обучения желающие учиться начинают учиться самоучкой, без системы, без правил, нередко выбирая себе учителей неудачно или, что еще хуже, односторонне знакомых с наукой. Таким образом ложные идеи прививаются к обществу, особенно молодому и неопытному, укореняются в нем и приносят впоследствии, а иногда и в скорости, неприятные, вредные результаты. Совер-

шенно напротив происходит при правильном, широком развитии образования. У настоящей науки есть свои приемы, предания, системы. Настоящий хранитель такой науки не дает молодому уму сбиться на ложную дорогу. Он предохранит учащегося от заблуждения, потому что действует на него всей силой науки, всем преданием ее, всем тем, до чего правильно и стойко дошел ум человеческий.

Только образованием можем мы завалить и глубокий ров, отделяющий нас теперь от пашей родной почвы. Грамотность и уси-
10 ленное распространение ее — первый шаг всякого образования.

Когда-то «Отечественные записки» жестоко смеялись над нами, что мы, провозглашая о необходимости соединения общества с народным началом, несем ему ту же самую европейскую цивилизацию, которую сами же отвергаем.

Отвечаем:

Мы возвращаемся на нашу почву с сознательно выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого нашего назначения. К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских форм мы отвергаем. Возвращение наше
20 свидетельствует, что из русского человека цивилизация не могла сделать немца, и что русский человек все-таки остался русским. Но мы сознали тоже, что идти далее нам одним было нельзя; что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимы нам и все силы русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на пра-
30 вильный путь.

Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского не русским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество. Мы только отвергаем исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по мерке.

Но перейдем к народным книжкам и преимущественно
40 к «Читальнику».

IV. КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Пожалуй, можно выписать длиннейший ряд заглавий всех сочинений, составленных для народного чтения. Мы хоть и обещали в прошлой статье поговорить о всех этих книжках особенно, по так как игра почти не стоит свеч, то и хотим прямо перейти к разбору «Читальника», как единственно сколько-нибудь серьезного проекта для народной книги. Мысль нашу о «народных книгах» читатель может увидеть и из этого разбора; следственно, он лишился только одного длинного перечня пустых книжонок, существующих теперь для «народного чтения». В ином книгопродавческом объявлении можно их все найти, а в лавках они все лежат особо, на отдельных столах, не исключая и неудавшихся книжек г-на Григоровича и «Красного ячicka» г-на Погодина.

Есть у нас и еще один «народный» писатель, г-н Погоский. Он, правда, пишет преимущественно для солдат. Но о нем мы намерены говорить особенно. Г-н Погоский довольно исключительное явление в нашей «народной литературе». Об остальных же «народных» книжках можно сказать, что они числятся десятками, но помянуть их добрым словом нельзя. Об одном только они свидетельствуют: о необыкновенной потребности книги для народного чтения; но об этом свидетельствует и «Читальник», а потому перейдем уже прямо к «Читальнику».

«Читальник» не книга, а проект книги для народного чтения, сочиненный г-ном Щербиною и представленный публике в «Отечественных записках» нынешнего шестьдесят первого года, в феврале месяце. Статья называется «Опыт о книге для народа».

Взгляды автора, цельность его проекта, даже тон его статьи — всё это нам показалось очень замечательно, во-первых, уж потому, что умнее его проекта ничего еще у нас в этом роде и не было, сколько нам помнится. «Отечественные записки» замечают, что «Опыт» г-на Щербины и обсуждение этого «Опыта» в нашей литературе принесло бы пользу для составителей народных книг. Ну и то дельно.

Г-н Щербина начинает свою статью тем, что сердится на одну брошюру для народного чтения, появившуюся в конце прошлого года под названием «Хрестоматии» и стоящую пять копеек серебром. Похвалив книжонку за то, что она не стоит более пяти копеек серебром, г-н Щербина уверяет, что ему «немыслимо», почему на первом плане ее напечатана сказка Пушкина о «Кузьме Остолопе» и басня Крылова «Демьянова уха».

Впрочем, так как мы хотим разобрать весь проект г-на Щербины в подробности (сообразно, разумеется, силам нашим), то и выпишем из начала статьи его всю эту исполненную негодования тираду на педальновидных и простодушных издателей «Хрестоматии».

«Нам просто немыслимо, почему на первом плаве ее напечатана сказка Пушкина „О Кузьме Остолопе“ или, далее, басня Крылова „Демьянова уха“. Не говорим уже о названии „Хрестоматия“, непонятном народу: это могло произойти и от некоторых посторонних причин, не зависящих от издателя; но зачем было помещать сказку Пушкина? Она имеет свой смысл и значение в кругу нашем, но народу она покажется *дурашной* и скомпрометирует некоторым образом в глазах его и самое учение грамоте. Попадись эта брошюрка в руки ученика воскресных школ, то хозяин его, степенный шорник, медник или слесарь, вероятно, со вздохом сказал бы: „Чему их там в школе учат!.. Только баловство одно..“

Мужик услышит подобную сказку и в кабаке, и на площади, мальчик — в своей мастерской и от дворника. Книга, так зря составленная, не внушит уважения к грамоте и не придаст ей серьезного и полезного значения... А к чему, например, послужит для народа знание басни „Демьянова уха“? Она, по содержанию своему, понятна только в литературном и артистическом быту, существования которого народ и не подозревает... Да и что в ней занимательного или поучительного собственно для народа?... Что за большое зло добродушная назойливость тароватого Демьяна!.. Этого ли народу нужно? Это ли в нем вопиющая отрицательная сторона, которую нужно преследовать сатирической солью и насмешкою, выраженной в образе?... Подумаешь, что такая „Хрестоматия“ издана не в Петербурге, а где-нибудь в Аркадии — так от нее веет младенческим незнанием жизни, наивными понятиями, буколическим простодушием: так и ждешь, что увидишь на заглавном листке брошюры слова: издание Меналка или Тирсиса... Понятно, что более распространяться о ней логически невозможно, но за всем тем появление ее наталкивает на мысль о книге для народа, которая в настоящее время, более чем когда-либо, оказывается крайне необходимою.

Опыт показал, что книги, писанные исключительно для народа, не удались и не распространились в нем. Можно думать, что это отчасти произошло и оттого, что не было принято практических мер к распространению их, но, главное, потому что Россия для всех нас terra incognita.¹ Мы относились к книге для народа только a priori.² Непосредственное наблюдение, жизнь с народом, проникновение его средой — были далеки от нас!..

„Мы любим“, по словам поэта:

В роскошно убранной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре...

И поэт после этого мог невольно воскликнуть:

О слово старое поэта:
Слова, слова, одни слова!»

Слова благородные и сильные; негодование тоже благородное. Некоторые из этих рассуждений, пожалуй, и очень дельны; замечание о том, что сказка о «Кузьме Остолопе» писана для господ и приметя народом с пренебрежением, — очень верно, так что даже вчуже начинаешь сожалеть о благородных, но близоруких составителях «Хрестоматии». Но с рассуждениями о «Демьяновой ухе» мы уже не так согласны. То есть, собственно говоря, нам до самой «Демьяновой ухи» и дела нет, а дело есть до некоторых взглядов г-на Щербины, так сказать, до некоторых основных его

¹ неведомая земля (лат.).

² умозрительно (лат.).

воззрений. «Что за большое зло добродушная пазойливость тароватого Демьяна! — говорит он. — Этого ли народу нужно? Это ли в нем вопиющая отрицательная сторона, которую нужно преследовать сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе?»

То-то и есть. «Демьянова уха», конечно, имеет у Крылова значение частное; а без этого значения, до которого народу и дела нет, она не только для него не интересна, но даже могла бы быть успешно заменена тысячью других басен. В этом мы совершенно согласны, да ведь главное-то не в том, а в том именно, как уверяет г-н Щербина, что в книге для народа и, по возможности, в каждой статейке такой книги надо преследовать разные «отрицательные стороны народа», преследовать их «сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе». А «Демьянова уха» ничего не *преследует* в народе, следственно, «Хрестоматия», поместившая ее *на свои страницы*, до того невинна, до того, видите ли, веет от нее «младенческим незнанием» жизни, наивными попятнями и буколическим простодушием, что так и ждешь на заглавном листке слов: «Издание Меналка и Тирсиса».

Мы вовсе не хотим здесь защищать ни «Демьяновой ухи», ни «Меналков и Тирсисов», хотя «спп последние» и были нам когда-то полезны и даже милы. Но для нас то важно, что нам нужно соли, и непременно «сатирической соли»; что непременно надобно «преследовать насмешками, испровергать предрассудки». Надобно, так сказать, карать... Учить надобно, *главное*, учить...

Опять повторяем: цель во всяком случае возвышенная и прекрасная и соответствует вполне благородству нашего духа. Просвещенные должны учить непросвещенных. Это обязанность, не так ли? Но вот что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не можем к народу без того, чтоб не посмеяться над ним «без сатирической соли», а главное, без того, чтоб *не учить* его. И вообразить не можем, как это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто? Конечно, мы нашими солями и насмешками прежде всего имеем в виду принести пользу (хотя иногда и сами-то хорошо не знаем того, над чем в народе насмехаемся. Ну, да это между нами). Мы только хотели скромно заметить, благо пришлось к слову, что прежде неперменной, *немедленной* пользы народных книжек, кроме всех солей, искоренений и нравоучений, очень бы не худо было иметь в виду просто распространение в народе чтения, постараться заохотить народ к чтению занимательностью книги, и потому пусть вещь будет хоть и без соли, да если чуть-чуть занимательна и положительно *невредна* (надеюсь, поймут, что мы подразумеваем под словом: невредна), так и спасибо за нее...

— Придирка, да еще смешная! — скажут нам просветители. — Будто мы против занимательности, а главное, против распространения любви к чтению! да о нем-то мы и хлопочем! Только вместо

«Демьяновой ухи» все-таки можно поместить пресмешную, пре-
зипмательную, а вместе с тем и преполезную, пренасмешливую
вещь, «убивающую отрицательные стороны» . . . Таким образом,
все цели будут достигнуты. Чем же дурна полезность! Или, может
быть, вы против полезности, говорите вы нам, против искорене-
ния предрассудков и разогнания мрака невежества?

— Ничуть, — отвечаем мы, — да и боже нас сохрани! Кому
приятны невежества и предрассудки, да еще не просто невеже-
ство, а «мрак невежества»? Только вот что: *исключительное* на-
пирание на невежество и предрассудки и исключительная забота
поскорее как можно искоренять их в пароде, по нашему мнению
(в некотором смысле, разумется), — тоже невежество и пред-
рассудок. Не знаем, как бы нам яснее выразиться. Вот, например,
мы знаем, что народ предубежден против нас, господ; до того
предубежден, что даже хорошее-то будет слушать от нас недо-
верчиво. Ну, а мы, несмотря на это, все-таки хотим подходить
к нему не иначе как власть имеющие, как те же господа, — од-
ним словом, даже и не можем иначе поступить, то есть поступить
пообходнее, помягче, получше узнав, в чем дело. «Народ *глуп*,
следственно, его надо учить» — вот только это одно мы и затвер-
дили, и если уж господами нам предстать перед ним не удастся,
то, по крайней мере, мудрецами предстанем. . . Впрочем, прервем
на время наши рассуждения. Мы никак не можем отказать себе
в удовольствии выписать тут же суждение самого г-на Щербины
о некоторых наших прогрессистах и умниках и вообще о так
называемых «знатоках» нашей пародной жизни, готовящих себя
в ее руководители. Это золотые слова!

«Иная книга и была составлена, по-видимому, весьма умно, но в па-
роде все-таки не прививалась оттого, что как-то неволью сбивалась на
немца или француза, пореодетого по-мужички, а между тем на чувство
простолюдина скорей действовали переводы „Потерянного Рая“ или
„Франциска Венецияна“, чем книги, писанные соотечественниками
собственно для народа, его языком и почеринутые из его истории и быта.
На это стоишь обратить внимание. Мы были неспособны инстинктивно, пря-
модушно и вместе с тем практически стать твердою ногою на его почву,
поставить себя на его место, перенестись на степень его развития, серд-
цем и умом уразуметь его понятия, вкус и наклонности. В этом нам не
помогли ни таланты, ни познания, ни наше европейское образование, и
это оттого, что Россию знаем мы всего менее, что *начало национальности*
почти не входит в наше воспитание; отсюда у нас недостаток практич-
ности, физиономии, самостоятельности мысли. Примеся ли мы за самих
себя, за явления, факты и данные нашей жизни, мы непременно посмотрим
на них в какие-либо *цветные стеклышки*, купленные нами или в Пале-
рояле, или на лейпцигской ярмарке, или на отечественном толкучем рынке.

К тому ж мы сами, не замечая того, люди рутинны по преимуществу,
и у всякого небольшого периода времени есть своя рутина. Попробуй-ка
кто отнестись без предубеждения, не с низкопоклонным анализом к какой-
нибудь модной и паходящейся во всеобщем употреблении идееке, или
к какому ни на есть кумирчику, которым мы крепки в данную минуту:
он будет смешан с грязью. . . Зато уж когда прорвется — нам и гиганты
ничочем; мы представляем собою, с одной стороны, раболепие, находясь
в крепостном состоянии у идеек и кумирчиков, с другой — нетерпимость

и деспотизм: у нас тот, кто разнится с нами в убеждениях, — или умственно ограниченный, или недобросовестный человек. Слова нет, у нас много благородных идеалов, просветленных европейской наукой, но нет знания многих условий, самых малых данных, духа и обстановки нашей народной и местной жизни. Мы в практической жизни идеологи, и это частью и потому, что тут не требуется большого труда. Мы не воспринимаем знания всецело, органически, не начинаем своего изучения *ab ovo*:¹ с нас довольно последних результатов мысли, верхушек знания. Большинство из нас не более как „пачетчики“. У нас очень легко сделаться умниками и передовыми людьми, попасть в литературные или другие какие-либо общественные деятели. У нас только и существуют что две крайности: или свой собственный, доморощенный „газомер“, или безусловное, безотносительное, рабски-догматическое принятие какого-либо учения извне. У нас еще считают образованным, благородным, современным и, главное, умным человеком того, кто приобрел кое-какие знания в абсолютном смысле, в абсолютной стороне и сущности вещей и кто, имея самый обиходный рассудок, формулирует их, при случае, и разводит модными фразами в европейских общими местами. Притом же подобные добродетели даже и лично выгодны в наше время. Мы еще далеки от того убеждения, что истинный разум только у того, кто в каждый известный момент найдет и сможет понять относительную сторону и значение вещей — этот омут беспрестанно вращающихся, изменяющихся и возникающих данных, кто в состоянии схватить и невидимую связь их с идеалом, и связь между собою... Да, тут уж требуется самостоятельность, самодеятельность мысли и прочная крепость знания. Этого уж не у кого вычитать... Но что же делать? Таков общий и, может быть, не совсем зависящий от нас недостаток нашего воспитания...»

Истинно золотые слова, благородные и золотые! Тут что ни слово, то правда. То, что отмечено в этой выписке курсивом, — отмечено самим г-ном Щербиною. Мы было с своей стороны хотели тоже отметить некоторые наиболее меткие и правдивые его выражения курсивом, — да и не отметили, потому что тут что ни фраза, то и отмечай ее крестом. Так метко и истинно, что мы редко читали что-нибудь умнее этого суждения. Жаль только, что немного отвлеченно высказано. Мы и такие-то истины не умеем как-то высказать в более близком приложении к действительности, то есть и умеем, да у нас это не принято. У нас все более сбивается на теорию, на знание в абсолютном смысле, в абсолютной стороне вещей, говоря словами самого г-на Щербины. Далее, продолжая свою тираду, г-н Щербина даже увлекается слишком сильным гневом. Гнев его, конечно, благороден, но не совсем справедлив, потому что уж слишком силен. Вот что говорит г-н Щербина:

«Подобные, по-видимому, ничтожные явления невольно наводят на мысль о необходимости коренного преобразования в нашем воспитании и просвещении. Несостоятельность, пустота и бесплодность их очевидны: нет в них корней своей народности, самознания, нет в них прочной и строгой науки. Мы еще просты до того, что пустозвонство модных современных фраз принимаем за образованность; мы благонамеренны до того, что слово „прогресс“ не сходит у нас с языка, а на самом деле это слово у нас не имеет никакого значения. Чтоб действовать, нужно любить, чтоб любить, необходимо знать то, что любишь... Мы же не знаем того... И вот, все

¹ его истоков (лат.).

наши благородные стремления, что называется „с ветру“, привились модою, приняты извне за догмат, по силе всеобщего авторитета, и самое чувство любви к нашему делу мы на себя „напустили“.

„То кровь кипит, то сил избыток“ — ибо любить невозможно не зная».

Г-н Щербина тут слишком строг. Не может быть, что тут одна «кровь кипит и сил избыток», чтоб мы чувство любви к нашему делу на себя «напустили». Мы не верим в строгость такого приговора. Настоящее движение идей будет иметь со временем свою строгую и беспристрастную историю. Тогда, может быть, дело объяснится поглубже и поотраднее. Если посмотреть на дело не так отвлеченно, а несколько попрacticalнее, основываясь на некоторых фактах, то между фактами, противными нашему мнению, мы наверно найдем несколько и благоприятствующих. К чему «одно худое видеть»? Можно беспристрастно смотреть на дело и не будучи заклятым оптимистом, *смешным* оптимистом, потому что у нас, при обнаружении каждого мнения, чрезвычайно боятся смешного. Оттого-то так и много людей, держащихся мнений более *общих*, взглядов *наиболее разделяемых*. Походить на всех — самое лучшее средство радикально избегнуть смешного. Мы вовсе не хотим этим сказать, что г-н Щербина тоже несколько склонен придерживаться *общих мнений*, походить на всех. Взгляд г-на Щербины, действительно, разделяется *большинством* наших людей, наиболее благородных и передовых, а наши передовые, естественно, не могут в взглядах своих на наше поколение значительно разниться с думою Лермонтова, хотя эта дума предупредила нас четвертью столетия. Конечно, между передовыми людьми еще не положено теперь принимать, чтоб в двадцать пять лет между нами произошел хоть какой-нибудь прогресс: но невозможно, чтоб его совершенно и не было. Мы уверены, что г-н Щербина не потребует от нас именных фактов для доказательства мнений наших. Представим ему хоть, например, один случай, — именно следующий: там, где сам г-н Щербина, в своей тираде, которую мы выписали, говорит: «мы не знаем», «мы не ведаем»... «мы не любим»... «мы чувство любви на себя напустили»... «у нас кровь кипит, у нас сил избыток», — это словцо *мы* у г-на Щербины, вероятно, везде поставлено для учтивости. Ведь не считает же он себя в самом деле в этой же категории, то есть нелюбящим, недозревшим, любить неумеющим, напустившим и проч., и проч. Иначе не стал бы он так горячиться, так укорять, презирать, давать такие советы. Ну, а если так, то вот уж один и есть, умеющий и любить, и ценить, и действовать...

— Но вы как будто неискренни, — скажут нам — говорите как будто иронически, критикуете... Вот давеча вы, кажется, заметили, что ненадобно *учить*, что исключительное напирание на невежество и предрассудки и исключительная забота *как можно скорее* искоренять их в народе — тоже своего рода невежество и предрассудок. Какая дичь!

— То есть мы было и осмелились заметить, — отвечаем мы. — Но теперь даже и раскаиваемся, что сделали это замечание. Для нас оно ужасно щекотливо. «Попробуй-ка кто отпестись без предубеждения, не с низкопоклонным анализом к какой-нибудь модной и находящейся во всеобщем употреблении идее, и к какому ни на есть кумирчику, которым мы крепки в данную минуту: он будет смешан с грязью». Вот собственные слова г-па Щербини, и мы именно чувствуем себя теперь в этом положении.

— Как! — закричат нам, — не учить народ, то есть *распространять* предрассудки, невежество, безграмотность!.. Обскуранты! Преступники!

Ужасно трудно иногда объясняться!

Боже нас сохрани! Мы вовсе не про то говорим, что *учить не надо*. Сами же мы только одно и кричим, только об одном и возвещаем: грамотность! грамотность! учить, напротив, надо. Только много, слишком много надо иметь, по нашему мнению, самоуверенности, чтоб думать, что народ так вот и разинет рот, слушая, как мы будем его учить. Ведь народ не совсем же стадо. Мы даже уверены, что он сам про себя смекает, а если не смекает, то хоть чувствует, что мы, господа, сами еще чего-то не знаем, идя к нему в учителя, так что нам самим прежде надо бы кой-чему у него же поучиться, а оттого и, действительно, не уважает и всю нашу науку, по крайней мере не любит ее.

Всякий имевший когда-нибудь дело с народом может проверить на себе это впечатление. Ведь чтоб народ действительно слушал нас, разиня рот, надо прежде всего это заслужить от него, то есть войти к нему в доверие, в уважение; а ведь легкомысленное убеждение наше, что стоит нам только разинуть рот, так мы и всё победим, — вовсе не заслужит его доверия, тем более уважения. Ведь он это понимает. Ничего так скоро не понимает человек, как тона вашего обращения с ним, вашего чувства к нему. Наивное наше сознание в нашей неизмеримой перед народом мудрости и учености покажется ему только смешным, а во многих случаях даже оскорбительным. Вот вы, г-н Щербина, кажется, совершенно уверены, что народ этого не заметит, то есть того необыкновенного нашего превосходства перед ним, с которым мы приступаем к составлению для него книги по вашей программе. Вы, г-н Щербина, любите народ — мы в этом уверены — и из любви к нему работаете. Но ведь любить-то просто мало; надо уметь выказать любовь. Вы вот и хотите выказать вашу любовь тем, что будете учить народ, хвалить его за добро и смеяться над его злом, особенно стараясь преследовать насмешкою его «отрицательные стороны» и проч., и проч. Э! мало ли кто его не учил и не учит, мало ли кто не смеялся над ним и не смеется! Ведь этим любви не докажешь, по крайней мере неудобно, да и надоест, наконец, столько учителей! А вдруг к тому же если народ узнает (а не узнает, так как-нибудь почувствует), что ведь и нас, обратно, он мог бы многому научить,

а мы-то и ухом не ведем и не подозреваем этого, даже смеемся над этой мыслью и подступаем к нему свысока с своими указаниями. А научить-то народ нас мог бы, право, многому; вот хоть бы тому, например, как нам его же учить. Ведь между нами попадаются иногда удивительные учителя. Иной, знаете, этак от почвы-то давно уж отделился, еще прадедушка его администратором был, с народом никаких общих интересов не имел и за стыд почитал иметь: развитие-то у внука вышло по преимуществу свысока, общечеловеческое, научно-теоретическое, истины пошли идеальные — одним словом, человек вышел благороднейший, но необыкновенно похожий на стертый пятиалтынный: видно, что серебро, а ни клейма, ни года, ни какой нации, французская ли, голландская ли, русская ли монета — неизвестно. Иной из таких станет вдруг фертом среди дороги, и ну искоренять предрассудки. Все эти господа чрезвычайно и как-то особенно любят искоренять предрассудки, например суесвятство, дурное обращение с женщинами, поклонение идолам и проч., и проч. Многие из них уже написали об этом целые трактаты, другие изучали эти вопросы в университетах, иногда заграничных, у ученых профессоров, по прекрасным книжкам. И вдруг этот «делец» сталкивается наконец с действительностью, замечает какой-нибудь предрассудок. Он до того воспаляется, что тотчас же обрушивается на него всем своим хохотом и свистом, преследует его насмешками и, в благородном негодовании своем, харкает и плюет на этот предрассудок, тут же при всем честном народе, забывая и даже не думая о том, что ведь этот предрассудок покамест все-таки дорог для народа; мало того, — что низок был бы народ и недостойн ни малейшего уважения, если б он слишком легко, слишком *по-научному*, слишком *вдруг* способен бы был отказаться от дорогого и чтимого им предмета. «Ты, барин, не смейся и не плюй, — скажут ему мужики, — ведь это нам от отцов и дедов досталось; это мы любим и это чтим». — «Тем скорее надо искоренять в вас этот предрассудок! — кричит просветитель, — значит, тем глубже он в вас сидит; вот я и плюю на ваш предрассудок, во-первых, потому, что он мои благородные чувства возмущает, а во-вторых, чтоб вам же, дуракам, показать, как я его мало ценю; вы и учитесь, на меня глядя». Ну что с таким делать? Ведь этот господин не только неспособен смотреть на предмет *исторически*, в связи с почвой и с жизнью, но и человеколюбиво-то смотреть неспособен, потому что и человеколюбиво-то он теоретически, по-книжному. А уж о том, чтоб быть почтительнее к народу, с ним и говорить нечего. Ему дела нет, что этот предмет только для него одного ничего не значит, а для других он свидетель и знамение прошлой жизни, что он и теперь, может быть, *вся жизнь и зная этой жизни*. Да что говорить! Мы ведь совершенно уверены, что г-н Щербина знает всё это гораздо лучше и основательнее нас. С его умом как не знать. Да ведь одного знания мало; не мешало бы быть и поосторожнее. А ведь

слишком исключительное и поспешное желание — прежде всего «обучить», «осмеять насмешками» и «напасть на отрицательные стороны», тоже своего рода неосторожность. Не лучше ли подступить к народу на более ровных основаниях? Когда он увидит в вас поменее *исключительного желания учить*, то скорее вам поверит. Учить дело превосходное, да ведь не всякого учителя любят. А уж если на то пошло, чтоб учить и более *ничего*, так не лучше ли бы прямо, с первого раза объявить откровеннее: «Вот смотри, народ: я ученый, а вы все дураки. Вас учить пришел: слушайте и слушайтесь»? Ведь это, право, лучше. А то вы даже и тут подступаете с подвохом и даже скрываете, что вы *исключительно* хотите учить и больше *ничего*. Хитрите вы очень и — *слишком* уж считаете народ глупым; а ведь это для него обидно. Впрочем, вам наши слова, наверно, покажутся непонятными и даже придирчивыми. Мы и сами видим, что нечего рассуждать а priori. Приступим лучше прямо к разбору вашего проекта. А для этого нам необходимо сделать из вашей же статьи значительные выписки.

«Хрестоматия, о которой мы упомянули, как бы вызывает каждого думавшего о книге для народного чтения изложить и свой план издания ее. Разумеется, такая книга назначается только для известного времени, и потому на план ее должно смотреть не иначе как относительно... но, во-первых, назовем ее:

„ЧИТАЛЬНИК“

Предполагается, что эта книга должна распространиться и войти в народ, как некогда известный „Письмовник“ Курганова, почему редакция „Читальника“ отчасти имеет его в виду по предмету содержания и расположения статей в книге. Назначением для народа обуславливается также внешний вид, объемистость и дешевизна издания.

Относительно самого названия книги — „Читальник“ — можно сказать, по крайнему нашему разумению, то, что оно составлено в духе русского языка и простонародья, как например от „молитва“ — „Молитвенник“, от „помянуть“ — „Поминальница“, от „песня“ — „Песенник“, от „письмо“ — „Письмовник“ и т. д.*

К тому ж, как нам кажется, это название легко запечатлется в народной памяти и сознании по форме своей и по внутреннему смыслу... Не называть же статью „Хрестоматией“ или прямо „Книгой для народного чтения и воскресных школ“: это было бы непрактически и показало бы недостаток знания народа: не следует ему говорить, что, мол, эту именно книгу он читать должен.

Сперва следует сказать о внутреннем содержании книги и расположении статей, составляющих ее.

При составлении „Читальника“ издатель имеет в виду:

1) Основываясь на *психологических соображениях*, он так располагает отделы и статьи в книге, чтоб один отдел, развивая понятия и подстрекая любопытство в читающем, подготовлял его незаметно к другому отделу; прочтение другого отдела подготавливает к третьему и так далее, в психической постепенности. Начиная со случаев повседневной жизни просто-

* В русской литературе допетровского периода встречаются названия книг в такой же форме: «Травник», «Мысленник», «Громник», «Волховник», «Колядник» и проч.

людина, выраженных рядом басен, притчей, пословиц и т. п. (что всего ближе к его собственной личности), и переходя от них к предметам видимой, окружающей его природы (земле, воздуху, небу), он совокупностью этих и других статей последовательно приходит в конце книги к чтению о духовно-нравственных предметах: положим, от басни Крылова „Крестьянин в беде“ до стихотворения Хомякова „По прочтении псалма“.

2) Основываясь на *практических соображениях*, издатель, приняв к сведению, какие именно коренные недостатки существуют в народе, недостатки общие или свойственные в особенности только нашему народу, так и подбирает содержание статей в своей книге. Издатель, сверх того, должен замечать, какие именно знания необходимы в условиях народного быта и чем народ интересуется. В последнем случае ему укажут на это предметы, упоминаемые в народных стихах, песнях, легендах, в древнерусской народной письменности, из чего он увидит, что может быть любо народу в книге. Тут также необходимо издателю принять в рассуждение успех у народа книжек вроде „Битвы русских с кабардинцами“, „Милорда Георга“, „Анекдотов о Балакиреве“, „Старичка-Весельчака“, „Новейшего астрономического и астрологического телескопа“, „Мамаева побоища“ и т. п.

В статьях, назначенных для духовно-нравственного развития, берется содержание, выражающее гуманизм, или содержание, направленное против жизни слуга, против бездушного своекорыстия, самодурства, безобщественности, неуважения к человеческой личности, к праву другого и тому подобно, замечаемого исключительно в нашем народе, как следствие независящих от него разных исторических обстоятельств. Всё это по большей части и по возможности берется для книги представленным в образах, а не в дидактическом и догматическом изложении, принимая во внимание, что наш народ находится еще почти в эпическом состоянии.

Ясно, что вся книга должна быть направлена к двум главным целям: 1) чтоб доставить народу, при развитии понятий, *познания*, необходимые как воздух каждому человеку вообще и русскому простолюдину в особенности; 2) чтоб содействовать в народе к большему развитию нравственного человеческого чувства, в строгом соображении с духом, правами, обычаями, историею, обстановкой и бытом русского простонародья. Притом же для народа нужно так составить книгу, чтоб было в ней: „чего хочешь — того просишь“».

И кроме того, вы приписываете, по поводу вашего мнения, что нужно говорить с народом простым, ясным и отчетливым языком, а не подделываться под тон народный и не стараться разговаривать маленько мужицким слогом, следующее:

«Всякая подделка в книге под народный тон, всякое балагурство, лманье перед народом компрометирует как известную книгу, так и грамоту вообще в глазах народа. Наш народ умен и тотчас смекнет, кто подходит к нему неспроста, а с подвохом; это в глазах его некоторым образом сбивается на переодетых по-мужицьи господ, собирающих народные песни, или на бар, читающих мужику-сиволапу наставление, которое, как обыкновенно всякое наставление, всегда и всеми пропускается мимо ушей».

Остановимся хоть здесь. Вот видите, — вы сами против всякого подвоха и говорите об этом превосходно, особенно, где упоминаете про переодетых по-мужицьи господ и про наставления, пропускаемые мимо ушей. Теория у вас иногда выходит очень хорошо, но на практике вы тотчас же себе противоречите. Будто вы сами подходите без подвоха, будто всё, что мы теперь выписали, — не своего рода подвох, начиная с самого названия книги:

«Читальник»? Почему «Читальник»? Потому, дескать, что в прежней литературе допетровского периода встречаются названия: «Травник», «Мысленик», «Громник», «Волховник», «Колядник» и проч. Но ведь то было в допетровской литературе. Тогда название это произошло случайно, тогда все эти книги (назначаемые и для сословия высшего) иначе и не назывались. Теперь же книги называются иначе; для всех иначе, а для народа так вот по-старому: «Читальник». Эта особенность может поразить народ: «Значит-де для нас и составлена особая книга, потому те книги, знать, не про нашу честь»... Ведь после такого рассуждения не прибавится уважения к «Читальнику», да и любящие чтение из народа захотят скорее барских книг, запрещенного плода, и будут уважать их не в пример больше своей обиходной, *холопской*, посконной книги. «Народ не заметит», — скажете вы. Вряд ли. А ну как заметит? Ну, да положим, не заметит; но согласитесь в том, что уж излишнее, исключительное, *до мелочи* доходящее старание сделать книгу как можно больше народною даже самым названием ее — уж рекомендует отчасти всё издание. Мы уже предчувствуем его дальнейший характер и — не обманываемся. Сейчас же после этого вы говорите: «Не называть же статью (книгу) „Хрестоматией“ или прямо „Книгой для народного чтения и воскресных школ“: это было бы непрактически и показало бы недостаток знания народа: не следует ему говорить, что, мол, эту именно книгу он читать должен». Вот вы уж и *обманываете* народ, положим, с благородною и возвышенною целью; но не говоря уже о том, что самое это излишнее и мелочное старание ваше скрыть обман и наведет народ на догадку об обмане (название «Читальник» до того необыкновенное и *маленько мужицкое*, что он тотчас догадается, потому что он гораздо умнее и догадливее, чем, кажется, вы предполагаете), — не говоря уже о том, — опять-таки это старание скрыть от народа истину и подмануть его, выказывает, несмотря на всё благородство цели, что-то неприятное для народа. Ведь говорите же вы дальше в одном месте, что хоть статьи о физической природе и надо выбирать из детских книг, но так, чтобы не по чему было заметить, что первоначально это писано для детей. «Народ, с одной стороны, тоже дитя», — говорите вы.

Рассмотрим далее вашу выписку. Вы пишете:

«Основываясь на психологических соображениях, издатель так располагает отделы статьи в книге, чтоб один отдел, развивая понятия и подстрекая любопытство в читающем, подготовлял его незаметно к другому отделу; прочтение другого отдела подготовляет к третьему и т. д., в психической постепенности».

Или:

«Основываясь на практических соображениях, издатель, приняв к сведению, какие именно коренные недостатки существуют в народе, — недостатки общие или свойственные в особенности только нашему народу, так и подбирает содержание статей в своей книге».

(Это так и подбирает — верх совершенства!) И далее:

«Издатель, сверх того, должен замечать, какие именно знания необходимы в условиях народного быта и чем народ интересуется...»

Кроме того, что довольно поздно замечать это уже при составлении самой книги, а надо бы знать пораньше, кроме этого. — что я за особенный такой человек, подумает про себя простолюдни, что мне и знания-то надо особенные? Да я вот хочу знать, на чем свет стоит.

— Врешь! рано тебе это знать, — отвечает благоразумный опекун, — ты мужик, а потому и должен знать про свое, про мужичье. Вот мы тебе тут *подобрали*...

Ответ, конечно, благоразумный и справедливый, и мужик, конечно, должен с ним согласиться, но ведь слишком-то явно высказывать это обидно. Ведь известно, за что люди иногда обижаются. Вон у Гоголя один герой назвал другого поповичем. Тот хотя и действительно был попович, а неизвестно почему обиделся. А за что бы, кажется?

Правда, мужик не догадается, вы ведь на это рассчитываете (я всё забываю). Но в самом деле: что за щепетильность, что за предосторожности! Ведь, пожалуй, бросится в глаза. Старапья-то *подбирания* слишком уж много. Право, поменьше бы с вашей стороны этой исключительной заботливости и даже какой-то подозрительности — и, ей богу, было бы лучше. Вы были бы тогда более запросто, более на равных основаниях к вашему будущему ученику-народу. — Ему бы вот что могло тогда прийти в голову: что вы для денег, для спекуляции составили вашу книжку, и самый-то подбор ваш, который все-таки в книге остался бы, хоть и в меньшей степени, — послужил бы тогда на пользу. Народ бы сказал: «Вишь хитрецы! как хорошо про всё расписали: заманивают, чтоб книжку раскупить!» И пусть бы он так думал, и прекрасно бы вышло, потому что книжку-то он тогда бы купил. Конечно, тогда уж народ не догадался бы обо всех наших великодушных стремлениях, о нашем бескорыстии, о том, что мы добровольно убыток приняли, чтоб только его научить; но ведь и к чему это? Во-первых, уж конечно, лучше приготовить себе награду на небеси, а во-вторых, если б народ догадался, то и книжку-то, пожалуй бы, не купил. Ведь народ глуп; пожалуй, еще махнет рукой на все наши труды да и скажет: «Та же опека!» Ведь он тоже ужасно как мнителен. Спекуляция лучше; в видимом желании выманить у народа деньги, право, было бы больше с ним панибратства и равенства, а ведь оно-то в этом случае и нужно, потому что народ это любит и, уж конечно, скорее доверит своему брату, чем опекуну. А ваш «Читальник» точно какой-то заговор. По крайней мере, об заклад побьюсь, что книга, составленная по вашей программе, не имела бы успеха в народе, то есть, может, и распространилась бы опекунскими средствами, но сам-то народ ценить ее много не будет. Даже,

сдается мне, будет смотреть на нее с некоторым страхом, особенно когда бы давали ему ее в награду за хорошее поведение и прилежание, приговаривая, как сказано у вас в программе, что он может ее потерять, истрепать и проч... Но об этом после.

Воображаю я себе ипую нянюшку: сядет она в саду на лавочку с нянюшками других детей, и начнут все эти нянюшки *про свое* разговаривать, а чтоб попокойнее быть насчет детей, то им предварительно острастку зададут: «Слышь, Петя, вот ты здесь гуляй, а туда в кусты не ходи, там *окаянный* сидит, тебя в мешок возьмет и с собой унесет». Мальчишка слушает, и хоть он всего еще пяти лет, а, может, уж и понимает, что нянька-то врет, что никакого там нет окаянного, а, напротив, есть где поразгуляться, и маленьким своим умишком уже смеется над своей нянькой. Если б я был мужик, право, мне бы ужасно было досадно, что меня считают еще таким маленьким мальчиком и что обо мне целым секретным комитетом заботятся, чтоб меня на помочах водить: ей богу, мне бы тогда (на мужичьем месте) сдуру это представилось. Разумеется, этого бы ничего в сущности не было. Напротив, любили бы меня искренно, желали бы мне счастья, но мне-то бы тогда так представилось. Впрочем, я ведь только по себе сужу, и, может быть, потому так сужу, что я уж такое дурное и неблагодарное существо. Я бы и сам знал тогда (то есть на месте мужика), что учиться мне надо и что я еще ничего не знаю, да ведь опека-то надоедлива. Ишь: всё сообразно моим порокам и недостаткам так и подобрано, даже отмечено, какие мне знания необходимы и чем я интересуюсь. Это, дескать, знай, а это не знай, потому рано, обожжешься. Прибавлю еще, что, кроме всех моих дурных качеств, я еще ужасно мнителен и подозрителен и никак не могу теперь и на мужичьем месте представить себя без мнительности и подозрительности. Я бы очень задумался и непременно подумал бы про себя: «Так что ж что обожгусь? обожгусь я, а не ты, моя забота». Одним словом, поступил бы самым неблагодарным образом.

— Да ведь для твоей же пользы, сиволапый! — закричал бы мне благодетельный опекун.

Я бы, разумеется, не мог бы с таким ученым человеком говорить и тут же согласился бы с ним во всем. Даже, пожалуй, сам бы от себя прибавил из политики: «Посеки, батюшка; мужик балдуется, так ты его и посеки», — а книжку все-таки бы не купил. В нутро бы она мне не пошла.

«Барин мой добрый человек, — продолжал бы я думать про себя, — и проказник большой. Возлюбил уж он меня очень за что-то, уж совсем и не знаю за что; кажется: ничего ему не сделал... так, вдруг, ни с того ни с сего возлюбил, ажно жутко становится. Вон книжку для меня сочинял... сколько труда-то небось принял, сердечный! „Поди, дескать, обучись, чтоб мне было с тобой о чем рассуждать и чтоб я мог с тобой дела иметь: а выучишься по одной книжке всем наукам, другую такую же

дадут, тоже со всеми науками“. И имя ей „Читальник“: прямо, стало быть, объяснено, что читать ее надо. Вот тут-то и штука: у господ книги, а у меня еще только „Читальник“. Это значит, до настоящей заправской книги ты, брат, еще не дорос. И „Читальник“-то от тебя потихоньку, целым комитетом сочиняли, чтоб ты не догадался, что для тебя нарочно его сочиняют, да еще, чтоб милей тебе был этот самый „Читальник“, справлялись, разыскивали и в рассуждение брали: почему тебе нравится „Милорд Георг“ да „Битва русских с кабардинцами“. Ишь сколько об тебе заботы было, о простом мужике! Чувствуешь ли это? — Спасибо господам, — продолжаю я думать про себя, — хорошо, что я вот, сиволапый мужик, ни об чем об этом не могу теперь догадаться; потому где ж мне, без университетского образования, об этом догадаться? А то, пожалуй, при университетском-то образовании, я бы и отмочил такую штуку опекунам: „Неужели, дескать, вы, православные опекуны, думаете, что уж если я не знаю, кто такой граф Кавур, пли про то, что в болотной воде водятся инфузории, так уж совсем я и глуп и уж больше ничего не пойму? Неужели ж вы вправду думаете, что народ не поймет, что вы хоть и ужасно хотите обучить его чему-то, но в то же время и ужасно хотите скрыть от него что-то, по той причине, что он до того не дорос? Нет, подлинно счастье, что я не получил университетского образования (это я всё продолжаю про себя думать), и потому ничего этого теперь не понимаю. А то бы, при университетском-то образовании, помянул бы вам одно словечко князя Талейрана: „Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle!“¹ Ну да ведь вы знаете анекдот лучше меня, мужика»...

Написали мы все это теперь и сами испугались: что, если рассердятся на нас читатели и закричат нам: «Неужели вы все эти „хитрости“ признаете за г-ном Щербиной? Неужели он не хлопочет об настоящем образовании народа? Неужели ж необходимую осторожность его вы признаете за умышленно-злонамеренную скрытность? Да! так всегда бывает у нас в литературе! Чуть только благородно мыслящий и ищущий добра человек примется за какое-нибудь полезное дело, тотчас же заскрипят на него рецензенты, как ищейки, начнут искать недостатков, начнут искать, к чему бы придраться, что бы такое обругать, — и вовсе не для общественной пользы, а просто рука зудит, хочется колких слов наказать, свое остроумие показать, без дела свое знание дела выставить. *La critique est aisée, mais l'art est difficile.*² Напишите-ка лучше сами свой проект да прямо делом и разубедите нас, а не голословными рецензиями. Тогда, может, обратят и на вас внимание»...

¹ Не усердствуйте, господа, поменьше усердствуйте! (*франц.*).

² Критика легка, а искусство трудно (*франц.*).

Вот этих-то криков мы и боимся. Главное, боимся того, чтобы не сказали, что мы хотим обругать проект г-на Щербины. В том-то и дело, что нет! Искренно говорим, что мы не виноваты ни в чем перед г-ном Щербиной и, при взгляде на превосходный груд его, кроме самой искренней благодарности, и чувствовать ничего не может. Мы голько невольно перенесли себя в темную и недоверчивую массу народа, и нам *показалось*, что всё, что мы выше написали, может каким-нибудь процессом прийти ему на ум, так что он встретит книгу г-на Щербины (когда он издаст ее) не с надлежащей симпатиею, а даже, может быть, с недоверчивостью. Повторяем: нам это так *показалось*, а ведь мы, разумеется, можем ошибиться (чего в пастоящем случае и желаем себе). Приступим же опять, оговорившись несколько перед публикой, к продолжению подробнейшего и обстоятельнейшего изложения всего проекта г-на Щербины. Весь этот проект «Читальника» — прелюбопытнейшая вещь, по цели своей необыкновенно значительная. Об чем же болсе значительном и занимательном и говорить, если уж это не занимательно? Предупреждаем заранее: все это так умно, так хитро составлено, так подобрано, подведено, рассчитано, разлиневано, до таких мелочей обдуманно и предусмотрено, что нет возможности не признать самого совестливого труда в проекте г-на Щербины, нет возможности не благодарить за этот труд и даже не полюбоваться невольно этой отделкой, отчеканкой труда, его последовательностью и отчетливостью. Впрочем, еще раз повторяем: если нам что и не нравится в этом проекте, если что и смущает нас, так именно — это излишняя старательность; именно то, что это так излишне умно, излишне предусмотрено и разлиневано; то есть не нравится именно то, что уж всё это слишком хорошо: впечатление, конечно, нелепое, но в природе иногда случающееся. Даже самые психологические основания проекта, и те точно циркулем вымеряны, точно из души нашего мужичка извлечен квадратный корень. И всё это так спокойно, с таким полным убеждением извлечено... Но к делу.

Проект разделяется на собственно проект и на предварительные соображения. Мы уже представили начало этих соображений, этих основных воззрений, на которых зиждется всё здание проекта, а вместе с тем представили и впечатление, произведенное на нас этим началом. Далее г-н Щербина, продолжая свои соображения, говорит, что от *книги* народ менее всего требует паясничества и скоморошничества, как-то завитков, прибауток, простонародных шутивых речений и проч., и что печатное слово для него как бы святыня, а не гаерский балаган, и что, наконец, ему по сердцу так пазываемый высокий чувствительный слог, вследствие чего «Битва русских с кабардинцами» и расходится у него в тысячах экземпляров. Сделав это превосходное и даже довольно верное замечание (хотя и не всегда, потому что *настоящая* остроумная шутка тоже понимается народом и он отлично способен оценить ее), г-н Щербина предлагает помещать в «Читальник»

статьи серьезные и важные, вроде «Покорения Казани» из «Истории» Карамзина. И чтение *важное*, и *познание* одного из событий отечественной истории у народа останется. Но на фантастическое и сверхъестественное г-н Щербина обрушивается всем своим гневом и решительно изгоняет из «Читальника» все «фантастическое», потому что у народа и без того много суеверий (и несмотря на то, замечаем мы от себя, что народ страшно любит фантастическое и с жадностью читает его или слушает, как читают). По-нашему, всё это прекрасно, но опять то же, что и прежде, то есть страшная заботливость, страшная разлиневанность, в том что надо и чего не надо, подозрительность и опасения, доходящие до болезни. «Не подходи, не подходи! ты с ветру!» — кричит Обломов. Конечно, книга для народа авторитет, авторитет-эфа, как выражается г-н Щербина, но ведь и не такой же народ ипохондрик, как *ипохондрик* г-на Писемского — всего боится: дунет ветерок, так сейчас и смерть. Фантастического, конечно, отнюдь не надо. Но г-н-то Щербина смотрит на свою «книгу для народа» уж слишком преувеличенно, точно воображает, что в ней начало и конец всей народной будущности, его образование, его университет, его счастье на тысячу лет вперед; воображает, что если народ чуть-чуть прочтет и услышит хоть одну строчку неладную — тут уж тотчас ему и капут. Г-н Щербина до того мнителен, что даже басен Крылова не хочет назвать баснями, а предлагает прямо выставить одно название, например: «Крестьянин и работник», «Два мужика» и подписать под ними «Крылов». Все это на том основании, что басня будто бы принимается в народе как пустяки и что «это даже можно заключить из пословицы и поговорки: „Соловья баснями не кормят“ или „бабы басни“». Ну уж это слишком, да и басни-то вовсе не в таком неуважении у народа. Сколько их между ним ходит, да еще преостроумных, с намеками. Ведь народ понимает, что такое басня. Иначе вы хоть и *скроете* от него, что это басня, но уж одним стихотворным рассказом собьете его с толку. В этом даже было бы больше опасности. В самом деле, если б народ был до такой степени недомок, как вы о нем предполагаете, то, конечно, остановился бы на стихах: скоморошничество, дескать, не по-человечески писано, в рифму. Вы предполагаете даже выбирать басни, где действуют люди, а не животные. «Говорящие животные и деревья покажутся народу бахарством, морочением, чем-то шутовским, в ущерб кредиту и авторитету книги», — говорите вы. Будто? Да разве басня-то не из народа вышла? Народ разберет, что это форма искусства, не беспокойтесь. Право, он не так глуп и не до такой степени ограничен, как вы предполагаете.

Далее г-н Щербина предполагает изложение нужных и общелюбопытных предметов, особливо из физической природы, но с тем, что издатель книги, хотя и может почерпать все эти изложения из детских книг, написанных для старшего возраста, но должен избирать такие места, чтоб не по чему было заметить,

что писано для детей. Ибо «народ, с одной стороны, то же дитя», — замечает г-н Щербина.

Какую щепетильную обидчивость сами вы предполагаете в народе и как вы боитесь его! Какая микроскопическая предусмотрительность!

Далее должен следовать отдел исторический. «От народной исторической песни и легко понятного по языку сказания летописи должно *постепенно* и *последовательно* перейти к местам, почерпнутым из отечественных историков».

Во-первых, к чему такая осторожная *постепенность* и *последовательность*? Что вы, в университет, что ли, народ готовите? Ну, а если он возьмет да развернет книгу наразбив и «отечественных-то историков» прочтет прежде *летописей* и *народных песен*? Что ж он, тут же сейчас и пропадет от этого? Все ваши труды тогда пропадут! Разве уж на заглавном листе книги напечатать, что книгу сию нельзя читать наразбив. Всего бы лучше через земское начальство действовать и начальством приказывать непременно читать сподряд, в строгой *постепенности* и *последовательности*, начиная от народной исторической песни до отечественных историков включительно, и т. д.

Конечно, народу не по душе отрывочность, но для чего непременно приводить в «Читальнике» *подлинную грамоту* о призвании на царство дома Романовых? К чему *подлинную* грамоту? Если вам хочется рассказать народу это событие, то можно рассказать своими словами, теперешним языком, а не употреблять в дело *грамоту*, собственно, потому, что «она написана языком народным (каким это народным?), в смешении с церковнославянским, уважаемым народом». Для чего это? И почему церковнославянский язык будет милее народу? разве тем, что непонятнее? Но г-н Щербина замечает:

«Подобного рода состав книги способен воспитывать народ на положительной, коренной почве его народности и истории, развивать и направлять его здорово и органически, чего, к сожалению, недостает и нам, освещаемым даже солнцем с Запада».

Вот то-то и есть, что вы, кажется, всего разом хотите достигнуть одним вашим «Читальником»: и воспитания, и образования, и развития народного — и всё это одной вашей книжкой. Вы не для того составляете ее, чтоб просто доставить приятное и полезное чтение народу. Нет, вы разом хотите достигнуть чуть не университетского образования. Мы не клеветаем на вас: это просто в глаза бросается. Иначе не стали бы вы так щепетильничать, выдумывать такие *последовательности*, чтоб одно выходило из другого и из себя выпускало третье. Не боялись бы, что народ прочтет одну статью прежде другой. Нет, для такой цели не составляются «Читальники», и непременно желание достичь этой цели невольно придаст вашей книге педантизм, сбивчивость и, главное, нестерпимую сушь.

Мы вовсе не против ваших стремлений; мы восхищаемся вашим умом и вашей старательностью искренно. Вот вы, например, далее требуете, чтоб в «Читальник» вошли и юридические статьи, для просветления народа и даже для поднятия его нравственности, и медицинскую статью «гигиенического содержания», на том основании, что у нас слишком много «мрет и калечится понапрасну народа от совершенного отсутствия самых простых, общих и необходимых гигиенических сведений». (Из этого следует, что народ, прочтя «Читальник», тотчас же перестанет умирать и «калечиться понапрасну», ибо будет уже иметь гигиенические сведения. Мы не глумимся, мы понимаем, что и сами вы не рассчитываете на такое немедленное влияние на народ вашего «Читальника», но как будто вы ожидаете этого влияния: такое именно впечатление производит «Читальник».) Далее у вас предположено поместить календарные сведения, словарь иностранных слов, вошедших во всеобщее употребление (NB: когда еще множество русских слов, употребляемых в образованном обществе, неизвестно народу), и наконец, к довершению всего, вы предполагаете растолковать народу: «какие есть науки?», то есть разом растолковать ему сущность всех наук на свете.

«Заключительным отделом книги, — говорите вы, — будет отдел *нравственного содержания*, к последовательному и психически постепенному восприятию которого будет предпослан *отдел беллетристический*, нечто вроде *антологии* для народа, в которой, впрочем, по известным практическим соображениям, не может быть принята исключительно одна эстетическая цель. В пьесах, местах и отрывках этого отдела, под более или менее художественной оболочкой, всегда будет заключаться или какое-либо историческое и другого рода сведение, факт или гуманическая и духовно-нравственная идея, нужная в особенности нашему народу».

Всё это прекрасно и полезно, умно и великолепно; одно предшествует другому, одно истекает из другого, одним отделом «душа простолюдина» готовится к другому отделу и т. д. Чего лучше? Начинается формулирование вашего проекта. Вы говорите:

«Чтоб яснее представить содержание, расположение, организм книги, необходимо здесь сформулировать ее в *отделы*, чем яснее можно усмотреть существенные свойства логики, практических и психологических соображений, которые издатель кладет в основу состава своего „Читальника“. Здесь разумеется, указаны будут *все отделы и некоторые, на первый случай статьи в них*».

Начинаются отделы.

Первый отдел. «Настоящее жизни. Житейская мудрость, собственно практика жизни обиходной, изображенная в художественных формах».

Под таким пышным заглавием помещаются басни Крылова, Хемницера, Дмитриева, Измайлова, сказки вроде «О правде и кривде» (NB: можно бы и позанимательнее и посовременнее), далее из «Памятников старинной русской литературы» Н. Костомарова, «О мудреце Кериме» Жуковского, небольшие рассказы

Даля, как-то «Ось и чека», анекдоты (самые незамысловатые), притчи вроде «Притча о хмеле», из «Памятников» Костомарова, народные пословицы, *самые стереотипные* (то есть, вероятно, те, которые народ и без «Читальника» знает), загадки для гимнастики ума, изречения и т. п.

«Этот отдел помещен в начале книги с расчетом, чтоб завлечь на первый раз читателя художественной приманкою поучительной мысли, с первого раза понимаемой, непосредственным простодушием формы, любопытною занимательностью, целостною краткостью выражения мысли и факта и вместе с тем в неискушенную душу заронить нравственно-практические правила жизни в повседневных ее явлениях».

Ну чем это, кажется, не отдел? Народ зачитается, да и только. Правда, на первый случай к чему бы, кажется, столько «памятников» старинной русской литературы? Что-нибудь посвежее было бы приятнее. Но как вспомним, что без этого народ «не будет воспитан на положительной, коренной почве его народности и истории», то и увидим, что памятники эти необходимы.

Все это отлично хорошо; но всего лучше мысль г-на Щербины, что как только народ прочтет этот первый отдел, то тотчас же в неискушенную душу его заронятся нравственно-практические правила жизни в повседневных ее явлениях, а вместе с тем и приготовят ее ко второму отделу. С этим-то расчетом и помещен между прочим этот отдел, как уверяет сам г-н Щербина. Ну как же не поблагодарить за такое старание и не пожелать успеха?

Кстати, заметим кое-что о «неискушенной душе» народа, благо к слову пришлось. Вообще душу народа как-то уж давно принято считать чем-то необыкновенно свежим, непочатым и «неискушенным». Нам же, напротив, кажется (то есть мы в этом уверены), что душе народа предстоит поминутно столько искушений, что судьба до того ее *починала* и некоторые обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью, и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзажикам.

Все эти «отделы» — решительные «подвохи» и «подходы».

За этим первым отделом следует еще пять отделов, в стройном порядке, один вызывая другого. Но мы, для краткости, расскажем об них своими словами.

Второй отдел, это — *прошедшее жизни*, то есть исторические сведения, картины, рассказы, статьи географического содержания. Он начинается русскими историческими песнями, затем следуют места из летописей, хронографов и проч. Затем *Акты и грамоты*. (Вы не верите? — решительный университет!) Затем... Как вы думаете, что? «Слово о полку Игореве» в переводе Дубенского! Это уж из рук вон! Да чем может быть занимательно «Слово о полку Игореве» *теперь* народу? Ведь оно занимательно для одних ученых и, положим, для поэтов; но и на поэтов-то наиболее

действует древняя форма поэмы. Народ не имеет ни малейшего понятия об истории: что ж поймет он в «Слове»? Ведь он найдет в нем одну смертельную скуку да бездну непонятого, необъясненного. Вот что значит жертвовать всем для *ученого образования* народа! «Иначе как бы он воспитался на положительной коренной почве его народности и истории?» Точно не было для этого чего-нибудь несравненно занимательнее и не так странного!

Затем следуют исторические стихотворения русских поэтов, как-то: «Малое слово о Великом (Петре I)» Бенедиктова и проч. Нам кажется, лучше бы сперва сообщить что-нибудь народу о Петре, а потом уже воспевать его.

Отсюда переход к историческим рассказам и местам из писателей отечественной истории (ну, это хорошо), потом биографии: Ермак, Минин, Ломоносов, Кулибин; потом статьи русско-географического содержания: Петербург, Москва, Киев, Сибирь и проч. Наконец, рассказы из всеобщей истории и географии (в гораздо меньшем количестве статей), вроде: Александр Македонский, Наполеон, Колумб, Царьград.

Этим кончается второй отдел и наступает третий: «Видимость», то есть среда жизни, окружающая человека природа.

В этом отделе: о земле, о воздухе, о небе и — об инфузориях! К чему смущать народ без нужды инфузориями? К чему прежде времени все эти тайны немецкой науки? К чему это нестерпимое желание учить, — *поскорей, всему* научить? Не любит народ таких учителей, прямо становящихся перед ним его воспитателями и *владельцами-просветителями*. Не в инфузориях дело, а в этом желании скороспелого обучения. Народ *исторически* склонен к недоверчивости, к подозрительности; не поверит он *доброму* в ваших желаниях и не полюбит вас: а ведь прежде всего надо бы стараться заставить себя полюбить. Сушь, предписания, ученость, система, инфузории; это, дескать, знай, это не знай — вот ваш «Читальник»!

В IV отделе — энциклопедия и справочное место. Тут помещено: какие есть науки? Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка (что необходимо, замечает г-н Щербина, *при чтении газет* и в *повседневном быту*... для народа-то? и теперь?). Затем излагаются юридические сведения, необходимые для крестьянина, затем гигиенические, затем календарные, одним словом — употреблены решительно всевозможные средства, чтоб народ немедленно спросил: зачем все другие книги не так написаны, а эта вот так написана? и особенно задумался бы над этим.

За этим IV отделом начинается вторая часть книги. Во второй части являются материалы для духовно-нравственного развития. Предполагается, что она будет напечатана более емким, убористым шрифтом. Начинается она

У отделом, «Антологией для народа», который, кажется, самый лучший отдел во всей книге, хотя бы по тому одному, что всех занимательнее. В нем, видите ли, будут «систематически»

(непременно систематически) расположены целые пьесы и места из народной словесности и русских писателей, способные развивать и направлять народ гуманически.* Одним словом, всё будет расположено с ужимкой, да и самый отдел этот устроен тоже не сам по себе, а чтоб «подготовить» читателя к последнему, заключительному в книге отделу. В него входят песни и стихи, но более проза. Для характеристики отдела обозначаются даже некоторые из выбранных мест и стихотворений. Замечено тоже, что из народных песен должно помещать только те, которые «выражают гуманическое чувство, или горько-осуждающие какой-либо коренной недостаток в народных нравах и обычаях». Вот подход, так подход! Даже и песни-то веселые на запрещение.

Вслед затем и помещаются: Кольцова — как вы думаете, что? Уж разумеется: «Что ты спишь, мужичок» или «Ах, зачем меня силой выдали».

Песни, разумеется, прекрасные, полные самой свежей поэзии, бессмертные произведения Кольцова. Да ведь разве мы здесь песни хулим?

Ну уж, разумеется, затем и Никитина стихотворения, и графа А. Толстого, и Цыганова, и Шевцова, и Некрасова — все подобранные под один тон; а «также стихотворения в этом роде» Пушкина, Языкова, Майкова, Мей, Берга и проч., а вместе с тем считается *необходимым* поместить и Лермонтова «Песню про купца Калашникова»... неужели не догадались зачем? А затем, что «в ней выражено чувство чести по отношению к жене, *чего большею частию недостает нашему простонародью*».

Затем переводы в стихах разных сербских, болгарских и проч. песен; затем проза: народные славянские рассказы и предания из книги Боричевского, из памятников старинной русской литературы Костомарова; анекдоты из жизни Петра Великого, Суворова, Наполеона; отрывки из романов Загоскина, Лажечникова, из рассказов Даля, из военных рассказов Л. Толстого.

Это, разумеется, очень хорошо.

И затем переход к VI и последнему отделу. Этот отдел представляет «чтение для *необходимых духовных потреб и высшего развития (собственно в народном смысле)*». Он состоит из частей «догматической», «исторической», «практически-нравственной» и «духовно-нравственной» и включает в себе, для примера, следующие вещи:

Символ веры, молитву господню и десять заповедей. (Должно быть напечатано церковнославянским шрифтом, для ознакомления народа с церковнославянским шрифтом и «чтоб придать книге более веса и авторитета».)

Затем: рассказы из священной истории, из «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова», места из Евангелия, переведенного на русский язык, последние дни Иисуса Христа из книги Иннокен-

* Подчеркнуто у автора.

тия, места из объяснений на литургию, из сочинений Гоголя и других, из «Начертания христианских обязанностей» Кочетова, из поучений Иродиона Путятина, слово о пьянстве Тихона Задонского. Затем следуют статьи «церковно-исторического и священно-географического содержания», как-то: принятие христианства Константином Великим, принятие христианства на Руси Владимиром, житие некоторых мучеников, житие св. Ольги, Кирилла и Мефодия, Нестора-летописца. Описание святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Афона — извлечение из путешествий Барского, инока Парфения, *Муравьева* и проч. Затем стихотворения духовно-нравственного содержания и даже ода «Бог» Державина.

Опять-таки повторяем: всё это, разумеется, превосходно и отлично *подобрано*. Автор в заключение говорит:

«Так представлялись пишущему эти строки содержание и строй книги для народа и воскресных школ. Всё, что написано здесь, взято из непосредственного наблюдения и опыта в среде народной и из многообразия относительных данных и явлений насущной, практической жизни, возведено в мысль, которая, может быть, еще далека от надлежащего требования, но зато высказана по крайнему разумению и убеждению нашему. Никто не может отрешиться вполне от своей среды, от своего воспитания, и потому и статья эта, вероятно, имеет свойственные ей недостатки».

Что сказать на это? Мы, кажется, уже всё высказали. Припомним, впрочем, здесь несколько слов, сказанных об «Читальнике» нашим фельетонистом, в майском номере нашего журнала. Нам кажется, что эти несколько строк могут послужить хорошим заключительным словом и к нашей теперешней статье.

«. . . Из смеси двух старых жизней может выйти новая. Откройте свою жизнь мужикам и изучайте жизнь их, и, конечно, от этого будете ближе к желаемому нами примирению, ближе к уничтожению сословной нашей раздельности; но передавайте народу тайны жизни нашей во всей их полноте, оставляя на его выбор худое и хорошее, и тогда он помирится с вами, потому что поверит вам: иначе он почувствует сознаваемое вами превосходство над ним и будет последнее горше первого. Нужно уважить вкус и любопытство народа; нужно ему дать то, чего он просит, чего хочет он, и не раздражать его *статейками экономического содержания об артели, труде, домоводстве*. . . Если мы своих жен не можем еще заставить интересоваться такими статейками, то с какого горя станет их читать мужик, он, которому труд еще, быть может, противен по некоторым историческим воспоминаниям? Пусть для него чтение будет сначала забавою, наслаждением; потом он из него выжмет пользу. Свобода! свобода на первом месте! Зачем же навязывать?».

Но знаете ли что? Я ведь не кончил статью мою. Мне вдруг представилось, что я сам составляю «Читальник» для народа, и вместе с тем мне пришло в голову столько соображений, что ужасно захотелось сообщить их всем будущим составителям «Чи-

тальников». Разумеется, это только *некоторые* соображения. Я вовсе не претендую на такую отделку и отчеканку работы, каким отличается «Опыт» г-на Щербивы.

Я бы вот как сделал.

Прежде всего я бы поставил перед собой на первый план следующую мысль (которую признал бы за основную и которой следовал бы неуклонно). Именно:

1) Что прежде чем хлопотать о *немедленном* образовании и обучении народа, нужно просто-запросто похлопотать сначала о быстрейшем распространении в нем грамотности и охоты к чтению.

2) Так как хорошая книга чрезвычайно развивает охоту к чтению, то надо хлопотать *преимущественно* о доставлении народу как можно более *приятного* и *занимательного* чтения.

3) И уж потом, когда народ полюбит читать книги, тогда уже и приняться за образование и обучение его. И хотя в первых «Читальниках», изданных для народа, никто и не мешает мне подбирать статьи так, чтоб они принесли народу всевозможную *пользу*, но все-таки *занимательность* стояла бы у меня на первом плане, потому что прежде всего нужно достичь одной цели, а потом уже другой, то есть сначала распространить в народе охоту к чтению, а потом уже приступить к его обучению; ибо гоняться за двумя зайцами разом не следует и одно могло бы повредить другому.

Примечание. Разумеется, нечего и сомневаться в том, что упорное и усиленное желание *прежде всего* учить и перевоспитывать повредит книге в ее занимательности и приятности для народа; ибо она будет слишком *выделанная*, слишком *подобранная*, суха до педантизма, со статьями скучными для народа (как, например, «Слово о полку Игореве», помещенное в «Читальнике» г-на Щербивы для того, «чтоб воспитывать народ на положительной и коренной почве его народности»... другими словами, чтоб народ сделать *народным*), с отделами, помещенными с расчетом, «чтоб завлечь на первый раз читателя художественною *приманкою* поучительной мысли», и расположенными так, чтоб один отдел выпускал из себя второй, а второй — третий... Все это, естественно, придаст книге чрезвычайную тяжеловесность, *обнаружит перед народом ее заднюю мысль* и этим может ей очень повредить с первого раза. Одним словом, все это мы уже высказали. И потому, право, было бы не грех на первый раз пожертвовать ученостью занимательности.

Скажут мне, пожалуй, умные люди, что в моей книжке будет мало *дельного*, *полезного*? будут какие-то сказки, повести, разная фантастическая дичь, без системы, без прямой цели, одним словом, тарабарщина, и что народ с первого разу мою книжку и от «Прекрасной магометанки» не отличит.

Пусть с первого разу не отличит, отвечаю я. Пусть даже задумается, которой из них отдать преимущество. Значит, она ему *понравится*, коли он ее с любимой книгой будет сличать. Требо-

вать от него *тогда же* точной критики невозможно. Но ведь он книжку мою полюбит, заметит, *что* издание (потому что я непременно выставляю это на обертке), и когда я издам вторую такую же книжку, с обозначением: «издание такого-то, выпуск второй», то он, не обвиняясь, с удовольствием купит и вторую книжку, помня занимательность первой. А так как я все-таки буду помещать хоть и *любопытнейшие, завлекательнейшие*, но вместе с тем и *хорошие* статьи в этой книжке, то мало-помалу достигну следующих результатов:

1) Что парод за моими книжками забудет «Прекрасную магометанку».

2) Мало того, что забудет; он даже отдаст моей книжке положительное преимущество перед нею, потому что свойство хороших сочинений — очищать вкус и рассудок, и это свойство естественное; потому-то так я на него и надеюсь. И наконец,

3) вследствие удовольствия (преимущественно *удовольствия*), доставленного моими книжками, мало-помалу распространится в народе и охота к чтению.

Как вы думаете: важных или неважных результатов я таким образом достигну? *Заохотить к чтению* — я считаю первым, главным шагом, настоящей целью; а ведь в способности и умении сделать *первый шаг* и заключается, по-моему, настоящая *практичность и деловитость* всякого полезного деятеля. Нам не до жиру, а быть бы живу; только бы первое-то дело сделать, а жиру-то потом найдем. А как это сделать, не стараясь удалить от народа всякую мысль о нашей господской опеке? Вы, конечно, справедливы, что для мужика книга важное дело; от книги он требует серьезного, поучительного. Это так. Но *господского-то обучения* он не любит; не любит, чтоб глядели-го на него свысока, чтоб в опеку его брали даже и тогда, когда он полное право имеет сам по своей воле и охоте поступать. «Вот, дескать, мужичок, поучись по моей книжке; что „Магометанку“-то читать! это дрянь; — вот у меня, для твоего развлечения, в конце книжки из романа Лажечникова выписано, из „Ледяного дома“, так уж не „Магометанке“ чета; „Ледяной дом“! Ну слышал ли ты, чтоб была когда такая диковинка: дом из льда? Слог-то какой! А то я слышал, что ты про божественное любишь читать; ну вот тебе тут и об Афоне написано, как там иноки, божи люди, живут, молятся. Ну вот и поразвлечешься, и поиграешь этими статейками после серьезного обучения в первых отделах. А то смотри: и игры-то у тебя какие неблагоправные. Вот я слышал, ты еще до сих пор в бабки играешь, а я тебе вот журнал „Учитель“ принес; посмотри, какие здесь всё благонравные и поучительные игры: вот уточки нарисованы, — видишь, плавают? а вот тут охотник их застрелил; вот подписана и загадка: плавало на воде пять уточек, охотник выстрелил, трех убил, много ль из пяти останется? ну вот ты и угадай, милое дитя... то бишь, милый мужи-

чок, — чем в бабки-то играть». Я не буду тоже уверять себя при составлении моей книги, что мужик не узнает, к чему я клоню, не догадается об опеке. Я знаю наверно, что у него есть такое чутье, что он все ваши подходы тотчас узнает, а не узнает, так почувствует их. Я не стал бы также прибегать к начальству для распространения моей книги. Ведь от этого, право, недалеко до того, что через начальство пачнут, пожалуй, и вытеснять из употребления все прежние негодные книжки, которые читает народ. А что, в самом деле, чего смотреть-то: собрать бы их все да сжечь! Нет, кроме шуток, как такой умный человек, как г-н Щербина, может рассчитывать при распространении своего «Читальника» на следующие средства:

«В видах средств распространения книги приглашать чрез газеты, как благотворителей и ревнителей духовно-нравственного просвещения народа, помещиков, фабрикантов, заводчиков и всех, у кого есть заведения, где бывает сбор простолюдинов, покупать „Читальник“ для подарка грамотным из них».

Или в другом месте:

«Нужно постановить, что каждый ученик, поступающий или находящийся в воскресной или сельской школе (ведомства министерств государственных имуществ и уделов, а также и солдатских полковых школ), должен непременно получить один экземпляр „Читальника“ в полную собственность в полное свое распоряжение, бесконтрольно. Это будет как бы „свидетельством“ или юридическим актом, утверждающим в действительности поступления в число учеников школы. То же можно было бы постановить и в приходских училищах Министерства народного просвещения.* „Читальник“ может произвольно меняться, продаваться, дариться учениками и таким образом переходить из рук в руки, следовательно, все-таки оставаться в народе же».

Да помиуйте! ведь это вернейшее средство придать книге вид официальный: а ведь этого бегут; вернейшее средство, чтоб она опошлится, потеряла цену. И наконец, ваши слова: «все-таки останется в народе же» показывают, что вы признаете лучшим один только способ распространения: обязательный, чуть не насильственный, по крайней мере *навязливый*, то есть решительно худший из всех возможных способов распространения. Таким способом ничего не сделаете. Уж пробовали. Распространялись чуть ли еще не двадцать лет тому назад книжки официальным способом: да разве их читает народ? Сделались они популярными? Но, положим, еще с этим вы не согласитесь, будете спорить. Но уж ниже следующее место вашей статьи верх самого невозможного незнания действительности. Посудите:

* Так как почетные попечители училищ пользуются всеми правами гражданской службы, не употребляя на нее личного груга, и бывают вообще люди со средствами, то и можно было бы вменить им в обязанность приобретать на их счет эти книги для учеников училища, что составит, во всяком случае, небольшую сумму ежегодно. *Авт.*

«Есть еще способ широкого распространения „Читальника“ в народе чрез посредство администрации, именно — предложить волостным головам и сельским старостам в волостных правлениях в сельских расправах, покупая на экономические деньги, дарить „Читальник“ грамотным мужикам в селах и деревнях как бы в награду за их грамотность. Дарение происходит на мирской сходке самым патриархальным способом, без всякого контроля со стороны начальства и бюрократической процедуры. Est modus in rebus.¹

Можно предположить, что если б в этом последнем случае распространение книги поручено было непосредственно чиновникам земской полиции, то, пожалуй, иные мужики и не сказали бы грамотными. Сельские старшины должны объяснить на сходке, что, мол, „книга тебе дарится в награждение за то, что ты научился грамоте, отдается тебе на всю волю: затеряй, продай, променяй, подари кому хочешь — твое добро... начальство тебя о том никогда не спросит“. Во всяком случае, книга не уничтожается, но все-таки остается в народе, и тем еще более распространяет свою известность, что переходит из рук в руки... Тогда будет *запрос* на книгу и в городах, у площадных книгопродавцов и у коробейников по деревням».

Точно на луне или в «Марфе Посаднице» Карамзина. Какая действительность! Да тут все, решительно все — Фролы Силины, благодетельные человеки! «Предложить волостным головам и сельским старостам в волостных правлениях и сельских расправах, *покупая на экономические деньги* (эво-на!), дарить „Читальник“ грамотным мужикам, „как бы в награду за их грамотность“». То есть прежде распространения образования предположить в мужике такую любовь к образованию, такое ясное сознание необходимости его, что он *добровольно* согласится на *жертву деньгами*. Потом, прежде распространения «Читальника» и узнания, что он такое, предположить такое огромное к нему уважение, что его уж в награду дарят (ведь вы не силою же хотите заставить дарить, а по доброй воле). Наконец, главное: такое необычайное, неслыханное происшествие совершенно не в привычках и не в нравах народа: это что-то чудовищно-немецкое. Да не лучше ли уж пришивать бантики к правому плечу мужика, из розовых ленточек, за грамотность! Да ведь мужики будут ровно тридцать лет и три года стоять и думать на сходке: что это такое? — когда вы им предложите «Читальник», да еще на экономические деньги. Как *приказ*, они, конечно, исполнят: но *по доброй воле*... они и не поймут этого. И посмотрите, какое при этом тонкое, какое удивительное знание народа в глубоко юмористическом замечании г-на Щербины, что если б такое распространение книги поручено было непосредственно чиновникам земской полиции, то, пожалуй, иные мужики и не сказали бы грамотными. Ну, а вы так непременно уверены, что дарение на мирской сходке, без непосредственного участия полиции, произойдет у вас самым *патриархальным*, самым *благонравным* образом?

Сельские старшины, по-вашему, должны объяснить на сходке, что, мол, «книга тебе дарится в *награждение за то, что ты на-*

¹ Есть мера в вещах (лат.).

учился грамоте, отдается тебе на всю волю: затеряй, продай, променяй, подари кому хочешь — твое добро... начальство с тебя о том никогда не спросит».

Нам случилось прочесть в рукописи один проект распространения в народе грамотности. Там прямо представлялось как самое лучшее средство: запретить мужикам жениться до тех пор, пока они не выучатся грамоте. (До какого деспотизма может дойти иной либерал!) Нечего и говорить, что этим способом, в сущности совершенно неисполнимым, произвелось бы только озлобление и отвращение к грамотности; но несмотря на то, этот неисполнимый и драконовский способ кажется нам все-таки действительнее невинного и дезульеровского способа г-на Щербины. Воображаю мужичка, только что получившего в награждение «Читальник» на мирской сходке. Смущенный и встревоженный такой небывальщиной, бережно доведет он его домой, осторожно, даже со страхом положит книгу на стол, сурово отгонит от стола всех домашних, которые разбредутся в страхе по углам, сядет на лавку, подопрет обеими руками голову и в недоумении уставится глазами на «Читальник». Затем тотчас же наберутся любопытные соседи и кумовья, в свою очередь тоже озадаченные происшествием на сходке.

— Награда, говорят. От начальства, что ли? — скажет один.

— От начальства.

— Из Петербурха, слышно, пришла.

— Да какая ж тут награда, глухой ты человек! — ввяжется сам хозяин. — Награда за то, что грамоте знаю! Мне же лучше: за что ж награждать?

— А за то, чтоб, на тебя глядя, и другие старались награду получить: так ономьясь Гришка говорил, — скажет кум.

— «Читальник». Цена 30 коп., — прочтет другой сосед. — А поди-ка, продай, пятака, пожалуй, не дадут; лучше б они тебе, Гаврила Матвенч, эти самые тридцать копеек деньгами бы дали.

— Гм! не то ты говоришь, — перебьет кум. — Значит, понимай: то тридцать копеек, ты их пойдешь и в кабаке пропьешь, а тут тебе книга дается, «Читальник», в которой вся, какая ни на есть, премудрость описана...

— Стой, кум, не так! — кричит опять хозяин. — А зачем мне Григорий Саввич на сходке сказал: затеряй, продай, променяй, подари кому хошь — никто с тебя не спросит, твое добро! Кабы, значит, эта книга пужна мне была, зачем бы я стал ее терять, аль продавать? Нет тут не то... Тут начальство!..

— Начальство, — отзовутся другие, в еще большем смущении.

— Беда!

— К становому, ребята! седлай коней, Митька! — закричит мужик, решительно вскакивая с места.

А тут еще и насмешники найдутся:

— Ишь какую Гаврюхе модель подвели!

— Значит, все одно, что медаль получил.

— Опека, ребята!

«Часто распространение книги в народе зависит от *случайности*, — добавляет г-н Щербина, — иногда на книгу, подходящую под его вкус и требования, он вовсе не набредет и не наткнется. Эти случайности могут прямо вытекать из указанных нами мер и представляться несравненно чаще».

Нет, г-н Щербина, отвечаем мы на это. Из таких мер, как вы предлагаете, ничего не вытечет. Только разве упадет кредит книги. Без администрации у вас ни на шаг! Даже чтоб книги народу *понравились*, и то прибегаете к администрации. А как вы думаете: отчего это бывает, что книга нравится народу? Ведь что-нибудь должна же заключать в себе «Магометанка», что нравится и расходуется. Вы вот приписываете тому, что она написана высоким и чувствительным слогом, который народу по сердцу и в его вкусе. Тут есть крошечное зернышко правды. Действительно, высокий и чувствительный слог может нравиться, потому что заключает в себе и облекает собою действительность, хоть и невозможную, хоть и бессмысленную, но совершенно прогнивоположительную скучной и тягостной обыденной действительности простолюдина. Но ведь это не всё, тут далеко не вся причина. Главная и первая причина, по-нашему, та, что это книга *не барская* или *перестала быть барскою*. Очень может быть, что автор писал и назначал ее, в простоте своей, для самого высшего общества. Но литература наша встретила ее с насмешкой. Издалась она у маленького книгопродавца-спекулятора, который пустил ее по рынкам за дешевейшую цену. Отвергнутая «господами», книжка тотчас же нашла кредит в народе, и, может быть, ей очень помогло, в глазах народа, именно то, что она не господская. Разумеется, она не между мужиками расходилась сначала, а попалась горничным, писарям, лакеям, приказчикам, мещанам и тому подобному народу. Попавшись раз, укоренилась и начала распространяться по казармам, а наконец, даже и по деревням. Только по деревням все-таки очень мало. Мы для того делаем это замечание, что наши составители народных книжек прямо метят на мужика-пахаря. Это глубоко ошибочно. Крестьянин-пахарь еще далеко не ощущает такой потребности в чтении, как городской простолюдин, мещанин, писарь, приказчик и даже как деревенский же дворовый человек. К крестьянину и книжки-то *заходят через этот, высший класс простолюдинов*, и смешивать характер и потребности этих двух классов народа — невозможно, а у нас их часто смешивают, оттого и рождается у нас ошибочная мысль действовать при распространении книги прямо через сельские общества. Книга, которая сельскому народу понравится, пойдет к нему сама собою, от городских простолюдинов и от дворовых, и вот покамест существующий в действительности у нас способ распространения книг в народе. Этот-то способ распространения и надо бы преимущественно иметь в виду. Этот высший класс простолюдинов, заключающий в себе лакеев, мещал, пи-

сарей и проч., граничит даже с иными чиновниками и помещиками включительно. Многие и из благородных, и из служащих, недоученные и малообразованные, гоже читают и ценят «Магометанок»; «Зефироты» же, например, действуют не только на низший класс, но захватывают чрезвычайную массу и из высшего, то есть даже и не из очень малообразованного высшего. Тот, который уже не станет читать и «Магометанку», с наслаждением прочтет «Зефиротов», равно как и все толки о светопреставлении и прочих таких же предметах. В человеке, лишенном всевозможной самодеятельности и принявшем (и по обычаю, и по невозможности принять иначе) предстоящую действительность за нечто крайне нормальное, невообразимо-непреложное и установившееся, естественно рождается некоторое влечение, некоторый соблазн к сомнению, к философствованию, к отрицанию. «Зефироты» и проч., представляя собою факты или возможность фактов, прямо противоположных насущной действительности и глубоко отрицающих ее непреложность и ее гнетущее спокойствие, — чрезвычайно нравятся этой отрицательной точкой зрения средней массе общества и, написанные популярно, дают превосходный способ поволноваться умам, пофилософствовать и насладиться хоть каким-нибудь скептицизмом. Вот почему и простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительности, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий. Даже сказки, то есть прямые небылицы, нравятся простому народу, может, отчасти по этой же самой причине. Каково же будет действовать на него всё мистическое? А так как все эти книги не выходят из народных воззрений и не превышают его философию, то и признаются *своими*, и с накоплением этих книг высшая, *господская* литература всё резче и глубже отделяется от *народной*. И потому ужасно смешно, когда г-н Щербина предлагает народу «Слово о поюку Игореве» и, еще *лучше, пословицы*. То есть, то, что из народа же вышло, что составляет его обыденную действительность, — пословицы — предлагаются народу же от нас. Ну к чему ему пословицы? Чтоб быть еще народнее? Не беспокойтесь, он их не забудет и без ваших напоминаний; вы-то сами их не забудьте.

В книге г-на Щербины не всё совершенно неинтересное для народа. Но тон книги, барское происхождение ее, подступы и подходы ее — всё это будет несносно для народа. Он *инстинктивно* отвергнет ее. К тому же вышеприведенный способ распротранения ее убьет ее успех окончательно.

Повторяем опять: по-нашему, самый лучший способ (из искусственных) — это спекуляция. Тут, если хотите, тоже высшая искусственность, высшая степень подхода и подступа, и от этого и успех тоже может быть отчасти сомнителен. Тут потому *высшая* искусственность, что весь *подступ*, весь *подвох*, будет именно состоять в том, что его совершенно снаружи не будет видно, то

есть книга с первого взгляда как будто издана и распространена совершенно для одних барышей. В самом деле, спекулятор — какой же барин? Какой же *умышленный* распространитель просвещения в народе? Спекулятор свой брат, гроши из кармана тяплет, а не *напрашивается* с своими учеными благодеяниями. Но вот задача: как обратить *умышленного* просветителя в спекулятора? Издаст книгу какое-нибудь благотворительное общество, или какой-нибудь вельможа — просветитель человечества, или, наконец, просто ученый — друг человечества. К чему им деньги? Они рады своих положить. Тут нужно очень схитрить, чтоб неприметно было народу. Так что всего бы лучше было, если б этот друг человечества и *вправду* был спекулятор. В этом, по-нашему, и дурного-то не очень много. Трудящийся достоин платы; это давно сказано. Представим себе человека благодетельного, сгорающего желанием добра, но бедного. Ведь надобно же и ему жить и кормиться от труда своего. А так как он имеет особый талант составлять народные книжки, то есть знает народ и что именно ему нужно; а сверх всего этого и сам воспламенен желанием способствовать наискорейшему распространению в народе грамотности и образованности, то вот он и нашел себе занятие: издаст-себе книжки, продает их и доходом с них кормится. И даже вовсе не надо тут возвышать особенно цену на эти книжки. Если они придутся по нраву, то будут расходиться в большом количестве, следовательно, как бы ни был мал барыш с каждой книжки, в сумме он был бы значительный. Тут именно чем талантливее составлена книжка, тем более ее разоидется, следовательно, тем вернее барыш. А талантливо составить — значит занимательно составить, потому что самая лучшая книга, какая бы она ни была и о чем бы ни трактовала, — это занимательная. Для этого-то и нужно, по возможности, избегать всякого подхода, всяких «отделов», основанных на предварительных ученых и психологических изучениях мужичьей души; всяких отделов, выпускающих из себя вторые отделы, а вторые — третьи и т. д.; всяких статей с расчетом завлечь и приободрить, и, одним словом, чтоб как можно труднее (а не яснее, как сказано было у г-на Щербины) можно было «усмотреть те существенные свойства логики, практических и психологических соображений», которые издатель положит в основу своей книги. То есть и логика, и все эти практические и психологические соображения непременно должны быть и будут у составителя книги, если только он умный и дельный человек; но надо, чтоб они были по возможности скрыты, так что всего бы лучше было, если б все эти основы были даже и от самого составителя скрыты и действовали бы в нем наивно и даже бессознательно. Но это уж идеал; это возможно бы было только в том случае, когда бы составитель народных книжек видел в этом составлении неудержимое призвание свое с самого детства и ощущал бы в себе самую наивную и горячую потребность жить с народом и говорить с ним во все дни и часы своей жизни. Таковы, говорят,

бывают некоторые *врожденные* педагоги, до страсти любящие жить и обходиться с детьми, которых отнюдь не надо смешивать с учеными и искусственными педагогами. И первые, то есть врожденные, могут, в свою очередь, тоже быть очень учеными педагогами; но без внутреннего влечения и призвания одна их ученость не принесла бы таких плодов. Но подобного составителя народных книг трудно иметь теперь в виду, хотя они непременно явятся впоследствии. Всякая вновь появившаяся в обществе деятельность достигает наконец идеала в своих деятелях. У нас же эта деятельность всего только что зарождается, но обещает перейти в крайнюю потребность. Такие деятели впоследствии безо всякого опасения будут издавать и все необходимые юридические, гигиенические и всевозможные ические сведения для народа, и издадут их прекрасно, издадут именно *то*, что нужно, безо всякого подвоха и подхода, именно потому, что они будут нужны народу, и тем скорее всё это удастся им так хорошо, что они-то, сами-то издатели, будут настоящими народными деятелями, так что наконец и сам народ признает их за своих, и книжки их будут расходиться в безмерном числе экземпляров, потому что, кроме того что будут полезны и нужны, они будут еще изданы *таланливо*; ибо *прежде всего* нужен талант, чтоб подходить к народу и обращаться с ним, наивный и прирожденный талант, чего, кажется, вовсе не имеют в виду составители теперешних «Читальников». Но мы теперь покамест издаем *искусственно* и с *хитростью*, и потому, чтоб уж как-нибудь маскировать эту хитрость, нужно, чтоб и искусственность, и хитрость наша приписана была народом одной спекуляции, одному желанию сбыть книгу за деньги. И потому, во-первых, педантская простота таких названий, как например «Читальник», могла бы быть и устранена. Народ вовсе не такой пуританин, как вы думаете. Он не обидится заманчивым заглавием и догадается, что оно выставлено на книге единственно для того, чтоб подманить его купить ее, а не для того, как в «Читальнике», что ее нужно читать, для того, что стыдно быть безграмотным и необразованным мужиком, стыдно перед добрыми людьми и благодетельными господами, которые принуждены были, наконец, административно и официально распространять в невежественном черном народе просвещение. И потому всякое административное распространение книги должно быть по возможности устранено, а нужно, чтоб народ сам достал ее с рынку, именно потому, что сам кум Матвей слышал и рекомендовал, что книжка «занятая». Никогда так сильно не распространяется книга, какая бы она ни была, как натурально, сама собою, и это самое верное, самое толковое, крепкое и полезное распространение ее. В книжке этой, по крайней мере хоть на *первый раз*, всё должно быть пожертвовано занимательности и завлекательности. И потому при составлении такой книжки отнюдь не надо чуждаться того, что выходит из обыденной, видимой и часто противной простолюдину его действительности. **Вовсе не**

преступно будет, например, действовать преимущественно на во-
ображение простолюдина. Чудеса природы, рассказы об отдален-
ных странах, о царях и народах, о русских царях и их деяниях,
о каре Новгорода, об самозванцах, об осаде Лавры, о войнах,
походах, о смерти Ивана-Царевича, занимательные приключения
частных людей, путешествия, вроде, например, путешествий Кука
или занимательнейшего для *всех классов и возрастов* путешествия
капитана Бонтекое, гениально составленного из прежних мате-
риалов Александром Дюма...

Боже! что я слышу! какой гомерический хохот, какое страш-
ное негодование поднялось кругом. Как! в книгу для народного
чтения переводить из Александра Дюма! Но что же делать, если
Александр Дюма написал Бонтекое (для детей, кажется) гени-
ально, именно так, как нужно для рассказа народу. Народ вовсе
не такой пуританин, как кажется, а не побрезгать при случае
и Дюмасом, может быть, было бы именно настоящей-то, желае-
мой-то практичностью и деловитостью, потребной при составлении
книги. Народ очень не прочь читать, но он очень еще не иску-
сился в чтении. К чему кормить его зауряд одними только эссен-
циями полезности, благонравия и вашей благонамеренности? Вы
скажете, что народ вовсе не так избалован вкусами, как какая-
нибудь барыня, которой непременно надо Дюма, чтоб у ней
книга не выпала тотчас же от зевоты из рук? Согласен с вами;
но книга все-таки для народа новинка, и хоть он вовсе не того
ищет в ней, чего требует от них праздная и тупая барыня, но
завлекательность крайне не вредит. Мне самому случалось в ка-
зармах слышать чтение солдат, вслух (один читал, другие слу-
шали) о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и
герцогини де Лявергондьер. Книга (какой-то толстый журнал)
принадлежала юнкеру. Солдатики читали с наслаждением. Когда
же дошло дело до того, что герцогиня де Лявергондьер отказы-
вается от всего своего состояния и отдает несколько миллионов
своего годового дохода бедной гризетке Розе, выдает ее за кавалера
де Шеварни, а сама, обратившись в гризетку, выходит за
Оливье Дюрана, простого солдата, но хорошей фамилии, который
не хочет быть офицером единственно потому, что для этого не
желает прибегать к унизительной протекции, то эффект впечат-
ления был чрезвычайный. И сколько раз мне приходилось иногда
самому читать вслух солдатикам и другому народу разных капи-
танов Полей, капитанов Панфилов и проч. Я всегда производил
эффект чтением, и это мне чрезвычайно правилось, даже до на-
слаждения. Меня останавливали, просили у меня объяснений раз-
ных исторических имен, королей, земель, полководцев. Я думаю,
Диккенс произвел бы гораздо менее эффекта, Теккерея еще менее,
а военные рассказы Скобелева так ничего не производили: только
зевали от скуки. Ох, да какой это чуткий народ! Тотчас разберет
ложь и подход. И какой юмористичный, вострый народ в то же
время. Разумеется, мне скажут: какой же полезной цели достигли

11.3.

0.17.1910

0.17.1910
г. Псков, в присутствии
г. Псков, в присутствии
г. Псков, в присутствии

11.3.

Проект контракта с Псковским университетом

II

В соответствии с вышеизложенным и в целях выполнения условий контракта, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего проекта, стороны обязались заключить настоящий контракт на условиях, определенных в нем.

1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по созданию и эксплуатации системы автоматизации процессов управления объектом, подлежащим автоматизации.

2. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту.

3. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания настоящего контракта.

4. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 100 (сто) тысяч рублей.

5. Оплата производится по мере выполнения работ.

6. Ответственность за выполнение работ по настоящему контракту несет подрядчик.

7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, другой — у Подрядчика.

вы вашим чтением вслух? образовали ль вы ваших слушателей, с чем ушли они от вас? Во-первых, отвечаю, что я вовсе не хотел образовывать моих слушателей, а только доставить им удовольствие, и потому я этого хотел, что мне самому доставляло это чрезвычайное удовольствие. Когда же я растолковывал о королях, о землях и вообще делал полезные замечания, то и это мне доставляло очень много удовольствия. Во-вторых, тут все-таки было чтение, а не что другое, и как бы то ни было, а эти люди все-таки приучались находить наслаждение в *книге*. Книга, стало быть, вообще выигрывала. В-третьих, хоть я и вовсе не думал тогда о том, но впоследствии мне пришло в голову, что книга все-таки лучше, чем, например, *три листа* или *горка*. В-четвертых, если уж пошло на полезность и на отчет в ней, то ведь что-нибудь значат же, наконец, хоть, например, вынесенные из чтения душевные впечатления, некоторые мысли, некоторые мечты. Разумеется, было бы несравненно полезнее, если б они прослушали «Слово о полку Игореве», «об инфузориях», «ряд пословиц», об «афонской горе» или хоть о «Несторе-летописце» (которого биография помещается в «Читальнике», кажется, не потому только, что занимательно было бы узнать житие Нестора, а потому, что Нестор был *летописец*, что, разумеется, в глазах народа, придало бы ему чрезвычайную занимательность, не правда ли?). Пожалуйста, не обвиняйте меня в подходе: я вовсе не спорю, и все эти названные мною статьи «Читальника» могли бы, разумеется, быть чрезвычайно и полезны и занимательны для народа. Но вот что мне кажется: мне кажется, мало того, чтоб взять, выбрать их откуда-нибудь и поместить в «Читальнике», чтоб народ их тотчас же с жадностью прочел: мне кажется, их надобно и составить по возможности с вдохновением, с призванием и именно с тем талантом, который необходим для такой *народной* литературы.

Меня спросят: да откуда же вы возьмете теперь статей для вашей, например, книги, хотя бы вы ее и составили для спекуляции, безо всякой официальности и подходности и проч., и проч., и проч.? Отвечаем: мы бы, конечно, *теперь* воспользовались тоже нашей современной литературой, хотя вся она, чуть не сплошь, — литература *для господ*. Но, разумеется, и в ней можно много, даже *очень много* выбрать удобного и для народного чтения. Только надобно суметь сделать выбор. Как сделать этот выбор — мы полагаем, после всего нами сказанного, объяснять излишним. Мы разбираем статью г-на Щербины, но вовсе не претендуем на то, что мы способны сделать такой выбор умнее и удачнее его. Сделаем только одно замечание, именно: какие бы мы *спекуляции* ни предлагали, но думаем, что теперь, в настоящую минуту, хорошего «Читальника» у нас все-таки никто не составит. Зато мы совершенно уверены, что впоследствии и, может быть, даже скоро, у нас откроется свой особенный отдел литературы, собственно для народного чтения. Это только гадание, но нам верится в его осуществление. Деятели *этой* будущей литературы,

как мы уже упомянули выше, будут действовать по прямому, врожденному призванию, по вдохновению. Может быть, они пассивно, безо всякого труда найдут тот язык, которым заговорят с народом, и найдут потому, что будут сами народом, действительно сольются с его взглядами, потребностью, философией. Они перескажут ему всё, что мы знаем, и в этой деятельности, в этом пересказывании будут сами находить наслаждение. Нам даже кажется, что им не придется нимало скрывать от народа действительное свое развитие. Тогда, может быть, они ощутят в себе и совершенно новые взгляды и совершенно новые воззрения, живые, положительные, сила и самостоятельность которых получится именно от новой деятельности, от потребности этой деятельности, и которые будут плодом насущной, настоятельной необходимости нашего соединения с народным началом. Это, разумеется, только еще гадание, и хотя много бы нам хотелось сказать, в смысле гадания, теперь об этой будущей деятельности литературы нашей, но по некоторым причинам мы теперь об этом умалчиваем. К тому же надо об этом особо говорить. Но во всяком случае мы отнюдь не отрицаем теперешней деятельности наших умных и благонамеренных людей при составлении книг для народного чтения. Давай бог. Из этой-то деятельности и явится последующая, более благотворная. И потому, если мы теперь и не согласились в чем с г-ном Щербиною, то повторяем: редко что мы читали более умного, более благонамеренного, чем его «Опыт». Автору «Опыта» мы не можем не быть благодарными за превосходный и полезнейший труд его и завидуем журналу, поместившему у себя такую дельную статью.

V. ПОСЛЕДНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ДЕНЬ»

Когда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собою разные дразги за принципы и убеждения. Один упрекает другого, что тот не так верует, другой упрекает первого, что тот у себя под носом ничего не видит; третий кричит о книжках и об обертках книжек, четвертый ко всему, кроме себя, равнодушен, пятый успокоился на незыблемых мировых законах, подводит всё и всех под мировой ватерпас и свистит, на всех глядя. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь. Вот явилась газета «День», всего только пять номеров, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопрос» об университетах, и вот полился на нас целый водопад статей об университетах. Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях, и мы будем спорить о принципах, и мы будем упрекать других, что они не так веруют...

Что делать! одна для всех колея. А сказать свое слово надо: все участвуют... во всеобщем движении и т. д., и т. д.

«День» — это та же покойная, но неуспокоившаяся «Русская беседа», разбитая на газетные листки. Те же имена, те же мысли, те же принципы. Редактором Иван Аксаков, статьи в первом номере Хомякова, Константина Аксакова (покойников). В журнале всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы. Этого нет почти ни в одном теперешнем русском издании, по крайней мере в такой непрерывности, и это ставит газету на довольно любопытное место. Вообще издание очень любопытное.

Кое-где оно уже очень насолило: Аскоченский, говорят, восторженно похвалил его, а некоторые так даже поспешили похоронить новый «День» (печатно, разумеется). В одном петербургском журнале некоторые погребальщики уже *догадались* и о том отделении, к которому надо причислить журнал.

Но господа могильщики неправы.

Тут и слова не может быть о разделе по отделениям.

Мы не за «День» заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковых, всех троих, слишком известно, чтоб не знать, с кем имеешь дело. И наконец, что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему — губить его, — чем другим нельзя, так хоть клеветой. Что за домашние деспотики! Что за домашний терроризм, вспоенный на кислом молочке!

Но довольно... Скажем и наше слово о новой газете.

Это всё те же славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, нимало не изменившееся, у которого идеалы и действительность до сих пор так странно вместе смешиваются; для которого нет событий и нет уроков. Те же славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью. Вот для образчика из первого номера «Дня»:

«И на каком же широком просторе разгулялась, да еще и разгуливает эта ложь! Всё внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказой, поражены и растрелены ею. Ложь! Ложь в просвещении, чисто внешнем, лишенном всякой самостоятельности и творчества. Ложь в вдохновениях искусства, слиящегося воплотить чуждые, случайные идеалы. Ложь в литературе, с надменною важностью разрабатывающей задачи, созданные историческими условиями, чуждыми нашей народной, исторической жизни, — в литературе, болеющей чужими болезнями и равнодушной к скорбям народным. Ложь в порицании нашей народности не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга. Ложь в самовосхвалении, сопряженном с упадком духа и с неверием в свои собственные силы. Ложь в поклонении свободе, уживающемся рядом с побуждениями самого уточненного деспотизма. Ложь в религиозности, преданности вере, прикрывающей грубо безверие. Ложь в торжестве диких учений, созданных бесстыдным невежеством, безбоязненно оскорбляющим общественную совесть и несмиряющимся пред очевидною несокрушимую крепостью коренных основ народной жизни. Ложь в легкомысленной гоньбе за новизною под чужьею фирмою прогресса и цивилизации. Ложь в гуманности и образо-

важности, которыми, в своей систематической непоследовательности, щеголяет наше общество, допускающее без разбора самые несовместимые начала, закрывающее глаза от выводов, обходящее сознательно все основные вопросы, рабелепствующее всем модным кумирам современности и выдающее за подвиг высокого благородства и терпимости дешевое умение замазывать, не разрешая, самые непримиримые противоречия!.. Страшно, невиданное сочетание ребяческой незрелости со всеми недугами дряхлой старости, и при всем том — исцеление возможно и даже несомненно! Мы это все чувствуем, мы даже не можем и усомниться в том искренно, и заря нашего спасения уже брезжит».

Не думаем, чтоб эта заря брезжила для славянофилов. Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть — хуже, чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее непохоже на раз отлитую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. Впрочем, и собственный-то идеал у них еще вовсе не выяснен. Есть у них иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) основных элементов русской народной особенности. Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению неоконченном. Трудно представить себе понимание более точное, ясное и широкое и плодотворное. Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе, помещенную теперь в первом номере «Дня»... Но об ней после. Ответим на приведенную выше выписку.

Скажем прямо: предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать обо всей литературе, что она «равнодушна к скорбям народным?» Как сметь сказать «о порицании нашей народности, не в силу негодующей, пылкой любви, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне чести и долга?» Что за фанатизм вражды! Что за резкая уверенность в самых сокровенных помышлениях противников, в сердце и в совести их! Неужели любить родину и быть честными дано в виде привилегии только одним славянофилам? Кто мог сказать это, кто бы решился написать это, кроме человека в последней степени фанатического иступления!.. Да, тут почти пахнет кострами и пытками... Мы не преувеличиваем. В конце статьи нашей мы приведем еще одну тираду из «Дня»; она на многое намекает...

Да, конечно; у нас лжи было много; это правда. Чужие интересы не раз принимались за свои, но если и принимались, то именно потому, что казались *своими*, родными, кровными, а вовсе не потому, что будто бы двигало западниками одно «внутреннее нечестие, инстинктивно враждебное всякой святыне чести и долга». (Как поднялась у вас рука написать это! Нужно во многом сперва заручиться, чтоб взвести такое ужасное обвинение!) Но зачем же не замечать правды, зачем выпускать из виду возрожда-

ющуюся со всех сторон жпзненность, стремление к действительности, к почве? Если есть ложь, если была она, то наша художественная литература, за десятки последних лет, почти сплошь относилась к этой лжи *отрицательно*, а не *положительно*. Для славянофилов, кажется, не существует подобного, например, факта, что во время самого яркого западничества, доходившего чуть не до последних крайностей, вся художественная литература наша, Гоголь (до болезни его) и все за ним следовавшие, относились к плодам и результатам того же самого западничества — отрицательно. Исчез для них и тот факт, что именно эта самая литература, страстно-отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосуждения, благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным, — что эта самая литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. Но славянофилы до сих пор упорно хотят видеть в западниках своих врагов и говорят о них не иначе как с презрением и проклятием, забывая или, лучше, не хотя понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непременно желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, то есть было вызвано самим процессом жизни. Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и *во что бы ни стало* отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к *реализму*, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, в *сущности*, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) — из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же «Марфы Посадницы», прочитанной когда-то в детстве, и наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, — над немцами непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми. Мы вовсе не хотим смеяться, говоря это, да и смеяться-то не над чем; но мы хотели только заявить о несколько мечтательном элементе славянофильства, который иногда доводит его до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. Так что во всяком слу-

чае западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вменяло это себе в большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрос, с большою разрешило его и, через самосознание, воротилось-таки на родную почву и признало соединение с народным началом и спасение в почве. Мы, с своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность его, что в теперешнем, чуть не всеобщем (кроме некоторых крайних и смешных исключений) повороте к почве, сознателюм и бессознателюм, влияние славянофилов слишком мало участвовало, а даже, может быть, и совсем не участвовало. Партия движения шла собственным путем и осмыслила свой путь собственным анализом. Но и признав необходимость почвы, она прежнюю жизнью, прежним развитием убедилась, что дело не в проклятии, а в примирении и в соединении, что реформа, отжившая век свой, все-таки внесла к нам великий элемент общечеловечности, заставила нас осмыслить его и поставила его в нашем будущем как главное назначение наше, как закон природы нашей, как главнейшую цель всех стремлений русской силы и русского духа. И заметьте себе: западникам сочувствовала всегда у нас масса общества. Не презирайте ее, эту зарождающуюся массу! не говорите о ней, как уж и слышится с некоторых сторон, что масса нашего общества слишком ничтожна, слишком невежественна, слишком изуродована на европейский лад и уже подгнила, прежде чем хоть во что-нибудь успела сложиться. Не утешайте себя этим, не пренебрегайте инстинктами общества, каковы бы они ни были. Вспомним, что общество страстно сочувствовало западникам и разделяло все их ошибки и увлечения, тогда как постоянно принимало славянофильство за маскарад. А где тайна этого сочувствия массы? Тайна в том, что жизнь, хоть какая-нибудь, что действительность, что обновление, что залогом будущего, что даже самый возврат на родную почву и первый шаг к тому — все-таки в руках реалистов, потому что европеизм, западничество, реализм — все-таки это возрожденная жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жизни. Западничество шло путем беспощадного анализа, и за ним шло всё, что могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анализа. Пусть ложь в этой массе, пусть в ней сброд тех лжей, которые с таким ярким наслаждением вы пересчитываете. Мы не боимся этого злорадного исчисления наших болезней. Все эти лжи, если есть они, — заранее определенные судьбою станции пытливого ума и анализа. Пусть это лжи, но движет нас правда. Мы в это веруем. Движение остановиться не может, и общество дойдет-таки до окончательного результата по крайней мере теперешних усилий своих; будьте в этом уверены.

Но вы являетесь с газетой. Вы не хотите стоять в стороне от всеобщего движения. Вы хотите отзываться на современные явле-

ция жизни живым, неустанным словом, войти с усиленною против прежнего деятельностью в эту толчею почти чуждых вам (как вы сами заявляете) интересов. Мы рады товариществу; но ведь товарищем вы не будете. Вы все-таки будете нас учить нестерпимо свысока... учить, беспрерывно учить; смеяться над нашими ошибками; не признавать наших мук и страданий; осуждать их со всею жестокостью иступленного идеализма и... и... Но вы уж и начали. Смотрите, как тот же К. Аксаков, в статье своей, в 1 № «Дня», относится сплошь ко всей русской литературе. Он смотрит на нее враждебно-скептически, он отрицает в ней всё *свое*, с легкостью нестерпимой от серьезно болеющего сердцем человека, с улыбкой свысока-оскорбительной. Даже если б он был прав совершенно в суждении своем, то легкость, скептицизм статьи, это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего, этот презрительный взгляд, скользящий сверху и не удостоивающий ни над чем серьезно остановиться, не удостоивающий ничего оценить, — уж одно это было бы в высшей степени бессердечно и легкомысленно. У него вся литература наша — сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу. Он отрицает всякое проявление сознания общественного в нашей литературе, не верит анализу, в ней проявляющемуся, самоосуждению, мукам, смеху, в ней отражавшимся. Нет, господа; вы с нами не жили, вы в наших радостях и скорбях не участвовали; вы приехали из-за моря!

Да, конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отозвалось в созданиях нашей литературы, отражается и до сих пор. Но разве мы рабски воспринимали их, разве не переживали их жизненным процессом, разве не выработывали своего русского взгляда на эти иноземные явления, разве не убедились, не прочувствовали самую жизнь, что общечеловечность есть, может быть, самое важнейшее и святейшее свойство нашей народности? Разве, наконец, мы не сознавали народности, не сознали необходимости почвы и обращения к ней? К. Аксаков говорит, что все попытки обращения к народности оказались в литературе нашей неудачными. «Портрет купца похож, — говорит он, — у Островского; речь сходна: говорит *должен*, а не *должен*». Неужели ж К. Аксаков у Островского только и заметил это *должен*, а не *должен*? По смыслу и по тону статьи так выходит. Нет, мы не поверим в этом К. Аксакову; он прикидывается. Ведь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вставить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную, — ну хоть так, как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу пополудни, на Невском проспекте... И как вы думаете, чего требует К. Аксаков? Где же, говорит, настоящий купец? где душа его? где то, что в нем жить должно? То есть, ни больше ни меньше, требует изображения положительных сторон русского человека, с патетической его стороны. А, каково? то есть последнего слова сознания, последней степени красоты мелькающего нам и манящего

нас идеала. Безделица! Мы не упрекаем К. Аксакова, что он не разглядел в Островском следов положительной русской красоты, уже кое-где намеченной во всем его «Темном царстве», что он не подивился на то: как это так рано удалось, так рано случилось, так рано начало высказываться это новое слово, — вместо того, чтоб попрекать и подсмеиваться? Мало ли что человек может не заметить, особенно под влиянием известного идеального настроения. Но нам нестерпимо суждение барича в желтых перчатках и с хлыстиком в руке над работою чернорабочего: «А что урока отчего не сработал? По восьми пудов не можешь носить? Неженка!» Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но, сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались. Вы скажете: нелепо и грубо нам так рассуждать. Извольте, мы согласимся с вами, но только тогда, когда вы не будете рассматривать ваших же русских свысока, как букашек, как кучу каких-нибудь муравьев, и забавляться над нашими усилиями, муками и ошибками. Бросьте ваш тон свысока и вспомните, что вы сами русские и принадлежите к тому же самому обществу, один фатализм нас связал, и *свысока, со стороны* вы судить не можете, себя выгораживая. Вы как будто хвалитесь, что у вас есть *свое, особое*, не такое, как у нас. Ведь согласитесь, в словах «*должен, а не должен*» лежит столько насмешки, столько лукавой про себя насмешки: «Ведь вот, дескать, чего этот жалкий народ не знает! каких основных вещей не понимает! Как совратился, как оупел!» Ну и покажите нам то, что у вас есть, не скрывайте сокровище; да не в наставлениях, не в надгробных над нами речах покажите его, а в настоящем деле, — ну хоть в искусстве, так как это всего невиннее и... сподручнее. Иначе ведь странно со стороны: что ж это в самом деле, подумаешь, люди, говорят, постигли тайну русского назначения, русского духа, привилегированно отмежевали себе знание русских судеб русского человека и то, «*как он быть должен*», а смотришь — на деле от них и нет ничего. И не могут сами-то показать, «*как он быть должен*!» И добро бы не было у них литераторов!

Литераторы-то есть, да жизни-то нет!

Да, ее нет! Чутья действительности нет. Идеализм одуряет, увлекает и — мертвит, и вы сами не ясно понимаете то, пониманием чего хвалитесь перед нами. Вот почему мы и сказали, что у вас есть чутье некоторых основных элементов русской жизни,

но не всех. Чутья как не быть: вы русские, люди честные, любите родину; но идеализм губит вас, и иногда вы даете ужасные промахи, даже в понимании именно этих-то основных элементов русской жизни. Ну вот, например, еще тирада, из 2-го № «Дня». Полюбуйтесь:

«Что видим мы . . . хоть в нашей литературе? Какие — *теории*? . . . С одной стороны, пустое, голое отрицание, волнение без содержания и без цели, какой-то призрак жизни и движения, — а в сущности нет ни жизни, ни движения, всё полумертво и гнило, и заимствует силу только от силы враждебного напора; с другой — грубая, тупая, бессмысленная *сила*, только в насилие и бездушном механизме полагающая спасение! С одной стороны, ложь разрушения, с другой, — ложь созидания; с одной стороны, неверие, поклоняющееся, как богам, людским, временным кумирам; с другой, — мнимая вера, поклоняющаяся и богу, как кумиру, и силою божьего имени служащая своим корыстным целям и выгодам! Тут — раболепство пред кажда́м последним словом науки; там — грубое презрение к науке, к мысли, к подвигам разума и духа; тут — злоупотребление, нечестное обращение со словом; там — преследование слова, любовь немoty и мрака, тайное сочувствие с бессловесными! И тут и там одинаковое умерщвление духа: там — через внешнее насилие, а тут — через оскудение и огрубление духа. И тут и там одинаковое подбострастное, рабское отношение к иноземному, бессмысленная покорность подражания, измена народному духу, при наружной грубой подделке под русскую народность. В безысходный мрак погружены обе враждующие стороны, во мраке терзают и истребляют друг друга! И если народ наконец подымет усталые от долгой дремоты очи, и взглянет на наших литераторов и всякого рода художников (кроме некоторых исключений), взглянет на этих незваных гостей, устроивших свой буйный пир у его ложа, прислушается к их оглушительным кликам, к треску и грому их велений и вещаний, — что скажет он? „Куда девали вы порученные вам дары нашей родной, богатой земли? Куда расточили ее духовные сокровища? Что случилось с моим обычаем, верою, преданием, моею прожитою жизнью, моим долгим и горьким опытом? Что совершили вы на досуге? Где цельность и единство жизни и духа? Где наука, вами взрошенная? Где мое живое, образительное, свободное слово? Какого хламу навесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безобразные снимки с чужих народов! подите к ним, если они вас примут: я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне.“ — скажет народ, пробуждаясь к сознанию, — и сметет их, как сор, свежая струя воскресшего народного духа! Но еще не наступила пора. И хотя мы почти уверены, что голос наш раздастся напрасно, но, применяясь к предмету настоящей речи нашей, скажем и мы: „Глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь господень. . . Покайтесь!“».

Хорошо-с. Но так ли скажет народ? Так ли (и это главное) рассудит он? Не приписываете ли вы ему своего суда, своих мнений? Вы говорите про наших художников и литераторов. Про художников мы теперь ничего не скажем и не будем гадать о том, какая участь постигнет нашу Академию художеств. Но другим, о которых вы говорите, он скажет, по-нашему, вот что: «Успокойтесь! вы те же русские, и я признаю вас русскими за то, что вы меня сами, наконец, признали и догадались, что без меня вам жить плохо и что без меня вы ничего не сделаете. Честь и слава вам, что как только проснулась ваша мысль, как только вы выросли и возмужали, тотчас же вспомнили обо мне. Честь и слава вам, что вы скорбели моими скорбями и других научали скорбеть;

что вы заступались за меня и решили сообща — воротиться ко мне, на родную почву. Научите ж вы меня теперь тому, что вы за морем узнали, и опишите мне в точности все ваши странствования и страдания. Я же вас научу тому, что вы своего позабыли. Во многом вы ошибались; но ошибку в фальшь не ставят. Ошибка умышленных вы промеж себя не терпели и не хотели терпеть, а я это выше всего ценю. Все мы из одной благородной почвы и, как русские, все мы друг перед другом равны. . . » И уж если пошло на тексты, то не грозный текст пророка приведет он тогда, а милосердное слово бесконечной любви. . . Так нам кажется. Нам кажется, что мы заслужим в его сознании, а сознательно он не сметет нас как сор. . . Ведь и у вас он говорит сознательно: как же вы сознательно вложили ему такие слова в уста! Нет, господа, не клебещите на русский народ, не приписывайте ему своего суда!

Есть у вас и еще тирады; но об них как-то не приходится нам судить (чтоб не распространять статью, разумеется). И тем более странно для нас, что ведь вы сами знали, что об этих тирадах не будут судить и на них не будут вам возражать. Но несмотря на то, вы увлеклись и — судили до конца. И ведь как судили-то, каким судом! Сами же признавались, начиная суд, что будете говорить только об одной стороне, выслушаете только одного подсудимого. В каком же суде выслушивают только одну сторону? А вы выслушали, да еще положили решение, то есть осудили одну сторону. Хорошо это вы сделали? Оставляем это на вашу совесть. Дело, конечно, шло об русской литературе. Это еще не так важно. Ну а если бы шло о чем поважнее? Поверьте, что это нехороший прием. Дурные «Дни» вы сулите нам впереди. Мы с симпатией думали встретить журнал ваш, но вы хоть какую симпатию потушите. Или вот еще: проявился у вас в 4-м номере один корреспондент — Н. Б. Пишет он о крестьянах. Трудно представить себе что-нибудь более ограниченного и самодовольного, как суждения господина Н. Б. Редактор «Дня» самым обязательнейшим образом возится с ним в продолжение всей статьи, возражает ему поминутно; уверяет его, что там, где г-н Н. Б. видит одну дичь, глупость и невежество крестьянина, не только нет дичи и глупости, но что даже, напротив, видно много ума. На некоторые возмущающие душу суждения г-на Н. Б. редактор возражает необыкновенно снисходительно и деликатно и даже спешит, в одном месте, заявить, что г-н Н. Б. совсем не обскурант. «Нам слишком хорошо известен образ мыслей и действий автора, — замечает редактор, — чтоб допустить возможность подобного об нем отзыва». Ну да положим. . . то есть не то что г-н Н. Б. не обскурант: этого мы никак допустить не можем, несмотря на отзыв редактора, а положим, что у всякого своя фантазия, что редакции нравится помещать такие статьи, на которые она сама принуждена писать в том же нумере критику. Ну а вот это как вам покажется? на одно мнение г-на Н. Б. редактор уже сам делает следующую заметку о бывшем крепостном состоянии:

«Мы даже думаем, что в *общей сложности* личные отношения помещиков и крестьян были довольно человечны. Покоясь на лоне, по-видимому незыблемого, крепостного права, наивно уверенный в его совершенной человеческой и божеской законности, помещик не имел надобности оправдывать это право клеветами на крестьян и относился к ним довольно дружелюбно и простосердечно. Этому доказательством служит между прочим и то, что помещики допустили образование и развитие крестьянских общин и мира, совершившееся вовсе не вопреки их воле и не в ограждение только от помещичьего произвола. У нас никогда не было ничего подобного отношениям феодальных владельцев к их вассалам. Крестьянин не был для помещика „виленем“ (vilain), а „рабом божим“ таким-то, „христианскою же душою“, хотя подчас и „с глупым крестьянским разумом“! Совершались иногда страшные злоупотребления, но они не возводились *в закон*, как на Западе. Такие пошлости, какие взимались там, такие „*права*“ владельцев, как знаменитое *Jus primae noctis*,¹ у нас просто немислимы. Когда же критика общественного сознания обличила всю внутреннюю неправду крепостного права и нарушила блаженный мир бессознательных, деспотических и в то же время каких-то простодушных отношений, возникли действительно со стороны многих помещиков клеветы на крестьян, и вообще ложные оценки крестьянского права, не помешавшие, впрочем, совершиться делу освобождения.

Гораздо сильнее клевет крепостного права были клеветы на русский народ, создаваемые неистовыми поклонниками западной образованности, отрицавшими в народе всякое право на свободное и самобытное народное развитие».

Хорошо «Покоясь на лоне, по-видимому незыблемого, крепостного права, наивно уверенный в его совершенной человеческой и божеской законности, помещик относился к крестьянам довольно дружелюбно и простосердечно»...

Во-первых, до какой же оупелости должен дойти человек, чтоб быть уверенным в *божеской* законности крепостного права. А если так, то как же можно ручаться, что такой человек мог относиться к своему крестьянину *дружелюбно*? Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с; одно другого, верно, стоило. Спросите у мужиков.

«Крестьянин, — говорите вы, — не был для помещика *виленем*, а рабом божим, христианскою душою». А холоп, хам, халуй, хамлет? — что, эти названия, по-вашему, благороднее вилена? Но позвольте, что вы разумеете под именем дружелюбных помещиков? Да помещик, при тех правах, которыми он обладал, даже самый добрый, самый добрейший, не мог относиться в некоторых случаях к своим крестьянам «дружелюбно и простосердечно». Но что говорить!.. Об этом так уже много сказано, и это так для всех ясно, что трудно в настоящее время не понимать этого.

Вы замечаете, наконец, что клеветы западников на русский народ были сильнее клевет помещиков на крестьян, когда блаженный мир «простосердечных» отношений нарушился усиленным присмотром правительства. Ну нет-с, это вам только кажется...

Но довольно. Ведь нам еще, может быть, несколько раз придется повстречаться с газетою «День» на дороге.

¹ Право первой ночи (лат.).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СНОВИДЕНИЯ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

— О, да будет проклята навеки моя должность — должность фельетониста!..

Не беспокойтесь, господа, это не я восклицаю! Признаюсь, что такое начало было бы слишком эксцентрично для моего фельетона. Нет, я так не воскликну, но до приезда моего в Петербург я решительно был уверен, что каждый петербургский фельетонист, принимаясь за перо, чтоб строчить свой еженедельный или ежемесячный фельетон, непременно должен так воскликнуть, сядя за письменный стол. В самом деле, рассудите, о чем писать? Приехала, напр<имер>, Ристори, и вот — всё что ни есть фельетонистов тотчас же строчит во всех фельетонах, во всех газетах и журналах, с направлением и без направления, одно и то же: Ристори, Ристори, — Ристори приехала, Ристори играет; она в «Камме», — тотчас же «Камма», «Камма», что ни развернете, везде «Камма»; в «Марии Стюарт», — тотчас же «Стюарт», «Стюарт» и т. д. Так и рвут друг у друга новости! А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же, уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то же, но как-нибудь не в тех же словах. И теребят свой умишко несчастные и проклинают свою участь. И сколько, может быть, драм, даже чего-нибудь трагического происходит где-нибудь в сыром углу в пятом этаже, где в одной комнате помещается целая семья, голодная и холодная, а в другой сидит фельетонист, дрожит в продранном халатишке и пишет фельетон à la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях, теребит свои волосы, грызет перо, и всё это при обстановке совершенно не фельетонной. Но я увлекся; может быть, и ни одного такого нет фельетониста в Петербурге. Может быть, они все ездят в каретах и питаются страсбургскими пирогами... Но что? Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на всё можно взглянуть своим собственным

взглядом, скрепить свою собственную мысль, сказать свое слово, *новое слово*. Но боже мой! что вы говорите! Новое слово. Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. Скрепить свою мысль, говорите вы. Но какую же свою мысль, где взять свою мысль? Отступите хоть на йоту от мыслей антрепренера, он тотчас же откажет вам и вышлет из журнала. Ну да положим, мысль и будет, но оригинальность, но оригинальность, — где ее-то взять? Мысль ведь это все-таки не ваша. На это надо... да, на это надо ума, прозорливости, таланта! Слишком много вы хотите уж требовать от нашего фельетониста! А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчиш, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: «Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь, тут посмейся, там отзовись с известного рода уважением, тут про Ристори, там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность, про взятки например, уж непременно про взятки, и готов фельетон. Ведь мысли теперь продаются совершенно готовые, на лотках, как калачи. Составился бы только печатный лист, да и дело с концом!» Иному современному строчиле (вольный перевод слова «фельетонист») и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты — всё будет рутинной и повторением, повторением и рутинной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это... это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны... Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? Новостей! новостей!

О господи! Мне до того надоели все новости, что я не понимаю, как еще вас от них не тошнит. Вот, например, случилось что-нибудь с Андрей Александровичем! Боже мой! Целые стаи фельетонистов налетают со всех сторон, как хищные птицы на павшую корову. Каждый хватает свой клочок, все клюют, клюют, щебечут, кричат, дерутся, как воробьи, когда они целыми тучами вдруг быстро перелетают с одного плетня на другой. Не в том дело, что они кричат: ведь и об Андрей Александровиче можно сказать, наконец, хоть что-нибудь путное, ну, хоть занимательное. Не в том дело, а в том... но, господи, позвольте не договаривать в чем. Даже и об Андрее Александровиче не хочется говорить; переменим матерью, поговорим о другом.

Я думаю так: если б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн. Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, брошенный в Петербурге, я как-то всё боялся его. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно пора-

зило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие — просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик!

Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мгlistом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглисто-го инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искуритя паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование... Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение, а прочее всё благополучно. Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на — бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог, так, за мрачное направление... О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддея Венедиктовича.

О, с каким наслаждением подхватил бы он в субботнем фельетоне мою фразу о розгах.

«Вот, смотрите, читатели и милые читательницы! — восклицал бы он четыре субботы сряду, — сами признаются, что им надобно розог. Я по крайней мере написал „Выжигина“, а они...» и т. д., и т. д. Но я надеюсь, что Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству, не пропишет мне розог.

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться всё такие

страшные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил вообразить себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моею в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, разворачиваю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай и... расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть — вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но... мне приятно было читать «Kabale und Liebe»¹ или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и... непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился б жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошенькую ручку, первый раз

¹ «Коварство и любовь» (нем.).

в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. И я опять как будто немного прозрел... О, зачем она так засмеялась, — я бы ничего не заметил! Зачем всё это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про всё это, несмотря на то, что женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну... Ведь я потом ездил на луну, господа.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны... Прежде в углах, в Амалиины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад... Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. Приснилось мне недавно вот что: жил-был один чиновник, разумеется в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком, так, из ласки, когда он перебежал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы, не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустил глаза в землю и что-то

пришептывая, как будто замаливал у господ свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. Они жили в мезонине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил, как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди! Да! все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских... И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все... Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я — Гарибальди, делайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним... что надо было сделать. Когда мне приснился этот сон, я сам засмеялся над собою и над странностью моих снов. И вдруг — сон в руку. Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а все-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на горах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-время не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на ломотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах

169 022 рублия» серебром» кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния, а тело умершего подлежит вскрытию...

Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие... был канун рождества... И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером. Тогда, впрочем, я не пролез в одну щелочку. Теперь, разумеется, — седина, житейская опытность и т. д., и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Ключки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, нарочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поровнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?.. Нет; ничего ему не надо, у него всё это есть, — там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет всё, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино... Не надо ему никакого.

Он выше всех желаний... Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть «Жизнь игрока». Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, — одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, как будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет всё больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, всё копит. И сладостно, и страшно ему, и страх всё больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплеванной квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он всё ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий, — и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в его глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Всё богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтоб употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и — отправился проживать по углам. По углам, за ширмами он спал, ел картофель, уменьшая каждый день его количество, трепетал и боялся, не доплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие углы, чтоб не заплатить потом и там. И сколько раз, может быть, бедная немка, его хозяйка, в папильотках и грязная, приставала к нему, чтоб он отдал ей хоть один грош своего долгу.

Он только ахал и охал, говорил ей о благочестии, о долготерпении и милосердии, крестил себе рот и засыпал тревожно и с дрожью, чтоб кто-нибудь не узнал его тайны, чтоб хозяйка не проведала... И зачем он ходил в Максимилиановскую лечебницу! Зачем ему было лечиться? Для чего ему была жизнь? И предчувствовал ли он, что все его полмиллиона поступят на храпение в Управу благочиния? Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!

Я вошел в Гостиный двор. Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Всё это покупало и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. Пред грудой игрушек стояла одна толстая дама с лорнетом и с лакеем в какой-то невозможной ливрее. Даму сопровождал курносый и чрезвычайно потертый молодой человек. Дама щebetала и выбирала игрушки; в особенности ей понравилась фигурка в синем мундире и красных панталонах.

— C'est un Zouave, c'est un Zouave, — пищала дама, — voyez, Victor, c'est un Zouave; car enfin il a... enfin c'est rouge; c'est un Zouave!¹

И дама с восторгом купила зуава.

Недалеко от них, у другого вороха игрушек, в толпе покупателей стояли господин и госпожа и долго выбирали, что бы купить, чтоб и хорошо было и подешевле. Последнее, кажется, очень занимало господина.

— Посмотри, душенька, ведь щелкает, — говорил он своей подруге жизни, показывая ей деревянную пушечку, которая действительно щелкала. — Смотри, видишь — щелкает!

И господин несколько раз щелкнул перед глазами своей озабоченной барыни. Но той хотелось игрушку получше; она с недоумением смотрела на пушку.

— Лучше бы вот хоть эту куклу, — сказала она, безнадежно указав на нее пальцем.

— Эту куклу? гм... — проговорил господин. — Отчего же, душенька, смотри — ведь щелкает?

Его нахмуренное раздумье, серьезное, озабоченное каждым гривенником лицо свидетельствовало, что деньги доставались ему не даром. Он не решался и, с нахмуренным видом, молча, продолжал щелкать из пушечки. Я не знаю, что они купили. Я продолжал пробираться сквозь толпу, преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил. Изредка в толпе слышался робкий голос ребенка, украдкой просившего милостыню.

¹ Это зуав, это зуав, посмотрите, Виктор, это зуав; ведь у него... ведь это же красное; это зуав! (франц.).

— Милостивый государь, извините, что осмеливаюсь вас беспокоить. . .

Я оглянулся. За мною следовал один господин, в форменном пальто, которого я подозреваю выгнанным из службы. Иначе быть не может. Они все ходят потом в форменных пальто, особенно бывшие под судом. Это господин вершков девяти росту, с виду лет тридцати пяти и родной братец Ноздреву и поручику Живновскому, в фуражке с красным околышком, с отвратительно свежим цветом лица и с необыкновенно тщательно выбритою физиономией, до того открытой и «благородной», что при взгляде на нее у вас рождалось непреодолимое желание плюнуть прямо в эту физиономию. Я его знаю; он уже мне не раз встречался на улице.

— Преследуем несчастьем. Сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся. Милостивый государь. . . с вашей стороны. . . если смею надеяться. . .

Не одного этого господина, дававшего по пятнадцати целковых нуждавшимся (надо было бы узнать, сколько он содрал с других нуждавшихся?), я встречал на петербургских улицах. Или мое такое несчастье, или я имею какое-нибудь особенное свойство на них наткаться. Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с великолепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. Это лицо сияло здоровьем, белые руки блестели чистотою. Он придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публикой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал. . . А какие бы из всех этих попрошайек вышли славные накатчики насосов или работники на железных дорогах! что за сила, что за здоровье! Но — благородство препятствует! И какие, должно быть, они были в свое время дантисты. . .

Но встреча с пальто отвратительно благородной наружности напомнила мне другую встречу летом, в августе месяце. В тот день я имел две встречи; одна из них произвела на меня премиленькое впечатление. Я проходил по Фонтанке мимо одного барского дома. У подъезда стояла щегольская двухместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато, прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. Я разглядел всю эту мгновенную сцену сквозь стекло кареты. Они меня не заметили; карета рванулась, а я расхохотался, стоя на тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах не целуются.

Часов в пять пополудни того же дня я проходил по Вознесенскому проспекту. Вдруг я услышал за собой робкий, слабый го-

лос; я обернулся — передо мной стоял мальчик лет двенадцати или тринадцати, с милепьким и добрым личиком, смотревший на меня просящим и стыдливым взглядом. Он что-то говорил, но голос его прерывался и немного дрожал. Одет он был бедно, но очень чисто, в летнем легком пальто, в фуражке, но в довольно худых сапогах. Старенький шелковый галстучек был аккуратно повязан у него на шее. По всему было видно, что он принадлежал к семейству бедному, но честному и выдававшему лучшие дни. И видно было, что этот галстук повязала ему сама маменька или старшая сестрица. Воротнички его довольно толстой рубашки были очень чисты. Манеры мальчика были просты и вежливы. В усталом лице его было много благородного, искреннего выражения.

— Извините меня, что я вас беспокою, — сказал он. — Будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь... — Проговорив это, он слегка покраснел.

Я отступил на шаг от удивления. Так странно показалась мне его просьба.

— Но кто же вы? — проговорил я в недоумении, — и как это вы... просите. Я, право, не ожидал.

— Меня утром послали папенька и маменька к нашим родным на Петербургскую сторону. Они думали, что я там могу обедать. Но там... я не мог обедать, долго ждал и теперь иду домой; я очень устал, и мне очень хочется есть...

— А где вы живете?

— У Смольного монастыря... Дайте мне шесть копеек, вот тут в лавочке есть пироги, я в окошко видел; эти пироги по шести копеек, я куплю пирог и отдохну в лавочке, а там опять пойду...

К счастью, у меня в кармане был четвертак, и я отдал его бедному мальчику.

— Скажите, кто же ваши родители? — спросил я.

— Папенька сперва служил, — отвечал мальчик, — и я ходил в гимназию. Нас четверо, сестер и братьев. А как папенька нынешнего года потерял место, я уж и не хожу в гимназию; жалованья нет, и мы теперь... очень бедны...

Вся история в нескольких словах.

Очень бедны, очень бедны!

Бедность, конечно, факт... ну, положим так — исключительный, спорить не будем. Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспитанные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со временем... Ведь у нас чрезвычайно всё это странно; по неизвестному какому-то закону делается, а должен же быть закон; ведь по законам же действует природа и живет человек. А между тем все-таки странно. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения — мыслитель! И потому я покоен за встреченного мною мальчика.

Он не пропадет; жаль, конечно, его отца, но он как-нибудь приютится, найдет себе место, обойдется. Вероятно, он уже человек законченный. К тому же ведь и не без маленьких же несчастий на земле; да и не он один, не так ли? Но все-таки невыносимо, когда — ну хоть невольно — подумаешь, сколько грустного цинизма, сколько тяжелых впечатлений вынесет этот мальчик из своего детства. И не отразится ли этот цинизм в его нравственном развитии? А если отразится, то чем? отвращением ли к этому цинизму или одним из тех примирений, которые губят душу навеки? Этот уже мальчик учился, он уже многое понимает; он краснеет и стыдится. Он честен и уже мыслил, потому что несчастье учит мыслить, да иногда и слишком рано. Что? как же отзовется ему потом его случайное нищенство? Будет ли он вспоминать этот день с отвращением и содроганием или обратится в дармоеда в отставке, в форменном пальто и с отвратительно благородной наружностью? Но... успокоимся; к чему совершенно бесполезные вопросы? Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть всё богато; общество не может быть без случайных несчастий. Не правда ли? Я вам даже могу рассказать одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедности. Но эту повесть я оставляю к концу моего фельетона. Прибавлю только, что если б все были — ну хоть только богаты, то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели... не правда ли? Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростию! Но не о Кузьме Пруткове я намерен теперь говорить. Я хочу сказать два слова о нашем Новом Поэте именно по поводу бедности. Он описывает в своем последнем фельетоне безумную петербургскую роскошь и... бедность — не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях, что, как известно, уже не Петербург. Но упоминая о бедности, он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербуржцах, в людях благонамеренных и вообще в тех гражданах Петербурга, которые в состоянии что-нибудь сделать. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники. Конечно, этот комитет что-нибудь скажет и будет действовать наиболее полезным образом, да и вообще это прекрасная мысль. Мы любим комитеты и уважаем их. Посмотрите на Комитет литературного фонда: как много он сделал для пользы литераторов, с какой необыкновенной быстротой приумножает свой капитал, как деятельны все его члены, как заметна для всех их деятельность! Вот уже новый год, а уже было одно публичное чтение в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Уже составилось, успело состояться. А ведь чтения —

важная вещь. Чтения — один из главнейших доходов Литературного фонда. Сколько принесли они прошлого года денег! Кроме Комитета для народного здравия была еще речь одного инженера, г-на Васильева, о которой тоже упоминает Новый Поэт и которая, впрочем, появилась особой брошюрой. Г-н Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает тоже внимание и на дороговизну петербургской жизни. Да, на это можно обратить внимание; это даже стоит того. Говорят, что в Петербурге нельзя теперь тратить меньше полуторы тысячи рублей серебром, а меньше тысячи для семейного человека почти уже бедность. Где же взять тысячу рублей? Конечно, если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка (каждая крупница высокоталантливого человека драгоценна), — и вот уж у меня и тысяча серебром. Но ведь не все же Иваны Александровичи Гончаровы!

Наконец, Новый Поэт упоминает и об мыслях г-на Лаврова в Пассаже... Ах, извините! это уже не для улучшения Петербурга. Это так, для философии. Что ж? и философия может ведь послужить к улучшению. Она украшает ум, дает ему разные мысли, ну и прочее, и всё остальное. Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит, например, о философии, об искусстве... и вообще про добродетель. Правда, его слова об искусстве, по поводу мыслей г-на Лаврова, немного... как бы это сказать — ну, хоть немного удивят г-на Лаврова, тем более что Новый Поэт обращается к нему с вопросом: как он об его словах думает? Но ведь нельзя же человеку знать всё, всю подноготную; судить обо всем одинаково удовлетворительно; ведь иногда и ошибается человек. Повторяю: не будь разнообразия, было бы очень скучно. Почему ж лишить этого разнообразия и Нового Поэта? Напротив, ему именно надо пожелать некоторого разнообразия, хотя мы все-таки читаем его с величайшим удовольствием, даже и в теперешнем виде, и, получая «Современник» — единственный русский журнал, в котором все статьи можно читать с любопытством, — мы всегда разрезаем прежде всего Нового Поэта и г-на —бова.

В спорах голосисты,
Смелы невпопад,
Эти публицисты
Скоро замолчат.
Будут жить для целей
Мелкой суеты, —
И опять камелий
Станешь петь нам ты.

Не соглашаюсь! Совершенно не соглашаюсь! Это стихотворение как-то случайно попало ко мне, и я нечаянно его затвердил; но — не соглашаюсь! Конечно, всякий может иметь свои мнения. Можно не соглашаться с г-ном —бовым, но, мне кажется, я бы умер со скуки за его статьей, если б он хоть насколько-нибудь

изменил характер своих указов, отдаваемых им по русской литературе:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
В статьях Дудышкина есть чары,
И поучительны от прозы до стихов
Литературные базары,
Есть упоение в софизмах Гималэ,
Есть перлы в омуте журналов,
Мил Войскобойников, собирающий во мгле
Большую серию скандалов.
Я это всё люблю, но ты, о критик — бов,
Для сердца ты всего дороже!
Не мысля, я скажу — ты выше всех умов,
Подумая — скажу я то же.
Ты можешь критикой вознесть пль погубить,
Тобою горд журнальный лагерь,
И равный силами с тобой лишь может быть
Один Конрад Лилпеншвагер.

Но, кроме г-на — бова я люблю и Нового Поэта, даже больше, чем г-на — бова. Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов. Не верю и не хочу верить. Имя его в литературе до сих пор безукоризненно и честно. Еще давно, чуть не в детстве моем я начал читать Нового Поэта. Я всегда любил воображать наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление. Но, странное дело, я никак не мог добиться увидеть портрет Нового Поэта. Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского, вообще между портретами всех русских деятелей слова и мысли, изданных г-ном Мюнстером и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц, и никак не мог отыскать в их числе Нового Поэта. Но довольно о Новом Поэте. Меня еще, пожалуй, обвинят в страсти. Я ведь заговорил о нем, собственно, по поводу одной оды, *будто бы* написанной петербургскими камелиями; чего не сочинят праздные люди! Вот эта ода:

ОДА ПЕТЕРБУРГСКИХ КАМЕЛИЙ НОВОМУ ПОЭТУ

Золото, роскошь, уборы алмазные
Вкруг рассыпаются нас,
Ездим мы в оперы — пышные, праздные,
Всем богачам напоказ.
Жемчуг, кораллы, с нарядами редкими,
Лошади, упряжь карет —
Всё это дал нам своим «Заметками»
Новый Поэт.

Все мы — Шарлотты, Армансы, Амелии —
Прежде не знали тех благ;
Было в презрении имя камелии,
Мы утопали в долгах;
Вдруг улыбнулось нам счастье алмазами,

Пришел с восторгом нас свет,
Лишь о камелиях вышел с рассказами
Новый Поэт.

Стал рисовать он с особой любовью
Невских гетер идеал.
Вспрянули старцы с всплывшею кровью,
Круг молодежи восстал.
Золото в грудях снесли наши пленники,
Бедности минул и след.
Как подносил нам венок в «Современнике»
Новый Поэт.

Пусть враг прогресса, развития женского,
Дерзкий аскет нас клянет —
Новый Поэт от хулы Аскаченского
Юных камелий спасет.
Пусть публицист занят делом Италии,
— бов порицает весь свет, —
Вновь воспоем наши плечи и талии
Новый Поэт.

Ты, увлечен благородною целию,
Наш воспевал идеал,
И на пирах за то каждой камеллей
Пит твой заздравный бокал.
Если ж стезю твою литературную
Кончишь ты в старости лет, —
Все мы почтим тебя мраморной урною,
Новый Поэт.

Шутка, милая шалость! но совершенно неправдоподобная; первых, ни одна из камелий не станет сочинять стихи. Вообще все подобные произведения грешат своею неправдоподобностию, хотя тем самым становятся безобидны. Так, например, известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах. Совершенно неправдоподобная эпиграмма! Кстати, о г-не Краевском: в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» в шестьдесят первом году сказано, что отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский. Это объявление произвело некоторый говор, как и известная статья в «Отечественных записках» — «Литература скандалов»; меня даже просили уведомить публику, что объявление о будущих критиках г-на Краевского должно считать самым важным и самым назойливым литературным скандалом за весь прошлый год. По-моему, это уже слишком сильно. Не так ли? Почему же г-ну Краевскому не написать хорошей критики? Он редактор «Энциклопедического лексикона». Он уже слишком двадцать лет издает журнал. Если он до сих пор не написал, то еще нельзя сказать, что он не пишет. А впрочем, мне кажется, что известие о будущей критической деятельности г-на Краевского не совсем справедливо. Спешу оговориться: может быть, я ошибаюсь и, во всяком случае,

с нетерпением буду ждать выхода номера «Отечественных записок» с статьей почтенного редактора. Но мне все-таки кажется, что г-ну Краевскому теперь не до русской литературы; у него и без того много дела. Кроме серьезного дела, у него на плечах сорок будущих томов «Энциклопедического лексикона». Кроме «Энциклопедического лексикона», нужно поднять «Отечественные записки», сделать их поживее, посовременнее, расшвелить зашнувший журнал, не то, пожалуй, не будет подписчиков... Не до литературы ему теперь!

Но несмотря на то, что ему теперь не до литературы, я, чтоб окончить о г-не Краевском, все-таки скажу, что считаю его лицом весьма полезным русской литературе, и говорю это совершенно серьезно. Если он и не писал почти ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал. Теперь это сделалось легче, но прежде было даже и очень нелегко. Журналы получили теперь у нас высокообщественное значение, и г-н Краевский, как издатель журнала, действительно, много тому способствовал. Он взглянул, между прочим, на журнал с коммерческой точки зрения (как и следовало сделать во времена г-на Краевского); в этом чувствовалась настоящая потребность, и, положительно можно сказать, он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия и необыкновенную аккуратность. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностию, неслыханною до того в русской журналистике. Сознаюсь, что первый шаг важнее всего, но зато и второй шаг имеет, может быть, совсем не меньшее значение. Успех первого шага объясняют иногда случайными обстоятельствами, но успех второго шага окончательно оправдывает дело. Он доказывает всем не только возможность, но и устойчивость, но и зрелость дела. Аккуратностию и точностию своего издания г-н Краевский приучил публику верить в стойкость литературных предприятий, и эта уверенность ободрила публику и размножила подписчиков. Если г-н Краевский мало сделал как литератор, то сделал довольно как общественный деятель. Ему, как аккуратнейшему из издателей, и поручили теперь издание «Энциклопедического лексикона». Но г-ну Краевскому всегда мало одной (и опять-таки чрезвычайно важной) заслуги; он объявляет, что хочет писать критики. С богом! Но если г-ну Краевскому вздумается, например, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», скажет, что он принял на себя всю нравственную ответственность за статьи будущего лексикона; что он будет читать статьи по всем отраслям знания — философии, естественных наук, истории, литературы, математики; что он будет исправлять, сокращать и дополнять эти статьи по мере надобности; то тогда нам простительно будет хоть подивиться. Это будет даже уж слишком целовко. Вот

это-то и насмешит, вот это-то и окомпрометирует! Я думаю, если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностью, то и тот насмешил бы публику. Нельзя же всё знать, все науки на свете! Нельзя же всё уметь делать. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся. А г-н Краевский даже и не Шекспир...

Но, боже мой, куда я увлекся! Я всё забываю, что я фельетонист! Взаясь за гуж — не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:

Перекресток, где ракирка
И стоит и спит...
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется стороной,
Санки пробегут...
И вопрос раздастся звонкой:
— Как тебя зовут?

Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта и что будто бы в Петербурге оно должно непременно перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка
Мерзлая стопт...
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят...
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? — Солдат!

Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятели, или деятельного мечтателя:

Прогресс и ум во всем в нас видны,
Все наши страсти холодны,
Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо.
Доходных мест, больших протекций
В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
Ц. быв в восторге от Сюзора,

К нему заехать с пикника.
 Нас занимают виг и тори,
 Рим и парламента азарт;
 Мы дружно хлопаем Ристори
 В «Медее», «Камме» и «Стюарт».
 Нас равномерно запимает:
 Как изменил свой план Кавур
 И что Каткову отвечает
 В «Ведомостях Московских» Тур,
 Что случилось с Ицкой, нашим Крезом,
 Что говорил с трибуны — бов,
 И как с привозным ut'diez-ом
 В последний раз пропел Кравцов.
 Среди благородного собрания,
 Меж танцев — толк у нас одип,
 Что стоит гласного изгнанья
 Из всех журналов Беллюстин.
 Мы признаем, что развращает
 Людей невежество и тьма;
 Из нас никто уж не читает
 Ни Кушнера, ни Дюма.
 Служа для высших в жизни целей,
 Мы все тайком со всех сторон
 Содержим в роскоши камеллй
 И разоряем наших жен;
 Проводники идей пзвестных,
 Мы о гуманности кричим,
 И щедро в пользу школ воскресных
 Поем и пляшем и едим.

Мы строим планы и гримасы,
 Мы строим куры и дома —
 И всё в пределах новой расы,
 Прогресса, такта и ума.

Но бог с ними, с мечтателями! Ристори... Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея; все-таки надо бы сказать хоть о книгопродавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою; хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения. Наконец, надо бы достать, хоть изпод земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но... но я всё это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности скажу в своем месте. О воскресных школах мы памерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, — тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаю ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори...

Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело чи-

тать об этом. Разумеется, не надоест смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда... И тогда мы дадим вам о ней подробный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда... Но до свиданья!

Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставлю до будущего раза. Уж лучше всё вместе. Каков рассказ будет — не знаю, но история, уверяю вас, интересная.

**«ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И ЧУДЕСНОЕ БЕГСТВО ЖАКА КАЗАНОВЫ
ИЗ ВЕНЕЦИАНСКИХ ТЕМНИЦ (ПЛОМБ) *
(ЭПИЗОД ИЗ ЕГО МЕМУАРОВ)»»**

Книга Жака Казановы «Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt» совершенно неизвестна на русском языке. Между тем французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа. Так ярко, так образно рисует он характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ! Подробный разбор сочинения Казановы завел бы нас слишком далеко. Об его книге мало сказать несколько слов. Большой же о ней статьи мы в настоящее время в нашем журнале поместить не можем. Но чтоб познакомить читателей с этой замечательной книгой, мы выбираем из нее один только эпизод: «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских темниц». Этот эпизод издан был им особою книгой и потом уже вошел в его мемуары. Прибавим, что этот отрывок не дает точного понятия о всей книге, да и характер Казановы рисуется в нем только с одной стороны, правда с самой лучшей. Личность Казановы одна из самых замечательных своего века. Казанова выражает собою всего тогдашнего человека известного сословия, со всеми тогдашними мнениями, уклонениями, верованиями, идеалами, нравственными понятиями, со всем этим особенным взглядом на жизнь, так резко отличающимся от взгляда нашего девятнадцатого столетия. По крайней мере, мы убеждены, что доставляем читателям занимательное чтение. Прибавим еще, что бегство Казановы из венецианских пломб надедало тогда большого шуму в Европе и доставило ему чрезвычайную известность. Из этих темниц бежать почти невозможно. Это

* Пломбы — тюрьмы под свинцовыми крышами дворца дождей в Венеции.

рассказ о торжестве человеческой воли над препятствиями непреодолимыми. Правда, этот рассказ, представленный в виде отрывка, много теряет в силе и занимательности. Перевести же всю книгу невозможно. Она известна некоторыми эксцентричностями, откровенное изложение которых справедливо осуждается принятой в наше время нравственностью. Один только эпизод во всей книге не заключает в себе этих эксцентричностей. Его-то мы и представляем теперь нашим читателям.

«ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ «ТРИ РАССКАЗА ЭДГАРА ПОЭ»»

Два-три рассказа Эдгара Поэ уже были переведены на русский язык в наших журналах. Мы передаем читателям еще три рассказа. Вот чрезвычайно странный писатель — именно странный, хотя и с большим талантом. Его произведения нельзя прямо причислить к фантастическим; если он и фантастичен, то, так сказать, внешним образом. Он, например, допускает, что оживает египетская мумия гальванизмом, лежавшая пять тысяч лет в пирамидах. Допускает, что умерший человек, опять-таки посредством гальванизма, рассказывает о состоянии души своей и проч., и проч. Но это еще не прямо фантастический род. Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности. Не такова фантастичность, например, у Гофмана. Этот олицетворяет силы природы в образах: вводит в свои рассказы волшебниц, духов и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновенном мире, принимая этот мир за высший, как будто сам верит в неперемнное существование этого таинственного волшебного мира... Скорее Эдгара Поэ можно назвать писателем не фантастическим, а капризным. И что за странные капризы, какая смелость в этих капризах! Он почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою пронизательности, с какою поражающею верностью рассказывает он о состоянии души этого человека! Кроме того, в Эдгаре Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей. Попробуйте, например, вообразить сами что-нибудь не совсем обыкно-

венное или даже не встречающееся в действительности и только возможное; образ, который рисуется перед вами, всегда будет заключать одни более или менее общие черты всей картины или установится на какой-нибудь особенности, частности ее. Но в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случилось на свете. Например, в одном из его рассказов есть описание путешествия на луну, — описание подробнейшее, прослеженное им почти час за часом и почти убеждающее вас, что оно могло случиться. Так же точно он описал в одной американской газете полет шара, перелетевшего из Европы через океан в Америку. Это описание было сделано так подробно, так точно, наполнено такими неожиданными, случайными фактами, имело такой вид действительности, что все этому путешествию поверили, разумеется только на несколько часов; тогда же по справкам оказалось, что никакого путешествия не было и что рассказ Эдгара Поэ — газетная утка. Такая же сила воображения, или, точнее, соображения, выказывается в рассказах о потерянном письме, об убийстве, сделанном в Париже орангутангом, в рассказе о найденном кладе и проч.

Его сравнивают с Гофманом. Мы уже сказали, что это неверно. Притом же Гофман неизмеримо выше Поэ как поэт. У Гофмана есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку. Это всего виднее в его нефантастических повестях, каковы, например, «Мейстер Мартин» или изящнейшая, прелестнейшая повесть «Сальватор Роза». Мы уже не говорим о его лучшем произведении «Кот-Мурр». Что за истинный, зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты, и рядом — какая жажда красоты, какой светлый идеал! В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б только можно было так выразиться. Видно, что он вполне американец, даже в самых фантастических своих произведениях. Чтоб познакомить читателей с этим капризным талантом, представляем пока три его маленькие рассказа.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ПРОЦЕСС ЛАСЕНЕРА»»

Мы думаем угодить читателям, если от времени до времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимо-

ходом, в виде эпизода, — не говоря уже об этом, чтение таких процессов, нам кажется, будет бесполезно для русских читателей. Мы думаем, что кроме теоретических рассуждений, помещаемых так часто в наших журналах, узвание практического, паглядного применения этих теорий к разным процессам на Западе было бы тоже бесполезно для наших читателей. Выбирать процессы мы будем самые запимательные. За это ручаемся. В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И всё это при безграничном тщеславии. Это тип тщеславия, доведенного до последней степени. Процесс был веден доблестно-беспристрастно, передан с точностью дагерротипа, физиологического чертежа...

«ПРИПИСКА К СТАТЬЕ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО О ШИЛЛЕРЕ»»

Вообще многие поэты и романисты Запада являются перед судом нашей критики в каком-то двусмысленном свете. Не говоря уже о Шиллере, вспомним, например, Бальзака, Виктора Гюго, Фредерика Сулье, Сю и многих других, о которых наша критика, начиная с сороковых годов, отзывалась чрезвычайно свысока. Перед ними был виноват отчасти Белинский. Они не приходились под мерку нашей слишком уже реальной критики того времени. Если сам Байрон избежал жесткого приговора, то этим он обязан, во-первых, Пушкину, а во-вторых, протесту, который вырывался из каждого стиха его. А то и его бы мы развенчали. Он-то уж никак не подходил под мерку.

Всё это чрезвычайно интересно и современно. Мы скоро надеемся представить большую статью под следующим заглавием: «Поэты и романисты Запада перед судом нашей критики».

ОБРАЗЦЫ ЧИСТОСЕРДЕЧИЯ

Представьте себе, что где-то, когда-то и в каком-то обществе случилось следующее происшествие.

Собралось в одном доме несколько человек. Люди были *деловые* и потому тотчас же завели разговор о современных вопросах. Зашла речь о гуманности и о том, как следует понимать ее. Один из говоривших высказал несколько своих убеждений, довольно оригинальных. Его сильно оспаривали. Но из всех слушателей, внимавших господину с оригинальными убеждениями, наиболее замечателен был сидевший от всех поодаль, до сих пор молчавший, но по лицу которого можно было видеть, что он с нетерпением ждет своей очереди, чтоб вернуть и свое словцо. Наконец при одном наиболее оригинальном замечании господина с оригинальными убеждениями молчаливый слушатель вдруг поднялся с места, быстро подошел к спорщику, хотел было ему что-то сказать, но вдруг, прежде чем вымолвил слово, размахнулся и дал ему звонкую пощечину. Поднялась суматоха.

— Что с вами сделалось! — завопил получивший пощечину, обращаясь к дантисту и смотря на него в крайней степени изумления. Это изумление было так сильно, что на минуту заглушило в нем даже чувство гнева и мщения; остолбенило его.

— Позвольте вам заметить, что вы совершенно не так понимаете гуманность... — начал было дантист, скороговоркой, весь в жару спора и, кажется, не замечая, что дал пощечину.

— Что вы! образумьтесь! — закричали со всех сторон.

— Это сумасшедший, — повторяли другие.

— Разве теперь о гуманности дело? Опомнитесь! — прокричал обиженный.

— Ах, это вы о пощечине-то! — довольно спокойно проговорил тот, к кому относились все эти крики. — Вы, пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания. Я соглашаюсь, что увлекся. Такая, право, скверная привычка; вы меня разгорячили, и у меня совершенно нечаянно сорвалась пощечина. Но к делу: я именно

хочу возразить, что гуманность, в том значении, как вы ее принимаете, не может быть... и т. д., и т. д.

Как вы находите поступок этого господина? Невозможным? а если возможным, то нелепым?

И однако ж, совершенно подобное случилось в нашей литературе по поводу оскорбления г-жи Толмачевой сотрудником «Века». Дело идет об извинениях и оправданиях, представленных редакцией «Века» и их сотрудником публике и г-же Толмачевой. Эти извинения очень похожи на объяснения и оправдания вышеозначенного господина, давшего пощечину. Смотрите и судите.

Вы уже знаете начало и ход всего этого дела из статьи, помещенной в этом же номере нашего журнала, под названием «Один поступок и несколько мнений г-на Камня-Виногорова». Г-н Михайлов протестовал против Камня-Виногорова в «С.-Петербургских ведомостях». И Камень-Виногоров и редакция «Века» отвечали г-ну Михайлову в 10-м номере своего журнала. Вот ответ редакции «Века», целиком, от слова до слова, без малейшего выпуска.

«ПО ПОВОДУ СТАТЬИ МИХАЙЛОВА

1

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ „ВЕКА“

В № 51 „С.-Петербургских ведомостей“ появилась обвинительная статья против нашего журнала, г-на Михайлова. Статья эта, присланная для помещения и в „Веке“ (см. заметку от редакции № 9 «Века», стр. 328), написана по поводу юмористической (!) заметки Камня-Виногорова...»

Эти господа называют в высшей степени оскорбительную заметку Камня-Виногорова юмористическою! и ведь серьезно. Вспомните, что редакция состоит из таких серьезных людей.

«... по поводу юмористической заметки Камня-Виногорова о чтении „Египетских ночей“ г-жею Толмачевой, на литературном вечере, в Перми (см. № 8 «Века» — «Русские диковинки»), г-н Михайлов с жаром протестует против выходки Камня-Виногорова относительно женщины, „не давшей никакого к тому повода“, и против его глумления над поступком женщины (то есть публичным чтением «Египетских ночей»), „смело заявившей этим, — по словам г-на Михайлова, — свое пренебрежение к невежественным предрассудкам“. „Можно, — говорит г-н Михайлов, — не разделять мнения, которые высказала г-жа Толмачева, можно находить их смешными, дикими, можно находить решимость ее читать публично «Египетские ночи» Пушкина нелепою, всё это, к несчастью,* можно, еще и в наше время. Но нет, конечно, человека с живым сердцем в груди, который, зная настоящие общественные условия и положение женщин, решился бы публично оскорблять женщину и выдавать ее головою на посмеяние и обиду глупцам и невеждам“. Затем г-н Михайлов обвиняет Камня-Виногорова в искажении смысла фельетона „С.-Петербургских ве-

* Подчеркнуто редакцию «Века».

домостей" (о литературном вечере в Перми), по поводу которого написана означенная юмористическая заметка, и ставит в упрек редакции „Века“ допущение статейки Камня-Виногорова в своем журнале».

Хороша статейка!

«Мы изложили содержание статьи г-на Михайлова; опубликование ее в „С.-Петербургских ведомостях“ освобождает редакцию „Века“ от обязанности давать ей место на *страницах* своего журнала...»

Не совсем: подписчик «Века» может не получать «С.-Петербургских ведомостей», следовательно, не знать ответа г-на Михайлова вполне. Эти дела надо вести начистоту. Впрочем, продолжаем нашу выписку; у редакции «Века» была другая причина:

«...на страницах своего журнала, тем более что по своему тону и своим литературным формам эта статья несколько не соответствует характеру, преобладающему в нашем журнале».

Это замечательно. Следственно, статья Виногорова, помещенная на *страницах* вашего журнала, по *своему тону* и по своим *литературным формам* (особенно по тону) более соответствует характеру, преобладающему в вашем журнале?

«В заметке своей в № 10 редакция „Века“ уже принесла свое *чистосердечное* извинение за допущение некоторых неосмотрительных выражений, вкравшихся в юмористическую статейку Камня-Виногорова; редакция „С.-Петербургских ведомостей“, печатая статью г-на Михайлова под громким названием „*безобразного поступка* «Века»*, обязана была сообщить своим читателям и об означенном поступке „Века“. Такое упущение со стороны редакции „С.-Петербургских ведомостей“, впрочем, весьма для нас понятно и сообразно с обычаями некоторых журнальных редакций, посвятивших свою деятельность исключительно на отыскивание *безобразий** в других редакциях. Тем не менее мы считаем, что после упомянутой заметки нашей в мнении как публики, так и литературы не может быть теперь и *тени сомнения* относительно взгляда редакции „Века“ на некоторые выражения Камня-Виногорова (по поводу чтения г-жи Толмачевой), подвергнувшиеся обвинениям г-на Михайлова; и затем мы смеем думать, что со стороны нашей сделано было в этом отношении *всё, что только в границах литературных приличий и обязанностей могло быть сделано*».

Решительно история о пощечине! Но прервем на время эту выписку и выпишем ту заметку редакции «Века», в которой она, по ее словам, принесла чистосердечное извинение за допущение неосмотрительных выражений и т. д. и за которую она упрекает «С.-Петербургские ведомости», не поместившие эту извинительную заметку на столбцах своей газеты. Вот эта заметка:

«*Заметка от редакции*. Настоящий номер „Века“ был уже напечатан, когда мы получили от М. Л. Михайлова письмо по поводу помещенной в последнем номере нашего журнала юмористической заметки о г-же Толмачевой (см. отдел «Русские диковинки»). По необходимости, отложив печатание означенного письма, вполне или в извлечении (с сохранением всей его сущности), редакция „Века“ сообщает, что *по общему содержанию*

* Подчеркнуто редакцию «Века».

нию * статьи г-на Михайлова она не замедлит представить свое объяснение, но что касательно *неосмотрительных выражений*, вкравшихся в статью г-на Виногорова, она еще до получения письма г-на Михайлова сама приняла *все меры* и употребила средства, какими только располагать может, для заявления г-же Толмачевой чистосердечного своего извинения.

Нет, господа, это не так. Тут недостаточно сказать: извините, я увлекся, как сказал господин, давший пощечину другому господину, и считать, что уже приняты *все меры* и употреблены *все средства*, какими только можно было располагать, для изъяснения чистосердечного извинения. Нет, господа, тут нет чистосердечия. Какое же тут чистосердечие, если вы называете статью Виногорова *юмористическою*, а выражения его только *неосмотрительными*, да еще говорите: *вкравшиеся выражения*. Когда вся статья состоит из этих вкравшихся выражений. Юмористическая статья! Это, по-вашему, юмор! *неосмотрительные* выражения! Да ведь под этими выражениями посовестился бы подписаться комаринский мужик; и не только комаринский мужик, а может быть, даже и сам г-н Аскооченский. Ну может ли быть, чтоб вы, люди умные, этого не понимали! Нет, тут именно недостает чистосердечия. Вам надо было, для известных целей, покрыть своим редакторским покровительством Виногорова — вот вы и покрываете его, хоть, может быть, сами возмущаетесь против этой статьи. Вы говорите: «Мы извинились, чего же больше?» Но мы опять повторяем, что тут недостаточно сказать: извините, как сказал господин, давший пощечину другому господину. Извинение в таких формах не удовлетворяет, а усугубляет обиду. Правда, в обычаях западного дворянского *point d'honneur*'а¹ сохранилось, говорят, правило, что если дворянин, давший другому дворянину пощечину, согласится сказать ему, в виде извинения за обиду только: «*J'en suis fâché*»,² то обиженный *мог* считаться удовлетворенным. Но разве это рыцарское правило применимо к нашему веку? Особенно, когда в дело замешаны такие рыцари, как Виногоров. А ведь вы почти на этом настаиваете; вы кивнули головой, сказали, что вам жаль, что в *юмористическую* статейку вкравлись *неосмотрительные* выражения, и думаете, что этого довольно.

Кстати, г-н Виногоров в своем собственном ответе г-ну Михайлову толкует о рыцарстве и упрекает г-на Михайлова в недостатке рыцарских правил! Нечего сказать, хорош знаток рыцарства! И редакция «Века» допустила ответ Виногорова на *страницы* своего журнала! Разве так надо было поступить с Виногоровым?

Но послушаем, что редакция «Века» говорит дальше в своем объяснении.

«Высоко ставя нравственное самовоздержание литературы...»

* Подчеркнуто редакциею «Века».

¹ кодекса чести (*франц.*).

² Я этим огорчен (*франц.*).

— Как! нравственное самовоздержание после статьи Виногорова! После того, как вы печатно признали его отвратительные клеветы юмористическими и неосмотрительными выражениями!

«... и признавая нравственный отпор ее лучшим оружием против всяких нарушений литературных приличий...»

Хорошо приличие!

«... мы полагаем, что в настоящем случае несколько строк заметки редакции „Века“ послужили этому важному делу гораздо более, чем могут послужить всякие протесты на страницах других журналов, как бы ни был, подобно статье г-на Михайлова, тщателен подбор резких выражений и горячих фраз негодования».

Каково! да почему же, на каком это основании несколько строк редакции «Века» послужили делу более, чем могли бы послужить все протесты журналов? Да чем же считает себя редакция «Века», что так высоко ценит несколько слов своих, — эта редакция, которая сожалеет о *вкравшихся* выражениях и, извиняясь перед г-жею Толмачевой, в то же время оправдывает Виногорова (именно тем, что называет его выражения *только* неосмотрительными и помещает ответы его в своем журнале); мало того, она даже защищает Виногорова, что увидим мы ниже. И после этого она считает *несколько своих слов*, высказанных в виде извинения, в такой форме и при такой обстановке, совершенно достаточным удовлетворением для г-жи Толмачевой и даже значительнее, чем всё, что могли бы сказать другие журналы! Какое забавное высокомерие!

«Обращаясь затем (продолжает редакция «Века») к сущности юмористической заметки Камня-Виногорова относительно публичного чтения в Перми „Египетских ночей“, редакция „Века“ позволяет себе решительно не соглашаться со взглядом на этот предмет, высказанным в статье г-на Михайлова, с мыслями его о смелости женщины, становящейся посредством подобного чтения выше невежества толпы, о *несчастии** тех, которые не могут сочувствовать таким проявлениям смелости женщин, об оскорблении, нанесенном всем русским женщинам шуткою над такими общественными явлениями и проч.»

Не соглашаться всякий может. Невозможно ни у кого оспаривать права иметь свое мнение; но с самим мнением можно не соглашаться. Всё это как следует. Но далее следуют чрезвычайно любопытные строки; это попытки оправдать Виногорова, доказывая, что он в статье своей вовсе не напал на г-жу Толмачеву, а только на пермского корреспондента «С.-Петербургских ведомостей».

«Мы решительно не понимаем, что может выиграть общественное положение русской женщины от публичного чтения „Египетских ночей“, и считаем пока такое заявление со стороны нашей совершенно достаточным. Но здесь мы обязаны только заметить, для устранения всяких недоразуме-

* Подчеркнуто редакцією «Века»,

ний, что предметом шутки Камня-Виногорова была *вовсе не г-жа Толмачева, не поступки г-жи Толмачевой и не мысли г-жи Толмачевой о своем чтении*; предметом шутки была только г-жа Толмачева, какую ее изобразил фельетон „С.-Петербургских ведомостей“, или, лучше, дифирамб в пользу чтения „Египетских ночей“ женщинами, а не действительная г-жа Толмачева, на личность которой ни редакция „Века“, ни, без сомнения, юморист *никогда не позволит себе посягнуть*. Предметом такой же шутки может быть статья и самого г-на Михайлова. Затем необходимое в этом случае упоминание имени г-жи Толмачевой должно уже пасть всею своею тяжестью на ответственность фельетониста „С.-Петербургских ведомостей“, ибо сама г-жа Толмачева в действительности, может быть, *вовсе не разделяет мыслей неудачных толкователей своего чтения*».

Каково оправданье! Вот уж значит желали оправдаться во что бы ни стало. Какое шаткое, какое жалкое оправдание! Ребенок и тот бы не стал так оправдываться.

Помилуйте! вы утверждаете, что предметом шутки вашего юмориста была не действительная г-жа Толмачева, а та, какую ее изобразил фельетон «С.-Петербургских ведомостей». Во-первых, почему вы знаете наверно, что фельетон «Ведомостей» изобразил ее не так, как она есть в действительности, и исковеркал ее слова и мнения? Ну что, если г-жа Толмачева действительно такая, как изобразил ее корреспондент, и все ее слова и мнения переданы верно? Тогда вы вправе так глумиться над нею, так оскорблять ее? Ведь вы глумитесь и оскорбляете *только в предположении*, что она не такая в действительности: как же можно в таком деле основываться на одном предположении? А ну если предположения ваши неверны — стало быть, все ваши оскорбительные выражения применены к г-же Толмачевой, действительно существующей? А во-вторых, положим, что вы справедливы в вашей догадке; положим, что г-жа Толмачева никогда так не говорила и не думала и корреспондент ошибся. (Мало ли чего не может быть! Ведь может быть даже, что не только мнений и слов таких не было, но даже и чтения «Египетских ночей» не было, ничего не было, а статья в фельетоне «СПб. ведомостей» была не более как шутка из провинции, пуф, — ведь из ста тысяч может быть один такой случай!) Но что же из этого? Покамест вы не убедились в этом *навечно*, вы все-таки должны помнить, что в фельетоне «СПб. ведомостей» выставлено имя, объявленное действительным, называется лицо: жена статского советника г-жа Толмачева, в Перми. Разве можно упоминать в таких ругательных выражениях действительно существующее имя, оправдывая себя только тем, что это не над той г-жей Толмачевой, а над другой, изображенной корреспондентом? Да одно только упоминание ее имени *среди таких шуток*, которые позволил себе ваш юморист, уже в высшей степени неделикатно и оскорбительно для названного выше лица. Неужели вы не понимаете этого, г-да редакторы? Неужели вы не догадываетесь, сколько тут грубости и оскорбления, и считаете себя вправе печатать эти неделикатности (по-вашему, шутки) на том только основании, что коррес-

пондент мог не так передать слова г-жи Толмачевой. Если вы не понимаете этого, то представьте себя на месте г-жи Толмачевой.

Угодно ль на себе примерить?

Представьте, что об вас кто-нибудь написал и напечатал похвальное слово; напечатал неловко и даже смешно, а кто-нибудь, придравшись к этому случаю, принялся бы примерять ваше имя, вашу личность к таким постыдным делам, выставлять вас в таком срамном виде. Поставил бы вас в такую отвратительную позицию, стал бы глумиться над вами, поставленными для примера, в эту позицию, ругаться, плевать; стал бы приписывать вам намерения и поступки, возмутительные, жалкие и смешные и везде бы упоминал ваше имя, с яростным наслаждением, осмеивая, карикатуря его, оправдываясь только тем, что это он так шутит, а что в действительности этого, может, еще и нет, это, дескать, еще не доказано. Что? хорошо бы вам было? Каково же это для женщины? Но что же, повторяем опять, если все мнения и выражения г-жи Толмачевой переданы корреспондентом верно? Какова для нее обида тогда? И наконец, позвольте: вы утверждаете, что Виногоров смеялся вовсе не над действительной г-жей Толмачевой, а над дифирамбом корреспондента. Но какое же отношение имеет корреспондент, например, к такому оскорблению? (Выписываем из статьи Виногорова.)

«Теперь статьи Стюарта Милля, Михайлова и т. д. оказываются совершенно бесполезными; дело освобождения женщин началось. Русская дама, статская советница, явилась перед публикою в виде Клеопатры, произнесла предложение: „Купить ценою жизни ночь ее“ — и как произнесла! Не могу опять удержаться от восхитительной выписки из письма корреспондента нашей удивительной политической газеты: „Большие глаза ее то загорались, то меркли и погасали... (ах! как это должно было быть хорошо!) всё лицо ее изменялось беспрестанно, принимая то нежно-страстное, то жгучее, то неумолимо-суровое, то горделиво вызывающее (ого!!) выражение. Стих, следующий за предложением Клеопатры купить ночь ее ценою жизни, известный стих: «И взор презрительный обводит вокруг поклонников своих», прочитан был, действительно, с таким выражением презрения и злой насмешки; молодая женщина таким взором обвела при этом безмолвную толпу, что будь это в театре — зала, наверно, потряслась бы от аплодисментов“.

И не театральная зала, но и я потрясся от аплодисментов, прочитав эти удивительные строки. *Не совсем я понял только — какое отношение имели посетители пермского литературного собрания, слушавшие г-жу Толмачеву, к поклонникам Клеопатры; а отношение, вероятно, было, потому что, иначе, зачем бы г-же Толмачевой обводить толпу взором „презрения и злой насмешки“.* Но мне неизвестны пермские тайны, и оттого понятно, что я тут ничего не понял...»

И это у вас называется шутками и юмором, г-да редакторы? Это, по-вашему, юморист?

Теперь я спрашиваю всех читателей: какое отношение имеет то, что мы подчеркнули в нашей подстрочной выписке из Виногорова, с неловким и неверным (предположив это) изображением

г-жи Толмачевой пермским корреспондентом? Тут говорится прямо и ясно про г-жу Толмачеву, т. е. про действительно существующее лицо, и удостоверяется, что «отношение, вероятно, было». Но, скажет редакция: Виногоров предполагает, что отношение было, только вследствие изображения г-жи Толмачевой корреспондентом, а настоящая г-жа Толмачева, верно, не такая, следственно, слова об «отношении» к ней не относятся. Но во-первых: из каких же слов, из каких мнений, *приписанных* г-же Толмачевой неловким корреспондентом, можно заключить, что такие «отношения, вероятно, были»? Не из того ли, что она обвела залу взглядом «презрения и злой насмешки»? В самом деле, именно на этом и основывается Виногоров: «Отношение, вероятно, было, — говорит он, — потому что иначе зачем бы г-же Толмачевой обводить толпу взором „презрения и злой насмешки“». Так на этом только! Так из одной неосторожности читательницы, желавшей прочесть лучше и увлекшейся чтением, основать такое страшное обвинение, да еще подтвердить, что отношение, *вероятно, было*, иначе зачем бы и т. д. — Ну а что, если корреспондент не ошибся и передал верно? Так из одного жеста, печатно, публично, обвинить женщину, действительно существующую, названную по имени! Господи боже! Неужели ж это юмор? Неужели ж, если даже и корреспондент передал неверно, позволительно упоминать известное имя рядом с такими предположениями, примерять это имя к таким обвинениям? Да и наконец, что мы дети, что ли? Где тут, в этой фразе г-на Виногорова, говорится или намекается, что речь идет не о действительной г-же Толмачевой? Г-н Виногоров ступевывается и объявляет, что он говорит вовсе не о г-же Толмачевой. Перечтите эту фразу: о ком же тут сказано? Верно ли, неверно ли передал корреспондент, — о ком тут сказано? Нам ответят: настоящая г-жа Толмачева не обвела бы залу с выражением презрения и злой насмешки, а если корреспондент уверяет, что обвела, то, во-первых, значит это не настоящая г-жа Толмачева, а во-вторых, если уж обвела, то *отношения, вероятно, были*.

Вот логика редакции «Века».

Но почему ж, повторяем еще раз, почему ж знаете вы, что настоящая г-жа Толмачева не обвела бы залу таким взглядом, и вследствие такого соображения, так безопасно позволяете себе защищать Виногорова, выдумавшего такую адскую клевету; а во-вторых, из чего следует вероятность «отношений» потому только, что обведена взглядом зала и слушатели, бывшие в зале?

И это юмор? И это вы называете шутками?

И это у вас только *неосмотрительные* выражения! Но вы утверждаете, что извинились в этих *неосмотрительных* выражениях. Хорошо же извинение, когда вы сами говорите, что всё это *только шутка* и что «необходимое в этом случае упоминание имени г-жи Толмачевой должно уже пасть всею своею тяжестью на ответственность фельетониста „СПб. ведомостей“, ибо сама г-жа

Толмачева в действительности, *может быть*, вовсе не разделяет мыслей неудачных толкователей своего чтения».

Сами вы говорите: *может быть*, следовательно, наверно не знаете; следственно, если в действительности г-жа Толмачева разделяет мысли толкователей своего чтения (тем более, что ее собственные слова, приведенные корреспондентом, чрезвычайно умны и основательны, — и трудно предположить, чтоб они были выдуманы), то вы считаете себя *вправе* изобретать на ее счет такие предположения? И наконец, почему упоминание имени г-жи Толмачевой в *шутках* г-на Виногорова должно пасть *всею своею тяжестью* на ответственность фельетониста «Ведомостей»? На каком это основании? по какой логике? Корреспондент изобразил неверно, исказил (положим, так) — так вы после этого *вправе* допустить то, что говорит у вас г-н Виногоров о пермских тайнах? или такую фразу: «Долой всякую стыдливость, долой женственность, долой светские приличия; — вас приглашает к этому г-жа Толмачева и почтенный панегирист ее»; т. е. приглашает не г-жа Толмачева, изображенная неверно своим панегиристом, а *г-жа Толмачева и панегирист ее*; тут именно говорится о самой г-же Толмачевой. Вправе ли, наконец, Виногоров предлагать г-же Толмачевой прочесть другое стихотворение Пушкина: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» и восклицать:

«Прочтите, прочтите, *г-жа Толмачева!* При чтении его можно еще лучше принимать *вызывающее** выражение и делать еще *более выразительные жесты!* Уж коли эмансипироваться, так до конца! Зачем останавливаться на полдороге?»

Какая гадость! Ну не подымает ли это сердца от негодования! И где, скажите ради здравого смысла, где тут хоть какой-нибудь намек, что это обращение с просьбой о выразительных жестах сделано не к г-же Толмачевой, не *прямо* к ней, а к какой-то фантастической, несуществующей г-же Толмачевой, к той, которую изобразил корреспондент? Хоть бы один намек был во всей статье Виногорова, что он говорит о другой г-же Толмачевой; что он оспаривает корреспондента и утверждает, что настоящая г-жа Толмачева не такая. Хоть бы оговорился он где! Ну как поверить ему, если после таких ясных *обращений* и *советов* он вдруг испугался и стал отпираться:

— Нет, дескать, это не я, я ничего, это, право, не я, это корреспондент, а я не виноват!

И редакция «Века» называет подобные оскорбления женщины *неосмотрительными!* Да что ж он лунатик, что ли? в лунатизме писал? Ну как представить, что всё это было написано *от неосмотрительности?* Что за комическое оправдание! Хоть бы взяли какое-нибудь другое слово, а то: *неосмотрительность.*

Мало того, редакция «Века» помещает еще на своих страницах ответ самого г-на Виногорова — ответ г-ну Михайлову.

* Подчеркнуто в подлиннике.

Чего нет в этом ответе? Виногоров говорит, что он с изумлением узнал о себе, из статьи г-на Михайлова, такие вещи, которые ему и в голову не приходили. (Что ж он во сне, что ли, писал свою статью?) Далее говорит, что г-н Михайлов, «обвиняющий меня в циническом неприличии, сам тут же забыл все приличия и заговорил таким тоном, который допускается только в состоянии исступления нравственного или умственного расстройства и, вообще, в состоянии ненормальном».

Каково! Г-н *Виногоров* говорит о приличиях и упрекает г-на Михайлова, что он говорит с ним в нехорошем тоне! Да в каком же еще тоне говорить г-ну Михайлову? Каково!

Но вот еще выписки из «ответа» Виногорова г-ну Михайлову:

«В самом деле, что вызвало мою заметку? Уж конечно, не желание очернить г-жу Толмачеву, положим даже, что у меня, как изволит выражаться г-н Михайлов, вместо сердца ком грязи; но я так же, как и г-н Михайлов, не имею чести знать г-жу Толмачеву лично, и если г-н Михайлов узнал ее имя в первый раз из статьи „Века“, то я узнал его в первый раз из статьи „С.-Петербургских ведомостей“».

Какая логика! Следственно, потому только, что г-н Виногоров не знает лично г-жу Толмачеву, он имеет право ее оскорблять? По крайней мере, он оправдывает себя этим. Вот если б он лично ее знал, тогда г-жа Толмачева могла бы принять статью г-на Виногорова за личное себе оскорбление; но так как он узнал ее имя только из «СПб. ведомостей», то об этом имени можно уж всё говорить, даже и о «вероятности отношений», даже и о «выразительных жестах»? Да что за дело, что он не знал лично? Ведь в «Ведомостях» обозначено было, что г-жа Толмачева лицо действительно существующее, жена такого-то и живет в Перми. Разве этого не довольно?

«Я произнес ее имя (говорит г-н Виногоров) только потому, что это имя было прописано en toutes lettres¹ корреспондентом „СПб. ведомостей“...»

Да; но как произнесли?

«... Я не выводил на посмеяние *женщину*,* а позволил себе только обсудить *факт*,* сделавшийся достоянием гласности. По моему глубокому убеждению, такой факт противоречит всем понятиям об истинной женственности; по моему глубокому убеждению, между тою чопорною *pruderie*,² на которую папал корреспондент „С.-Петербургских ведомостей“, и совершенно беззащитностью есть еще большая разница. Вот что я имел в виду, когда писал свою заметку, под странным впечатлением, произведенным на меня статьею „С.-Петербургских ведомостей“».

До ваших «глубоких убеждений» в настоящем случае нам всем нет никакого дела. Дело в том, как выразили вы ваши убеждения. Если вы не соглашались с г-жею Толмачевою, то из этого

¹ полностью (*франц.*).

* Подчеркнуто г-ном Виногоровым.

² жеманство (*франц.*).

еще не следовало говорить о пермских тайнах и делать оскорбительные предположения еще о более «выразительных жестах». Г-н Виногоров называет это, впрочем: обсудить факт. Если он в такой форме только *обсуждает*, в какой же форме он после этого ругается? Он, видите ли, не выводил на посмеяние женщину. Да вы комаринским тоном вашей статьи оскорбили не одну женщину, а всех женщин, доказав, что в России об русских женщинах (действительно существующих) можно печатно говорить таким языком, да еще находить защитников и оправдателей. И после этого редакция «Века» сердится на протесты!

«Повторяю (продолжает г-н Виногоров), передо мной была не г-жа Толмачева, передо мной был корреспондент „С.-Петербургских ведомостей“, описывавший чтение „Египетских ночей“ женщиною, в публичном собрании, и описывавший это самым смешным, самым циническим образом».

Так вы бы и смеялись над описанием корреспондента. А вы что сделали с г-жею Толмачевой, тем более что, по вашим же словам, были убеждены, что корреспондент передал об ней неверно?

«Да, циническим — и я приглашаю всех обратиться к означенной статье, прочесть, например, то место, в котором корреспондент описывает манеру чтения г-жи Толмачевой, и потом решить — кто из нас выводил на посмеяние г-жу Толмачеву: я или неизвестный апологист ее...»

Нет, г-н Виногоров, сравнение невозможно: неизвестный апологист вывел, положим, на посмеяние, но бессознательно, наивно, в простоте своего восторженного и невинного сердца, а вы вывели не только на посмеяние, а уж на позор.

Но, впрочем, скажу несколько и об апологисте г-жи Толмачевой, тем более что и редакция «Века» основывается на его словах, чтоб оправдать г-на Виногорова. Это главный пункт их оправдания.

Да, я читал это место у апологиста, которое приглашает прочесть г-н Виногоров.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь смешнее. Это или невинная, восторженная прогрессом душа, думавшая угодить г-же Толмачевой, или... или, повторяю, всё это будет пуф, т. е. письмо из Перми подложное, для произведения скандала в литературе. Отличился какой-нибудь шалун. Жаль только, что существование невинного и наивного корреспондента вероятнее. Удивляться тоже надо и «СПб. ведомостям», поместившим у себя такую корреспонденцию, даже безо всякой оговорки и тоже *наивно*. Но если я и отзываюсь так о корреспонденте, то имею в виду только то место, где он описывает чтение. Там же, где он передает слова г-жи Толмачевой, он передает умно; слова эти бесспорны; скандалу в них нет ни малейшего, и в *теории* эти слова совершенно истинны.

Но разве можно, основываясь на этом чтении и на этих словах (как бы ни не соглашалась с ними редакция «Века» с г-ном Ви-

ногоровым), разве можно основать такие обвинения против г-жи Толмачевой? Предположим, что сквозь комическое описание корреспондента просвечивает правда. Предположим, что г-жа Толмачева действительно прочла «Египетские ночи» с одушевлением. На каком же основании можно предположить из этого, что если читательница увлеклась красотой величайшего художественного произведения в русской литературе и прочла его одушевленно, то, стало быть, эта читательница имеет «отношения» и т. д., одним словом, *вероятно* (как говорит г-н Виногоров), существуют пермские тайны? По чему он судил? По выражению лица, которого еще сам не видал, а только читал об этом выражении у корреспондента. Но он, говорят, писал не о действительной г-же Толмачевой, он только *примерял* к той, которую описывал корреспондент, основываясь на том, что г-жа Толмачева обвела при известном стихе взглядом залу и слушателей, и лицо ее имело в эту минуту одушевленное выражение.

Ну а если, что всего вероятнее, г-жа Толмачева, действительно, была так одушевлена при чтении (в чем я не вижу ничего дурного, а нахожу дурным только описание корреспондента), что тогда? Ведь тогда ваша примерка и ваши предположения о *вероятности* приходятся прямо на счет г-жи Толмачевой? И редакция «Века» еще находит в этом свою защиту, оправдывает этим г-на Виногорова, — г-на Виногорова, обращавшегося прямо к г-же Толмачевой с предположением о жестах! И не устыдилась этого редакция?

Что же касается «собственно» до мнения г-жи Толмачевой и до ее поступка, то мы позволим себе только заметить одно.

Совершенно соглашаясь с ее словами, приведенными в статье корреспондента, мы думаем только, что г-жа Толмачева поступила немного пылко и несвоевременно. Читать такое художественное произведение, как «Египетские ночи» Пушкина, вслух, в обществе, разумеется, нисколько не стыдно, так же точно как не стыдно останавливаться в восторге перед Венерой Медицейской на выставке в зале, где толпятся посетители всех возрастов и обоих полов. Но в обществе много предрассудков: обнаженные статуи ставить перед публикой принято; читать «Египетские ночи» тоже можно; ведь прочел же их импровизатор Пушкина. Но на женщину за это чтение восстанут. Женщине у нас еще нет таких прав. Я отнюдь не говорю, что не должно быть таких прав; напротив, я стою за права женщины всей душой моей. Я говорю только, что прав этих покамест нет, и непременно найдется какой-нибудь Виногоров, чтоб пустить первый камень. Этой идеальной свободы пользования своими правами женщине еще не дано. Она установится, когда установится общество и укрепятся нравственные правила в обществе, тогда и женщине позволят безнаказанно восхищаться художественным произведением вслух, воспламеняться чистым, самым высоким художественным восторгом при чтении его, и не станут *непрерывно* подозревать сладострастные

помышления в этой чистой женщине, низость пластических желаний, не станут предполагать вследствие ее восторженного взгляда, упоенного художественным наслаждением, что, вероятно, тут есть пермские тайны. В самом деле, если женщина, девица непорочна и чиста, разве может она чувствовать непременно низкое желание при чтении хоть бы «Египетских ночей»? И потому дай бог, чтоб настал этот золотой век поскорее, чтоб нравственность укоренилась глубже, и тогда все будут больше верить друг в друга и перестанут подозревать друг друга в низких мыслях. На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтоб смотреть на эту божественную красоту не смущаясь. Слава богу, таких людей уже встречаешь довольно. Но много и г-д Виногоровых, и потому женщине выходить перед ними с чтением «Египетских ночей» — значит выходить на бой. Притом же мнения старых маменок должно тоже уважить. Что же делать, если они смотрят еще на это своими глазами; они опасаются за своих дочерей. Действительно, для *отроческого* возраста такое чтение *может быть* даже опасно. В отроческом возрасте человек не сформирован ни физически, ни нравственно, и на него *Венера Медицейская* может не производить полного художественного впечатления. С отроческим возрастом, действительно, надо песколько *погодить*, одним словом, надо иметь к нему уважение. И потому маменьки в этом случае отчасти правы, но только в этом случае. Что же касается до других случаев, то ведь ни маменок, ни папенок не переуверишь, не переубедишь каким-нибудь публичным чтением того, что по-ихнему *непринято* читать в публике. Зачем же идти против них насильно, тем более что всякая пропаганда производится не силой, а добротой, лаской, любовью, снисхождением, даже иногда к предрассудкам.

Вот всё, что я осмелюсь заметить по поводу чтения г-жи Толмачевой. Надеюсь, что я говорил не о пермских тайнах «и не о выразительных жестах». На всё есть свое слово и своя манера. Только одни г-да Виногоровы этого не понимают. Но ведь они юмористы.

Впрочем, г-н Виногоров извиняется; представьте, что он пишет:

«Но, твердо стоя за свои убеждения, я считаю упрямство одним из глупейших недостатков человеческих и всегда готов сознаться в своей вине».

В какой же это вине, г-н Виногоров?

«Так и теперь: я сознаюсь и чистосердечно извиняюсь в том, что, напавши на принцип, на совершившийся факт, совершенно *неволью* и все-таки под влиянием курьезнейшей в своем роде статьи корреспондента „СПб. ведомостей“, употребил несколько таких выражений, которые *справедливо могут показаться глубоко оскорбительными для женщины*».

Что это? так вы сознаетесь, что употребили такие выражения, которые могли показаться глубоко оскорбительными для жен-

щины, следовательно, сознается, что вы оскорбили женщину. Да ведь это же и говорил г-н Михайлов: за что же вы на него сердились-то? как же вы ему-то не позволяете говорить? Да! ведь вы пишете, что вы оскорбили *невольню*! Решительно не понимаю, как можно писать статью *невольню*, *бессознательно*, разве в лунатизме? Да... но вы были под впечатлением; в таком случае ваше извинение дантиста, о котором я рассказывал выше:

— Ах, это вы о пощечине-то! Вы, пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания. Я соглашаюсь, что увлекся, такая, право, скверная привычка, вы меня рассердили, и у меня совершенно *нечаянно* сорвалась пощечина.

Но ведь людей, у которых *нечаянно* срываются пощечины, за это порицают, чтоб не срывалось у них *нечаянно* пощечин. А вас оправдывают, именно редакция «Века».

«Я так высоко ставлю достоинство женщины (финтит далее г-н Виноговоров), *так свято чту ее права* (вот юморист-то!), что эти несколько выражений моих, *вырвавшихся совершенно невольню* (!) без всякого злого умысла, — неприятно подействовали на меня, может быть, больше, чем на кого-нибудь другого».

Ну, уж это вы слишком! вы опять увлеклись, г-н Виноговоров, уж не *невольню ли*?

«Такое откровенное сознание пред лицом всего общества, надеюсь, сымает с меня позорный укор — в умышленном оскорблении женщины».

Вряд ли! Скажут только, что вы ступаетесь, а дальше... вряд ли!

Наконец, в довершение своего в высшей степени наглого объяснения г-н Виноговоров говорит в другом месте, несколько строк спустя:

«Я не искажил ни одного слова г-жи Толмачевой, я перепечатал с буквальной точностью те выражения ее, которые показались мне неуместными в устах женщины, я смеялся над фактом, переданным во всеуслышание корреспондентом „С.-Петербургских ведомостей“, — и не прибавил от себя ни одного слова, *которое могло бы исказить этот факт*. А клеветою называется только искажение факта, лживая выдумка — а никак не *суждение* о том или другом».

Это уже из рук вон. Итак, «пермские тайны», вероятности «отпошений» и проч. были, по-вашему, не искажение факта, не *прибавка*, не умышленное представление этого факта в отвратительном виде? Это было, по-вашему, только *суждение*! Что за странность! И неужели, неужели редакция «Века» оправдывает Виноговора? Не верю. Тут другой умысл. Тут просто не чисто-сердечие.

Кстати, когда Тартюф говорит Дорине, заметив, что у нее не прикрыта шея: «Прикройте это; это может возбудить грешные мысли», Дорина отвечает ему: «А вы хоть всё с себя снимите, так не возбудите во мне ни одной грешной мысли».

Этот забавный ответ мы рекомендуем вниманию г-на Виноговора.

«СВИСТОК» И «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

Я сейчас говорил о чистосердечии. Я совершенно уверен, что статья «Русского вестника», в первом номере за нынешний год: «Несколько слов вместо современной летописи» — вполне чистосердечна; тем не менее она произвела на меня чрезвычайно странное впечатление; какая-то в ней раздражительность, можно даже сказать, какая-то страстность, конечно происходящая от благородного негодования, но вместе с тем и вредящая делу. Говорят же, что порывы страстей губительны; это вы прочтете в любой прописи. Дело вот в чем: в этой статье «Русский вестник» уведомляет своих читателей (которых у него очень много, и дай ему бог еще больше, потому что «Русский вестник» стоит читать), что с нынешнего года у «Русского вестника» происходит перемена в способе издания журнала: его «Современная летопись», удерживая по-прежнему характер преимущественно политический, получила отдельное существование, впрочем неразрывное с «Русским вестником», а вместо этого отдела в самом «Русском вестнике» заведется с нынешнего года отдел критический. Это, по-моему, очень хорошо. Остается только ждать, что нового скажет «Русский вестник» в своем новом отделе. Вторая книжка «Русского вестника» уже вышла с библиографическим отделом, покамест еще незначительным, но мы подождем: мы терпеливы. А теперь я хочу обратить внимание читателей только на вышеозначенную мною статью в первом номере «Русского вестника», которую можно принимать за что-то вроде вступительного слова к его будущей критической деятельности. Начинается она уведомлением, что «Русскому вестнику» в начале его деятельности другие журналы некоторое время ставили в упрек, что он мало занимается литературною критикой, потом упрек этот замолк, и журналы, делавшие его, сами потеснили свою литературную критику и дали обширное место политическим обозрениям. Из этого читатель видит, замечая я от себя, что «Русский вестник» первый угадал потребность или, лучше сказать, непотребность нашей критики в данный момент и изгнал ее из русской литературы, что непрозорливые наши журналы долго ставили ему это в упрек, но наконец догадались,

что критика в настоящее время — лишнее, и завел политическое обозрение, конечно по примеру «Русского вестника». Русские журналы сделали хорошо: умным людям подражать всегда следует. Но представьте, как мы мало знаем современную действительность! Я-то ведь думал до сих пор, что отдел политики завелся в русских журналах вовсе не из подражания «Русскому вестнику», а просто вследствие расширения поля действия русской литературы несколько лет тому назад. Но хорошие вещи никогда не поздно узнавать. Далее «Русский вестник» уведомляет, что в тогдашних журналах исчез также обычай литературно обозревать друг друга; что «Современник» доказывал, что «Отечественные записки» никуда не годятся, а «Отечественные записки» — что «Современник» никуда не годится; но что как только начал издаваться «Русский вестник», обычай этот вдруг прекратился. «В первый год существования „Русского вестника“ мы указали на эту черту наших литературных нравов, — говорит статья «Русского вестника», — на этот процветавший тогда в журналах обычай: под видом литературных обозрений зазывать к себе публику. Обычай этот тогда же прекратился, но ненадолго: натура взяла свое». Итак, видно из достойных и в высшей степени сознательных слов статьи, что «Русскому же вестнику» обязана наша литература и уничтожением этих смешных обозрений друг друга, хотя, к несчастью, и ненадолго, потому что натура русских журналов взяла свое. Мне, конечно, очень жаль русских журналистов, что у них такая натура; но насчет журнальных обозрений, уничтоженных «Русским вестником», к моему ужасу и даже стыду, я не совсем с ним согласен. Ведь литература совокупилась в журналах. Следственно, если в «Отечественных записках» появится прекрасная статья, то ведь издатель другого журнала уж по обязанности своей должен указать на нее публике. Наконец, есть такие странные журналисты и их сотрудники, которые даже любят литературу и сочувствуют ее явлениям с порывами неопытного, но горячего юношества: так и тянет поговорить о новом интересном литературном явлении, и вдруг благоразумие заставляет всех молчать. Вышла какая-то страшная противоположность. Прежде обозревали друг друга для зазыва к себе публики, а теперь молчат друг о друге, может быть, тоже для зазыва к себе публики. И потому мне кажется, что нападать следовало бы не на взаимные обозрения друг друга, а на пристрастность и недобросовестность этих обозрений. А то теперь как будто все журналисты, изгнав у себя взаимные обозрения и признав их смешными и нелепыми, тем самым точно согласились перед всей публикой, что они (то есть журналисты) и не способны быть беспристрастными и добросовестными; тем же самым как будто признались перед всей публикой, что они и прежде, во время взаимных обозрений, были пристрастны и недобросовестны, а обозревали друг друга только для зазыва публики. Странное признание, даже, по-моему, немного смешное, хотя, конечно, достойное уважения, потому что показы-

ваает много искренности. Но не знаю почему, может вследствие молодых моих лет, мне кажется, что можно взаимно обозревать друг друга и остаться честным и добросовестным. А польза и литературе была бы, и нравственный пример хороший. Ведь публика сейчас увидит, кто пристрастен, кто беспристрастен, поймет это и будет уважать литературу и литераторов. Это было бы даже что-то вроде золотого века. Согласен, что это слишком молодая мысль... Но, странное дело, ведь говорит же «Русский вестник», что обычай этот хоть и прекратился сейчас же после его указания, но ненадолго и что натура взяла свое. Мне даже кажется, что натура и «Русского вестника» взяла то же самое. Он, например, ужасно сердится на «Свисток», и дельно, дельно, хорошенько его! и первое вступительное свое слово начинает ненавистью к «Свистку». Везде у него «Свисток», в каждом факте нашей литературы он видит «Свисток», в истории тоже, даже на будущность России имеет, по его мнению, ужасное влияние «Свисток»!.. Но что я! Проговорился прежде срока. Впрочем, если проговорился, то замечу уж тут кстати, что именно это-то и есть та страстность, та раздражительность, доходящая до страстности, которая меня поразила в статье «Русского вестника». Но читатель увидит это сам: мы вместе с ним прочтем эту статью. Будем же продолжать это чтение.

«Итак, натура взяла свое, — говорит статья, — брань возвратилась, только уже не литературная; сброшенную маску литературных объяснений поднять было совестно, и раздались объяснения более откровенные, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен, со свистом и даже с визгом, как выразились недавно один из этих свистунов (тут сделана выписка: «Современник», № 1. Мы так и ожидали, что «Современник»). Не служит ли это также некоторым доказательством, что время наше есть время не совсем литературное?»

Печальное явление, истинно печальное явление. Но вот что надо заметить: эти балаганы с песнями и с свистунами, с визгом и проч. напрасно упомянуты негодующим журналом во множественном числе. «Свисток» в строгом, так сказать, в официальном смысле, у нас один — это в «Современнике». Если «Русский вестник» не употребляет здесь известной риторической фигуры умножения: наши Пушкины, наши Лермонтовы, наши свистки и проч., то я беру на себя смелость заметить ему, что уж одним этим умножением он придает этому досадному «Свистку» слишком уж большое значение. Не смею решать (я слишком молод), но мне кажется, что такой серьезный, такой деловой журнал, как «Русский вестник», мог бы даже не обращать ни малейшего внимания на этот «Свисток»; а вместо того, у «Русского вестника» даже двойится в глазах от негодования (конечно, благородного). Он уже видит «Свисток» везде; «Свисток» умножается в глазах его; обращается в целые балаганы. Мало того, почтенный журнал даже меряет всю нашу литературу по «Свистку» и заключает, по «Свистку» же, что наше время «есть время не совсем литератур-

ное». Если уж высказывать свое мнение, то, по-моему, наше время именно литературное; «Свисток» же ни мало не служит доказательством его нелитературности. Но продолжаем следить за статьями.

Статья говорит, что до сих пор «Русский вестник», следуя характеру времени, воздерживал себя от интересов и вопросов, которые имеют характер более общий и теоретический и которым не благоприятствовали время и требования общества. Наступило ли теперь другое время, появились ли новые задачи, чувствуется ли в обществе потребность других интересов, кроме чисто практических, сопряженных с трудом гражданского строения и преобразования, — «Русский вестник» решить не берется; но, однако ж, думает, что до некоторой степени существует эта потребность... а затем и объявляет, что вследствие этой потребности и открывает у себя новый отдел критики и библиографии.

Я этому очень рад. Правда, в последние годы нам как будто было не до литературы. Всё у нас как будто зашевелилось, как будто куда-то собиралось. Мы как будто вдруг открыли Америку. Ожиданий, надежд была бездна. Но мало-помалу мы не то чтоб успокоились, не то чтоб и разочаровались, а так, перестали ожидать чего-то немедленного. Нам даже вдруг показалось, что под нами как будто нет почвы, нет и указчика в смысле центростремительной силы; что мы не согласились в чем-то, не умеем еще чего-то, одним словом, обвиняли сами себя и отчасти напрасно, потому что, по-моему, всё происходило оттого, что мы — *дилетанты*. В самом деле, у нас, например, есть потребности: мы хоть и толкуем об них, но как-то не так, как в других местах, где толк тотчас же прилагается к делу, а следственно, каждый толкующий заинтересован так, как только можно быть заинтересованным в своем собственном деле. Мы же хоть и с теми же потребностями, но принуждены были толковать об них отвлеченно, в виде искусства для искусства, упражнялись в диалектике, говорили о высоком и прекрасном... и только. Правда, мы в это время учились; вот, например, «Русский вестник»: он нас учил неутомимо; он толковал и о судах, и о присяжных, и о тюрьмах, и об общине, и о полиции; даже приятно было слушать со стороны. Но всё тем и кончилось, что мы слушали со стороны. Ваши споры, задоры, ваша диалектика, ваша полемика оставались для нас одной книгой, а потому и отзывались чем-то книжным, а не живым. Как будто и под вами не было настоящей почвы, как будто и вы в настоящую жизнь не вошли. И всё более и более от вас веяло таким ораторством, пальмерстонством, кавурством... У вас, например, был хороший отдел политики, а в сущности, для чего нам политика? так, хорошенькая игрушка. Я читал статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием; с удовольствием даже читал я и об тротуарах, посыпаемых песком в июле месяце по приказанию полицейского служителя. Очень умно было написано; но если б умному человеку, написавшему эту обличительную статейку,

было что делать, он бы не распространил ее на столько страниц, что было довольно смешно. Я и вывел из этого заключение, что если есть у нас не совсем дилетантская деятельность, то это литературная деятельность. Мало того, еще так недавно, с небольшим десятилетием, литературная деятельность была для нас так полезна, что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколение, немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались всё больше и больше. . . Это было в последнее время деятельности Белинского. Одним словом, литература входила органически в жизнь. Вот почему мне кажется, что литературная критически-синтетическая, если можно так выразиться, деятельность наших представителей литературы, приятна бы была нам и теперь. Мы так разрозненны, мы жаждем нравственного убеждения, направленья. . . Мы даже видим, что нам еще много надо бы сделать в этом смысле и что многое в этом смысле еще не сделано. Вот почему я думаю, что настоящее время даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития, которого нам еще слишком недостает. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее и с обоих концов: с нас и с тех, которые недавно милосердой волей получили такое огромное расширение своих прав гражданства. Мне даже кажется, что без нравственного очищения, без внутреннего развития, — никакие специальности, ни Пальмерстоны, ни Громеки, ни даже обличители посыпанья песком, не войдут настоящим образом в наше сознание; конечно, и они тоже способствуют нравственному развитию, даже очень; но вместе с этим не мешает и чего-нибудь посинтетичнее, даже очень бы не мешало. Жаль, что не умею я выразиться. Мне даже кажется, что теперь даже так называемая изящная литература, какой-нибудь, например, Пушкин, Островский, Тургенев всё еще полезнее для нас даже самых лучших политических отделов и *premiers-Moscou*¹ наших журналов. (Батюшки! что это я такое сказал! Но — слово не воробей: вылетело, не воротись.) Я потому, впрочем, это думал, что всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу накапливаются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. Слово, — слово великое дело! А к сформированному погуманнее человеку получше привьются и всякие специальности. Человек-то этот еще не совсем сформирован у нас — вот беда! Специальности-то хоть и понимаются нами, да как-то не прививаются еще к нам. Конечно, специальности и теперь необходимы. Это наука. Необходимы, необходимы! — Это одно из самых первых дел. Но и то хорошо и это хорошо. Всё бы вместе, в стройном согласии — самое лучшее. По крайней мере, в одной только литературе мы еще как будто не дилетанты. Ко-

¹ передовиц московских (франц.).

нечно, литература и все ее впечатления далеко не составляют всего, но она способствует к составлению всего. Правда, тогда был Белинский, а теперь человека-то такого симпатичного нет. Безделица! А новый-то человек нам бы, наверно, сказал что-нибудь новое, успокоительное. Разве подождать, что скажет «Русский вестник».

Но «Русский вестник» еще не начал нового отдела, а уж начинает говорить странные вещи. Вот это-то меня и озадачивает, даже как будто разочаровывает. Он заговорил было о том, какой характер будет иметь их новый отдел, и тотчас же опять свернул на «Современник» и на «Свисток» его; даже подумаешь, пожалуй, что «Русский вестник» и заводит-то у себя новый отдел не для чего иного, как в пику «Современнику» и «Свистку» его, — мысль нелепая и которой, по-настоящему, я бы должен был стыдиться. Я, впрочем, и стыжусь ее и всеми силами стараюсь не верить ей. Впрочем, об «Современнике» говорится в «статье» то, что об нем теперь все говорят; но порыв, но страстность статьи поражают невольно:

«Только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература, — говорит статья, — роется в собственных дрязгах, не видя перед собой божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».

Сильно сказано, но верно. Согласитесь сами. И далее:

«Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедывалась теория, лишаящая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право национального поэта... и т. д., и т. д.»

И далее:

«Книжки этих журналов, где требовалось от литературы полнейшее самоотречение, где во имя дела и практических интересов уничтожалось всё, без разбора и смысла, книжки этих журналов наполовину наполнялись самыми бездельными литературными рассуждениями и сплетнями, бескорыстными или корыстными упражнениями *в искусстве для искусства*. Ни одна литература в мире не представляет такого изобилия литературных скандалов, как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык. Очевидно, что такого рода занятие литературой не есть признак чего-либо доброго, выражение какой-либо силы, а, напротив, признак бессилия и выражение ничтожества».

Мне кажется, что «Русский вестник» судит уж слишком под влиянием гнева и даже как-то безотрадно. Это жаль. Мне кажется, что уж слишком большую долю дают этим скандалам в развитии русской литературы. Право, так. Мне кажется даже, что наши литературные скандалы происходят только отчасти от бессилия и ничтожества, и я всё еще держусь мысли, что они происходят от тузов и столпов нашей литературы, именно от тех, которые кричат против них. И тому есть причины; я их изложу ниже. Но отчасти и потому, кажется, они происходят, что иным делать больше не-

чего. Младая кровь играет. Беспокойство, потребности жизни, потребности чего-то, потребности хоть как-нибудь пошевелиться, — вот и скандальчики. Оно хоть и скверно, по все-таки это не признаки какого-нибудь бессилия и ничтожества. А вот та часть скандалов, и самая огромная, которая остается на совести тузов и столпов литературных, вот эта может быть признаком их бессилия и ничтожества, хотя между этими столпами есть чрезвычайно много не ничтожных людей, а, напротив, очень умных, которые могли бы быть очень полезны. Но какое-то самолюбие поедает их. Всё это распалось на кружки, на приходы. Всё это готово считать, как мы уже сказали где-то, свою домашнюю стирку за интересы всего человечества. Каждый считает себя исходным пунктом, спасением, всеобщей надеждой. Каждый лезет в триумфаторы. Умных людей много, да и роль их пришла: все к ним обращаются; все от них ждут и разрешений и указаний, на них надежда; а они как догадались, что пришло их время, то есть догадались, что они указатели и стали потребностью общества, тотчас же и свихнулись с дороги. Проповедовали прежде гуманность и все добродетели, а чуть-чуть дело коснулось до них практически, они и передрались: куда девались все совершенства! Я и рад действовать, говорит иной столп, но с условием, чтобы меня считали центром, около которого вертится вся вселенная. Потребность олимпийства, пальмерстонства заедает наших литературных кадики до комического, до карикатуры. Один даже и с талантом писатель вдруг среди бела дня сходит с ума и кричит на вора караул:

Украли пук моих стихов!

Другой, бесспорно умнейший человек, встречается с другим литератором и долго колеблется, что ему протянуть: палец или два пальца, чтоб, дескать, не счел меня тот как-нибудь своей равней; пожалуй, сдуру-то и сочтет. Третьего освистали, конечно дело! Значит, всё падает, всё разрушается, светопреставление наступает — меня освистали! Эта магия считать себя центром вселенной и объяснять всемирные события своими домашними обстоятельствами напомнила мне недавний прием Лакордера в Французскую академию. Гизо, отвечая на его речь и упомянув в своей речи о том, какие славные надгробные слова произносил Лакордер и еще над какими знаменитыми покойниками, прибавил: «Провидение как будто выбирало для вас покойников, достойных вашего красноречия, и ваше красноречие оказалось достойным этого выбора». Что за бессмыслица, вот дичь-то! Подумать только о том, что провидение нарочно будет подбирать хороших покойников, единственно для того только, чтоб аббату Лакордеру можно было поблестать над ними своим красноречием! Фу, какая ерунда! и это сказал Гизо — человек умный. Печальный пример того, что и умный человек может иногда ужасно провратиться, и даже в хладнокровном виде. Что ж будет, если он обуреваем страстью? Но обратимся к нашим: мне кажется, по молодости моих лет разумеется,

что всё это разъединение, а за ним и скандалы происходят у нас отчасти и оттого, что уж слишком много развелось одинаково умных людей; будь над ними один, самый умный, они бы, может быть, как-нибудь и подчинились ему, и всё бы пошло хорошо. Но шутки в сторону: человека нет — это главное, центра нет, горячей, искренней души нет, новой мысли нет, а главное — человека, человека прежде всего! Есть книжки, есть правила о гуманности, есть расписание всех добродетелей, есть много умных людей, nasledовавших гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении, — вот что есть. Но этого мало. С этакой обстановкой, даже на лучшем пути, придется, пожалуй, самих себя обвинять, а не то, что дороги плохи.

Всё это я наговорил теперь только так, для упражнения в слоге и красноречии; но, разумеется, всё это несколько не касается «Русского вестника». Напротив, мы многого ждем от него. Мне вот только кажется, что он немного увлекся, говоря выше о русской литературе и даже побранив ее за то, что она «малепькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык», — «Русский вестник» был, очевидно, рассержен, хотелось хоть на ком-нибудь сердце сорвать; подвернулась литература — вот ей и досталось: не подвертывайся. Мне кажется тоже, что литература наша, хоть и новая, хоть и недавняя, но вовсе уж не такая мизерная. Она совсем не скудная: у нас Пушкин, у нас Гоголь, у нас Островский, и это уже литература. Преимущество мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная. Кроме этих писателей, есть много и прежних и новых, которых не отвергла бы любая европейская литература. И неужели явление Пушкина выработало нам один только язык? Неужели ж «Русский вестник» не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения русского духа и русского смысла? Литература без науки, говорите вы; но зато с сознанием, говорю я, и это сознание, хоть и молодое, хоть и не установившееся, но широко начавшееся и уже благонадежное. У нас уже давно сказано свое русское слово. Блажен тот, кто умеет прочесть его. За что же вы хвалите Пушкина, за что же вы сами говорите выше, что он национальный поэт, когда признаете за ним только одну выработку языка? Уж не для того ли вы и похвалили Пушкина, чтоб сказать что-нибудь в пику «Современнику»? Не верю этому подозренью! Постыдная мысль, оставь меня! Просто-запросто вы разгорячились; я подожду, когда вы будете хладнокровнее.

Но увы, к ужасу моему, «Русский вестник» не становится хладнокровнее, напротив, всё раздражительнее и раздражительнее, и, что всего досаднее, всему причиною опять тот же «Свисток». Досадный «Свисток»! и сколько еще он вперед наделает у нас бед? Да вот судите сами. Только что «Русский вестник» разговаривал о том, как мало бывают действительны принудительные сближения племенных особенностей, как, напротив, легко и ус-

пешно совершается это дело свободным развитием нравственных сил; только что он заговорил было, для примера, о печальном положении славянских племен и их наречий и для контраста — о приятном положении немецких племен и их языка, он вдруг заключает:

«В славянском же мире, забытом или подавленном историей, до сих пор еще ни одно из племенных начал его не достигло бесспорного могущества, не возоблададо даже над ближайшими элементами. Россия представляет, бесспорно, великое государственное могущество, страшную громаду, занимающую неизмеримые пространства Европы и Азии; но что такое русская народность? Что такое русская литература, русское искусство, русская мысль? Выгодно ли будет для России, чтобы русская народность и русское слово оставалось позади всякой другой народности и всякого другого слова в Европе? Хорошо ли будет для России, чтобы мы оставались вечными мальчишками-свистунами, способными только на мелкие дела, на маленькие сплетни и скандалы?»

Господи боже! — восклицаю я, — да неужели ж «Свисток» имеет такое всенародное значение в русской жизни и в русской будущности? От таких великих вопросов переходить прямо к «Свистку» и находить в нем только завязку и развязку всех русских недоумений! Да неужели ж вся Россия, всё русское общество обратилось в свисток? Разумеется, невыгодно оставаться позади всех, но Россия, я уверен, мы все в этом уверены, вовсе не считает выгоднее обратить всё свое население в свистунов, и совершенно напрасно вы задаете всему русскому обществу такой вопрос. Оно, может быть, и не слыхало, что такое «Свисток». Да этот «Свисток» вам просто не дает покою; спать не дает; вы всюду его видите, всюду встречаете, из-за него ничего не замечаете. После этого понятны и ваши предыдущие вопросы. Я оставляю в покое ваше предположение, что Россия не возвысилась еще ни над одной славянской народностью; но вопрос ваш: «Что такое русская народность?» — нельзя не поднять. Странно, что вы ее не замечаете. Конечно, сидя в кабинете, трудно что-нибудь заметить, даже и при великой учености. Надобно, чтоб обстоятельства заставили нас пожить вместе с народом и хоть на время, непосредственно, практически, а не свысока, не в идее только разделить с ним его интересы, тогда, может быть, мы и узнаем народ и его характер, и что в нем кроется, и к чему он способен, и какие его желания, осмысленные им и еще неосмысленные, и, узнав народ, может быть, и поймем его народность, и что она обещает, и что из этих обещаний *непрерывно* разовьется и исполнится. Русский народ трудно узнать, не принадлежа к нему непосредственно и не пожив с ним его жизнью. А когда поживете с ним, то его характер напечатлется в вашей душе так сильно, так ощутительно для вас, что вы уже потом не разуверитесь в нем. Русский народ отстал от высшего своего состояния, раздвоился с ним еще со времен реформы. С тех пор тяжелые обстоятельства, уничтожающиеся всё более и более в наше время, еще более усилили это разъединение. И потому к народу заглянуть трудно. Он и **говорит с нами, он и служит нам, он и**

всегда около нас, но мы его не знаем. Но неужели ж вас не поражали по крайней мере факты: одинаковость языка в огромной полосе России, одинаковость привычек, обычаев, умозаключений, правил, надежд и умственного развития? Посмотрите, как он одинаков даже в своих уклонениях, в своих таинственных и иногда уродливых уклонениях мысли и попыток сознания, но всегда сильных и глубоких в своем основании. Нет, в нем таится мысль, и великая мысль, и, может быть, скоро выразится. Не понимаю, что вы разумели под вашим вопросом: что такое русская народность? Не то ли, что она до сих пор не заявила себя вполне? Так ведь в этом она не виновата. Она заявила только в истории свою необъятную силу отпора и самосохранения; ведь и этого уже очень довольно, взяв в соображение все бывшие неблагоприятные обстоятельства, и если далеко еще не развилась, то сомневаться в ней уж никак нельзя. По крайней мере, наверно можно сказать, что «Свисток» не будет иметь на нее никакого влияния и бояться нечего. Вы спрашиваете: где русская наука? Про науку я скажу только то, что, по моему убеждению, наука создается и развивается только в практической жизни, то есть рядом с практическими интересами, а не среди отвлеченного дилетантизма и отчуждения от народного начала. Вот почему у нас и не было до сих пор русской науки. В этом вы правы. Но, спрашивая: «что такое русская литература, русское искусство, русская мысль?», — решительно неправы. Русская мысль уже во многом заявила себя. Надобно получше глядеть, непосредственнее принимать факты, поменьше отвлеченности, кабинетности, не принимать своих частных интересов за общественные, и тогда можно многое разглядеть. Русская мысль уже начала отражаться и в русской литературе, и так плодотворно, так сильно, что трудно бы, кажется, не заметить русскую литературу, а вы спрашиваете: «что такое русская литература?» Она началась самостоятельно с Пушкина. Возьмите только одно в Пушкине, только одну его особенность, не говоря о других: способность всемирности, всечеловечности, всеотклика. Он усваивает все литературы мира, он понимает всякую из них до того, что отражает ее в своей поэзии, но так, что самый дух, самые сокровеннейшие тайны чужих особенностей переходят в его поэзию, как бы он сам был англичанин, испанец, мусульманин или гражданин древнего мира. Подражатель, скажут нам, отсутствие собственной мысли. Но ведь так не подражают. Он является везде *en maitre*;¹ так подражать, значит творить самому, не подражать, а продолжать. Неужели такое явление кажется вам несамостоятельным, ничтожным, ничем? В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность всепонимания, такое свидетельство о всечеловечности и, главное, в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть, главнейшая особенность *русской мысли*; она

¹ властелином (франц.).

есть и в других народностях, но в высочайшей степени выражается только в русской, и в Пушкине она выразилась слишком законченно, слишком цельно, чтоб ей не поверить. (Я уже не говорю про то, что был Пушкин собственно для нас, собственно для выражения нашей русской национальной поэзии? Неужели ж вы сходитесь с странными мнениями г-на Дудышкина и его чудовищных последователей в «СПб. ведомостях» № 61, 1861 года?) С Пушкина мысль идет, развиваясь всё более и шире. Неужели такие явления, как Островский, ничего для вас не выражают в русском духе и в русской мысли? Неужели ж потому только, что где-то свищут, вы уж так во всем отчаялись! О пагубное влияние «Свистка»! Да пусть его свищет. Послушайте, «Русский вестник», между нами, под секретом, ведь иногда свист и полезен, ей богу! Неужели ж, по крайней мере у вас, ни одной надежды не осталось? Проклятый «Свисток»!

Нет! мы ошиблись! есть надежды. И мы с жадностью читаем дальше:

«При благоприятных условиях русскому языку могла бы быть суждена великая будущность в славянском мире; он мог бы стать бесспорно центром единения его разрозненных племен. И, по-видимому, история готовила наш язык к этому назначению».

Ну, слава богу! Уж по крайней мере теперь наверно можно сказать, что уж тут «Свисток» не помешает: «Свисток»! крошечный отдел в «Современнике», изредка появляющийся, да еще помешает такому великому факту «великой будущности русского языка в славянском мире»!

Затем «Русский вестник» излагает слегка, из каких стихий сложился теперешний русский язык, и восклицает:

«Когда же этот русский язык, слагавшийся так долго и так трудно, как бы предназначаемый к чему-то великому и всемирному, когда же окажется он в своей литературе достойным этого предназначения? Когда этот тысячелетний ребенок будет признан человеком совершеннолетним, способным к самостоятельной жизни и мысли? Когда перестанет этот язык чувствовать себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и не способного ни к чему, кроме свиста и визга?»

Что такое! глазам не верю! Опять «Свисток» помешал; такой великой будущности России и русского языка мешает — и кто же? — «Свисток»!

Не верю; перечитываю еще раз, два, три, и недоумение, даже ужас овладевают мною. Уж не случилось ли чего-нибудь с «Русским вестником»?

Как же можно весь русский язык, то есть всю русскую литературу, приравнять к одному «Свистку»! Да неужели ж она в самом деле, без шуток, заключается только в одном «Свистке»? Неужели и всё прошедшее ее был до сих пор только один «Свисток»? Читайте, сказано прямо: что *весь русский язык, весь (весь!)* чувствует себя в положении малого школьника, занимающегося нау-

нами по указке и неспособного ни к чему, кроме свиста и визга? Да в прошедшем-то! — кричу я, — в прошедшем-то он по крайней мере доказал, что *хоть к чему-нибудь* был способен, кроме свиста и визга! Как же можно еще сомневаться в нем, если даже согласиться с вами, что в настоящей, в современной литературе, кроме свиста и визга, нет ничего и не может быть ничего?

«Станет ли он действовать орудием зрелой мысли и знания, — продолжает «Русский вестник», — живым выражением великих интересов гражданственности, окажется ли в нем действительно всемирная, связующая и созидаящая сила? Будет ли он готов к жизненной пробе, которая наступит рано или поздно, и не застанет ли она его врасплох? История не ждет, время не задерживает своего хода...»

Грозные и торжественные слова. Да неужели ж всё это по поводу «Свистка»? Неужели ж «Свисток» до того поразил «Русский вестник», что он и в будущем видит одни только ужасы для всего и для всех, и всё оттого, что в «Современнике» есть маленький отдельчик — «Свисток»? Да бог с ним, с «Свистком»? Какое дело до него русской литературе? Вот уж подлинно-то сами поражены, раздражены да и думаете, что уж всё погибает, всё рушится, светопреставление, и всё от существования «Свистка»!

Несчастный, безнравственный «Свисток»! несчастный уже одними своими пороками! к тебе обращаюсь я: заруби себе на нос, что время не ждет; наступит жизненная проба, застанет тебя врасплох, за ней нагрянет история, а уж эта и подавно не ждет, — ну что ты скажешь тогда в свое оправдание? Ведь вся Россия через тебя может не получить своего развития, — понимаешь ли ты это? Ведь это у тебя останется на совести. И не стыдно тебе после этого!

Взгляни, что сделал ты с «Русским вестником»!

Но «Русский вестник» ополчается и хорошо делает; между прочим, он говорит в заключение:

«Мы не откажемся также от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести».

И хорошо, очень хорошо! Одного бы только желалось, чтоб прошло всё это раздражение. Я уверен, что в «Русском вестнике» не может быть бесполезного и совершенно неудавшегося отдела. В новом отделе своем он скажет нам что-нибудь новое и полезное. Но раздражение, раздражение! Вот, например, выше: «воры, воришки...» — можно бы и помягче. А впрочем, во всяком случае, статья совершенно чистосердечная.

«ПРИМЕЧАНИЕ¹ К «ПИСЬМУ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА В РЕДАКЦИЮ „ВРЕМЕНИ“» Л. К.»

И неудачно заговорил. К величайшему, искреннейшему нашему сожалению, он сам, с каждым новым своим литературным обзорением, обращается всё более и более в свистуна. Мы только что получили его мартовскую книжку и не можем не признаться, что с грустным чувством смотрим на теперешнее его положение. С олимпийским высокомерием смотрит он на бедную текущую журналистику нашу, и, отделав ее хуже всякой дряни (Литературное обзорение, страница 21-я), объявив притом, что «лучшие люди русской литературы брезгливо спешат пробраться мимо и запереться у себя в доме, оставляя свистунов господами положения» (что, впрочем, по-нашему, уже чересчур высокомерно), «Русский вестник» вдруг сам выходит из себя, начинает свистать изо всех сил и свирепо лезет в драку. Да, действительно что-нибудь с ним случилось. И неужели такого пятилетнего олимпийца могло до такой степени задеть наше молодое «Время»? Неужели и мы так его *проняли*? А мы еще, в простоте души нашей, серьезнейшим образом говорили в прошлом номере нашего журнала, что ожидаем от «Русского вестника» серьезного слова в нашей критике. Вот что значит самолюбие прежде всего, — самолюбие, дошедшее до лихорадки, при таком состоянии действительно можно повредить себя, мало того, что повредить себя, можно обратиться ко всем тем жалким и не совсем чистым уловкам, которые выработались ремесленной стороной нашей литературы, то есть можно пуститься и в неприличное извращение смысла чужих слов и в жалкие, тупые споры для верху в споре, а не для истины, и в страстное желание острить именно в то время, когда не острится, и проч., и проч — одним словом: можно сильно покачнуться на месте. Но мы когда-нибудь поговорим о «Русском вестнике» подробнее. Теперь он всё еще не в душевном спокойствии

¹ К словам «даже сам „Русский вестник“ увидел необходимость заговорить».

и хоть вышел из пятилетнего олимпийского своего молчания, но всё еще в литературе нашей не в состоянии видеть никого, кроме себя, а это слишком немного и подозрительно. Он, например, осклабляется при нашем слове «о величии Белинского» и в той же статье спешит упомянуть о тех «наших» людях, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, умели спасти свою мысль, сохранять ее достоинство и не терять ее положительных основ, людях *таланта и знания*; «но они (продолжает «Русский вестник») остаются одинокими явлениями, деятельность их обращена на малое или задержана, и они не производят того влияния, которое могло бы давать тон нашей литературе и нашему общественному мнению» (Литературное обозрение, страница 21-я). Кто же бы это были эти великие незнакомцы, спрашиваем мы невольно? Что у нас действительно были люди мысли и убеждений, отстаивавшие свои убеждения честно и смело и заставившие уважать себя, то это так. Это было и есть, но в словах «Русского вестника» именно, кажется, есть намек на какого-то особого великого незнакомца... Недавно, месяца два тому назад, в одном из номеров «СПб. ведомостей» было объявлено тоже о каком-то великом незнакомце при сравнении его с лордом Пальмерстоном: говорили там, что лорд Пальмерстон хоть и подвергается свисткам и насмешкам, но все-таки получил свою награду, а великий петербургский незнакомец не получал своей награды. Но мы положительно знаем, что «СПб. ведомости» говорили о петербургском незнакомце, а не о московском, и сильно подозреваем, что «Русский вестник» хотя и сходится с «СПб. ведомостями» в мыслях, но упоминает теперь про какого-то другого незнакомца, про великого особого москвитянина. А из всего этого и видно, что «Русский вестник» находится в положении не хладнокровном. Мы подождем, покамест он будет хладнокровнее, тогда и ответим ему.

ОТВЕТ «РУССКОМУ ВЕСТНИКУ»

Прежде всего мы решаемся сделать одно признание, которое, может быть, удивит «Русский вестник». Именно: мы получили его книжку за день до выхода нашей. Прочтя его злую статью против нас, мы наскоро успели сделать одну заметку в смеси нашего журнала. В этой заметке, уведомив наших читателей, что «Русский вестник» до того уж рассердился, что потерял всякое хладнокровие, всякую возможность владеть собой, мы упомянули, что будем отвечать ему тогда, когда он успокоится и хоть несколько придет в себя. Заметка наша была написана резко, заносчиво — соглашаемся в этом. Прошло несколько дней, и мы раскаялись: нам показалось, что мы сами вышли из себя, что если б даже мы были не согласны с убеждениями противников, то все-таки должны уважать всякое честное и серьезное убеждение, каково бы оно ни было. «Русский вестник» нашими выражениями мог обидеться, да и перед публикой мы как будто рекомендовали себя за людей, не умеющих спорить и с достоинством отстаивать свое мнение. Если б «Русский вестник» мог нам поверить, то, конечно, он удивился бы такому признанию.

Но мы уверены, что он не только нам не поверит, но даже не *может* поверить. Такое раскаяние, *во всяком случае*, должно казаться ему слишком смешным и нелепым. Мы решились извиниться; но, не отлагая намерения отвечать на его статью, мы перечели ее снова.

Каково же было изумление наше, когда мы увидели, что вторичное, спокойное чтение ее еще усилило в нас наше чувство негодования. Нам показалась она не только злою и заносчивою в высшей степени, — она показалась нам дурным поступком со стороны «Русского вестника». Кроме того, мы увидели, что в ней столько самой крупной невежливости, столько самой мелочной нетерпимости, столько неуважения к личности других, что прежняя заметка наша нам показалась даже слишком нежною. По крайней мере, мы уже не обвиняли себя более в том, что свое личное оскорбление приняли за негодование против взглядов враждебной нам статьи. Да это мнение было самое естественное негодование про-

тив направления статьи, а не эгоистическое чувство. И потому мы не только не желаем отказываться от нашей заметки, но даже хотим подкрепить ее доказательствами и тем оправдать себя перед публикой в нашей кажущейся заносчивости.

Прежде всего надо объяснить, с чего началась вся история. «Русский вестник» был крайне обижен и ужасно рассердился за юмористическую статью нашу, в мартовской книге «Времени» под названием: «„Свисток“ и „Русский вестник“», — он обиделся до скрежета зубов: в противном случае не обрушился бы он на нас такую громовую и, главное, длиннейшую статью, — он, молчавший пять лет и доселе едва замечавший своих противников, разумеется из презрения к ним. В нашей статейке мы, видите ли, осмелились подивиться, что «Русский вестник» придает слишком большое значение «Свистку» «Современника», до того, что даже боится за будущность всей России. Скажите, как можно было не смеяться над таким преувеличением, тем более что самая комическая сторона его было оскорбленное самолюбие? В этом промахе «Русского вестника» выразилось самое наивное самолюбие и самым наивнейшим образом: он до того себя возвеличил в собственных самодовольных мечтах и грезах о самом себе, что уж невольно, бессознательно придал и противнику своему необыкновенные размеры, вероятно соображая, что противник «Русского вестника» не может быть не значителен. Так, когда подыскивают партию в преферанс какому-нибудь мандарину с золотым шариком, то непременно подбирают приличных его мандаринскому значению партнеров. «Русский вестник» теперь отговаривается и хочет уверить нас, что мы преувеличили и исказили смысл его статьи о «Свистке» и что он будто бы вовсе не по поводу «Свистка» грозил нам всемирной историей. Может быть, «Русский вестник» и прав; разумеется, трудно представить себе такую нелепую самонадеянность, выраженную в такой художественной полноте; мы готовы теперь верить объяснению «Русского вестника» и говорим это совершенно искренно. Но однако ж, прочтите его статью (№ 2 за этот год). Там буквально, слово в слово, напечатано так, как мы представили в нашей статье «„Свисток“ и „Русский вестник“». Можно справиться: дело налицо. Чтоб зацепить и уязвить нас, «Русский вестник» предполагает, что мы будто бы обиделись его статьей и приняли его выходку против «Свистка» «Современника» на свой счет. Мы уверяем почтенное издание, что мы на свой счет ничего не принимали; в статье его не было никакого, даже отдаленнейшего намека на нас. А если б даже мы и завели у себя отдел под названием «Свисток», то опять-таки уверяем почтенное, но враждебное нам издание, что и тогда не обиделся бы его выходками против нашего «Свистка». Написали же мы нашу статью просто смотря со стороны на грозного литературного бойца, протрубившего еще в начале года с олимпийским величием о том, что он «идет, идет! Внимайте, трепещите и покоряйтесь» и вдруг споткнувшегося на простом «Свистке».

Была у нас и еще причина для нашей статьи, и, пожалуй, мы ее выскажем.

Дело в том, что вы, «Русский вестник», толкующий о приличиях, читающий нам на целых страницах правила мудрости, до того сами невоздержны и задорны, что не терпите ни малейшего противоречия, когда дело дойдет до вас. Пять лет величаво молчали вы, хотя, впрочем, изредка и поскрипывали зубками, и вдруг прорвались. Вы хотели поставить себя сначала в благородное положение и презрительно смотрели на ругающиеся между собою журналы, но не выдержали и сами пустились в ругательства, да еще в какие! Таких давно не бывало. А между тем мы ждали от вас совсем другого, признаемся в этом искренно и правдиво. Мы сами, пять лет тому назад, встретили ваш журнал с радостью и надеждами, и не говорите нам, что мы будто бы глумились над г-ном Громекой и хотели имя его превратить в собрикет. Если мы сказали, что читали статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием, то сказали истинную правду; опять-таки уверяем, что говорим это искренно. Тогда внове был этот раздавшийся вдруг по всей России горячий говор о новых делах и новых вопросах. Как будто все вдруг об чем-то догадались, что-то увидели новое, встрепонулись, ободрились и помолодели. О, с какими надеждами мы вас тогда встретили! Помню я это время, помню! Надо отдать справедливость и вашему журналу; впрочем, он и теперь, по некоторым отделам своим, один из самых лучших наших журналов. Но время проходило, и нам всё более и более стало не нравиться направление его. В нем всё более и более проявлялась какая-то ограниченная самонадеянность, безграничное самодовольство, жажда воскурений и поклонений. Мы сказали уже раз, что от вашего журнала повеяло таким пальмерстонством, кавурством. Слово *кавурство* тут вовсе не означало Кавура. Этим названием мы хотели только выразить всё это мелкое самоупоение, эту кичливость, юпитерское величие, детскую раздражительность. Нам, например, казалось, что вы до того упоены успехом прекрасного политического отдела в вашем журнале, что воображаете себя действительно при месте, живете в сладких мечтах и до того довольны ими, что даже и не желаете ничего лучшего, даже готовы отказаться от всего лучшего; почему это мы назвали «кавурством», право, не можем вам дать полного отчета, именно не можем; над всякой же мечтою о лучшем вы величаво улыбались и, наконец, стали называть не согласных с вами мальчишками и крикунами, тогда как сами проповедуете при всяком удобном случае об уважении к чужому мнению, было бы только оно честно и проч., и проч. С высоты своего величия вы не захотели, наконец, даже признать возможности честного убеждения в этих «крикунах и мальчишках». Всякой мелочи, касающейся вас, вы придаете размеры колоссальные, исторические. Вы желчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в ко-

тором его хотели сечь — розгой эпитагмы, разумеется. Но главное, мы ждали от вас нового слова и ничего не дождалось, кроме долго сдерживаемой и вдруг вырвавшейся злости и желчи, дошедшей наконец до самой цинической откровенности. «Докажите же это всё!» — скажете вы нам в негодовании. «Прочтите нашу статью до конца, — отвечаем мы, — и, может быть, вы догадаетесь, почему мы составили о вас такое мнение». По крайней мере, мы намерены быть вполне откровенными.

Свиста вы очень не любите, и, конечно, кто может поставить вам это в упрек? Вы считаете свист постыдным, *последним* делом и, кажется, ошибаетесь; мы сказали прежде, что «Свисток» был бы для вас даже полезен. По крайней мере, мы находим в нем несколько более мысли, чем в иных нравоучениях, и, например, хоть в вашей желчи. Впрочем, в припадках желчи, вы даже иногда решаетесь подражать ему, но озлобление ваше мешает вам смеяться искренно и простоудшно, и у вас это как-то нехорошо выходит. Мы вовсе не увлекаемся свистящим направлением «Современника». Свист его иногда чрезвычайно легкомыслен и даже пристрастен, так, по крайней мере, нам кажется. Но все-таки повторяем, мы находим его во многом полезным. «Свисток», по-нашему, даже отчасти нормальное явление в нашей литературе. Он не хочет утешать себя побасенками и разными приятными грезами. От деятелей он требует деятельности, а не тупого самодовольства. Он хочет называть каждую вещь ее собственным, настоящим именем, а не принимать журавля за соловья. «Свистуны» не считают, например, что уж и того довольно, если они сделают честь литературе своим в ней участием. Видя, что невозможно называть каждую вещь по имени, они предпочитают иногда посвистать, то есть похихотать над самодовольными болтунами, над скороудовлетворяющимися деятелями, над пошлым буквоедством, над литературным чиновничеством и проч., проч. Пусть они иногда не правы, далеко заходят, опрометчивы, неумеренны. Но мысль-то их недурна. Она нова в нашей литературе. Это наша Диогенова бочка, и держат они себя в ней довольно стойко и самостоятельно. Может быть, мы преувеличиваем, поэтизируем значение этого смеха, но нам было бы очень неприятно в этом случае ошибиться...

Конечно, мы понимаем и вашу мысль: вы видите кругом себя хаос и хотите хоть за что-нибудь уцепиться. Вы хотите успокоить себя и знать, за что держаться. Вы требуете под собой почвы, и если б вы знали, как искренно мы вам готовы сочувствовать! Но если вы обвиняете других в крайности, в выходе из меры, в хаотичности, то ведь вы и сами из мерки выскакиваете. Вам хочется что-то создать, слепить, несмотря даже на непрочность и негодность материала. Вы хотите настойчиво уверить нас и даже себя, что *ваш* материал годен, и не видите, что всё это грезы, и то, что вы хотите лепить, — не лепится. Вы не замечаете, что для своей идеи вы жертвуете даже правдой, даже убеждениями

своими, и ставите себе идолов. У вас поневоле всё выходит как-то книжно, безжизненно. Вы ищете жизни, а у вас нет ни надежд, ни молодости. Тут еще замешалось упрямство. Вы, например, не можете простить всем увлекающимся и ошибающимся и с презрением на них смотрите. Презрение это доходит у вас до того, что вы считаете их всех сплошь мальчишками и крикунами, даже не верите, что в этих крикунах может быть иногда честное, сурово-честное убеждение. А уж это слишком цинично, даже грязновато. Вы только любите одних безгрешных, а безгрешным считаете, кажется, только себя. Боязнь же ошибиться и обидчивость ваша показывает даже какое-то старчество. Но к делу.

Всем известен вопрос, возникший в начале года в нашей литературе по поводу оскорбления одной дамы, так называемым «безобразным поступком „Века“». Этот вопрос до того наконец надоел всем и каждому, что о нем даже говорить теперь боятся печатно; и даже до того, что журналы готовы стыдить друг друга за участие в этом вопросе. Сознаемся откровенно: мы тоже увлеклись этим вопросом и даже напечатали о нем две статьи — одну от редакции, а другую — доставленную нам со стороны. «Русский вестник», между прочим, ставит нам это в большой стыд. Мы действительно показали мало литературной *ловкости*, слишком разгорячились, но особенного стыда в этом не видим никакого. Нам хотелось заступиться за жестоко обиженную женщину и показать, что не вся литература разделяет мнения обидчика. Мы представляем на вид всем негодующим на излишнюю горячность нашу, а вместе с тем и «Русскому вестнику» следующее обстоятельство: что, если б, например, они сами были таким образом *семейно* и всенародно обижены? Вероятно, обличительные статьи против обидчика не показались бы им тогда слишком длинными. Впрочем, успокоим наших читателей: мы вовсе не хотим прикасаться теперь к этому вопросу; но «Русский вестник» — последний говоривший о нем — высказал при этом такие неожиданные мнения, что их нельзя не поднять и не представить в настоящем виде. Он выказал по этому поводу настоящий характер своего направления и выяснил самого себя. Прежний вопрос принимает, стало быть, теперь совершенно другое значение. Дело в том, что «Русский вестник», покамест дело шло между мальчишками и крикунами, величаво молчал и только посмеивался. Наконец когда дело дошло до смешного, решился ввязаться в него и вымолвить окончательное, мудрое, безапелляционное слово, долженствовавшее разрешить все недоумения разом. Разумеется, он обрушился всем гневом и сарказмом своим прежде всего на нас и, признаемся искренно, чрезвычайно ловко приступил к делу. Он даже обнаружил при этом необыкновенную практичность и понимание действительности. Для этого он употребил старый способ, старый, как весь мир, и, кроме того, чрезвычайно пошлый, даже зазорный, но вместе с тем чрезвычайно выгодный, разумеется для человека не слишком раз-

борчивого в средствах. Ведь всякая дорога хороша, если только ведет к цели, сказал какой-то практический мудрец нашего времени. «Русский вестник» начал с того, что объявил нас «эманципаторам» и стал нас дразнить и стыдить этим прозвищем. Дело ловкое: это значило польстить большинству и таким образом расположить его в свою пользу и, опираясь на него, подавить противника. Вот каким образом это делается. Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, незыблемо и неподвижно. Эту незыблемость и неподвижность они любят преимущественно за то, что она совпадает с их материальными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. В интересах своих они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и тени. Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, — явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности самосохранения. Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам, а главное, на извратителей, угодников и оболстителей толпы, действующих почти всегда из собственной личной выгоды. В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны. А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди честные и высоких нравственных качеств. Между меньшинством являются иногда люди гениальные; кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически переносить всевозможные гонения. Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. Они суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошляя ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства. Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. А между тем как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей честно и благородно преданных делу. Да и вообще между людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. Прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его

представителями. Но те, которые льстят большинству из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать, и дело в шляпе. Поклеветать же необходимо. Выдуман, например, громоотвод — все в городе приходят в смятение: как? идти против судеб божьих, прятаться от его гнева, усмирить молнию, управлять громами? — да ведь это новая вавилонская башня, да ведь это безнравственно, нерелигиозно, это значит прямо идти против всевышнего, навлечь на себя гнев господень. В тюрьму изобретателя, судить его, казнить! Тут сейчас являются и услужливые: молнию хочет поймать за хвост, ха-ха-ха! — и все смеются. И вот изобретателю проходу нет в городе. Клеветать, извращать идею и грубо насмеяться над нею — это главное средство всех льстецов большинства. Жорж Занд, например, пишет романы и защищает женщин, — чего медлить? Надо тотчас же провозгласить, что она требует уничтожения брака и позволения женщинам всенародно развратничать. Да побольше, да получше глумиться над ней, карикатурить ее, чем грубее — тем лучше; тем больше будут смеяться! Помню я, как у нас Жорж Занд называли Егором Зандом, а Барбеса — балбесом. Боже мой, как эти остроты казались тогда смешными и как им смеялись! Это глумление чрезвычайно ловко и выгодно для всех «умеющих разрешать загадку жизни». Они имеют влияние даже на честнейших людей, незнакомых с делом, отбивая у них своими клеветами и смехом даже и охоту с ним знакомиться.

К этому способу обыкновенно прибегал Фаддей Булгарин с компанею. Помню тоже, как на театре глумились у нас над прогрессом и тогдашними современными идеями. Видел я тогда один водевиль: в нем представлен был почтенный коллежский советник, выдававший дочь свою за офицера. Само собою разумеется, что добродетели этого коллежского советника были неисчислимы, тем более что он непрерывно прикладывал к глазам платок и о чем-то плакал. Офицер с своей стороны гремел шпорами и сиял совершенствами.

Наконец, девица, невеста и дочь коллежского советника, долженствовала обозначать собою воплощение невинности. Но из числа претендентов на ее руку выставлен был на смех и на позор публике некто *Виссарион* Вихляев; имя Виссарион сильно намекало на одно из действующих лиц тогдашней литературы. Этому Виссариону предназначено было изображать собою новейшее направление. Жаль, что я забыл сюжет водевиля. Несчастный Виссарион врал без милосердия и нес такую дичь, что публика показывалась со смеху. Он говорил непрерывно, ни к селу ни к городу, об эманципации, о прогрессе и обскурантизме; говорил всё иностранными словами, еще не вошедшими в состав русского языка. Изъяснялся темно и глупо, одним словом, совершенно пофилософски. В конце водевиля он, помнится, начал красть платки из карманов. Его трясли за шиворот, давали ему в нос щелчки,

причем особенно отличался офицер, билли *во все места*, — и в райке ужасно смеялись. Разумеется, чем больше крал Виссарпон платков, тем ярче и ярче обозначалось скромное величие и добродетели коллежского советника. Этот способ оплевания, осмеяния и даже заушения прекрасен. Главное — удобен и выгоден. Тотчас же можно собрать толпу, которая, окружив преступника, будет высовывать ему язык, плясать перед ним на одной ножке, показывать ему шиши и кричать: «У-у! эманципатор! эманципатор! смотрите, эманципатор идет! хочет понравиться дамскому полу; ишь, пачулей надушился, обольстител, ловлас, эманципатор!» Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнул относительно нас и «Русский вестник», провозгласив и нас эманципаторами, чтоб сразу одним ударом оглушить нас и представить нас всем благомыслящим людям в самом худшем и неблагоприятном виде. Эманципаторами он назвал нас, не имея к тому ни малейшего основания. Если мы и отговариваемся от этого названия, то вовсе не потому, чтоб мы боялись его, а просто потому, что мы в журнале нашем не успели еще ничего сказать об этом вопросе. В обеих статьях наших по поводу известного вопроса мы тоже не заявили нашего мнения об эманципации. Просто «Русскому вестнику» показалось ловкою старинная уловка прежних фрит, и он употребил ее для нашего разгромления. Впрочем, уж не выводит ли «Русский вестник» нашего участия в эманципации из того, что мы соглашаемся, что в романах Дюма-фиса и во французских водевилях чрезвычайно много сального, цинически-обнаженного, грубо извращенного, и что читать и смотреть их несравненно опаснее, чем слушать «Египетские ночи»? Не из того ли, наконец, что мы находим безнравственными свадьбы молодых девушек с сладострастными и богатенькими старичками; что мы находим эту продажу тела, совершаемую во имя нравственности и покорности, по крайней мере так же безнравственною и позорною, как и всякую другую продажу тела. Конечно, и в этом случае часто виновата не бедная жертва, а ее палачи. Итак, за эти-то мнения «Русский вестник» нас называет эманципаторами и всенародно стыдит этим названием? Но позвольте же наконец спросить, что же вы называете эманципацией? В этих спорах надо сначала уговориться, согласиться между собою в основных мнениях, чтобы потом понимать друг друга. Если под эманципацией вы понимаете право всякой женщины ставить своему мужу, при всяком удобном случае, рога, то, разумеется, вы правы, в вашей ненависти к эманципации. Но мы никогда не разумели так эманципацию. Пусть разумеют ее другие как хотят, но для нас, то есть, собственно, *для нас*, вся эманципация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу, — любви, которой имеет право требовать себе и женщина. *По-нашему*, весь вопрос об эманципации сводится на обыкновенный и всегдашний вопрос о прогрессе и развитии. Чем правильнее разовьется общество, тем оно будет нормальнее, тем ближе

подойдет к идеалу гуманности, и отношения наши к женщине определятся сами собою безо всяких предварительных проектов и утопий. Тем не менее заниматься этим вопросом, представлять обществу на вид о необходимости более человеколюбивых отношений к женщине, даже устраивать эти отношения в теории (хотя бы иногда и ошибочно) мы считаем чрезвычайно полезным. Ошибку в фальшь не ставят, если б даже и была ошибка; по крайней мере, эманципаторы подвигнуты были началами человеколюбия и достойны сочувствия и уважения. Педант же, сидящий в своем кабинете и ожидающий, что развитие, прогресс, гуманность упадут к нему с неба совершенно готовыми, без исторической жизни, без усилий, без увлечений и ошибок, которые он грубо и слепо презирает, по-нашему, есть равнодушный лентяй, потерявший свой здравый смысл. Итак, вот что мы разумеем под словом «эманципация» и вместе с тем признаем, что теперь пришло наконец то время, когда женщина может и имеет право требовать к себе уважения и некоторого, по крайней мере нравственного, равенства прав с мужчиною.

Права женщины! «Но кто же отнимал эти права?», — восклицает «Русский вестник» и затем пускается в рассуждения, что в гражданском отношении она, именно у нас, ничем не уступает мужчине, не подлежит опеке, совершенно самостоятельна и проч. — одним словом, прибегает к законам. Послушайте, «Русский вестник», неужели вы думаете уверить нас, что об этом свидетельстве законов вы говорите серьезно, *а не для толпы?* Неужели вы думаете, что мы поверим, что вы сами, говоря это, верите словам своим? Вам именно хочется только успеха в толпе для верха в споре, а не для истины; вам только хочется добиться того, чтоб в толпе закричали: «Вишь какой молодец! тотчас разбил, по законам доказал; юрист, дескать! так их и надо!» Этих мнений, этих криков вам хочется? Ну кого вы морочите? Разве о законах тут идет дело? Дело о наших домашних нравах, о наших обычаях, о принятых правилах и верованиях. Читали вы «Семейную хронику»? Помните там, как жена Багрова целый год прикладывала к голове своей пластырь? «Ха-ха-ха! — восклицаете вы, — ведь это было восемьдесят лет назад; теперь уж не бьют женщин». Ну да, вы совершенно правы; мы ошиблись; теперь не бьют женщин. «Правда, у нас нет амазонских полков и женских департаментов, но неужели ж женщина этого хочет? Неужели ж это ей нужно?» — восклицаете вы. Bravo! Фаддей Булгарин не сказал бы лучше. Зато смотрите, какой успех. «Ха-ха-ха! — кричат кругом, — амазонские полки, департаменты, ха-ха-ха! Молодец „Русский вестник“, молодец, выдумает же!» — «Нет, — отвечаем мы, — женщина у нас не требует вступления в амазонские полки и департаменты; об этом теперь и речи нет. Но вот чего она может и имеет право требовать; чтоб не смели ее обижать за ошибочный ее поступок. опубликованием в газетах *без всякого основания и правды*. что у этой женщины должны быть свои грязные тайны».

«Века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине в образованном обществе», — продолжает «Русский вестник». С своей стороны, мы хотим ему рассказать один коротенький анекдот. В этом номере нашего журнала мы печатаем подробнейшее изложение известного процесса госпожи Лафарж, обвиненной, по нашему мнению, совершенно несправедливо, в отравлении своего мужа. Впрочем, это не одно только наше мнение. Суд, разбирая и обсуживая отношения г-жи Лафарж к ее покойному мужу, набрел, между прочим, на следующий случай: что мосье Лафарж, женившись на мадам Лафарж, повез ее к себе в поместье. Это было спустя только несколько дней после свадьбы. По дороге, на станции, г-жа Лафарж потребовала себе ванну. Когда она сидела в ванне, муж начал стучаться в дверь и непременно хотел, чтоб ему отворили. Жена отвечала ему сквозь затворенную дверь, что она сидит в ванне и не может принять его; но муж продолжал настаивать, чтоб его впустили. Судьи, жюри и публика решили, что мосье Лафарж был муж, а в качестве мужа *имел полное право* требовать, чтоб его впустили. Не будем прибавлять никаких объяснений к этому анекдоту. Но, скажете вы, это только частный случай; да, отвечаем мы; но решение судей, жюри и всей публики нельзя считать за частный случай, а, напротив, за полное выражение нравов большинства в образованнейшей нации Европы, в которой «века рыцарства выработали до идеальной тонкости отношения мужчины к женщине» и проч., и проч. Века рыцарства! ну кого вы морочите? Впрочем, может быть, «Русский вестник» тоже согласен с мнением большинства образованнейшей нации и находит, что мосье Лафарж, как муж, имел право требовать, чтоб его впустили. По крайней мере, он, как кнутом, резнул по вопросу о женщине: «Каких еще прав ей надобно?»

Это «каких еще прав...» достойно самого забористого субботнего фельетона блаженной памяти Фаддея Булгарина! изящно и превосходно!

«Чего же может хотеть женщина? — продолжает «Русский вестник» с прежней своей уловкой, — неужели того, чтоб быть эманципированною во всех тех отношениях, в каких считает себя эманципированным мужчина? Но хорошо ли, что мужчина считает себя эманципированным во всех отношениях? Приятно ли будет ей самой сравниться с ним во всех отношениях? А если приятно, так что ж мешает и женщине пользоваться теми же правами? Увы, как много женщин, которые ими пользовались и пользуются, не слыхав ни о какой эманципации и без помощи особых доктрин о своих правах! Для этого не нужно образования, не нужно развития умственного или нравственного; эта благодать достается сама собою, и лишь высшее нравственное развитие, вкореняя в душу чувство долга, спасает как мужчину, так и женщину от этой даровой и всем доступной эманципации».

Да послушайте, вы в самом деле нас морочите? Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии; именно о том, чтоб

чувство долга свободно вкоренилось в душу как мужчины, так и женщины. Мы именно уверены, что тогда только и определятся вполне, правильно, гуманно и ясно, отношения мужчины и женщины между собою и разрешатся все недоумения, и способствовать этому нравственному развитию мы и хотим всей душой, по мере слабых сил наших.

— Да ведь это вовсе не эманципация! — скажет нам «Русский вестник».

— Да пощимайте ее как хотите, — отвечаем мы, — только мы сами-то понимаем ее именно так, как теперь объяснили, то есть следствием высшего нравственного развития...

Право, у «Русского вестника» есть такая уловка: он прикидывается, что сам уверен, будто никто не знает того, что он знает. И вдруг начинает лекцию, читает наставления, умиляется душой, впадает в красноречие. А между тем это давно уже всем известно. Подумаешь, что ему приятнее всего собственно процесс, манера наставлений и болтовни. Но подумав лучше, ясно увидишь, что умысел другой тут был. «Один, дескать, один я это знаю, а вы-то не знаете. Я умнее всех, разумеете и покоряйтесь» и т. д., и т. д. Разумеется, все это делается для толпы, для большинства...

Далее следует у «Русского вестника» страница до того блестящая своей логической непоследовательностью, что мы решительно не знали, что и подумать, читая ее. Здесь каждое слово драгоценно. Мы не можем не выписать этой страницы:

«... Как бы то ни было, однако, — говорит «Русский вестник», — представим себе женщину эманципированною наравне с мужчиной. Пользуясь совершенно одинаковым с мужчиной положением, женщина тем самым отказывается от всех особенностей собственно женского положения. Она уже не должна хотеть и не может требовать от мужчины того особого уважения, той деликатности, на которые имеет право женщина, оставаясь в своем положении, высшем и привилегированном, *которого никто у ней не оспаривает, которым, напротив, все дорожат, которое все охраняют, удаляя от женщины эманципаторов с грязными руками. . .*»

Например, как вы, замечаем мы, оправдывая кровных обидчиков женщины. Но это в сторону, а вот что главное; стало быть, вы серьезно считаете, что для женщины уже всё сделано в настоящий момент, что дальше ничего не надо делать, решительно ничего, даже желать ничего не надо, даже гуманного смягчения прав, о котором мы говорили, стало быть, всё хорошо, всё прекрасно, всё благоухает? И можно поверить вам, что вы, «Русский вестник», верите словам своим? что это не фальшь с вашей стороны, что вы не имеете в виду вашей выходкой польстить инстинктам массы, для того чтобы иметь ее на своей стороне? Можно смеяться над увлечениями эманципаторов, но отвергать самые законные желания, развитие и *законное* совершенствование во имя правды и любви — это значит уже слишком далеко зайти. А ведь вы именно вашей фразой всё это отвергаете. Вы в ней изобража-

ете такую высшую точку развития в современном нам обществе, что, по-вашему, уж и желать нельзя лучшего.

И наконец, позвольте: почему же женщина, если б даже она и сравнялась в общественном положении своем с мужчиной, если б только это могло когда-нибудь случиться, — почему она не могла бы требовать тогда от мужчины того особого уважения, той деликатности, как теперь?

«Эманципаторы,— продолжаете вы,— не понимают того, что их учения не дают никаких новых прав женщине, а ведут только к тому, чтобы снять с мужчины его обязанности относительно женщины».

Опять спрашиваем вас: что разумеете вы под словом «эманципация», как понимаете вы ее? Вы, кажется, составили о ней такое чудовищное понятие, что вам, естественно, приходится делать теперь и странные заключения. Не будучи эманципаторами, мы все-таки считаем справедливым сказать, что они, наверно, гораздо умнее, рассудительнее и человеколюбивее, чем вы о них думаете. Под словом «эманципация» вы, кажется, разумеете сброд самых чудовищных, самых ненормальных и невозможных правил и потешаетесь тем, что пугает ими публику. Мы уверены, что эманципаторы могут тоже во многом ошибаться и, наверно, ошибаются, во-первых, потому, что они люди, но повторяем, почему, в случае одинакового общественного положения мужчины и женщины, с мужчины снимаются его обязанности относительно женщины, даже относительно уважения, деликатности, как вы говорите? Если женщина получит одинаковые права со мной, так уж я, по-вашему, тотчас же получаю право ее оскорблять? Да зачем же это? Почему я должен ее не уважать, если она достойна уважения? Почему мужчина не должен защищать и любить ее, как жену свою, если она его любит и исполняет вполне свой долг к нему? Может быть, вы именно напираете на то, что долга-то этого не будет при эманципации? Разве это может быть хоть когда-нибудь? Что вы народ-то морочите и пугаете? Брак создала природа: брак есть закон ее, и если в вас осталась хотя одна капля веры в прогресс, то вы не должны сомневаться, чтоб естественный, взаимный долг людей одного к одному, равно как мужчины к женщине и обратно, мог когда-нибудь уничтожиться. Вот некоторые другие долги и обычаи не естественные, а выдуманные человеком, часто ошибочно, неумело, глупо,— вот те могут уничтожиться и уничтожаются почти ежедневно. История ведь не что иное, как картина этого уничтожения и постепенного приближения человечества к законному, естественному, нормальному долгу... А ведь вы знаете историю; вы часто о ней говорите.

Морочите вы нас! ох, хитрите!

«С мужчиной не церемонятся, как с существом полноправным во всех отношениях,— продолжает «Русский вестник».— Зачем же церемониться и с женщиной, которая должна быть также существом полноправным во всех отношениях?»

Что за странность! Да и что вы подразумеваете под словом «церемониться»? Если вы подразумеваете какие-нибудь китайские церемонии, так их и теперь довольно, даже между мужчинами. Если же выражением «не церемонятся» вы грозите женщине какими-нибудь обидами, грубостью, невежливостью, щипками, пинками, циническими речами или клеветами, то почему же вы так уверены в их неизбежности? Ведь и теперь порядочный человек всегда заставит себя уважать, а не бить. Что значит: «с мужчиной не церемонятся»? — странно! Это какие-то детские угрозы.

«Кто хочет построить отношения между людьми без помощи идеи долга, не останавливаясь на ней, кто не ею ориентируется (что за красноречие!), а чем-нибудь другим, тот отбрось в сторону, как хлам негодных фраз, все толки о взаимном уважении людей друг к другу и о достоинстве женщины».

— Что за ненужное красноречие! — невольно восклицаем мы. — Да кто же хочет построить отношения между людьми без помощи идеи долга? Кто когда-нибудь строил иначе, или думал иначе строить? Назовите хоть кого-нибудь... В чем именно состоит этот долг — вот это действительно отыскивали, разрешением этого вопроса всегда занимались, спокон веку, занимаются теперь и будут заниматься, кажется, до скончания мира. Но ведь это уже совершенно другое. Ой, пугаете!

«Так точно, — продолжает «Вестник», — кто видит в человеке не более как химические щелочи, кислоты и соли, в том самом смысле и силе, как они открываются нам в реторте, тот не говори о правах человека, об его пользе, об улучшении его быта; тот засмейся, взглянув в глаза своему единомышленному другу; тот перестань бессмысленно выходить из себя и щеголять пафосом, который не может иметь другого смысла, кроме авгурского шарлатанства; тот оставь попечение об этих ничтожных эфемеридах и знай живи как случилось, по воле всемогущих обстоятельств. В самом деле, заботимся ли мы о червяках и думаем ли задавать себе серьезный вопрос: сыты ли они или голодные, когда давим их ногою нечаянно или чаянно...»

Вот ведь охота-то говорить!

Уверяю вас, что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел *весь* из реторты. Я не могу этому верить. Но если б я и верил именно так, почему же тогда я не мог бы говорить о правах человека, об его пользе и об улучшении его быта? для чего было бы мне «смеяться в глаза моему единоверцу и жить как случилось?» Да из одной механической выгоды люди для того только, чтобы существовать, должны бы были согласиться между собою, условиться, а следовательно, и связать себя взаимно долгом друг к другу. Вот уж и долг, а следовательно, и цель в жизни. Без этого немыслимо общество. Каковы бы их убеждения ни были, ведь они все-таки остались бы людьми, природу свою не могли бы уничтожить? Чувство самосохранения было бы в них непременно; но, кроме того, человек, потому что

он человек, ощутил бы потребность любить своего ближнего, потребность самопожертвования в пользу ближнего, потому что любовь немислима без самопожертвования, а любовь, повторяем, не могла бы уничтожиться. Для этого человек должен бы был возненавидеть собственную природу свою. А уверены ли вы в этом? По крайней мере, это вопрос мудреный, и решить его так вдруг, как вы решаете, — невозможно. Это:

Вопрос, которого не разрешите вы!

А вы решаете его что-то слишком спокойно, слишком торжественно, уж это одно подозрительно...

Вот вы, например, и о гуманности толкуете, и о развитии, а защищаете же обидчика, против обиженного. Вам так хочется его защитить, что вы решаетесь даже на неправду, говорите против очевидности, и вам это, кажется, ничего не стоит. Вы прямо говорите: «Он не выдумал каких-нибудь фальшивых фактов, не сообщил за истину каких-нибудь мерзких сплетен»; вы говорите это спокойно, хотя и знаете, что говорите неправду. Он не выдумал мерзких сплетен! А намек о тайнах? Что же это такое, по-вашему? И этот намек явился печатно; что вы ребенок, что ли, что не можете всего видеть и называть вещи их именами?

Много кой-чего и еще говорил «Русский вестник», но нам более всего понравились его суждения о Пушкине.

Именно о «Египетских ночах». Он и перед этим еще говорил о Пушкине много оригинального; но теперь мы не будем разбирать его окончательного мнения. Говорим: окончательного, потому что оно высказано им, кажется, именно с той целью, чтоб окончательно и безапелляционно решить весь вопрос о Пушкине, возникший в нашей литературе с появлением бессмертной статьи г-на Дудышкина. На все эти мнения мы будем отвечать в особой статье, как мы уже обещали прежде, в начале появления нашего журнала. Но не можем не сказать нескольких слов, по поводу суждения «Русского вестника» о «Египетских ночах». Из этого суждения перед нами ярко выставляется вся сила «Русского вестника» в понимании поэзии. Вообразите: он называет «Египетские ночи» «фрагментом» и не видит в них полноты — в этом самом полном, самом законченном произведении нашей поэзии! Он говорит, что «это только намек, мотив, несколько чудных аккордов, в которых что-то темно чувствуется, но ничто еще не раскрывается (!) для полного и ясного созерцания...»

«... Надобно слишком много условий, — продолжает он, — чтобы, кроме прелести стихов и очарования образов, уловить в этой пьесе намеки *ее внутреннего смысла*, который раскрылся бы в ней для всех доступно, если б художник совершил свое произведение вполне. Перед художественным созданием действительно не могут держаться мелкие соблазны, но не прежде, как идея целого покорит себе и одухотворит все частности. Этот демонский

культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, — всё это, *облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть* откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы всё, что теперь выступает слишком рельефно. *Если б из этих мотивов вышла трагедия*, она могла бы быть созданием гениальным...» и т. д., и т. д.

Вы говорите о трагедии, о развитии этого, как вы называете, фрагмента; но неужели вы не понимаете, что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно, и что тогда вышло бы нечто *совершенно другое*, совершенно в другой форме, может быть равносильное, может быть высшее по достоинству, но только совершенно *другое*, чем теперешние «Египетские ночи», и, следовательно, утратило бы всё впечатление и всю мысль теперешних «Египетских почей». Пушкину именно было задачей (если только возможно, чтоб он заранее задавал своему вдохновению задачи) представить момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента тогдашней жизни, так, чтоб по этому моменту, по этому уголку, предугадывалась бы и становилась бы понятною вся картина. И Пушкин достиг этого и достиг в такой художественной полноте, которая является нам как чудо поэтического искусства. Вы говорите, что всё это не облечено в плоть и кровь чарующих подробностей? Но тут до того ярки некоторые подробности, что приходишь в изумление и благоговение перед художественной силой поэта. Часто одна из таких подробностей очерчивается здесь одним стихом, одним словом, одним намеком, но до того цельно, метко и полно, что этот стих не забывается. Он переходит в потомство и становится выражением нарицательным для известного рода понятий; правда, эти подробности доведены именно до того предела, что прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность, и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами. Тут всё составляет один аккорд: каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха — всё приноровлено к цельности впечатления. Впрочем, может быть, вы требуете более подробного описания костюмов, архитектуры залы, города Александрии, Египта, Римской империи в ее географическом, статистическом, этнографическом и поэтическом отношении? Может быть, вам этих подробностей надобно? Что касается до г-на Дудышкина, то он непременно бы их потребовал.

Кстати, вы смеетесь над нашими словами по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской. На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская, сказано у нас, произведет только сладострастное впечатле-

вне. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту не смущаясь...

«Но разве Венера Медицейская или Венера Милосская, — возражаете вы, — представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры? Разве эти олимпийские типы не представляют собою самых целомудренных образов, проникнутых тем чистым изяществом, которое составляет живую душу приличия? Не являются ли эти образы сами олицетворением этой тонкой стыдливости, этой чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка, доходил когда-нибудь до последних выражений страстности?»

И далее:

«Разве Рашель доходила когда-нибудь на сцене до чего-нибудь похожего на клятву Клеопатры? Разве где-нибудь в Европе ли, в Америке ли могла бы артистка произнести перед публикой этот фрагмент, поневоле выдавая рельефно только то, что прямо указывает на последние выражения страсти, не будучи в силах одухотворить их тем намеком идеи, которая в неоконченном фрагменте не могла высказаться с полною силою, не могла бросить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной?»

Далось вам это «*последнее выражение страсти*». Но послушайте, неужели вы думаете, что если б статуи Венеры Медицейской и Милосской, при всем том, что они представляют собою целомудренные образы и самое тонкое выражение стыдливости, привезенные в Москву к нашим простодушным предкам, во времена хоть, например, Алексея Михайловича, могли бы произвести на них какое-нибудь другое впечатление, кроме грубого и даже может быть соблазнительного? Не говорим, чтоб и тогда совершенно не было людей развитых; мы говорим вообще о впечатлении, которое бы произвели тогда на отцов наших эти немецкие «болваны». И неужели мы не правы, говоря, что надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту не смущаясь. *Целомудренность* образа не спасет от грубой и даже, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства, потому именно, что они сами произведение искусства. Тут действительность преобразилась, *пройдя через искусство*, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Эта тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На неприготовленную же, неразвитую натуру, или на грубо-развратную даже и искусство не оказало бы всего своего действия. Чем развитее, чем лучше душа человека, тем и впечатление искусства бывает в ней полнее и истиннее.

Но вот вопрос: почему именно вы думаете, что «Египетские ночи», хоть и произведение искусства, но, будучи фрагментом (дался вам

этот фрагмент!) и будучи последним выражением страсти (опять-таки это последнее выражение страсти), не могут произвести чистого художественного впечатления, а, напротив, произведут зазорное и непозволительное? Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада? Фрагментность и неоконченность произведения не могла, по-вашему, бросить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной.

Но, во-первых, где тут и какая тут открытая тайна? Доходит ли тут дело до открытия тайн? И наконец, так ли вы понимаете «Египетские ночи», то ли вы в них видите, что надо видеть и что поневоле видишь, если только хоть сколько-нибудь способен чувствовать поэзию и подчиняться обаянию искусства. Напротив, по-вашему тут впечатление страшного ужаса, а не впечатление «последнего выражения». Мы положительно уверены теперь, под этим «последним выражением» вы разумеете что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это *последнее выражение*, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-вашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное *с такой точки зрения* поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление. У Пушкина импровизатор, представ перед публикой «Северной Пальмиры», был тоже встречен смехом, когда простодушно спросил: «О каких любовниках тут говорится, perche la grande regina p'aveva molto (у великой царицы их было много)?» Эта публика состояла тоже из знатоков и ходоков по клубничной части. Тут было много, «два журналиста в качестве литераторов» тоже, должно быть, тертые калачи. Жаль, что Пушкин не передает нам впечатления, произведенного импровизацией на этих слушателей.

Но припомним сами эту импровизацию, проверим сами это впечатление.

Пир; его картина. Царица была весела, она оживляла своих гостей, но вот она задумалась, она склонилась головой над золотой чашей; гости безмолвны, всё молчит. Эти гости, вероятно, знают свою царицу и ждут чего-нибудь чрезвычайного. Это рабы ее; а она — это представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество со-вратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Всё уходит в тело, всё бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые

чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже извела все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех этих гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желанья ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходимости. Всё это похоже на отвратительный сон. Но всё это упоительно, безмерно развратно и... страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов.

Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах гостей своих и с бесконечным презреньем обводит их взглядом. Но страстью дрогнули сердца; нашлись трое — они выходят. Вызов принят.

Жрецы вынимают жребий. Первый — Флавий. Это старый солдат: он поседел в римских дружинах и в битвах за республику. Ему не надо наслаждений. Он принял вызов, потому что в нем воспрянула гордая душа римлянина, не могшая снести презрения от женщины. Конечно: это только тупая гордость, это ограниченное чувство воинской чести, но это чувство благородное, смелое; это уже человек, а не раб; стало быть, еще не всё потеряно; разврат и разрушение не охватили еще своим огнем всего, не спа-

лили, не заразили еще всей души общества. В нем еще есть силы для борьбы, но надолго ли! Смотрите на представителей будущего: вот Критон, молодой эпикуреец, его божество — Киприда, его культ — наслаждение. Он еще молод; еще слишком велики в нем жизненные силы; он отдается наслаждению со всем жаром молодости и необъятных сил ее; но ведь это только молодость. Он делает хорошо, что умирает теперь, когда его впечатления еще свежи и богато-жизненны. Он еще не знает ни разочарования, ни отчаяния... Если б он остался жить, он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории...

Но душа поэта сама не вынесла этой картины; он не кончил бы с Клеопатрой-гиеной, и на одно мгновение он очеловечил свою гиену.

Вот отрок; его имя неизвестно; но восторг любви сияет в очах его; неопытная сила юной, беспредельной страсти кипит в молодом его сердце. Он с радостью, даже с благодарностью отдает свою жизнь; он о ней и не думает; он глядит в лицо царицы, и в глазах его столько упоения, столько беспредельного счастья, столько светлой любви, что в гиене мгновенно проснулся человек, и царица с умилением взглянула на юношу. Она еще могла умиляться!

Но только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнеешим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву... Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель...

И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!

Мы не можем отказать себе в удовольствии поместить здесь же отрывок из письма к нам одного приятеля, — письма, написанного после чтения мартовской статьи «Русского вестника». Оно, кстати, дополнит нашу статью. Вот оно:

«Если бы „Египетские ночи“ были и отрывком, то и тогда о таком поэте, как Пушкин, нельзя бы было сказать, что его отрывок не вполне *одухотворен*. Но „Египетские ночи“ вовсе не отрывок. Где же вы нашли в них признаки неоконченности, фрагментарности? Напротив — какая полная картина! Какая дивная соразмерность частей, определенность и законченность! Читатели знают, в какой драгоценной оправе представил нам Пушкин этот особенно дорогой и для него самого перл своей поэзии. „Египетские ночи“ — импровизация, но это полная, dokonченная

импровизация. Вообще великий поэт сам сделал всё, что можно, чтобы растолковать нам свое произведение. Он заставил читать его итальянца, человека, выросшего на богатейшей почве искусства, художника до мозга костей, человека простодушного и чуждого всякой щепетильности. Спокойно произносит он в аристократической зале: *у великой царицы было много любовников*, и с изумлением видит, как северные варвары начинают ухмыляться и хохотать.

Такая история идет, как видите, и до наших дней. В „Египетских ночах“ Пушкин сам художественно выразил дорогой для души его вопрос *о некоторых отношениях искусства к обществу*. Вопрос остался до сих пор. И теперь импровизатор „Ночей“ мог бы слышать новый смех над ним северных варваров. Странный мы народ, в самом деле! Очень справедливо, кажется, Пушкин применил к нам стихи Петрарки:

La sotto i giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole.¹

Когда нам говорят о смерти, когда клянутся богами ада и указывают нам на *смертную секиру и падающие головы*, мы слушаем с северною холодностью; нас это не трогает, не ужасает. Но чуть заговорили о мощной Киприде и о золотом ложе, у нас уж встрепенулись уши, нас это волнует и подмывает... Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном.

Да, дурно мы понимаем искусство. Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется, преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца. Только это дурное понимание может объяснить нам все целомудренные толкования „Русского вестника“ о страстности и о ее различных выражениях.

Вот какие черные сомнения пришли мне на мысль, когда я старался вникнуть в статью „Русского вестника“. Как понять странное его упорство? Чем объяснить, с одной стороны, его робкие умолчания, с другой — его дерзко-смелые уверения? С невольным ужасом спрашивал я себя: что же будет с нами, что мы, несчастные, будем делать, если он, если сам „Русский вестник“ станет учить нас так дурно в таких важных вопросах?

„Русский вестник“ смотрит на наше общество и на нашу литературу с большим высокомерием. Скажу вам прямо, этот взгляд мне нравится; я рад бы был всякому высокомерию, лишь бы только высокомерные люди имели действительное право смотреть свысока. „Русский вестник“ упрекает нашу литературу в *полу-мыслях и полочувствах*; он называет наше общество „порожним,

¹ Там под туманными и короткими днями // Родится племя, которому не больно умирать (итал.).

лишеним собственных интересов, не имеющим собственной мысли, не жившим умственно, бесхарактерным и слабым“.

По моему убеждению, всё это сказано метко и, говоря вообще, справедливо в величайшей степени.

Но как же вздумал „Русский вестник“ помочь такому печальному состоянию дел? Что *сам он* делает в этом обществе и в этой литературе?

Какая странность! Чувствуя под ногами эту же самую колеблющуюся почву, находясь среди общества хаотического и подверженного брожению, он вдруг вздумал заговорить языком общества с твердыми правилами и с крепким общественным мнением. Чтобы доказать нашу *незрелость*, он вздумал заговорить *зрелым* языком, и, не имея его у себя в наличности, взял его напрокат в Англии или в какой-нибудь другой зрелой стране.

Фальшивость такого приёма всего яснее, кажется, обнаружится в настоящем случае. Маска падает, и комедия прекращается, как скоро дело дойдет до действительности. В самом деле, напрасно „Русский вестник“ кричит, что всё ясно и просто, что стоит только не отступать от здравого смысла, чтобы отчетливо разрешить цель; напрасно замазывает и заглушает вопросы; они живы и выступают с прежнею силою, несмотря на громкие фразы и тучи витиеватых слов.

Неловко русскому принимать на себя вид англичанина или француза. Там, в обществах окрепших и определившихся, действительно, дело решилось бы быстро и определенно. Но пусть примет это во внимание „Русский вестник“: там вовсе бы не стали рассуждать, там даже и не вздумали бы сравнивать актрис с благородженными дамами. „Русский вестник“, как русский, принужден был пуститься в рассуждения и дошел до полных промахов.

„Русский вестник“ кричит, что дело просто и ясно; но в его громких фразах невозможно отыскать *никакого определенного мнения*. Да мне кажется, что такого мнения нет, да и *не может быть* у „Русского вестника“.

Если разглядеть это, то какую неотразимую фальшь отзовется этот громкий тон, этот самоуверенный язык статьи. К чему же служит эта страшная шумиха? Кого и зачем нужно обманывать с таким великим усердием?

Дурной пример дает „Русский вестник“ русской литературе!»

«ВСТАВКА В СТАТЬЮ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО О ПОЛЕМИКЕ»»

Вольтер целую жизнь свистал, и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились на него, и именно за свист.)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТЕРИКА

Представляем публике полную перепечатку статьи «Русского вестника» против фельетона, помещенного в апрельской книге нашего журнала. В этой статье нас ставят на одну доску с «Домашней беседой». Ниже, в нескольких строках, мы позволяем себе высказать наше мнение об этом новом поступке «Русского вестника».

Статья написана невозможным языком. Она очень длинна; мы выписываем из нее только то, что до нас касается.

Вот эта статья:

«Наши журнальные борзописцы только и знают, что потешаются над г-ном Асоченским и его „Домашнею беседой“, а оглянулись бы некоторые на себя или на товарищей! Еще вопрос, кто смешнее: он ли с своим грубым цинизмом, или кто-нибудь из этих раздушенных фёртов, выступающих манерною походкой и сыплющих вычурные фразы? Еще раз, беда нашего общества состоит в том, что у наших *образованных* людей есть всё что хотите, но только в фальшивых ассигнациях, и очень мало в какой-нибудь реальной ценности. У нас наготовлен такой страшный избыток слов, слов и слов, такая бездна фраз, что всякий признак мысли, чего-нибудь вправду сознаваемого или чувствуемого, есть большая редкость, которой не нарадуешься, если где ее встретишь. Мы усвоили себе все наружные приемы людей мыслящих, чувствующих, чем-нибудь занятых; мы можем болтать обо всем на свете как люди, всё и весьма глубоко знающие; нам нипочем никакие науки, никакие высоты мысли, и Хлестаков у нас великий, всеобъемлющий тип. Хлестаковство у нас во всем, не только в фельетонистах, не только в безбородых юношах, но и в наших *soi-disant*¹ ученых и в маститых старцах. Часто от людей, по-видимому весьма порядочных, даже поживших на свете и изведавших кое-что, услышите вы вдруг самые бессовестные речи, обли-

¹ так называемых (франц.).

чающие совершенное отсутствие чувства истины в говорящем. Да, хлестаковство — наш общественный недуг, и бессмертный тип, созданный Гоголем, будет со временем еще более оценен. Даже то, что Хлестаков есть петербургский чиновник, — черта весьма глубокая и существенная в этом типе. Случалось ли вам, читатель, в нашей Северной Пальмире встречать этих весьма благоприличных по наружности господ, которые с первого разу обратят на себя ваше внимание бойкими, складными фразами о разных предметах: слова безостановочно льются и вяжутся, ибо всем высказывается мнение готовое и решительное; прекрасный слог, сведений пропасть, идеи блестящие. Но этот мираж непродолжителен; вы скоро начинаете чувствовать, что перед вами гроб по-вапленный, что в этом красноречивом и мыслящем господине ничего нет и никогда ничего не было, что это истый Хлестаков, только что отказавшийся от управления министерством и сбросивший свою шинель Марфушке. Мы спрашиваем, случилось ли вам? . . . Но нужно ли спрашивать? Как же бы не случилось, если вы живете или бывали в Северной Пальмире? Впрочем, тип этот распространился теперь повсюду; в какой бы вы ни жили глуши, вы наверно встретите его в вашем губернском, в вашем уездном городе, даже по соседству в деревне.

Отсутствие всякого реального содержания, всяких действительных движений в душе и в уме, вместе с подавляющим обилием готовых выражений для всякого чувства и для всякой мысли, — вот оно это хлестаковство, которое, говоря языком г-на Аскаченского, как дух тьмы, царствует в нашей литературе. А эта тьма, по нашему мнению, хуже всякой тьмы, и поневоле приходится ждать какого-нибудь катаклизма, который снес бы весь этот страшный хлам с наших нив и возвратил бы им какое-нибудь плодородие.

Не случилось ли вам когда-нибудь читать следующие стихи г-на Полонского?

И над пепельной грудой камней,
Из-за темно-зеленых ветвей
Поднималась статуя. Века
На лице пощадили черты
Первобытной ее красоты —
И была лишь отбита рука,
Да обтесаны складки одежд
Беспощадной рукою невежд.

Вот вы теперь прочли эти стихи: как они вам нравятся? Вы удивляетесь этому вопросу и перечитываете эти стихи. Вы спрашиваете, стоило ли их выписывать и стоит ли о них говорить? Г-н Полонский написал очень много милых, поэтических пьес; но выписанные стишки нисколько не характеризуют его поэзии и ровно ничего в себе не заключают. Статуя поднималась из-за зеленых ветвей, века пощадили черты ее первоначальной красоты; но у ней отбита рука и обтесаны складки драпировки не-

веждами: вот и всё. Ни в вашей мысли, ни в вашей душе нечему шевельнуться от этих стишков. В них ровно ничего нет, о них почти ничего нельзя сказать. Вы так думаете? Послушайте, однако, что такое можно сказать. Вот как выражается об этих стихах фельетонист одного из петербургских журналов: *

„И если бы голос мой задрожал, если бы слезы потекли при этих строчках из глаз моих, я не устыдился бы этого, потому что эти строки полны такой святой тоски, такого праведного упрека, такого небесно-прозрачного горя, что я бы гордился тем, что могу им сочувствовать. Это одно из лучших стихотворений в нашей поэзии; я завидую г-ну Полонскому, что он написал его; я готов клеветать за это на все другие его стихотворения, но на это я клеветать не могу“.

Естествоиспытатель посвящает долгое и напряженное внимание изучению какой-нибудь микроскопической букашки; мы просим вас, в энтомологическом интересе, помедлить лишнюю минуту на этих строчках и сличить их смысл или бессмыслицу с вышеприведенным стихотворением, к которому они относятся. Вот вам разительный пример, вот вам фактическое доказательство хлестаковства! Вот до каких чудовищных размеров оно доходит у нас!

Нет, гоголевский Хлестаков — пигмей перед этим колоссом. Всё, что тот врал в гостиной городничего, бледно и мелко в сравнении с этою изумительною чушью. И вот наша литература, наша критика, наши фельетоны!

В том же фельетоне встречаются вещи самые изумительные. Извольте прочесть следующее: **

„Я знал человека, который совершенно спокойно, да какое спокойно! — с восторгом, с увлечением рассказывал, как он надул жида и как он надувает свою любовницу. Вы думаете, я чувствовал отвращение? — Ничуть. Я смеялся, и смеялся так же от души, как смеялся при чтении Плюшкина. Другие, слушавшие его, — он не мне и рассказывал — старались изобразить презрение на своей улыбке, но сквозь это презрение так и просвечивал добродушный смех. И нельзя было не смеяться, видя, как простодушно, как детски доволен этот человек ловкими своими проделками. И рассказчик, замечая благоприятное впечатление, всё веселее и веселее рассказывал далее.

«И вам не стыдно это!» — заметил я, чтобы посмотреть, что он ответит. «Э, — возразил он, дружески до меня дотрогиваясь, — то ли еще я делаю!» — И тут же он принялся рассказывать свои новые похождения. «Он мошенник, — сказал я, когда его уже не было, — но он мне нравится, и я люблю его». — «Это доказывает, — заметили мне многие, — как искренно в вас всё то, что вы тут проповедуете о добре и о бескорыстии». — «Может быть», — сказал я и пожал плечами. Мне было обидно, что эти господа не понимают меня. Но я тут же был вознагражден тем, за кого получил упрек себе. «Я вас люблю, — сказал он мне, оставшись со мною наедине (вот тут-то я и кладу скромность в карман), — и люблю вас именно потому, что из всех этих господ, меня презирающих, один только вы имели бы на это самое полное право, потому что только вы действительно составляете противоположность со мною: у вас душа чиста, и я поклянусь головой, что вы никогда ничего подобного моим похождениям не сделаете.

* «Время», апрель, № 4. Фельетон, стр. 141.

** «Время», апрель, № 4. Фельетон, стр. 134.

А эти? — это всё тот же я, только в вашем платье. Они хуже меня воры: у них ничего нет своего; у них всё краденое». — «И в этом мы с вами братья», — сказал я ему, протягивая руку, — мы здесь одни — чем богаты, тем и рады». И ему это доставило непъяснимое наслаждение. «Но только, — прибавил я, — если я вас застаю на ваших похождениях, я все-таки первый крикну полицейского». — «А я, — сказал он, смеясь, — если убежать не успею, первого вас позову судить меня, потому что от вас мне не будет обидно принять своего осуждения». Но я не позвал бы против этого человека полиции: я лучше бы сам как-нибудь с ним разделался. Но я даже уверен, что, по моей просьбе, он удовлетворил бы всех обиженных им на моих глазах, только не дал бы слова, что не будет вперед делать этого. Другому он даст слово, но обманет его. И я люблю этого человека; и один он любил меня на службе, и один он слушал меня с удовольствием и дорожил моим мнением, и говорил мне: «Я люблю вас слушать, потому что вы никогда не лжете; и я не хотел бы при вас сделать когда-нибудь что-нибудь дурное, не потому, что бы мне было стыдно вас, но потому, что я не хочу сделать вам неудовольствия». Чувствуете ли вы, сколько было в этом человеке хорошего, что мирно с ним всякого, кто не имел только повода ему завидовать и за что-нибудь лично негодовать на него?».

Это превосходит всё, что нам случалось встречать подобного, даже в нашей литературе. Тут не знаешь, чему удивляться: бессовестной ли фразе, которая не спотыкается ни на чем, наивности ли бессмыслия, или нравственной изломанности. Этот фразер с любовью слушает мошенника об его ловких проделках, с любовью смотрит на него, прилепляется к нему всю душой, приобретает его взаимность и гордится ею; он сообщает нам любезности, сказанные ему этим милым мошенником, который *любил его слушать* (к счастью, из всех товарищей этого Хлестакова он только один любил слушать его и дорожил его мнением), — и, сообщив нам, как мошенник этот любит и почитает его, спрашивает нас: *чувствуете ли вы, сколько в этом человеке было хорошего?* Какая колоссальная наглость! И все это говорится среди белого дня, перед публикой! Любить мошенника за то именно, что он артист в своем ремесле, видеть правду в том, что человек усваивает себе в совершенстве всякую подлость и мерзость, любить его именно за то, что эта мерзость становится в нем живою природой, что он в этой мерзости легко и свободно вращается, что он смакует ее и гордится ею, — и, наконец, оттенять всё это чувством собственного достоинства, щеголять своею хлестаковскою фигурой, которая будто бы жаждет природы и правды, между тем как всё в ней налгано, — какое возмутительное безобразие! Что значит перед этою тошною приторностью грубый квасной цинизм г-на Асоченского?

Но испейте до конца вашу чашу, читатель; прочтите еще следующее, из того же фельетона:

„Я знал одного разбойника, признавшегося в двадцати трех убийствах. От него требовали, чтоб он показал могилы, в которых схоронены его жертвы. Он совершенно охотно показал первую. Но когда вырыли гнилой и обезображенный труп, он, стоявший поодаль, отвернулся. Ему велели

чодойти, он не шел. Когда его три полицейских сержанта повелц, против его желания, он ушпрался, вырывался, отвертывался; всё лицо его искажалось страшными судорогами, как у ребенка, которого ведут наказывать. Подведенный к трупу, он взглянул на него и упал без чувств. Это была мощная, непоколебимая натура; и в эту минуту каждому сердцу, откровенному в своих ощущениях, его было бы больше жаль, чем покойника. Он узнал им убитого. Только это и было нужно следователям. Через несколько дней привели его к другому месту и просили его указать другую могилу. Он не хотел. Он не понимал, для чего им нужно это; но по странному закону судьбы все бывшие тут истинную причину их требования считали, кажется, совершенно недостаточной; и ему объяснял один господин, что нужно отрыть тело для того, чтобы предать его честному погребению, и т. п. Он ухмыльнулся: «Всё равно, — сказал он, — где лежать». Тогда другой господин стал говорить ему, что нужно отрыть тело для того, чтобы примириться с ним. «Поцелуй его в его гнилые губы!» — сказал он. Арестант задумался и сказал, что в этом больше правды; но могилы не показал все-таки. Отчего им было не сказать ему попросту, без всякого желания потрясти или смутить его грустную душу искусственной речью: «Нам нужно знать эту могилу и открьть тело для того, чтобы как-нибудь после не отрыли ее случайно и чтобы тогда не пало подозрение на кого-нибудь вовсе невиноватого». Он бы показал тогда. Это была душа, которая не солгала ни одного слова при допросе своем и не запутала ни одного невинного. Но у этих господ у самих не было этого сознания. И они вступили в новые разговоры с убийцею.

— За что ты убил этого? — спросили они.

— А за то, что мне водки хотелось, а денег не было.

— Сколько же ты нашел у него?

— Четвертак.

— И стоило из-за четвертака убивать человека!

Преступник посмотрел на них с удивлением: «Всё равно, — сказал он, — что из-за четвертака, что из-за тысяч». У этого человека было больше смысла, чем у тех, кто его допрашивал. Им всё хотелось благодушно снизить до его грубого понимания, и он постоянно оказывался выше них, и вместо того, чтобы им завладеть его душою, он всё больше и больше приобретал над ними власти, и они поминутно чувствовали себя перед ним школьниками. Его грубая откровенность поминутно уничтожала их, потому что в ней всё больше и больше, всё страшнее и неотразимее восставал его человеческий образ, тогда как у них всё пугливее и пугливее, всё мельче и всё ничтожнее пряталась их душа под грудю страниц, вырванных из разных когда-то прочитанных книг, под грудю правил, пестрящих наши прописи и азбуки.

И я, еще юноша тогда, поддался обаятельному впечатлению этого человека“.

Какой здоровый человек, как бы ни был неразвит и груб его смысл, прочтет эти строки без омерзения! Какая ложь, какая пошлость! И какое в то же время артистическое хлестаковство фразы! Фельетонист как будто дело говорит; слова так и льются, и звучат так убедительно, как будто человек действительно вынес это чувство, эти мысли из жизненного опыта. Что мальчика, без всякого отпора в душе, мог обаятельно поразить образ душегубца, совершившего двадцать три убийства, это очень возможно. Но оправдывать это мальчишеское обаяние, видеть в нем нечто нормальное и обязательное для зрелого человека, говорить об этом серьезно, даже с какою-то претензией на нравственный пафос, говорить бойко, не запинаясь, с артистическим увлечени-

ем, — какая непроходимая фальшь! Эстетически таять и нравственно млеть перед диким душегубом, видеть в нем какой-то колоссальный человеческий образ, подавляющий собою прочих мелких людишек, из которых ни один никого еще не зарезал, и которые осмелились подивиться, как это чудовище решилось из-за шкалика водки на свое страшное дело, — скажите, какое должно быть перо, способное написать это! Чем это лучше той новой Мессалины, о которой рассказывают, что, не довольствуясь Европой, она ездила в Алжирию, к кабилам? Нет, в нравственном смысле это хуже! Но вернее будет сказать, что тут нет никакого нравственного смысла. Фельетонист не выражал никакого действительного настроения своей души; всё заставляет думать, что он не способен к каким-нибудь *действительным* настроениям; он живет в стихии фраз, образующей свой собственный мир, в котором возникают призрачные подобия настроений и мыслей. Эти фальшивые подобия могут развиваться и сочетаться в разнообразнейших комбинациях, составлять из себя поэмы, критические статьи, целые книги. Процесс и элементы этих развитий те же самые, какие Гоголь типически изобразил нам в Иване Александровиче Хлестакове. Точно так писал он к своему другу, фельетонисту Тряпичкину; точно так, вероятно, писал и Тряпичкин свой фельетон. И Тряпичкин нимало не подозревает, какой сумбур нагородил он в своем фельетоне! Возмутительный душегуб, за которым отказывается следить всякое человеческое чувство, всякий человеческий смысл, этот зверь, который бросается на свою жертву с тем, чтоб удовлетворить минутную прихоть, даже хуже, чем зверь, потому что у зверя по крайней мере нет прихотей, это чудовище является, в глазах Тряпичкина, могучим человеческим образом, обаятельным и чарующим, подавляющим мелкие душонки, которые прячутся *под грудю правил, пестрящих прописи и азбуки*. Посмотрите, как он адвокатствует за этот великий человеческий образ! Посмотрите, какую позу принимает Тряпичкин перед обыкновенными смертными, которые подивились, как можно было зарезать человека из-за четвертака! „Всё равно, — сказал преступник, — что из-за четвертака, что из-за тысячи“, и Тряпичкин восклицает: „У этого человека было больше смысла, чем у тех, кто его допрашивал!“ Тряпичкин уверен, что сказал великую истину. Он даже сослался на смысл... А именно смысл-то и заставил простых людишек изумиться. Эта „непоколебимая и мощная натура“ захотела выпить водки, и вот она спокойно режет человека и берет из его кошелька четвертак, как будто ничего легче и проще этого не было. Перед этим бессмысленным, тупым, отвратительным зверством наш фельетонист преклоняет колени. Об этом-то говорит он тоном даже какого-то нравственного убеждения, какой-то гуманности, которая тем отвратительнее, чем более жеманится.

Между Хлестаковыми есть еще порода таких, которые зовут себя демоническими натурами. Таких молодцов действительно

нельзя не побавиться. Зарезать они не зарезут, но не кладите
вашего четвертака плохо».

Мы нарочно перепечатали целиком всё касающееся до нас, чтоб дело само за себя говорило. Отвечать на такую статью значит терять свое достоинство. Призываем на суд публику: пусть она решит, где, когда в нашем фельетоне разбойник похвален за то, что он разбойник, за то, что он резал людей? Где и когда мы любовались мошенниками и ставили их выше честных людей?

В раздражении «Русского вестника» против нас выказывается всё более и более что-то истерически-женское. Он не отвечал на серьезный ответ наш против его обвинения и придрался к страничке нашего фельетона, тиснув против нее огромнейшую статью и намеренно, злоумышленно исказив дело. Не вступая в прямой и честный бой, он подкрался сзади, ущипнул и убежал прочь.

Что же касается до заключительных слов его статьи, в которых он говорит о демонических натурах и о пропавшем четвертаке, то мы не понимаем, как человек, себя уважающий, может всенародно решаться на такую площадную пошлость. Но припоминаем, что «Русский вестник» решается на это не в первый раз: когда-то он подобным же образом извещал публику о пропавшей с чьего-то стола книге, по поводу отпадения от журнала одного из его прежних сотрудников.

Во всяком случае мы считаем, что заключительные слова статьи против нас писаны *в болезни*, именно в истерике. В таких болезнях нужно уж обращаться к медицинским средствам; литературные не помогут.

Не можем отказать г-ну Кускову, автору обруганного фельетона, в помещении здесь его письма к «Русскому вестнику». Но, предчувствуя, что это письмо вызовет бесконечный ряд писем со стороны «Русского вестника», по примеру прежних его переписок, столь известных публике, мы предупреждаем наших читателей, что готовы открыть в журнале нашем особый отдел: переписка г-на Кускова с «Русским вестником».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1862 ГОД»

«ВРЕМЯ»

*Журнал литературный и политический
будет издаваться и в 1862 году ежемесячно книгами
от 25 до 30 листов большого формата*

Первый год издания нашего журнала оканчивается, и мы приступаем к объявлению подписки на второй. Публика поддержала нас; она отозвалась на прошлогоднее объявление наше и тем укрепила в нас уверенность, что идея, во имя которой мы приняли наш журнал, — справедлива. Не в похвальбу себе говорим, что поддержка, оказанная нам публикой, была в размерах, давно уже неслыханных в нашей журналистике. Но вопрос: как служили мы нашей идее? Не обманули ль мы публику в тех ожиданиях, которые в ней возбудили? Успели ль мы высказаться хоть сколько-нибудь? Отвечаем: мы еще не могли много сделать, хотя и желали и надеялись сделать и высказать больше. Мы сознаемся в этом первые. Если публика и оказывала нам свое внимание до конца, до последней книжки, выданной нами, то относим это к тому, что она верит в честность и искренность нашей идеи; а это главное, что нам нужно, и веры ее мы не обманем. Почти год издания журнала — и обстоятельства, сопровождавшие его, не только не поколебали наших убеждений, но даже еще более усилили их. Мы не теряем надежду высказать нашу мысль вполне. А говорить еще надо о многом. Договориться до чего-нибудь надо непременно. Не следует, чтоб события, факты, застали литературу нашу врасплох.

Все объявляют, что они за прогресс; без этого нельзя, это *sine qua non*.¹ Но что за прогресс, когда мы *de facto*² всё еще сидим на европейских учебниках? Движение вперед — явление нормальное, законное, и боже нас сохрани противоречить ему! Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явле-

¹ неперемное условие (*лат.*).

² фактически (*лат.*).

ниях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна *своя* почва, *свой* климат, *свое* воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще, пожалуй, поедешь назад или свалишься с облаков. Как не согласиться, что многие явления даже прошедшей, отжившей жизни нашей мы меряли слишком узкой меркой? Мы ко всему сплошь прикидывали наш новый аршинчик торопливо, с заранее готовым взглядом. Мы *поскорее* хотели успокоить себя, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? Даже во многих явлениях, прямо отнесенных нами к «темному царству», мы проглядели почвенную силу, законы развития, любовь. На всё это надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальновиднее. Мы уничтожали всё сплошь, потому только, что оно старое. Боже нас сохрани от старых форм в жизни... Не в них совсем и дело, и не про то совсем мы говорим.

Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть старую почву — старую мать их, за то, что иссякли и иссохли сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам, в вечное, благоговейное воспоминание. Но проходит время — и правнуки уже дивятся тому, что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы; у них давно уже есть своя, новая почва, уже им служившая, их кормившая. Но у нас, у нас! какая у нас новая почва? Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплователя, поднявшегося на 7 000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется слишком отвлеченных, не совсем *близких*, и главное — как-то нестерпимо *высока*; а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю. Даже трусит немножко один-то... дышать трудно, упасть можно... Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может и лопнуть как мыльный пузырь...

Да уж согласимся наконец, вымолвим всю правду: мы и *русскую*-то нашу землю любим как-то условно, по-книжному. Мы приучились наконец к тому, что нам уж ни до чего дела нет. Мы так обленились, что привыкли к тому, чтоб за нас всё другие делали, а нам уж подавали готовое, хоть и нехорошо приготовленное, но готовое. Зато самолюбия, желчи в нас накопилось бездна; немудрено — сидячая жизнь! Справьтесь с медициной. Мы жакдем практики и сердимся лежа за то, что у нас ее нет. Может быть, если б умели любить, то нашли бы себе, пожалуй, и практику; ведь любить-то можно и при разлитии желчи...

Но покамест у нас еще только раздоры и споры, правда всё о предметах высоких: о русской мысли, о русской жизни, о русской науке и проч. Мы даже дошли до того, что многие из мыслителей наших *откровенно* спрашивают: «Какая же это русская мысль? Что это за слово такое: народная почва?» *Откровенность* этих вопросов — факт очень значительный и многое оправдывающий. Мы говорим серьезно. Значит, уж очень хочется договориться, коли об этом не затрудняются спрашивать. Впрочем, блаженной памяти «западники» были еще последовательнее: те тоже в крайних случаях никогда не хитрили и прямо говорили, что нам надо сделаться, например, хоть французами. Если они и не высказали этого прямо, то по крайней мере уже раскрыли рот, чтобы высказать, и остановились единственно потому, что поперхнулись... слово-то у них в горле поперек стало. Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, то есть попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся, в развитии своей мысли, никакого полымя. Слишком уж много любил человек! Многие из теперешних стоят на той же точке, на которой остановился Белинский, хотя и уверяют себя, что ушли дальше. Другие наши мыслители, оттого что они во фраках, не хотят признать себя за народ. Третьи хотят выписывать русскую народность из Англии, так как уж принято, что английский товар самый лучший. Четвертые бродят накануне открытия общих законов, общей формулы для всего человечества, лепят общую всенародную форму, в которую хотят отлить всеобщую жизнь, без различия племен и национальностей, то есть обратить человека в стертый пятиалтынный.

Мы будем следовать вполне всё тем же идеям, которые выразили в прошлогоднем объявлении о нашем журнале.

И хоть мы немного еще могли сказать до сих пор, но делу своему служили совестливо. То, что мы считаем за истину, — мы любим и ценим. Литературу мы отстаивали. На литературу мы смотрели как на силу самостоятельную, а не как на средство, хотя и признаем нормальность и законность многого в уклонениях нашего последнего литературного времени. Перед авторитетами мы не преклонились. Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбия, доходящего до пожертвования истиной, мы не щадили в других и даже, может быть, увлекались до ненависти. Мы увлекались во многом, сознаемся в этом, но очень не раскаиваемся. Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восставать против иных мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику резкостью и излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направления благородного. Мы потому извиняемся в этом, что обещали полемику беспристрастную. Мы не думаем, впрочем, чтоб мы были очень пристрастны; мы отвечаем за наши беспристрастия и впредь. Полемику же идей мы считаем в наше время необходимою. Скептицизм и скептический

взгляд убивают всё, даже и самый взгляд наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным спом. А ведь теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни. К нам почти всё привилось извне, всё досталось нам даром, начиная с науки до самых обыденных жизненных форм; литература же досталась нам собственным трудом, выжила своей собственной жизнью нашей. Оттого-то мы и ценим и любим ее. Оттого-то мы и надеемся на нее.

Не перечисляем наших будущих сотрудников, не хвалимся нашими надеждами. Не выставляем тоже на вид ряда имен писателей, участвовавших доселе в нашем журнале, и статей, ими написанных. Если публика осталась ими довольна, то помнит их и без этого перечня.

В будущем 1862 году наш журнал будет издаваться по той же программе и в том же составе. Для лиц, не подписавшихся на наш журнал и не читавших его, излагаем программу.

Программа

I. *Отдел литературный.* Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. *Критика и библиографические заметки* как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. *Статьи ученого содержания.* Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. *Внутренние известия.* Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. *Политическое обозрение.* Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. *Смесь.* а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. б) Фельетон. в) Статьи юмористического содержания.¹

¹ Далее следует: «Время» выходит каждый месяц, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.

Редакциею будут приняты все меры к правильной и скорой доставке журнала подписчикам. Цена издания для Петербурга и Москвы 14 рублей > 50 коп. С пересылкою и доставкой на дом 16 рублей > серебром. Подписка принимается для жителей Петербурга и Москвы в конторах журнала «Время»: в Петербурге — в книжном магазине Базунова, на Невском проспекте, в доме Энгельгардт; в Москве — в книжном магазине Базунова, на Страстном бульваре, в доме Загряжского.

Ипогородные адресуют свои требования просто: в редакцию журнала «Время» в С.-Петербурге. Почтамту известно помещение редакции.

Редакция отвечает за исправность доставки своего журнала только подписавшимся в вышеозначенных конторах или в самой редакции.

ВЫСТАВКА В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ЗА 1860—1861 ГОД

На выставке есть одна картина, перед которой с утра до вечера стоит толпа зрителей. Один уходит, другой подходит; теснятся, пробираются, чтобы как-нибудь посмотреть поближе, пролезают между толпою зрителей и картиной. Толпа состоит из самых разнородных элементов: тут и головки в драгоценных шляпках, и головки, повязанные платками; тут и долгополые сертуки, и короткие мундиры, и каски, и сибирки, и бороды. Картина всем нравится, ни перед одною более картиной нет такой постоянной толпы. Приговор публики не заключает в себе ничего неопределенного или двусмысленного: дело ясно — картина нравится более всех остальных на нынешней выставке.

Картина стоит во второй античной галерее. Указатель выставки гласит, что она изображает «Партию арестантов на привале», что писал ее г-н Якоби, что цена ей 1 500 рублей и что художник получил за нее первую золотую медаль, стало быть, на счет общественный поедет за границу на три или на четыре года для дальнейшего развития своего таланта. Таким образом, художник получил высшую награду, какая только может быть дана ученику Академии. К тому же еще на картине, весьма скоро после начала выставки, явился билетик с надписью: *продана*. Выходит, что цель художника достигнута с большою полнотою: его работа понравилась, он получил известность, славу, и, сверх того, дым славы принял для него плотскую, осязательную форму порядочного куша презренного металла. Кроме того, еще у него впереди три или четыре года жизни в прекрасной Италии. Со всеми этими благами мы поздравляем художника, которого карьера начинается такими блестящими задатками, и желаем ему дальнейших, еще более блестящих и звонких успехов.

Но, во имя художества, скажем несколько слов о самой картине. Ведь и сказка «Три мушкетера» имела огромное количество читателей, и она принесла своему автору хорошие капиталы. Но этих обстоятельств еще нельзя принять за бесспорное доказательство того, будто слишком знаменитая сказка Александра

Дюма-отца — верх совершенства. Мы не оскорбим добросовестного и правдивого художника дальнейшим сравнением с знаменитым сказочником; впрочем, это говорим мы потому только, что наша критика смотрит на А. Дюма как на что-то уж очень дурное. Знаменитый благёр имеет некоторые особенности, которыми многое выкупается, и совершенно презрительный тон относительно его не совсем уместен. У Александра Дюма есть между нашими художниками не менее знаменитый двойник-живописец; но об этом после. Вспомнив о Дюма, мы только хотели сказать, что суд большинства еще не всегда бывает одинаков с судом потомства. От времени, точно так же как и от верной критической оценки, мишура чернеет, опадает; остается чистая и голая правда.

Партия арестантов на привале. Привал сделан поневоле, потому что одна телега сломалась; колесо лежит ступицей кверху; мужик в страшно изорванном кафтане отпрягает лошадь. На телеге лежит человек, которого путешествие кончилось: он умер, а ноги еще скованы; труп его еще арестант и тогда только выйдет из этапного ведомства, когда окончательно поступит в землю. По дорожному перстню на пальце видно, что это не совсем обыкновенный арестант; ясно, что он не был бродягой, убийцей или вором. Труп лежит на телеге, полуприкрытый ветхою рогожей. Левая рука покойника, покрытая мертвенною бледностью, повисла; пальцы согнуты так, как они сгибаются в минуту смерти. На одном пальце дорогой перстень. Может быть, это последний символ того, что было драгоценнейшего для покойника; может быть, это заветный подарок любимой женщины, память друга. Он не расставался с ним до конца, даже и в кандалах.

Под сломанную телегу забрался другой арестант, с отвратительным лицом, какой-нибудь закоренелый мошенник, которого общество с омерзением выбросило из среды своей. Там, под телегой, перегнувшись самым неестественным образом, потому что там тесно и неловко, он тащит с пальца покойника драгоценный перстень. Преступник одет в лохмотья и производит на зрителя такое же точно впечатление, как гадина мерзкая и в то же время опасная, вроде скорпиона.

Возле той же телеги стоит этапный офицер. Он одною рукою открывает один глаз покойника, чтоб убедиться, вероятно, в его смерти. Открывается мертвый большой глаз, с подвернутым книзу зрачком. Офицер, очень равнодушно покуривая трубку, спокойно смотрит на поблекший глаз, и на черством лице его не выражается ровно ничего: ни участия, ни сострадания, ни удивления, совершенно ничего, так, как если бы он смотрел на дохлую кошку или на придорожную трясохвостку. Он даже гораздо больше занят своей трубкой, чем покойником, которому в глаз заглянул только мимоходом. Между сослуживцами этого господина попадаетесь очень много подобных лиц. Иначе и быть не может. Эти господа всю свою жизнь только провожают партию арестантов и уже насмотрелись на этих несчастных, пригляделись к их страданиям,

к их болезням, привыкли видеть между ними людей по большей части дурных. Род их служебной деятельности притупляет в них чувствительность, и они иногда так же спокойно бьют арестантов, как набивают свою трубку.

На первом плане картины, с правой стороны, арестант в лохмотьях, не обращая внимания ни на что происходящее кругом, занят своими собственными делами: он осматривает рану, натертую у него на ноге кандалами. Черствое лицо этого человека, вероятно высидевшего многие годы в разных тюрьмах, несколько раз пересланного из одного острога в другой на целые тысячи верст, приняло отпечаток довольно общий людям этого рода, — отпечаток совершеннейшего равнодушия ко всему на свете: и к погоде, и к времени года, и к истязанию приятеля, и к своему собственному страданию. С этим-то тупым равнодушием он смотрит на свою рану, и затем никакого выражения нельзя отыскать на его жестком лице, полузакрытом растрепанными волосами.

Кроме того, в картине еще много лиц второстепенных: женщина с детьми, другие арестанты, лошади, мужики, телеги, но всё это на задних планах. Картина поражает удивительною верностью. Всё точно так бывает и в природе, как представлено художником на картине, если смотреть на природу, так сказать, только снаружи. Зритель действительно видит на картине г-на Якоби настоящих арестантов, так, как видел бы их, например, в зеркале или в фотографии, раскрашенной потом с большим знанием дела. Но это-то и есть отсутствие художества. Фотографический снимок и отражение в зеркале — далеко еще не художественные произведения. Если бы и то и другое было художественным произведением, мы могли бы довольствоваться только photographиями и хорошими зеркалами, и самая Академия художеств была бы одною огромною бесполезностью. Нет, не то требуется от художника, не фотографическая верность, не механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже. Точность и верность нужны, элементарно необходимы, но их слишком мало; точность и верность покамест только еще матерьял, из которого потом создается художественное произведение; это орудие творчества. В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может; в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не требует и доказательства. Пусть два человека рассказывают о каком-нибудь одном, хоть, например, обыкновенном уличном событии. Очень часто из другой компании, даже вовсе не видя самих рассказчиков, можно угадать и сколько которому лет, и в какой службе который из них служит, в гражданской ли в военной, и который из двух более развит, и даже как велик чин каждого из них. Эпического.

безучастного спокойствия в наше время нет и быть не может; если б оно и было, то разве только у людей, лишенных всякого развития, или одаренных чисто лягушечьей натурой, для которых никакое участие невозможно, или, наконец, у людей, вовсе выживших из ума. Так как в художнике нельзя предполагать этих трех печальных возможностей, то зритель и вправе требовать от него, чтобы он видел природу не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек. В старину^{*} сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным. Пусть же он видит в «несчастных» арестантах людей, да пусть же и нам покажет это. Положим, что этапные офицеры нередко народ бесчувственный по одному уже тому, что служебные обязанности не допускают особой чувствительности. Но нашелся же художник, который в известной поэме «Рассказ этапного офицера» сумел в своем черстве герою откопать человека. Допустим, что большею частью арестанты так сживаются с своим безвыходным положением, что становятся ко всему равнодушны; но в то же время нельзя не допустить, что они люди. Так давайте же нам их как людей, если вы художник; а фотографиями их пусть занимаются френологи и судебные следователи.

Художественности в этом смысле в картине г-на Якоби нет ни на волос; он фотографировал каждого из своих субъектов и не картину написал, а совершил следственную ошибку. Все у него равно негодяи, и все одинакие, как будто потому, что в его мнении сравнила их этапная цепь. Все у него равно безобразны, начиная с кривого этапного офицера до клячи, которую отпрягает мужик. Есть одно только исключение: это исключение — герой картины, покойник, накрытый изорванной рогожей. Этот, вероятно, был красавец, судя по остаткам его, но так и следовало по академическим требованиям; ему невозможно было придать черт более обыкновенных или менее классических: так и виден человек родовитый среди подлого народа, подлого в том смысле, как он разумел это весь свой век.

Из этой картины очевидно, что г-н Якоби, ученик Академии, употребил все свои силы, всё старание, чтобы правильно, верно, точно передать действительность. Это весьма полезное, необходимое старание и весьма похвальное для ученика Академии. Но это покамест еще только механическая сторона искусства, его азбука и орфография. Конечно, и тем и другим надо овладеть совершенно, прежде нежели приступить к художественному творчеству. Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной.

А знаете ли вы, г-н Якоби, что, гонясь до натянутости за правдой фотографической, вы уже по этому одному написали ложь? Ведь ваша картина не верна положительно. Это мелодрама, а не действительность. Вы слишком гнались за эффектом и натянули эффект. Вы не согласились даже пощадить этот разодранный ту-

луп на мужике. Ну когда же так дерутся тулупы (вдоль по всей спине)? Вам нужен был хаос, беспорядок, во что бы то ни стало. Зачем вор ворует с пальца перстень именно в ту минуту, когда подошел офицер? Будьте уверены, что еще прежде, чем доложил офицеру, что умер человек, — арестанты все разом, всем кагалом сказали ему, что у него есть золотой перстень на пальце, да еще торопились высказать это наперерыв друг перед другом, может быть, даже перессорились во время рассказа. Будьте уверены тоже, что прежде еще, чем партия двинулась из Москвы и прежде, чем новый арестант с перстнем показался в кругу своих будущих товарищей, арестанты, еще не видев его, уже знали, что у него есть на пальце перстень. Известно ли вам тоже, что *никаким образом* вор не мог украсть из-под телеги перстень? Знаете ли почему? А потому, что этот перстень уже слишком известен партии. Еще когда этот арестант хворал и готовился умереть, у многих, очень у многих, была эта мысль: «Как бы украсть, когда умрет!» Допустят ли теперь все остальные воспользоваться таким случаем какому-нибудь Ваське Миронову, когда того же хотели и Иванов, и Петров, и Александров? Да они из зависти не дадут его украсть. А если б украл, так разыскали бы сами тотчас же. Каждый думал: «Коли не мне, так никому и не доставайся!», и каждый друг за другом смотрел во все глаза. Но вы погнались за эффектом; вам непременно нужно было, чтоб именно в ту минуту, когда подошел офицер, ловкий вор и совершил бы свою покражу. Тут и ловкость воровства, тут и святотатство — всё вместе очень эффектно. Заметим тоже, что прежде чем смотреть в мертвый глаз, офицер, наверно бы, посмотрел на перстень. Ведь он собственность казны: арестант не может иметь пмущества; пропустил ли бы это офицер? Мы уверены, что он (из казенного интереса, разумеется) даже на сапоги его (довольно хорошие) посмотрел прежде, чем на глаз. Драка арестантов за картами тоже как будто подобрана для эффекта. Поверьте, что те арестанты не могут сидеть в эту минуту за картами, а непременно бы подошли посмотреть, что будет делать офицер с мертвецом, и особенно — что станется с перстнем?

Есть еще одна очень забавная фотографическая неверность; об ней, конечно, говорить бы не стоило. Арестанты в кандалах, один даже натер себе рану от них, а все без подкандалников. Будьте уверены, что не только нескольких тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных подкандалников, чтоб не стереть себе ногу. А на расстоянии одного этапа без них можно протереть тело до костей. Между тем их нет. Вы, конечно, их забыли, а может быть, и не справились совершенно с действительностью. Разумеется, нельзя ставить этого в значительный недостаток, хотя это почти точно то же, как если б кто рисовал лошадей без хвостов. Вы сами же гнались за фотографическою верностью; оттого мы это и замечаем. Самая художественная фигура во всей картине — это, конечно, офицер; он очень хорош.

Будем надеяться, что г-н Якоби стоит на хорошей дороге и на полупути не остановится. Он уже добирается до правды действительной; далее, до остальной, высшей правды он дойдет уже не академическими работами, не под руководством своих профессоров живописи, а общим развитием, общим образованием, чего, как известно, всегда недоставало не всем, а большинству наших художников.

И в этом отношении Академия ничего не может сделать. Все ее усилия клонятся к образованию специалистов, и все академические лекции имеют утилитарный характер, все направлено к специальности. Например, там читается история с точки зрения... костюмов. Там читается архитектура, перспектива без начертательной геометрии (т. е. правила перспективы — *ощупью*), теория изящного — без общего философского приготовления, анатомия с точки зрения костей, мускулов и покровов, без естественной истории человека, и т. д. Такое утилитарное направление, конечно, не дает того общего образования, которое крайне необходимо для художника, и художества у нас никогда не подвинутся вперед без серьезного к ним приготовления в университетах. Иначе мы никогда не выйдемся или из дагерротипирования, более или менее удачного, или из непреходимого псевдоклассицизма.

Касательно этого последнего надо объяснить несколько подробнее. В нынешнем году выставлено три картины, изображающие Харона, который перевозит души через реку Стикс. Вместо четвертой того же содержания картины стоит, для пользы или для красоты, пустая рама, без картины, с подписью, что картина оканчивается. Можно догадываться, что картина очень хороша, потому что за неимением картины Академия выставила хоть ее рамку. Впрочем, рамка довольно обыкновенной работы, и имя мастера не выставлено. Такого рода задача, как Харон с душами, предлагается ученикам Академии на том основании, что тут можно писать тело, что без тела нет академической картины. По мнению Академии, картина особенно хороша, когда тело представлено голое, без одежды, или, по крайней мере, с некоторою драпировкой, не более. Правда, что художнику необходимо изучить анатомию, точно так же, как и врачу; но у того и у другого это только средство, а не цель. Да уж и времена пришли не те. Милоны кротонские, хотя бы они справлялись не с быками, а с слонами, теперь уже нам вовсе неинтересны. В Древней Греции они были очень важны, потому что тогда неизвестны были ни штуцер, ни револьвер. От развития того или другого мускула тогда зависела судьба республики; по этому одному граждане уже должны были с любовью смотреть на мускулы. Сверх того, климат Греции позволял не прикрывать одеждой тело так старательно, как приходится это делать нам. Это другая причина, почему тело в Греции было у художников в большом почете. Затем у нас остается одна с ними общая причина: поклонение прекрасному;

а конечно, ничего нет на свете прекраснее прекрасного тела. Но где же взять нашим художникам тело? Где взять натуру, чтобы написать тело в самом деле прекрасное, — такую натуру, после которой не очень много оставалось бы идеализировать? У нас еще есть возможность за хорошие деньги найти порядочного натурщика, но сколько-нибудь сносных натурщиц — вовсе нет. Ноги изуродованы башмаками, живот испорчен картофелем и глупым перехватом юбки, так что бедному художеству приходится хоть выдумывать женщину. И в самом деле, что за женщина мы видим на выставке? Г-н Алексеев поставил «Вакханку», которая выставила непомерную левую грудь, и «Нимфу с сатиром» г-на Мане из Парижа. Ужас, ужас, ужас! Последняя картина выставлена, конечно, с намерением, чтобы показать, до какого безобразия может дойти фантазия художника, который написал самую плоскую вещь и дал телу нимфы колорит пятнадцатидневного трупа. С другой стороны, женщина в нынешнем костюме в серьезную картину не идет, потому что кринолин и перетянутая талия — верх безобразия, от которого отвернется с ужасом художник, который имеет претензию писать что-нибудь долговечное модной картинке. Впрочем, и такая картина есть на выставке, и не одна. Г-н Страшинский, например, выставил «Девицу в кабинете брата». Девушка эта, держа в руках недочитанный роман, отдергивает занавес, которым закрыта была какая-то неблагопристойная картина, и любуется ею. Дело не в сюжете, а в том, что девушка написана хорошая, настоящая, в розовом платье, с перетянутой талией, в кринолине, в надлежащем корсете. Через пять лет, не дальше, по случаю какой-нибудь другой, новой моды, ее розовое платье устареет так, что на него забавно будет смотреть, оно будет производить впечатление картинке, выдрашью из «Телеграфа». Но как же быть художнику? Что же делать? Тела пегде взять, а кринолин, корсет и фрак — претят человеку с сколько-нибудь развитым вкусом.

Но что же именно делать — об этом поговорим впоследствии. А между тем заметим, что ложно-классическое направление не только не может обойтись без тельца и преувеличенно широких драпировок, но требует непременно, чтобы Харон был представлен здоровенным мужчиной с сильно развитыми и резко обозначенными мускулами. Псевдоклассицизму в живописи, или, лучше сказать, академизму, дела нет до того, что Харон дряхлый старик, и дела нет, что он перевозит души, а не мешки с мукой, стало быть, лодка его не тяжела и слишком больших усилий от него не требуется. Потом академизму дела нет до того, что Харон старик не сердитый, что он рассердился только, увидав между тенями живого человека, Данта, а потом гнев его пропал, и он хладнокровно занялся своим вечным делом. Что за нужда академизму до всех тех соображений, которые могут представиться при обдумывании заданной темы! Уж ежели перевозчик, то подавай его всего, с такими мышцами, как у самых сильных из служащих у г-на Тайвани перевозчиков.

Но зритель очень легко помирится со всеми этими картинами, изображающими Харона и души, если вспомнит, что это работы еще только ученические, что, стало быть, живописцы в них только искали природы, добивались верности рисунка и теней, и с этой стороны картины очень удовлетворительны. В них видно изучение натурщика, старание, а может быть, впоследствии окажется у этих господ и художественный талант. Влияние Флаксмана видно в рисунке, но влияние не лучшей, не высокой половины Флаксмана, а только самого рисунка его; а художественный смысл его не отразился ни в композиции, ни в колорите. Конечно, у Флаксмана колорита нет, но уже самые очерки фигур показывают, что он смотрел на дантовские души, как на что-то прозрачное, с телом почти туманным, почти сливающимся с окружающей средой. Если бы живописцы вздумали передать это в своих картинах, то, может быть, это было бы художественнее, ближе к дантовской фантазии, но это было бы несообразно с академическими требованиями. Старик Харон далеко не силач; его дряблые мускулы движутся по непреложной воле рока, он не старается, не лезет из кожи; его деятельность автоматическая, произвольная, не нуждающаяся ни в малейшем усилии; но академизм не позволяет так его изобразить, потому что так не выйдет, пожалуй, ярко очерченных мускулов, а выйдет, чего доброго, художественное произведение.

Публика любит также четыре картины одинакового содержания: «Великая княгиня София Витовтовна вырывает пояс у князя Василия Косого на свадьбе Василия II Темного». Три из этих картин награждены первыми золотыми медалями, что составляет высшую академическую награду. Также трое из этих художников получили в прошлом году вторые золотые медали за картины, сильно смешившие в свое время петербургских жителей, видевших выставку, — за «Олимпийские игры». Нынешнее «Вырывание пояса» тоже занимательный сюжет, обработанный четырьмя художниками чрезвычайно одинаково. Главное действующее лицо, София Витовтовна, дама более или менее полная, стоит посреди сцены с поясом, в положении танцовщика, который, надлежащим образом отделив свои па и старательно повернувшись па одной ноге, становится перед публикой, расставив руки и ноги. Вот так стоит София Витовтовна в трех картинах, с тою только разницею, что в руках она держит пояс князя Василия Косого, тогда как танцовщик упражняется обыкновенно с голыми руками. Все остальные фигуры расставлены так точно, как в последней картине балета, когда опускается занавес. На театре группировка исполняется по указанию балетмейстера; дело театральных групп состоит в произведении возможно большего эффекта, без особенно больших хлопот о естественности; а эффект сценический совсем не тот, совершенно другой, чем естественный. Сценический условен: он обуславливается потребностями театральных подмостков, и чтобы не говорить о других условиях, вспомним только о том,

что актеры не имеют права стать спиной к зрителям и становятся не иначе как лицом, и уж не далее повертываются как в профиль. Через одно это естественность искажается; но зрители так привыкли к условиям сценического эффекта, что мирятся с ними, и — иначе быть не может. Эта привычка доходит до того, что зрители сносят терпеливо и не подвергают позорнейшим свисткам даже обыкновенное весло, выведенное на сцену в одном балете. Весло, правда, не совсем обыкновенное: оно значительно толще тех, которые употребляются для управления лодкой, и имеет посредине некоторый выступ или зарубку. Танцовщик, представляющий рыбака, несколько раз является с веслом, чтобы придать делу известную степень условной, сценической естественности. Зритель только не понимает, какой тут умысел в этой зарубке и в том, что бедному танцовщику взвалили весло далеко не грациозное и толще обыкновенного. Впоследствии дело объясняется. Когда по порядку наступают общие танцы с известными группами, танцовщик, между разными поворотами и изложением своих чувств посредством ног, приспосаблиется на самой середине сцены, один конец злокачественного весла упирает в пол, а другой себе в плечо. Всё это делается как можно мягче, плавнее, грациознее. Затем танцовщица, главная из танцующих дам, примадонна, при помощи другого танцовщика, тоже между разными грациозными поворотами и изворотами, становится одною ногой на вышеупомянутую злокачественную зарубку весла, а другую протягивает так, как протянута рука на Фальконетовом монументе. Затем она медленно обводит ногою круг. Дюжий танцовщик крепко держит весло, но старается показать, что это ничего, так только, даже, что это для него составляет большую приятность. Танцовщица, для сохранения равновесия, держится одною рукою за его плечо, а другою, только одними пальчиками, за пальцы другого танцовщика, который помог ей взобраться на зарубку весла и проделать всю эту штуку. Потом танцовщица, с легкостью пуха, летящего «от уст эола», соскакивает на пол и продолжает излагать свои чувства ногами. Зрители не оскорблены нисколько; напротив, они остались довольны и приказывают повторить те же самые проделки. Танцовщик опять выдерживает на своем плече трех- или четырехпудовую тяжесть легкой, как пух, танцовщицы, и нога, напоминающая фольконетовскую руку, опять торжественно и медленно делает надлежащий круг, при звуках более или менее очаровательной музыки.

Понятно, что естественность сценическая не то, что естественная. Поэтому и прекрасное на сцене — не то же, что прекрасное в природе и в других искусствах, например в словесности. Чтобы за доказательствами далеко не ходить, вспомним, что иная театральная пьеса, очень хорошая на сцене, в чтении не хороша, и точно так же наоборот. Но в особенности картинность сцены никуда не годится для живописи. В этом всякий легко убедится, если только посмотрит на те изображения сцен из балетов и опер,

которые печатаются иногда в заграничных иллюстрированных изданиях. Точь-в-точь такое же впечатление производят четыре картины, изображающие Софию Витовтовну с поясом Василия Косого. Во всех этих картинах группировка чисто сценическая, а не та, которая бывает в природе. Затем разноцветные костюмы, золото, фэрязи и прочее, что следует, составляет эффект совершенно балетный, недостойный чистого художества.

К таким же театральностям следует причислить и огромную картину «Государственный сейм, на котором Ив<ан> Замоийский приносит жалобы народа королю Зигмунду III». Здесь около сотни хористов, одетых в лиловые длиннополые кафтаны, сидят и стоят, а один сидит на особенном кресле. Лица всё серьезные, оживленные движением страсти: все заботятся о народных выгодах, то есть о себе, а всё остальное — светло-лиловое, в довольно узких складках. Очень может быть, что в натуре даже именно так и было; кресло с королем и магнаты сейма точно так и были расположены, и точно так одноцветно были одеты; но мало ли что бывает в природе, что не может быть воспроизведено в картине, без оскорбления художественного смысла. А впрочем, картина весьма редкая, по необычайному количеству светло-лиловой краски.

Немалое внимание зрителей обращают на себя еще две картины, стоящие рядом. Это «Умиравший отец» г-на Журавлева и «Духовное завещание» г-на Черкасского. Первая из этих картин сгруппирована несравненно удачнее другой. В «Духовном завещании» все фигуры поставлены рядом и все движутся в левую от зрителя сторону, ни дать ни взять стройный кордебалет. С правой стороны стоит какой-то оборванный пилигрим, грязное существо, вроде московского Ивана Яковлевича; он обращен влево от зрителя, к умирающей. Она, героиня, лежит на постели и только что подписала или собирается подписать духовное завещание. Рука ее протянута влево, к перу. Левее, за кроватью, стоит что-то вроде приживалки, обращаясь влево, к племяннику с гнусно-плутоватым и веселым лицом. Он тоже обращается влево, к подъячему, еще более гнусно-плутоватого вида, а тот зачем-то еще протягивает руку влево, кажется к дверям. Очень веселенькая картинка, несмотря на то, что бледность умирающей передана очень верно. Но работа ученическая как по композиции, так и по исполнению; художник в прошлом году получил первую серебряную медаль.

Но что же, наконец, за неудача? Здесь ученическая работа, там ученическая, дальше — тоже. Чуть не вся выставка состоит из ученических работ. В чем же тут дело? В чем состоит цель выставки? Какие намерения распорядителей? Как надо смотреть на всю выставку?

Судя потому, что большая часть работ принадлежит ученикам Академии, надо заключить, что годичная выставка есть нечто вроде публичного торжественного экзамена и акта, вроде тех, ка-

кие бывают в других учебных заведениях. Здесь еще экзамен тем удобнее, что отчет об успехах каждого ученика весь тут, целиком, и может быть окинут одним взглядом. Тут и публичный экзамен и акт: за публично показанные успехи присуждены всякому очевидные награды. Поэтому, казалось бы, здесь следовало бы ожидать одних только ученических работ, безо всякой примеси других. Но в таком случае, если Академия отдаст отчет публике в своей классной деятельности, то по естественному ходу дел надо бы ожидать и тех картин, которые работаны на серебряные медали, начиная с первой, и лучших рисунков с гипсом и с натурщиков. Тогда у зрителя составилось бы ясное понятие обо всем академическом курсе, видна была бы зрителю последовательность успехов, и, главное, отчет обо всей деятельности Академии был бы яснее. Полноты всё еще не было бы совершенной; до сих пор академики и профессора чрезвычайно редко выставляют свои работы. Положим, что профессора-преподаватели видны в работах учеников; но есть еще профессора не по должности, а по званию; есть академики не члены совета, но все-таки до некоторой степени члены Академии. Что они изволят делать — они не удостоивают сообщать об этом публике. Они не считают это нужным, несмотря на то, что без публики художества не имели бы разумного повода существовать, не было бы и самой Академии, стоящей теперь обществу значительных сумм.

Как бы то ни было, но выставка неполна как годичный отчет о деятельности Академии; она так же неполна как чисто педагогический отчет о преподавании; да сверх того в ней есть картины иностранных художников и русских, не принадлежащих к Академии. В чем же заключается смысл выставки? Не в том ли, чтобы поучать зрителей? Но на это Россия имеет громадное армитажное собрание.

Итак, не станем удивляться, что на каждом шагу приходится говорить только об ученических работах, так как это и есть выставка собственно работ ученических, за исключением немногих произведений, о которых следовало нам говорить с самого начала.

Между произведениями давно признанных мастеров первое место занимают три картины знаменитого профессора Айвазовского. 1) «Овцы, загоняемые выюгой в море». 2) «Партенит на южном берегу Крыма». 3) «Буря под Евпаторией». Талант Айвазовского всеми признан, несомненно, точно так же, как и талант Александра Дюма-отца; и между этими двумя художниками чрезвычайно много общего. Г-н Дюма пишет с необычайною легкостью и быстротою, и г-н Айвазовский тоже. Г-н Дюма написал ужасно много, г-н Айвазовский тоже. И тот и другой художник поражают чрезвычайно эффектною, и именно чрезвычайно, потому что обыкновенных вещей они вовсе и не пишут, презирают вещи обыкновенные. Занимательность их композиций не подлежит сомнению: Дюма читался с жадностью, с азартом; картины г-на Айвазовского раскупаются нарасхват. У того и у дру-

гого произведения имеют сказочный характер: бенгальские огни, трескотня, вопли, вой ветра, молния. И тот и другой употребляют краски, во-первых, обыкновенные, а потом, вдобавок к ним, пускают там и сям эффекты — тоже с естественным источником, но преувеличенные до последней степени, до той точки, где начинается уже карикатура. Собственно говоря, в этом сравнении для г-на Айвазовского оскорбительного ничего нет; всё искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем, однако же, чтобы не переходить известных границ. Портретисты это знают очень хорошо. Например, у оригинала несколько велик нос; для сильнейшего сходства надо сделать его чуть-чуть подлиннее; но затем, если прибавить носа еще немножко, выйдет карикатура. Зная это очень хорошо, плохие портретисты никак не могут справиться с обыкновенными лицами, в которых нос не слишком велик, однако не то чтобы и слишком мал, а рот и подбородок в самом деле умеренные. От этого художнику средней руки, не Гоголю, ни за что бы не удался портрет Павла Ивановича, человека с приятными манерами, с ловкостью почти военного человека, безо всяких резкостей в характере и в поступках. Александр Дюма за такие портреты не берется. Г-н Айвазовский тоже не любит таких обыкновенных предметов. С тремя знаменитыми героями Дюма случаются всё вещи необыкновенные: то они втроем осаждают город, то спасают Францию и совершают подвиги неслыханные. У г-на Айвазовского мы видим то же самое. Скала; об нее со всего разбегу расшиблась волна: на скале сидит чайка. И больше ничего. Точно Арамис или Портос, обращающий в бегство неприятельскую армию. Идет большое стадо белых курчавых овец; на них светит солнце так ярко, что смотреть больно, как на всякий белый предмет, в упор освещенный солнцем. Г-н Айвазовский передает это на полотне, и на его овец, в самом деле, больно смотреть. Природа есть, даже преувеличенная, но это еще не художество; это длинный нос, сделанный втрое длиннее, чем нужно. Художник, может быть, позволил бы себе в большой картине две-три овцы, освещенные таким образом; но целое стадо — никак, и целая картина, написанная нарочно так эффектно, что на нее больно смотреть, сильно напоминает подвиги д'Артаньяна. На нынешней выставке есть стадо овец, загоняемых вьюгой в море. С отлогого берега мчится стадо; два пастуха стараются остановить его; некоторые овцы уже в воде; их бьет волна, и в этой сумятице не разберешь, где начинаются волны и где кончаются овцы: всё покрыто свинцовым колоритом вьюги. Очень хорошо, всё это возможно; естественная правда тут есть, но нет правды художественной. Знаменитый герой охотничьих карикатур Хама, барон Крак, выходил однажды из болота, где доставал убитую утку, запнулся, упал и, растянувшись, прямо попал рукою на лежавшего в траве зайца. В то же время его ружье неожиданно выстрелило и попало в летевшего мимо бекаса. Всё это физически возможно, но художник не решился бы написать это

в картине, точно так же, как не рассказал бы этого Аксаков, если бы с ним что-нибудь подобное случилось. Но г-н Айвазовский не останавливается перед подобною нехудожественною правдой. Бывает мгновение, когда вечернее солнце золотит предметы, на которые светит. Г-н Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину, как «Партенит на южном берегу Крыма»: в ней корабль, стоящий на якоре под берегом, освещен солнцем так, что правый борт его весь из розового золота. Бросьте два-три пятна из розового золота, как сделал Гоголь в описании степи, но пожалейте глаза зрителей и не давайте золотой картины. Оттого-то Дюма и не художник, что он не может удержаться в своей разнузданной фантазии от преувеличенных эффектов. Положим, что граф Монте-Кристо богат; но к чему же изумрудный флакон для яду? К чему то питательное вещество, которым он мог одной щепоткой насытиться на несколько дней. Конечно, есть физическая вероятность отыскать в природе крупный изумруд, который годится на флакон. Но надо же знать и меру, надо уметь удержаться вовремя. Известно, что солнце делает чудеса своим светом и тенью, и кто присматривался к его эффектам, тот видал много непередаваемых, почти неуловимых — не столько красот, сколько странностей. Но передавая нам о чудесах, давайте же им настоящее их место, сделайте их редкими в той же мере, как они редки в течение дня и в течение года; не забудьте передать нам и обычные, ежедневные, будничные подвиги солнца. А то, если станете толковать только о чудесах, поневоле впадаете в сказку, в Монте-Кристо. Истинные художники знают меру с изумительным тактом, чувствуют ее чрезвычайно правильно. У Гоголя Манилов с Чичиковым в своих сладостях только раз договорились до «именин сердца». Другой, не Гоголь, по поводу разговора в дверях о том, кому прежде пройти, на вопрос Чичикова, «отчего же он образованный», непременно заставил бы Манилова насказать какой-нибудь чепухи вроде именин сердца и праздника души. Но художник знал меру, и Манилов отвечал все-таки очень мило, но весьма скромно: «Да уж оттого». Г-н Дюма и г-н Айвазовский ни за что бы не могли удержаться, не дали бы такого безличного ответа, и при сем удобном случае один наговорил бы вздору, а другой пустил бы блеск удивительно эффектный, неожиданный, преувеличенный.

«Буря под Евпаторией» г-на Айвазовского также изумительно хороша, как все его бури, и здесь он мастер — без соперников, здесь он вполне художник. В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре. И этого свойства таланта г-на Айвазовского нельзя назвать односторонностью уже и потому, что буря сама по себе бесконечно разнообразна. Заметим только, что, может быть, в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным, и не потому ли зритель не замечает излишних эффектов в бурях г-на Айвазовского?

Воды у нас довольно много на выставке. Кроме г-на Айвазовского, есть вода г-на Ларсона, шведского живописца, который прислал 13 картин; есть «Ниагарский водопад» г-на Рейснера, два вида г-на Горавского, буря г-на Вележева, «Озеро четырех кантонов» Калама и даже работа г-на Иванова, которая поставлена в первой комнате и озадачивала всех посетителей выставки. В этом последнем пейзаже, попавшем на выставку неизвестно каким образом, на правой стороне картины берег и две башни, на левой вода. Что он изображает, неизвестно: он не попал в указатель. Но с какой целью он выставлен? Это уже не ученическая работа: это произведение опытного и заматерелого в живописи суздальца. Такие пейзажи нередко попадают на станциях и в трактирах уездных городов. Надо надеяться, что он выставлен, собственно, для противоположности, для показания ученикам Академии, как не должно писать, чего бояться и до чего может доходить бездарность.

Тринадцать картин шведского живописца Ларсона отличаются огромностью размеров, огромностью цен и буровато-желтым цветом. У него под буро-желтым небом буровато-желтые волны разбиваются о буро-желтоватые камни. Физиология говорит, что есть люди, имеющие ненормальное зрение относительно цветов и красок. Но в обыкновенных людях это не так заметно, как в живописце. Ежели живописец не различает желтого цвета от синего, то происходят такие печальные явления, как произведения г-на Ларсона. Одна из его картин, величиною чуть не с «Последний день Помпеи», изображает кораблекрушение в Богусландских шкерах, при закате солнца. Может быть, если бы вода, небо и скалы имели свой естественный цвет, то картина была бы хороша.

Картина Калама «Озеро четырех кантонов» составляет истинное украшение выставки. Огромное извилистое озеро лежит между высоких гор. Кроме изумительной верности природе, кроме того, что каждая часть, каждая подробность отделана совершенно тщательно, картина поражает тем, что волшебник-художник вложил в нее свою душу. И ровно ничего нет особенного в картине: горы и спокойная вода с легоньким туманом. Но всякий, без исключения, зритель глубоко и сладко задумается над этою картиной, всякий увидит, что художник сам был погружен в какую-то грустную задумчивость, всматриваясь в далекие горы, в ясное небо, в туманную даль. Как он сделал, чтобы передать всё это на картине — это уже его тайна; но ясно, что он не фотографировал природу, а только взял ее средством, чтобы навеять на зрителя свое собственное, кроткое, мирное, сладко-задумчивое расположение духа. Ничего нет легче, как скопировать подобную простую картину; но перейдет ли в копию душа оригинала — сомнительно.

Другой швейцарец, Диде (Diday), выставил водопад Рейхенбах в швейцарских Альпах. Это почти столь же мастерское произведение, и тоже не голая фотография водопада. Диде не искал

сверхъестественного или случайного освещения; он не хлопотал об эффекте и не писал портрета своего водопада, а передавал то впечатление и то расположение духа, какое производил в нем Рейхенбах с своею грандиозною обстановкой.

Если сравнить громадное «Кораблекрушение» Ларсона (цена 4 000 р.) с маленьким видом «Озера» Калама (цена 1 200 р.) или с небольшою картиною «Рейхенбаха» Диде (цена 1 500 р.), то жалко станет того господина, который вздумает истратить деньги на приобретение огромного полотна Ларсона, раскрашенного желто-гнедою краской. Г-н Ларсон, может быть, думал озадачить объемом и полагал, что у нас, у варваров, это будет принято за достоинство.

Пейзаж у нас процветает и далеко опередил историческую живопись. Россия может с гордостью назвать несколько почтенных имен, возле которых господа Ларсоны имеют полное право спрятать свои кисти и продать запасы буро-желтой краски. Пейзажная живопись обязана у нас своими успехами, может быть, двум обстоятельствам: тому, что мы народ по преимуществу с сельскими наклонностями, и тому еще, что в пейзажной живописи академизм гораздо труднее может быть водворен, и, стало быть, ему не так легко связывать и ограничивать развитие талантов. В пейзажной живописи учитель несравненно разнообразнее всех на свете профессоров, как бы они талантливы ни были: это сама природа. Для души, открытой ее лекциям, преподавание идет необыкновенно успешно, кротко, без заносчивости и, стало быть, не только не забывает ученика, а ведет каждого по пути его призвания так медленно или так скоро, как только может каждый идти.

Трудно вычислить все прекрасные пейзажи, какие выставлены в нынешнем году. Первое место занимают два прекрасные вида г-на Горавского. Затем нельзя не упомянуть о прекрасных работах г-д Рязанова, д'Альгейма, Каменева, Дюкера, Суходольского, Грязнова, Попова, Мещерского и в особенности г-на Клодта 1-го. Во многих из картин этих мастеров чувство природы очень живо, и некоторые, как например г-н Клодт 1-й, обращаются к природе с тою художественною наивною, с тем безыскусственным, чистосердечным доверием, которое всегда показывает истинного художника. Местами заметно, как, например, г-н Горавский трезво воздержался от преувеличения эффектов, вроде г-на Айвазовского, хотя эта воздержность и не везде выдержана. Между всеми этими пейзажами есть и такие, в которых оказываются прекрасные стремления, великолепные задатки, но исполнение небрежное, без любви, подмалевки, как например картины г-на д'Альгейма. Спешность ли работы (которая, однако же, не была заказана) тут причиной, или презрение к публике, только подмалевки г-на д'Альгейма, показывая прекрасный, многообещающий талант, остаются подмалевками.

Между жанристами первое место в нынешнем году принадлежит г-ну Бракелееру, который выставил картину «Ловля мышей».

Наивность этой сцены очаровательна; натяжки, придуманных эффектов — вовсе нет. Содержание картины так просто, и так она оживлена сильным, хотя будничным интересом, что всякий зритель невольно улыбнется, но не улыбкою насмешки, а участия. Дело в том, что мышь забралась в шкаф, а старик и старуха намерены ее оттуда добыть и подвергнуть смертной казни. Старик, волнуемый ожиданием, стоит с метлой, готовый поразить домашнего вора, а старуха достает из шкафа щипцами всякую всячину, за которой мышь прячется. Ясно, что у хозяйки тут затронуты самые живые интересы хозяйской души; она приносит в жертву видимый порядок, для водворения порядка внутреннего.

Г-на Морозова «Отдых на сенокосе» и г-на Корзухина «Пьяный отец семейства» награждены Академиею вторыми золотыми медалями совершенно по заслугам, так что зритель, не знакомый с требованиями псевдоклассицизма, недоумевает, каким образом тою же медалью награждена картина г-на Литовченко «Харон, перевозящий души». Но в требованиях академизма есть чудеса, которые и не снились нашим мудрецам.

Настоящие жанристы, не в шутку, это г-да Шильдер и Перов. Г-н Шильдер за картину «Расплата с кредитором» признан академиком, а г-н Перов за «Проповедь в селе» получил первую золотую медаль. «Расплата с кредитором» очень сильно отзывается мелодрамой, а по случайности своей напоминает водевили средней руки, в которых развязка наступает не в силу естественного хода обстоятельств, а совершенно случайно. Герой этого водевиля, молодой человек прекрасной наружности, только что приехал в ту минуту, как кредитор явился за получением денег по векселю. Должник, больной старик, сидит в креслах и сам себя не помнит от радости. На полу лежит разорванный вексель, тут же только что раскрытый чемодан, из которого, очевидно, вынуты деньги для расплаты. Герой, к которому на шею в знак благодарности бросилась дочь старика, не обращая надлежащего внимания на ее сладостные объятия, грозно смотрит на кредитора, который ретируется в двери, а за ним Немезида, в виде квартального надзирателя. Есть еще несколько лиц: жена, дети; обстановка бедная, но героиня, девица, в довольно богатом платье. И представляется зрителю всё, что за сим следует: дочь, благодарная за спасение отца от тюрьмы или от описи имения, выходит за освободителя и надлежащим образом любит великодушного своего мужа; впоследствии старик весело умирает, попирав на крестинах своих внучат, и так далее, впредь до будущих подобных сцен, когда нынешний освободитель, тоже больной и дряхлый, будет сидеть на креслах и будет сильно нуждаться в освободителе, и такового не окажется так кстати, как теперь, потому что до такой степени кстати случается это только в водевилях.

«Проповедь в селе» г-на Перова отличается очаровательною наивностью. Тут почти всё правда, та художественная правда, ко-

торая дается только истинному таланту: и мужики, и бабы, и заснувший помещик, и ясное небо, и крестный ход, и ребятишки.

Еще одна замечательная картина отличена высшею академическою наградой, первую золотую медалью: картина г-на Клодта 2-го «Последняя весна». Больная, умирающая девица, сидит в большом кресле против открытого окна. У нее чахотка, дольше весны она не проживет, и домашние это знают. Сестра ее стоит у окна и плачет; другая сестра стоит возле больной на коленях. За ширмами отец умирающей и мать сидят и толкуют между собой. Невеселый должен быть их разговор; нехорошо положение умирающей, скверно положение сестер ее, и всё это освещено прекрасным, ярким весенним солнцем. Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная. Кто захочет повесить такую патологическую картину в своем кабинете или в своей гостиной? Разумеется, никто, ровно никто. Это непрерывное *memento mori*¹ для себя и для своих ближних мы все знаем очень хорошо и весьма удобно можем обойтись без напоминанья, которое к тому же ровно ни к чему не служит, кроме постоянной и непрерывной отравы жизни. Сама по себе смерть — отвратительное дело; но ожидание ее гораздо еще отвратительнее. Художник выбрал себе, таким образом, чрезвычайно трудную задачу: отвратительное представить прекрасно; это никогда никому не удастся. Смерть близких более или менее каждому из нас знакома. Это такой роковой, тупой, бессмысленный удар, к которому, говорят, надо быть всякому готовым. Это совершенный вздор; как ни готов бывает к нему человек, но все-таки он как будто неожидан. Есть драматические произведения, в которых смерть выводится на сцену. Почему же и нет? Смерть — дело житейское, как говорят плакальщицы, промышляющие по кладбищам. Но представьте же себе, что актер или актриса стали бы умирать на сцене по всем правилам патологии, со всевозможною не сценическою, а естественною правдой, передавая всю агонию, одно явление за другим, так как это бывает в природе: то умирающего поведет, как кусок бересты в печке; то он привстанет и посмотрит большими мертвыми глазами, то он лепечет что-то сухим, воспаленным языком и синими пальцами хватает, будто щиплет воздух, а зрачки катаются в белках, как у плохого провинциального актера, играющего Отелло, и ноги между тем стыннут, и пальцы на ногах подкорчиваются. Да все зрители разбежались бы от такого представления. А г-н Клодт 2-й представляет нам агонию умирающей и с нею почти что агонию всего семейства, и не день, не месяц будет продолжаться эта агония, а вечно, пока висеть будет на стене эта прекрасно выполненная, но злосчастная картина. Никакой зритель не выдержит — убежит. Нет, художественная правда совсем не та, совсем другая, чем правда естественная.

¹ помни о смерти (лат.).

Некоторые живописцы пользуются уже готовым содержанием и выполняют его как задачу. Так, несколько лет тому назад один художник, кажется г-н Бронников, выставил умирающего гладиатора, по Лермонтову. В картине гладиатор точно умирает, но так как у поэта он, умирая, вспоминает родину, то это воспоминание повторено у г-на Бронникова над гладиатором в облаках, довольно туманно. Это сильно напоминает старинные гравюры, на которых от рта действующих лиц проводилась тесемка с надписью их речей. Еще тоже несколько лет тому назад один господин выставил две отдельные картины: на одной была недурно написана сосна, а на другой прекрасно написана пальма, и объявил, что это из Лермонтова или из Гейне; сосна думает, как далеко на юге растет пальма.

В нынешнем году тоже есть три подобные картины: «Весталка», по г-ну Полонскому, «Капитанская дочка», по Пушкину, и «Фауст с Мефистофелем», по Гете. Едва ли когда-нибудь такого рода вещи могут быть удачны. В произведении литературном излагается вся история чувства, а в живописи — одно только мгновение. Как же тут быть? Очень просто; или написать пять или десять весталок, то есть ту же весталку в пяти или десяти оттенках чувства, или не браться за невозможное дело.

Нынешняя выставка, между прочим, замечательна отсутствием батальных картин, которых в старину бывало каждый раз так много. Что же делать? Такое уже видно пришло время, что общественное внимание обращено теперь на другие, не менее важные предметы. Есть, правда, и ныне несколько сцен из военного быта, но, к счастью, немного, и именно к счастью, потому что художественного в них ничего нет, да и быть не может. «Сцены из военного быта» выставлены г-ном Иебенсом. В указателе выставки сказано с большою любовью, что «г-н Иебенс, Адольф (Jebens), ученик Поля Делароша, приехал в Россию в 1848 г. и имел счастье поднести государю императору Николаю I картину, изображающую военную сцену, вследствие чего получил поручения от его величества писать коллекцию военных сцен, чем и ныне занимается». Г-н Иебенс выставил две сцены, или, вернее, группы, состоящие из солдат, одетых в надлежащие мундиры со всеми необходимыми выпушками и петличками, и так как он в этом деле специалист, то надо полагать, что всё нарисовано как следует и форма соблюдена вполне.

Портретов выставлено довольно много, точно так же немало и фотографий. Но мы поговорим о них в другой раз, именно по поводу сочинений г-на Даля.

Архитектурных проектов выставлено очень мало, не более одиннадцати; все они отличаются великолепием и необычайной грандиозностью. Вообще Академия не любит у нас простой, утилитарной архитектуры и всё делает проекты колоссальные. Но и об архитектурных проектах мы поговорим в другой раз.

ПО ПОВОДУ ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ЗАМЕТКИ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Стонет сизый голубочек...

Прежде всего выпишем то, что мы, между прочим, говорили «Русскому же вестнику» в майской книжке нашего журнала. Это нужно к делу:

«Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, неизбежно и неподвижно. Эту неизбежность и неподвижность они любят преимущественно за то, что она совпадает с их материальными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. В интересах своих они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и тени. Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, — явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности самосохранения. Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам; а главное, на извратителей, угодников и оболстителей толпы, действующих почти всегда из собственной, личной выгоды. В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны. А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди честные и высоких нравственных качеств. Между меньшинством являются иногда люди гениальные; кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стойчески переносить всевозможные гоне-

ния. Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. Они суеются, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошляя ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства. Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. А между тем как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей, честно и благородно преданных делу. Да и вообще между людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. Прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями. Но те, которые льстят большинству из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать — и дело в шляпе. Поклеветать же необходимо».

Теперь выпишем для читателей наших всю главную часть тирады «Русского вестника», которую он тиснул в своей последней (августовской) книжке, под названием «Элегическая заметка». В том же номере есть и другая «заметка»... Но мы только скажем об элегической.

«Обо многом были мы намерены поговорить в этой книжке; но человек предполагает, а бог располагает. Обстоятельства заставляют нас отложить наблюдения наши над русскою литературой до другой, более благоприятной минуты.

Бедное русское слово, бедное русское образование! Какая-то участь ожидает вас? Позади немного, впереди смутно и темно. Во всем чувствуется пустота и бессилie, отсутствие жизненной почвы, недостаток мысли, вытекающей из дела и идущей к делу. Никогда еще в таком обилии не расплодилось у нас слов и фраз, как в теперешнее время, когда все толкуют о самостоятельной мысли; никогда еще не доходила до такого всевластного господства самая пошлая рутинa, самое бессмысленное и раболопное повторение мнений из чужой жизни, остывших и забытых, или случайных и отрывочных, лишенных связи и смысла, как именно теперь, когда все, по-видимому, из того лишь и бьются, чтобы жить своим умом и не поклоняться авторитетам. Если бы не разные обстоятельства, как легко было бы проследить генеалогию каждой фразы, выдаваемой за мысль, как легко было бы изобличить ее ничтожество и пошлость! Будущий историк нашего образования, конечно, сделает это, и тогда сами собой обнаружатся причины тех эфемерных явлений, которые представляет наша жизнь. Явления эти сменяются с поразительною быстротою; мы переживаем фазу за фазой; по-видимому, истощимые творческие начала таятся в основе нашей жизни и без отдыха работают, ежеминутно покидая старое, ежеминутно слагая новое.

В действительности же, как известно, ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития — не более как мыльные пузыри. Нет ничего забавнее той серьезной мины или того задора, с которыми наши мыслители толкуют о жизни и прогрессе. Они думают, что занимаются очень горячими вопросами, и издеваются над теми, кто посвящает свои труды науке, по предметам отвлеченным или да-

леким. Но в науке нет ничего такого, что не шло бы к делу; для серьезного знания нет вопроса, нет факта, которые не заслуживали бы изучения или были бы бесплодны. Зато, наоборот, в этих доктринах, которые пекутся для жизни и величают себя жизненными, часто нет ни одного слова, годного для дела, ничего годного для жизни. Эти доктрины, где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абстрактные выкладки математики, чем самые дробные исследования эрудиции. Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения. Всякая эрудиция, как бы ни была она специальна, имеет своим предметом факт действительной жизни и также необходима для ее уразумения. Но все эти пустяки, все эти пряности слов, весь этот перефраз, выдаваемый за живое дело жизни, по большей части выражает только отсутствие жизни в умах своих виновников, бессилие и косность мысли. В этих учениях не высказывается ничего заслуживающего внимания, ничего сколько-нибудь годного. Интерес их заключается не в том, что ими высказывается, а в самом их существовании, в возможности их появления, в тех причинах, которые порождают их. У нас причины этих явлений очевидны. В обществе нашем нет жизни: мудроно ли, что отсутствие жизни ознаменовывается этой гнилью, этою фосфорическою блескотней, этим потоком слов без мысли? У нас до сих пор нет ничего похожего на науку; до сих пор наука не пустила в нашей почве никаких побегов. Науку считали у нас роскошью, делом излишним, даже опасным. Науку прилаживали к разным посторонним ей условиям; ее презирали, ею пренебрегали; она была жалким педантом в нашем обществе, запуганным, прибитым Тредьяковским. И вот затоптанные начатки умственной деятельности дают себя знать. Дух знания, свободный и не имеющий других целей, кроме истины, мысль, не имеющая других целей, кроме знания, блистательно заявляют свое отсутствие нашею литературой, этими мыльными пузырями наших доктрин, всеми этими отвратительными карикатурами на мысль, знание, прогресс. Чему учат пустозвоны наших дней? Не говорят ли они точно так же, что наука сама по себе есть дело излишнее и негодное? Не готовы ли они лаять на всякого, кто в области знания не признает других целей, кроме чистой истины? Не возводят ли они в теорию то, что у нас так долго было на практике? Не являются ли они достойными толкователями и выразителями того духа презрения и недоверия к высшим дарам человеческой природы, который господствовал у нас в жизни?

У нас нет общества, нет общественного дела, в котором каждый принимал бы живое участие и которое давало бы предметы, направление и внутреннюю норму для деятельности. У нас нет общества, но есть *кружки*, фальшивые подобия общества. В этих-то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких, ничтожных подобиях общества, в этих кружках, с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше; здесь-то совершаются эти быстрые развития, — быстрые, потому что пустые, — здесь-то, на словах, передвигаются горы и на фразеях переворачивается мир; здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса.

Вот причины жалкого состояния нашего образования; вот причины пустоцветов, которыми наша литература непрерывно наполняется с отчаянным изобилием; вот причины этого ребяческого нахальства, этого невежества, прикрытого фразами, украденными у науки, этого непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на перестройку ее оснований, на разрешение ее задач. Вот также причины, почему всякая нелепость может иметь у нас ход и рассчитывать на успех. В самом деле, нет такой нелепости, которая могла бы у нас отчаяваться в успехе. *Нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться, что они вдруг, к изумлению окружающих, не пустятся в трепак.* Кого же

впитать и что делать? Должно ли с сугубою сплпй налечь на те незаметные, на те ничтожные зачатки знания и мысли, чтоб окончательно подавить их? Должно ли уславлять те причины, которыми порождаются праздные кружки, праздные доктрины, те причины, которыми поддерживаются ребячество мысли и бессовестность слова. Будем ли мы придавать серьезное значение всем этим нелепостям, которые зарождаются в атмосфере кружков, как бы эти нелепости ни казались нам чудовищны? Будем ли мы уславлять их и давать их *raison d'être*,¹ считая их чем-нибудь существенным, а не тем, что они есть в действительности — пустыми миражами?

Наши *esprits forts*,² наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего; все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой».

Мы нарочно перепечатали всё это место целиком; мы не хотели передавать его своими словами, чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватили из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде.

Итак, вот каково мнение «Русского вестника» о современном положении вещей в нашей литературе, в нашей науке и даже в нашей жизни. Нет у нас «совестливых» людей, говорит он обо всех без исключения. «У нас ничто и ничего не представляет никаких задатков будущего: всё это одна гниль разложения...» Одним словом: всё гниль, и все гниль!..

Сильно сказано.

И пусть «Русский вестник» не придирается к нам; пусть не говорит потом, что мы сами выдумали про *всё* и про *всех*, а он никогда ничего не говорил подобного. Если б он говорил не обо всех без исключения, то он отнесся бы к этой «гниющей» среде так же, как мы определили ее место в общем движении. (Ссылаемся на выписку из майской книжки нашего журнала.) Он не принял бы крикунов за деятелей, бездарных фразеров и пустозвонов — за всех и за всё. «*Всё, все!* Но ведь это неслыханная дерзость против здравого смысла!» — кричит читатель.

Конечно так; но «Русскому вестнику» какое дело до криков и даже в иных случаях до здравого смысла. Ему надо доказать, что всё гниль, одна гниль и даже вовсе не от обстоятельств каких-нибудь гниль, а просто от собственной нашей бессовестности... Впрочем, он ведь и не доказывает. Он только кричит... Но разберем, однако же, так ли он кричит?

То место вашей заметки, где вы, «Русский вестник», сравнивали нашу науку с «Тредьяковским», нам показалось значительным. Показалось нам, что вы именно указываете на большое место и недалеко от настоящей причины плачевного состояния нашей образованности. Но надежды наши тотчас рассеялись. Как обернули вы дело? Вы начали ругать наших «прогрессистов», наших «борзописцев», наших «крикунов» не только за их увлечения и малоумие, — это пусть бы! — нет, вам надо было еще доказать, что они печестные люди, что они *бессовестные*. Мы даже убеж-

¹ объяснение (франц.).

² вольнодумцы (франц.).

дены, что вы, собственно, для этого-то и пустили ваш элегический плач... Без этого что ж за выгода была бы вам повторять, что у нас нет науки, нет литературы? Ведь это всё так старо! Вы уж так часто об этом говорили и прежде... Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет... Нет, у вас была другая цель, и именно та, на которую мы указали. Вы раздражены. Мы знаем, отчего произошел ваш задор... Но об этом после.

Итак, между борзописцами, между заблуждающимися (уж уступим вам это, на время, вполне), нет ни одной чистой совести, ни одного честного существа, ни одного непустого человека, ни одного действительно трудящегося, заботящегося, страдающего, мученика мысли и пауки. Как же вы говорите: «начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой»? Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему веленью?

Но, позвольте, мы начнем по порядку.

Вы говорите, что никогда еще не расплодилось так много слов и фраз, как теперь, когда все толкуют о самостоятельности мысли. Согласны; но это понятно: готовым ничего не дается; всё нужно сделать, выжить и даже выстрадать, и всё начинается сначала, а начинается всегда так. Никто разом не доходит до последнего слова, до окончательной гармонии в жизни. Вы говорите: «никогда еще не доходила до такого всевластного господства рутинная, бессмысленная и рабская повторения мнений из чужой жизни, как теперь, когда все, по-видимому, из того лишь бьются, чтоб жить своим умом и не поклоняться авторитетам». Но ведь и вы знаете, что если нет почвы и если невозможна деятельность, то стремящийся дух именно выразится в явлениях ненормальных и беспорядочных, именно примет фразу за жизнь, накинется на готовую чужую формулу, обрадуется даже ей и ею заменит действительность! В фантастической жизни и все отправления фантастические. Но, по-нашему, это страдания, это безвыходные муки. А по-вашему, все фразеры. Да разве это возможно? Разве увлекающийся фразой, готовой формулой непременно должен быть бессовестный человек, пустой крикун, мыльный пузырь? Разве не может увлекаться и ошибаться истинная, честная пытливость ума, честный и совестливый человек? С страданием ища выхода, он спотыкается, падает... Да такие-то люди и спотыкаются. Зачем же пятнать их названием бессовестных? Кому придет в голову, особенно в иную минуту, смеяться над такими людьми, кроме вас, из глубины кабинета, в котором вы сидите с вашим олимпийским спокойствием? Вы даже как будто рады этому. Блажен тот, который и в уродливом явлении способен увидеть его историческую, серьезную сторону! Блажен тот, который не думает, что к нему в рот будут готовые галушки падать! Блажен тот, кто от залезшего, чуть не в трубу, трубочиста не потребует непременно академических поз и красоты Аполлона Бельведерского! Блажен, наконец, тот, который не оскорбляет своим свистом несчастного в минуту его несчастья!

«Эти доктрины, — говорите вы, — где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абструзные (абструзные! эго словечко-то! тридцать педантов, сойдясь вместе, не выдумают ничего лучше этого слова!) выкладки математики... Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения...»

А вы знаете ее, эту формулу? Что ж вы нам ее не откроете, коли знаете? Вы так свысока говорите, что можно подумать, вы уж ее и нашли, и бережете про себя это сокровище. Ведь вам всё так легко: у вас вон жизнь придет когда-нибудь сама собою; вы сердитесь, что нет до сих пор общества, а есть кружки, как будто общество так само собой и устроится без первоначальных кружков? Вам всё так легко! Что ж, если другие-то именно и ищут эту формулу, о которой вы говорите; не довольствуются одним утешением, из прописей, что она есть и должна быть, а именно хотят сами найти ее, или споспешествовать ее открытию, ищут, иногда пресмешно ошибаются, падают, а вы только стоите да посмеиваетесь над ними, над их судорогами и ошибками, пальцем не желая к делу притронуться, чтоб не замарать ручек. Да уж не вы ли и есть один из тех фразеров, на которых вы так сердитесь? И вот что еще: вы ужасно легкомысленны. Вы думаете, что так легко обмануть людей: «да я-то, дескать, и тоскую, я науку защищаю, которую унижают и уничтожают крикуны и мальчишки; я сам тоскую и скорблю, глядя на это, и вот пустил свой элегический плач». Но при всем вашем умении фразерствовать вы ведь так наивно высказываете свою настоящую цель! Вы не за науку стараетесь, вы ровно ни о чем не тоскуете. Вам просто *надо* было назвать всех «прогрессистов» бессовестными, пустозвонами и манкенами. Ведь такое презрение не может быть у серьезно и свято сочувствующего делу человека, у умеющего хоть что-нибудь различать человека. С каким цинизмом вы обнажили себя! О боже! если б вы говорили только о крикунах и мальчишках, бездарных, бездарно и грубо схватывающих одни верхушки идеи, толкующих ее односторонне, с *предательским* легкомыслием вредящих всякой новой идее уж тем одним, что они кричат и звенят о ней, опошливающих ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства, — о, тогда мы бы сами присоединились к вам, рады бы вы или не рады были такой компании! Но вы, во-первых, *поголовно* всех мыслящих и желающих света, кроме себя, считаете крикунами, а во-вторых, всех этих, по-вашему, крикунов и прогрессистов считаете *бессовестными*, и именно на это-то напираете, именно это хотите доказать. Вы говорите: нет у нас таких *совестливых* людей, за которых можно было бы поручиться... Это ваши собственные слова. Вы говорите далее, что мы (*мы* тут, разумеется, для красы) оттого прогрессисты, что боимся прослыть людьми отсталыми, что «мы готовы нести или выслушивать всевозможную чепуху, *чтоб только не подать подозрения, что мы не прогрессисты*» (следовательно, созна-

тельно бессовестны), что, наконец, «гаркий кто-нибудь, что прогресса нет, что всё в жизни бессмысленно и случайно... и мы готовы смиренно подчиниться и такому решению, *лишь бы только остаться на счету прогрессистов*».

Так ли? так ли? Ради здравого смысла, возможно ли это для всех, для всех поголовно? Возможно ли, чтоб в целом обществе не было ни малейших признаков жизни? Что за безотрадный, что за ужасный, невозможный взгляд? Очень может быть, что усилия этих прогрессистов не отвечают жизни; но неужели ж не жизнь, не стремление жить и формулировать эти стремления управляют их действиями, а одно тупое, бессовестное желание прослыть прогрессистами, как уверяете вы? Неужели ж все они только манкены, а не живые люди? Неужели же все те, которые в последнее время порывались хоть что-нибудь высказать, хоть что-нибудь формулировать, — одни бездушные, выпускные куклы, которых двигали бездушные, механические пружинки, а не действительная жажда познания и истины? И все, все такие? Неужели ж вы только один и есть на всей Руси, вы, профессорствующий «Русский вестник», которому так легко на всё плюнуть и всё раздавить ногой? Да уж не вы ли один и остались для спасения нашего? Так скорее, скорее спасайте нас! «Иван Александрович! ступайте управлять департаментом!»

И что проповедуете вы? Кто ж не знает (и уверяю вас, даже самые бездарные крикуны и мальчишки это понимают), что действительность и настоящая деятельность облагородили бы нас, дали бы каждому из нас свой удельный вес и значение, измерили бы силы наши и привели бы нас к самопознанию. Кто же не знает, что с прикосновением к действительности, с началом деятельности исчезла бы эта вереница предзаданных идей, успокоительных формул и проч., и проч., чем задается в наше время чуть не всякий человек, жаждущий деятельности. Но, по-вашему, так легко успокоиться и не тосковать; так легко избежать грез, мечтаний, не упасть, не наделать ошибок. Это спокойствие, эта легкость подозрительны. Они показывают равнодушие и обнаруживают самолюбивый до сладострастия (уж позвольте так выразиться) эгоизм. Да ведь вы сами формулами задаетесь! Праздный, но беспокойный, пытливый ум, без действительности, естественно, должен отклониться от нормального пути и увлекаться теоретическими бреднями. Чем бы осмыслить это явление, чем бы проникнуть в него (как было и начали вы), вы кончили тем, что этих же несчастных, этих же алчущих и жаждущих назвали чуть не подлецами и даже отняли у них всякое право жизни, признав их одними пустыми фарсерами и даже отказав им в человеческих чувствах. Да разве ошибающийся человек непременно подлец? Да иногда, именно, чем уродливее проявляется жизнь, чем судорожнее, чем безобразнее, чем неустаннее это проявление, тем больше, значит, жизнь хочет заявить себя, во что бы то ни стало, — а вы говорите, что и жизни-то нет. Тут тоска, страдание,

да вам-то что за дело! Всё это не соответствует вашей тайной идейке, следственно, нечего и признавать в этом ни тоски, ни жажды жизни. Всё мыльные пузыри!

Вот вы, например, говорите свысока и даете уроки, а ведь всё это такая пропись — ваши уроки, такая тупая отвлеченность, такая абструзность (о милое словечко! где это вы его достали? по делу виден художник). Те, отверженцы-то, хоть что-нибудь делают, хоть копаются, чтоб выйти на дорогу, хоть ошибаются, и таким образом избавляют других, последующих деятелей от подобных же ошибок, следственно, хоть отрицательно, да полезны; а вы, мелодраматически скрестив руки, стоите да посмеиваетесь. Нанял жид работника рубить дрова; мужик рубит и кряхтит с каждым ударом. Жид смотрит и спрашивает: «Зачем ты кряхтишь?» — «А так легче». — «Ну так ты руби, а я буду за тебя кряхтеть», — говорит жид. Мужик как ни взмахнет топором, а жид подкряхтывает. Изрубив дрова, мужик просит денег; жид и дает меньше, чем уговаривались. «Как же так? — говорит мужик, ведь я всё изрубил?..» — «А я кряхтел, — говорит жид, — тебе легче было». Жидки хитрый народ! Уж не кряхтите ли и вы занапрасну-то? Но нет, у вас на уме выгода: вам именно хочется провозгласить: все фальшиво поют, один я соловей. Так мы и поверим вам? Нет, вы нам сами сделайте свое собственное *фью-фью-фью*, как говорит г-н Щедрин, которого вы так хорошо знаете. Нет, если уж вы желаете добра, так покажите-ка сами, как бы вы сделали, без ошибок-то. Но вижу, вы высокомерно улыбаются. Вы ведь уверены, что жизнь придет сама собою и принесет что-нибудь самое лучшее, аглицкого товару-с, а до тех пор и нечего беспокоиться. Налагаете бремена тяжкие и неудобь-носимые... и т. д. Разумеется, вся ваша выгода — стоять теперь перед всеми в загадочном спокойствии. Чего доброго, пожалуй, за такого непочатого мудреца примут, что и в Англии не найдешь!

Да и к чему в самом деле вам со всякой этой «гнилью» якшаться? Вы уверены, что «придет жизнь — и гниль исчезнет сама собою». Когда же она придет? как же она придет? Какое удивительное знание действительности! Правда, Булгарин и Аскоченский разрешают загадки жизни еще легче. У них всё так готово, так всё разлиневано. «Когда придет жизнь»... видно, что вы об этом не очень задумываетесь; да и зачем? Те, кто об этом заботятся, могут ошибаться, окомпрометировать себя, ну а вам неприлично ошибаться и себя компрометировать. На это есть чернорабочие; над ними смеются, они крикуны, свистуны, пустозвоны; и работа такая черная, скучная, хлопотливая даже. Надо лазить, трубы чистить, тяжести таскать, крочиться... Неприлично. Академической позы не выйдет. А ведь мы герои!

И ведь мы вам уступили. Мы согласились, что крикуны ошибаются. Оно так, ошибаются. Вот они пауки не признают, они легкомысленны, они на всё бросаются... правда! А знаете ли вы, что исторический ход дела — страшная вещь? И так не похож

инюгда на теоретический! Да почти всегда. Кажется, смекнешь всё теорией, у себя в кабинете: вот так, вот именно так всё должно случиться, и пример есть — так вот и в Англии было. Смотришь: вовсе не так выходит на деле. Ничего предсказать и предугадать нельзя заранее. Странная вещь; даже предосадная вещь!

А знаете ли, что мы вам скажем в заключение? Ведь это вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотами», вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним. И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «полемических красот»... Господи! Подымается скрежет зубовой, раздается элегический вой... «Отечественные записки» после этих красот поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. Один шутник даже сказал, что в той книжке «Отечественных» записок» только в «Десяти итальянках» и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!

Но так как уж пошло на отгадки — скажите, «Русский вестник», к чему вы напечатали стихотворение князя Вяземского «Заметка» в той же августовской книжке, в которой и элегическая ваша заметка? Конечно, это стихотворение для нас замечательно не само по себе, а потому, что вы его у себя поместили. Не за такие же стихи, как:

На всех сверкает он *молниеносным* глазом

или

Вражде людей — ее твердыни *не потрясть* —

поместили вы это стихотворение. Конечно, не такие стихи соблазнили вас. Но к чему спрашивать? к чему задавать такие затруднительные вопросы?..

Да, «Русский вестник», мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. Вероятно, найдете и товарищей... Счастливым путем! И весело, и выгодно! Остававливать не будем!

РАССКАЗЫ Н. В. УСПЕНСКОГО

Г-н Успенский издал все свои рассказы отдельной книгой. Это он хорошо сделал: как-то виднее выступает теперь перед нами вся деятельность этого нового писателя. Г-н Успенский пишет, впрочем, довольно давно, уже несколько лет, и печатается почти всегда в «Современнике». Стало быть, по правде сказать, он уже не новый писатель; но мы не можем решить: способен ли г-н Успенский к дальнейшему развитию и скажет ли он наконец нам хоть что-нибудь *нового*? По крайней мере до сих пор он нового не сказал еще ничего, во всех своих *двадцати четырех* рассказах. Несмотря на то, он пользуется в публике некоторым вниманием, особенно благодаря рекомендациям «Современника». Он верно описывает сцены из народного быта, а верных описывателей народного быта у нас всегда было мало. Но если начать судить о г-не Успенском с этой точки зрения (единственной, впрочем, точки зрения, с которой его можно судить), то надо тотчас же принять во внимание, что он явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого. Хотя и очень немного пользы сделал еще г-н Успенский нашей литературе, но если б он первый, раньше поименованных писателей, явился к нам с своими картинками из народной жизни, мы бы судили о нем совсем по-другому. То-то и есть, лиха беда начало! И говоря его же словами, в его же рассказе «Грушка»: «Цена ему теперь совсем не та».

Да не подумает, впрочем, читатель, что мы хоть сколько-нибудь сравниваем его с Островским, Тургеневым, Писемским и т. д. Предшествовавшие ему замечательные писатели, о которых мы сейчас говорили, сказали во сто раз более, чем он, и сказали верно, и в этом их слава. И хоть они все вместе взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно (народа так скоро разглядеть нельзя, да и эпоха не доросла еще до широкого и глубокого взгляда), но, по крайней мере, они взглянули *первые*, взглянули с новых и во многом верных точек зрения, заявили в литературе сознательно новую мысль высших

классов общества о народе, а это для нас всего замечательнее. Ведь в этих взглядах наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история.

Впрочем, некоторые хотят непременно видеть в г-не Успенском *основателя* какого-то нового взгляда в описаниях народного быта, изобретателя какой-то новой точки зрения, с которой следует смотреть на народ. Говорят: «г-н Успенский подходит к народу просто, без всяких предубеждений и *заране* составленных взглядов; он разбирает дело *прямо, как оно есть*, потому что общество к верному взгляду на народ еще не приготовлено и даже, на теперешней степени своего развития, стоит ниже настоящего понятия о народе; а следовательно, и всякий литературный предзаданный взгляд будет ошибочен. Удовольствуемся пока матерьялом и проч., и проч.». Этого хоть и не говорят с такой откровенностью, но мы старались формулировать самую сущность этого взгляда. Ответим: предзаданный, заране составленный взгляд, конечно, ошибочен, хотя и трудно писателю от него отказаться.

Но взгляд и идея писателя, выведенные уже вследствие разработки накопленного матерьяла, совсем другое дело, совсем не предзаданный и идеальный взгляд, а *реальный* взгляд, выражающий, судя по силе писателя, иногда даже всю *современную* общественную мысль о народной жизни в данный момент. Да оно и естественно. Нельзя сказать человеку: удовольствуйся анализом и накопленным матерьялом и не смей мыслить и выводить заключения. Это всё равно если сказать: не гляди глазами, не нюхай носом. В таком предписании будет насилие, а всякое насилие неестественно, ненормально, преступно. Конечно, даже и не в предзаданном взгляде, а в таком, который составился уже вследствие подробнейшего изучения матерьяла, может вкратце ошибка. Но чрез ошибки приходят к истине. Все-таки это выжитая действительною жизнью мысль. А сидеть и ждать на одном матерьяле, покамест идея слетит к нам сама собою с какого-то верху, значит подражать тому господину, который поклялся не прикасаться к воде, пока не выучится плавать. Так поступает иногда и газета «День», которая серьезно уверяет, что в настоящую минуту мы, русские, не можем приступить ни к каким внутренним и самым необходимейшим для нас реформам, пока, дескать, помещики и дворяне все сами собою, совершенно и безусловно не перейдут в земство (№ 9-й «Дня»). Идея о переходе в земство великолепнейшая и плодотворнейшая. Но жди, пока это случится само собою... Но нечего отвлекаться. Обратимся к г-ну Успенскому.

Мы вполне соглашаемся, что в идее смирения перед народом, в идее всеобщего сознания, что мы еще не доросли до понятия о народе, и до того от него отрешились, что теперь иному нашему мудрецу общественные особенности Англии несравненно знакомее, чем русские, которых он не только не видит и не понимает, но даже потерял всякую способность чутья и пониманья их, —

в этой идее, повторяем мы, было бы много отрадного, если б она вошла во всеобщее сознание и потребность. Нам понятно, что если б наши описыватели народного быта одушевлялись этой идеей, то она скоро бы привела их на верный и плодотворный путь. Но смирение перед народом вовсе не ведет к боязни составить о нем хоть какой-нибудь вывод вследствие совестливого изучения матерьяла. Нужно только остерегаться от идей предзаданных; смирение же перед народом само собою поможет этому. Но нам кажется, что г-ну Успенскому напрасно и ошибочно приписывают исключительность этого признания нашего отчуждения от родной почвы и смиренномудрого сознания в том, что мы не в состоянии теперь, без более глубокого изучения, верно взглянуть на народ и составить о нем себе верное и точное понятие. В самом деле, наше заключение о г-не Успенском вполне оправдывается, как только мы чуть-чуть на него повнимательнее посмотрим. Если б он имел такой взгляд исключительно, не повторял бы он того, что до него уже было сказано сто раз, и несравненно вышуклее, типичнее, а главное, шире и глубже и с несравненно большей правдой. Те из наших писателей, которые, изучив по возможности и по способностям своим матерьял, не побоялись высказать перед нами *свой* взгляд, *свою* идею о народном быте, дали нам даже относительно одного матерьяла несравненно более, чем г-н Успенский. У г-на Успенского есть, например, маленькой и премиленькой рассказ из мелкокупеческого быта, под названием «Грушка». Этот рассказ один из лучших во всей книге. И что же? Это одна только капля выжимки из третьестепенных лиц Островского. Большею частью г-н Успенский вот как делает. Он приходит, например, на площадь, и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом, всё, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как *есть*. В картину, естественно, войдет и всё совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский об этом мало заботится. Ему, например, хотелось бы изобразить в своей фотографии рынок и дать нам понятие о рынке. Но если б на этот рынок в это мгновение опустился воздушный шар (что может когда-нибудь случиться), то г-н Успенский снял бы и это случайное и совершенно не относящееся до характеристики рынка явление. Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине. Так почти и во всех рассказах г-на Успенского. Он цепляется за все ненужности и даже не заботится хоть сколько-нибудь связать эти ненужности с делом, чтоб объяснить их по крайней мере читателю, чтоб не кричали эти ненужности и своим неожиданным появлением не повергали в столбняк читателя. Скажут нам: «Да это-то и хорошо, во! именно эта точность хороша». Да разве это точность, и разве в этом должна состоять точность? Это путаница, а не точность

И что вы передадите исключительно одним описыванием матерьяла? Эдак пришлось бы, например, Островского растянуть на двести томов, да и тогда эти двести томов не передали бы нам того, что передал Островский в двух. Мало того, и самого матерьяла-то одним дагерротипом верно не передадите.

Мы вовсе не хотим сказать, что у г-на Успенского один только дагерротип. У него есть взгляд, и каков бы он ни был, если только он есть, то уж один факт его существования прямо опровергает предположения всех тех, которые уверяют, что г-н Успенский боится взгляда и в ожидании составить его изучает одну среду. Мало того, у г-на Успенского есть даже и предзаданные взгляды. Вот, например, весь рассказ «Обоз» написан для того, чтоб посмеяться над мужиками, что они не умели считать. Нам кажется, что если уж просто, совершенно просто, безо всяких предзаданных идей подходить к делу, то уж по крайней мере не следовало бы *клонить* рассказ только к тому, как мужички считают. Не верим мы, да и не можем поверить, чтоб ничего, кроме этого, в действительности, в самом матерьяле-то, не было. Скажут: снаружи только это было на постоялом дворе, и больше ничего. Да разве это может быть? конечно, было и другое, но г-н Успенский не заметил другого, из-под своего взгляда, потому что ему важно было то, о чем он хотел писать; взглянул бы другой, — другой, наверно, еще бы что-нибудь нашел, третий — третье, и у всех была бы правда. Даже и так могло бы быть: в чем г-н Успенский нашел одно только смешное, в том другой мог бы отыскать, пожалуй, только трагическое, и оба были бы правы. В том-то и дело, что перед нами бессознательно лежит природа. Если бессознательно описывать один матерьял, то мы ничего не узнаем; но приходит художник и передает нам *свой взгляд* об этом матерьяле и расскажет нам, как это явление называется, и назовет нам людей, в нем участвующих, и иногда так назовет, что имена эти переходят в тип, и наконец когда все поверят этому типу, то название его переходит в имя нарицательное для всех относящихся к этому типу людей. Чем сильнее художник, тем вернее и глубже выскажет он свою мысль, свой взгляд на общественное явление и тем более поможет общественному сознанию. Разумеется, тут почти всего важнее, как сам-то художник способен смотреть, из чего составляется его собственный взгляд, — гуманен ли он, прозорлив ли, гражданин ли, наконец, сам художник? В этом заключается задача и назначение художества, а вместе с тем определяется ясно и роль, которую имеет искусство в общественном развитии. Кстати, наш журнал обвиняют в том, что мы хотим понять и изучить современность одним искусством и какими-то еще восторгами художников и поэтов. Мы никогда не говорили такого вздора; мы всегда только отстаивали и заявляли самостоятельное значение искусства, естественность его самостоятельности и, таким образом, его полную необходимость в деле общественного развития и сознания, но во-

все не исключительность. Впрочем, мы писали для тех, которые способны хоть что-нибудь понимать. Искусство помогает сильным и могущественным образом человеческому развитию, действуя на человека пластично и образно. Но критика так же естественна и такую же имеет законную роль в деле развития человеческого, как и искусство. Она сознательно разбирает то, что искусство представляет нам только в образах. В критике выражается вся сила, весь сок общественных выводов и убеждений в данный момент. Но, кроме нее, есть и еще тоже совершенно самостоятельная сила, тоже служащая к развитию человечества и полнейшему его сознанию. Это — наука, сила страшная, родившаяся с человеком и которая не оставит его до тех пор, пока человек будет жить на земле. Мы всё это признавали и признаем, и напрасно обвиняют нас, что мы все надежды развития и общественного сознания возлагаем только на одно искусство. Впрочем, не отвечать же нам на все нелепости, которые на нас взводят!

Но заключим же о г-не Успенском.

Всё, что мы написали в этой статье до сих пор, клонилось только к тому, чтоб отвергнуть бездарную и тупую мысль рабского и пассивного принижения перед матерьялом и заявить, что на деле этого *и быть не может*. Кстати, чтоб уж покончить с этим, скажем: воздержность в поспешности вывода из наших изучений народного быта полезна и необходима; она спасает от идеализации и многих других ошибок; но излишняя осторожность и недоверчивость к себе в этих выводах почти точно так же вредна. Мы боимся ошибок, боимся часто из одного самолюбия, а между тем изучение народного быта необходимо. Пусть будут ошибки, но ошибки долго не проживут, и только через ошибки мы придем к истине. Истина всегда трудно доставалась. Кто убежден в своем мнении, в своем выводе, — пусть заявляет его. Это благороднее трусливого молчания. Смешно думать, что мы разом достигнем всей правды. Когда так делалось? Когда это бывало? Пусть только не будет недобросовестных выводов, и вот всё, что покамест нужно. Г-н Успенский тоже не мог писать безо всякой мысли, и у него есть мысль. Выводов окончательных он, правда, не представляет, ни художнических, ни сознательных, может быть, потому, что талант его не так силен, чтоб формулировать всю мысль, его движущую, ясно и определительно. Но все-таки у него есть зачаток мысли, широкой и плодотворной, и следов ее нельзя не видеть, прочтя его книгу. Г-н Успенский, во-первых, любит народ, но не за то-то и потому-то, а любит его как он есть. Для него всё дорого в народе, каждая черта; вот почему он так и дорожит каждой чертой. С виду его рассказ как будто бесстрастен: г-н Успенский никого не хвалит, видно, что и не хочет хвалить; не выставляет на вид хороших сторон народа и не меряет их на известные, общепринятые и выжитые цивилизацией мерочки добродетели. Он и не бранит за зло, даже как будто и не сердится, не возмущается. Сознательный вывод он предлагает

сделать самому читателю. А между тем есть следы, что бесстрашие это вовсе не от равнодушия и внутреннего спокойствия. Это можно проследить в самых тонких чертах, иногда как будто ни на что не намекающих. Два парня-работника лежат на печи. Спать еще они не хотят, и один рассказывает другому сказки. Художнической силы у г-на Успенского еще достаёт на то, чтоб прямо, из разговора парней, безо всяких объяснений определить их так, что вы узнаете их среду, образ мыслей, воззрения, их возраст и даже темпераменты. Вы с первой строчки чувствуете, что разговор их типически верен, и действительность увлекает вас. Между тем, по-видимому, в разговоре этом нет никакого голку, никакой особенной связи, ни на что он особенно не намекает и даже «*безо всякого направления*». Разговор идет о мертвецах. Парень рассказывает, между прочим, о самых ненужных и совершенно не идущих к его рассказу вещах. Подробно увлекается тем, как у какого-то Антошки, героя рассказа, воспитывались какие-то птицы, какие-то звери и проч., и что делал с ними, и чему научил их этот чудак Антошка, которым парень, очевидно, несколько увлекается. Но все эти ненужности, которыми увлекается парень и отводит себя от рассказа, показывают след его мыслей, степень его умственных способностей, показывают, чем парень в его летах и в такой среде может увлечься, показывают несколько детское настроение его ума, а между тем целомудренность и простоту нашей сельской молодежи и т. д., и т. д. Но что бы это ни показывало, важно то, что всё очень дорого для г-на Успенского. Он как будто боится проронить хоть единое слово в их разговоре, и вы чувствуете это так, что вслед за г-ном Успенским и нам тоже становится это дорого, и, может быть, отчасти именно потому, что самому автору это так дорого. Кстати заметим: вот мы теперь хвалим все эти ненужности, за которые цепляется беспрерывно рассказ г-на Успенского, и (если можно так выразиться) то *направление*, которое одушевляло г-на Успенского. Но мы и теперь сожалеем, что г-н Успенский не умеет справляться с этими ненужностями. Что он говорит на десяти страницах, то у сильного художника уместилось бы на одной, да еще так, что и ненужности эти остались бы; да еще, кроме того, вы бы яснее и осознательнее поняли, что это — ненужности, и в то же время догадались бы и о необходимости их, и то именно, что они выражают. У г-на Успенского, действительно, рядом с необходимою, многозначительною ненужностью выгибает и совершенно ненужная ненужность, только затемняющая настоящее дело, так что, опять повторяем, если из-за рамки выглядывает кончик коровьего хвоста, он и его причисляет к делу, не заботясь о том, насколько он вредит единству картины.

Всё это мы говорим не потому, чтоб нам так особенно дорога была художническая отделка вещицы (хотя и краснота отделки в этом случае слишком не мешает), но потому, что эта самая ху-

дожественность отделки придает мысли ясность, выпуклость, осязательность, правду: а художническая сила и состоит в *правде и в ярком изображении ее*. То же простодушие в любви к народу у г-на Успенского замечается и в прекрасном его рассказе «Поросенок». Вы в продолжение всего рассказа смеетесь, но не насмешливым смехом; а если так, то на вас уже подействовала идея писателя. Мы знаем: иным скороспелым понравится этот рассказ именно потому, что вот, дескать, «посмотрите, добрые люди, как легко у бедной женщины, живущей своим трудом и простодушным откармливанием поросят, украсть, в нашем обществе, поросенка и таким образом лишить бедную женщину нескольких рублей, необходимых для ее пропитания. Посмотрите, наконец, как затруднительно в нашем обществе отыскать потерянного поросенка; сколько неправды, сколько взяток должна была она дать, а поросенок все-таки не отыскался, да и с нее же, наконец, взяли штраф. Нет! покамест законы... матерьяльное обеспечение... ясность взгляда на вещи... развитие и т. д., и т. д.». Всё это очень хорошо и, действительно, справедливо; но нам важно более то, что г-н Успенский показывает нам действительную, настоящую суть дела. Отвлеченное негодование на злодейство (почему же слово «злодейство» не может быть употреблено и относительно пропавшего поросенка? ведь тут же совсем в поросенке дело) может быть возбуждено и одним чтением статистических таблиц. Но художник показывает нам, как именно дело происходило, и тем чрезвычайно объясняет, может быть, даже самые статистические таблицы. Г-н Успенский исполнил задачу свою великолепно. Мало того, что вы видите окончательную форму и состояние нашей администрации, основавшейся между простонародьем, вас поражает и то, каким образом такая полная невозможность, такая идеальная утопия может ужиться в среде простонародья и так же твердо определиться в ней, как самый неотразимый факт в мире. Добродушие отношений, связывающих администрацию и народ, всего более в этом случае удивительно. Это-то добродушие и составляет задачу, камень преткновения, серьезнейший предмет изучения, и удачная, совершенно верная картина действительности чрезвычайно поможет в этом случае исследователю. Поросенок пропал: не говорим уже о том бесконечном простодушии рассказа, о доверчивости этой честной, вовсе неглупой женщины, которая не подозревает даже и тени смешного в своем рассказе (но товарка, слушающая этот рассказ, и не может смеяться. Им, не так как нам, не до смеху; со всякой из них то же может случиться), но посмотрите: бабенка вполне знает, а если не знает, то предчувствует, *должна* предчувствовать (недаром же она жила сорок лет на свете), что через начальство трудно отыскать поросенка. Между тем она идет к начальству. Все с нее берут; но это бы еще ничего, так водится, сразу не выскоблишь, но важно то, что берут с нее не за то, чтоб сыскать ее поросенка, а для того, что ее как бы самое считают виновною. Попалась

в лапы, так уж себя одну вины. По всем приемам видно, что баба сама наконец считает себя в чем-то виноватою. И всё это пакустит, но совершенно безгрешно, потому что все совершенно уверены, что так и должно быть. В этом-то и величайший комизм рассказа. Ей наконец дают выговор: как она смеет беспокоить начальство, пишут разумеется (ну как не перевести при эдаком случае двух-трех листов бумаги), и отпускают наконец, разумеется без поросенка, но с солдатом, который все-таки с нее требует взятку, не за что-нибудь, не из злобы какой-нибудь, а так, чтоб остаться верным своим убеждениям: у него и в мыслях не может быть, чтоб с нее не взять. Простодушие, добродушие, и вместе с тем извращение самых обыкновенных, самых естественных понятий; добродушнейшее признание необходимости таких фактов, которых и просто-то за факт нельзя признать, а, напротив, надо причислить к горячешному бреду, к болезни мозга, эта незлобивость рассказчицы, принимающей всё это за необходимость и даже за закон природы, объясняется только одним: совершенно отчужденностью духа народного от духа административного. Если б административный порядок вышел из духа народного, из свойств народных, сколько-нибудь был бы сродни народу, то он был бы ему и понятен, сильнее бы волновал его в случае злоупотреблений, скорее бы он понимал его, все его извращения и недостатки. Но секретность, таинственность, мистическая замкнутость администрации до сих пор еще влияют на народ, стоят пред ним какой-то загадкой. Нам именно нравится, наконец, что г-н Успенский выбрал такой обыденный случай для своей критики. Обыденных случаев больше, чем необыденных: из них слагается вся жизнь простонародья. Да и доверчивость, неоскверненность духа народного при такой обстановке становится еще понятнее, несмотря на уморительную комичность рассказа.

Есть у г-на Успенского еще рассказ «Старуха», по нашему мнению, самый значительный — из всех двадцати четырех рассказов. Эта старуха смиренно рассказывает всё самое дорогое души своей самому безучастному человеку в мире, немного уже цивилизованному дураку, который считает себя несравненно выше ее и слушает ее от нечего делать. Добровольное, вполне бессознательное приращение старухи, понимающей, что ее горе надоедливо для слушателя, извиняющей потому этого слушателя и даже и не думающей роптать на грубую его невмешательность, даже считающей, что ей делают огромное одолжение, позволяя ей поплакать о своей великой, материнской скорби, — всё это передано даже художественно.

Вы чувствуете, что это верно, и вас невольно поражает мысль о внутренней правоте народной нравственности, о глубине сердца народного и о прирожденной широкости его человеческих воззрений, и, главное, всё это отражается так ярко, — по-видимому, в последнем из созданий, забитой, загнанной и полупомешавшейся

деревенской бабе. Слушатель ее уже отделился от народа. Он уже на первом шаге цивилизации. А на первом шаге цивилизации человек грубее и несравненно разъединеннее с народом, чем на последнем.

Не знаем, разовьется ли далее г-н Успенский. То, что движет его внутренне, — верно и хорошо. Он подходит к народу правдиво и искренно. Вы это чувствуете. Но может ли он взглянуть глубже и дальше, сказать собственно *свое*, не повторять чужого, и, наконец, суждено ли ему развиваться художественно? Суждено ли ему развить в себе *свою* мысль и потом ясно, осязательно ее высказать? Всё это вопросы. Но задатки очень хороши; будем надеяться.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВОПРОС ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ

«Стой, братцы, стой! — кричит мартышка, — погодите!
Как музыке идти, ведь вы не так сидите!»

В первом номере газеты «День» помещена была статья об университетах покойного Хомякова. Статья эта отрывочная, недоконченная. Она и помещена как отрывок. В ней много чрезвычайно дельных мыслей, но рядом с ними встречаются и удивительные недосмотры, явившиеся как бы умышленно, как бы с затаенною целью. Об этой чрезвычайно важной статье мы теперь не будем распространяться. Но по поводу ее профессор Костомаров написал свою статью об университетах. Разумеется, статья Хомякова была только поводом, предлогом для начатия речи об университетах. Университетский вопрос сам по себе уже начался в нашем обществе. Как только г-н Костомаров появился с своей статьей в 237<-м> № «С.-Петербургских ведомостей», так тотчас же со всех сторон, как водопад, полились статьи об университетах. Кажется, нет журнала, газеты, которые не заявили бы своего мнения об этом новом вопросе. А те, которые не высказали своего, пересказывали чужое. Мы не хотим предположить, чтоб одна только мода на новый вопрос заставляла всех говорить о нем; чтоб одно только желание не отстать от других было причиною повсеместных толков об университетах. По-нашему, смысл этого явления гораздо глубже, чем даже кажется с первого взгляда. Вопрос об университетах в последнее время, вероятно, был на уме у всей России. Он явился сам собою и потребовал разрешения. Но, однако ж, представим сперва в порядке ход всего этого дела в нашей литературе, начиная с самой статьи г-на Костомарова, подробно и с выписками. Для тех, кто не знаком с этим вопросом или знаком отрывочно, полное изложение его, по фактам, будет весьма не лишнее. Мы посвящаем этому изложению целую главу.

Разумеется, вся сущность вопроса состоит в преобразованиях. Г-н Костомаров отрицает теперешнюю форму университета. Он находит ошибку в самом ее основании. Он требует, чтоб университет был образовательно-ученым заведением, а не воспитательно-учебным.

«Университеты наши представляют собою что-то неопределенное, не установившееся, какую-то середину между школою и ученою академиею, и очень многие не решились себе задачу, чем они должны быть: воспитательно-учебными или образовательно-учеными заведениями? До сих пор они имеют претензию быть тем и другим вместе, а в самом деле — они ни то, ни другое, потому что то и другое несовместимо по своей сущности».

Следовательно, как скоро, по мнению г-на Костомарова, мы примем университет за образовательно-ученое заведение, то, стало быть, не надо будет и всех тех воспитательных предосторожностей, фериул, надзоров за учащимися, присмотров за их образованием и поведением, особых прав и правил и пр., и пр., а следовательно, не нужно будет и корпоративного устройства университета. Корпорация студентов как особое звание бесполезна, по мнению г-на Костомарова.

«Корпорация студентов как особое звание бесполезна. Употребляя слово „корпорация“, мы не разумеем здесь свободного сближения между собою людей, занятых одним делом, идущих к одной обязательной цели. ничем друг к другу не обязанных, кроме взаимного соглашения убеждений и потребности взаимного труда. Корпорация, напротив, связует своих членов во всех фазах жизни, налагает на них обязанности поступать так, а не иначе, вследствие заранее поставленного правила, даже против индивидуальных требований и убеждений, принадлежать к известному сообществу, а не к другому и держаться своих сочленов как братьев. Такая корпорация может иметь место там, где идет речь о взаимной защите общего дела или о сохранении известных привилегий. Понятно, что в средние века в Европе жизнь вызывала образование корпораций, когда личность каждого подвергалась случайностям, когда каждый поневоле должен был искать в другом опоры и охранения. Понятно, что у нас в XVII веке, в южной и западной Руси, образовались братства, корпорации, для защиты от ультраимского католичества. Чем общество благоустроеннее, тем менее представляется необходимости корпораций: с одной стороны, с развитием мер общего охранения безопасности каждого из сограждан, с другой — с прекращением исключительности привилегий, которое всегда бывает следствием распространяющегося просвещения».

И далее:

«Если смотреть на университет как на образовательно-ученое заведение, то корпорация слушателей лишает его этого высокого значения: он перестает быть органом прямого сообщения со стороны науки с общественной жизнью и делается школою. Корпорация эта в нравственном отношении даже вредна, ибо она отрывает слушателей от остального общества, побуждает их говорить о себе «мы» в противоположность с теми, которые находятся за ее пределами; а это ведет скорее к заблуждениям, к незнанию общества, к отчуждению от его интересов, чем к согласной с ним деятельности. Корпорация вредна для науки, ибо делает ее как будто особой привилегией избранных, тогда как идеал ее есть наибольшее распространение в обществе ее благодетельных результатов. Корпорация будет в этом случае стеснением общественной свободы в самом достойнейшем уважения человеческого деле — просвещении; она склоняет науку к отрешению от жизни,

тогда как посвящающий себя науке должен помнить, что его занятия именно тогда и будут плодотворны, когда он будет трудиться в прямом интересе для общества».

В ответ на это мнение, в «Современной летописи» «Русского вестника» в № 44 тотчас же явилось возражение. «Русский вестник» отзывается, по обыкновению своему, свысока, язвительным тоном. Он подсмеивается над г-ном Костомаровым.

«Если мы не ошибаемся, передовому человеку поставлено у нас в обязанность отрицать воспитательное значение университетов. Может ли в самом деле русский передовой человек не отрицать того, что признается всем светом? Этим он обнаружил бы свою несамостоятельность, показал бы, что он недостаточно прогрессивный человек».

Вслед за тем «Русский вестник» особенно старается отстоять воспитательное значение университета и уверяет, что г-н Костомаров предлагает учредить под именем университетов то, что кое-где существует на белом свете. Он уверяет, что университет г-на Костомарова обращается сам собою в заведение для публичных лекций, не имеющих чисто ученого значения, а имеющих целью только популяризовать науку между людьми взрослыми.

«От университетских лекций они отличаются составом аудиторий, но, так же как и университетские лекции, имеют учебное значение. Ученые, читающие эти публичные лекции, служат посредниками между наукой и обществом; поэтому очевидно, что публичные лекции этого рода могут быть полезны для народного просвещения только в тех странах, где уже есть истинная наука. Без этого условия не было бы повода к посредничеству и популяризации науки неизбежно превратилось бы в популяричанье. Сперва нужна строгая наука, и лишь вслед за тем может прийти ее популяризация, требующая от ученого высшей степени зрелости».

В Париже есть Collège de France, говорит «Современная летопись», где читаются публичные курсы, и где, особенно в дурную погоду, бывает очень много публики, самой разнохарактерной.

«В Петербурге, например, были тоже устроены публичные лекции, но публика на следующий же год выказала равнодушие к ним, и они не пошли в ход, вследствие чего мы и теряем надежду на процветание „образовательно-ученого“ университета в нашем прогрессивном городе Петербурге».

Г-н Костомаров говорит в своей статье, что умножение у нас в России воспитательных заведений с более широким преподаванием, чем в гимназии, принесет нам пользу, но в таком случае требует отделения этих новых заведений от университета, заведения не воспитательного, а образовательно-ученого. «Современная летопись» по этому поводу замечает:

«Таким образом, сам г-н Костомаров опять приходит к университетам, то есть к тому, что везде называется этим именем. Сущность его предложения состоит, стало быть, в следующем: „Теперьшние университеты сделайте не университетами, а учреждениями для чтения публичных лекций, удержав за ними, однако же, имя университетов; но наряду с этими учрежде-

ниями устройте новые высшие воспитательно-учебные заведения, которые соответствовали бы иностранным университетам, но не носили бы этого имени". Не понимаем, к чему такой маскарад, но с самым делом были бы готовы согласиться, если б автор указал средства избегнуть следующих затруднений: при нашем недостатке в людях мы не видим возможности основать в России несколько новых университетов, если наши теперешние университеты превратятся в учреждения для публичных лекций; поэтому мы опасаемся, что при преобразовании русских университетов по плану г-на Костомарова Россия некоторое время останется вовсе без высших воспитательных заведений, а *воспитательные заведения с более широким преподаванием, чем в гимназиях*, гораздо нужнее для русского просвещения, чем те *образовательно-ученые органы*, которые проектирует г-н Костомаров».

Вслед за двумя этими противоположными мнениями явилось третье мнение — г-на профессора Стасюлевича, помещенное в № 241 «С.-Петербургских ведомостей». Г-н Стасюлевич разделяет вполне мнение г-на Костомарова о необходимости преобразования — но не университетов, а в университетах — и думает, что преобразование должно состоять не в уничтожении того вида, в каком находился преобразуемый предмет; что всякое такое преобразование рискует вместе со злом уничтожить и доброе, и замечает, что было бы лучше ограничиться уничтожением одного зла, и притом именно настолько, насколько оно зло. Следовательно, г-н Стасюлевич, очевидно, полагает, что основная форма устройства теперешних университетов отнюдь не есть зло. Он говорит, что г-н Костомаров ищет причин неудовлетворительности университетов в неправильном составе аудиторий, а следовательно, и преподавания и предлагает для реформы именно то положение, в котором мы уже находимся. Г-н Стасюлевич утверждает, что, например, наш Петербургский университет в своих аудиториях и без того уже соединял лица всех возрастов от юношества до старческого, всякого звания, всякой специальности и иногда даже обоего пола, что вопрос должен, по-видимому, идти не о преобразовании университетов, а о сохранении того состояния и процветания, которого они достигли. В этом случае, кажется, консерватор был бы нам нужнее реформатора, замечает г-н Стасюлевич.

Что обязывало профессора иметь до сих пор в виду одни воспитательно-учебные цели? — спрашивает Стасюлевич. Он утверждает, что не было ни одной официальной жалобы на то, что существование звания студента препятствовало образовательному характеру лекций какого-нибудь профессора. Что обязывало профессора иметь в виду воспитательно-учебные цели? — спрашивает он. «Были ли мы должны наблюдать за порядком в аудитории или прибегать к элементарному объяснению?»

«По определению Н. И. Костомарова, прием в воспитательно-учебных заведениях состоит „в уроке, руководстве, наставлении. . . То, что дает учитель ученику, имеет для последнего качество необходимости; ученик должен принимать сказанное учителем на веру, так сказать, жить умом учителя, руководствоваться буквально его наставлениями, развиваться под его указанием“. Всё это справедливо само по себе, но разве было что-нибудь подобное в положении профессора у нас до сих пор? Разве мы задавали

уроки, подчиняли слушателей какому-нибудь одному руководству, и читали им наставления? В чем же заключался воспитательно-учебный характер нашей аудитории, который должен быть уничтожен, по предложению Н. И. Костомарова?»

Высказав это, г-н Стасюлевич крепко отстаивает корпорацию и звание студента. Он признает, что звание студента имеет в себе воспитательное значение; но призывает тоже, что такое значение совершенно необходимо для университетской жизни. Разница только в том, говорит он, что воспитательный характер университета должен быть совершенно отличный от воспитания так называемых средних учебных заведений; что студенту предстоит труд *самовоспитания*. Для составления полного типа студента, говорит он, недостаточно одних лекций: его развитию не менее содействует то самовоспитание, которое может совершиться только при существовании студенческого мира.

«Неудовлетворительность университетов должна искать свои причины в отсутствии правильного самовоспитания студентов. Уничтожить звание студента значило бы совершенно уничтожить такое самовоспитание. А главное дело состоит в том, что и самое уничтожение звания студента не было бы уничтожением самовоспитания; оно проявилось бы снова и в университете без студентов, но в какой-нибудь произвольной и часто безобразной форме. Не лучше ли было бы уничтожить в том или другом явлении именно его дурную сторону? Исправить что-нибудь уничтожением — дело весьма легкое; но тогда нужно отказаться от надежды создать что-нибудь прочное. Наше творчество всегда ограничивается формами, но материал, снабженный известными законами, дается нам готовым, и большая часть творчества всегда не удается именно потому, что самих себя принимают за материал творчества. Потому я предлагаю не радикальное преобразование, а рациональное; аудитории наши имели уже образовательно-учебный характер, следовательно, преобразование не отнесется к ним; можно сказать, многое против самовоспитания студентов в том виде, каким оно представлялось до сих пор, а именно руководимое одним полицейским надзором университетского начальства; реформировать его уничтожением значило бы перенести зло с одного места на другое, по учреждению, например, университетского суда сделало уже первый шаг к рациональной реформе; университетский суд будет одним из важных *воспитательных* учреждений, как то может быть допущено в университете. Не наше дело говорить о том, что еще может быть сделано, но мы позволим себе указать на то, что уже приведено в исполнение».

Вслед за этой статьей г-н Барсов в № 245 «СПб. ведомостей», совершенно соглашаясь с г-ном Костомаровым, утверждает, что из русских университетов надобно сделать *tabula rasa*, дабы сама жизнь выработала новое устройство. «Русский вестник» в № 45 «Современной летописи» сильно восстает против этого мнения.

«Нет ничего ошибочнее того взгляда, будто бы для свободного движения нужен разрыв с прошедшим. Нет ничего противоположнее истинному движению, как эта малодушная готовность, при первой неудаче, бросать начатое дело и начинать работу сызнова. Нет ничего убийственнее для жизни, как этот дух ломки и презрения к прошедшему, признающий все права за несуществующим и только возможным и отказывающий в них тому, что уже существует.

Наши русские университеты, конечно, далеко не идеальные учреждения, но нам жаль, что с ними обращаются так слегка и так свысока. Мы

не согласны с г-ном Стасюлевичем насчет высокого процветания русских университетов, но каковы бы они ни были, они занимают в русском быте такое место, что, говоря о их преобразовании, никак не позволительно разуметь под преобразованием — разрушение. Что-нибудь да пайдется в них такого, что может упрочить за ними впоследствии место в ряду европейских университетов, по образцу которых они были устроены.

Одним словом, «Современная летопись» и в этой второй статье своей отстаивает и корпорацию, и воспитательное значение университетов. Она замечает, что невозможно требовать, чтобы каждый отдельный профессор действовал на студентов в воспитательном смысле, что это невозможно, что не федула, не школьный надзор составляют это воспитательное значение, а университет, взятый как целое; что влияние профессоров на слушателей очень велико, но особенно плодотворно бывает влияние не отдельных профессоров, а общего духа, живущего в университетской корпорации.

«Мера воспитательного значения университета зависит от того, в какой степени университет есть корпорация, в какой степени он хранит в себе живой дух добрых преданий, выработанных его историей. Этот-то общий, исторически выработывающийся университетский дух и оказывает на студентов то нравственное действие, которого нельзя ожидать от отдельных профессоров, если все они вместе взятые, по выражению императора Калигулы, не более как *песок без извести*. Этого общего духа нельзя предписать законом, но тем не менее он оказывает действие, всеми чувствуемое, всех сдерживающее, для всех благотворное, оживляющее и сближающее всех, как профессоров, так и студентов. Во всех процветающих университетах есть этот общий, могущественно действующий дух, есть эта университетская атмосфера, оказывающая воспитательное действие на молодежь и *ассимилирующая* все разнообразные элементы, которые ежегодно притекают к университету с разных сторон. Сущность дела показывает, что этот общий дух должен храниться преимущественно в солиции профессоров, но опыт показывает также, что, несмотря на постоянный прилив и отлив обучающегося юношества, студенческий быт не менее способен хранить университетские предания. Университет без студентов перестанет быть университетом: уничтожая студенчество, вы убиваете университет. Университетское корпоративное устройство должно обнимать собой не только профессоров, но и студентов. Студенческий быт есть один из воспитательных элементов этого устройства. Если он дурен в том или другом университете, то надобно заботиться об его улучшении, но уничтожать его не следует.

Мир студенческих отношений есть особенный мир, в тысячу раз менее сложный, чем общество, и потому в тысячу раз более удобный для приобретения первых опытов жизни. Товарщеские связи, товарищеские столкновения, происходящие в тесном кругу студенческого быта, под влиянием вековых студенческих преданий и на глазах доброжелательной корпорации наставников, воспитывают и развивают нравственные силы молодого человека. Студенческая жизнь недаром принадлежит к дорогим воспоминаниям всякого учившегося в порядочном университете. Это пора бескорыстного размена первыми мыслями и чувствами, та пора, когда легко завязывается дружба, когда проза жизни еще не вступает в свои права, когда человек только предвкушает тяжкую борьбу, ожидающую его в дальнейшей жизни, и собирается с силами, чтоб успешно выдерживать житейское испытание. *Пульверизация* студенческого быта значительно уменьшила бы ту нравственную пользу, которую получают студенты от пребывания в университете. Но, чтобы не было пульверизации, для этого необходимы более тесные связи между студентами, а не одно слушание унц-

верситетских лекций; необходимо, чтоб и в студенчестве были корпоративные связи, не те, конечно, лжекорпоративные связи, которые нуждаются во внешней одежде или внешних метках, возбуждающих реакцию против себя в самом студенчестве европейских университетов, а те истинно корпоративные связи, благодаря которым корпоративное начало составляет такой важный элемент в общественном и политическом быте. Сущность корпорации состоит в хранении преданий; непрерывная преемственность преданий, постоянная работа ассимиляции обуславливаются влиянием, которое старшие члены корпорации оказывают на младших. Оканчивающие курс должны действовать на нововступающих, окончившие курс — на оканчивающих и так далее до профессоров. Между всеми должны быть и взаимные связи, и в этих связях должны быть степени, от профессора до нововступающего студента».

Затем «Современная летопись» сильно заботится о том, чтоб усилить корпоративную связь в университетах, и прямо говорит, что успех преобразований должен состоять именно в усилении, а не в ослаблении корпорации. При этом она делает одно довольно дельное замечание:

«Трудность заключается здесь в том, что наши университеты возникли не сами собой, не вследствие потребностей общества, которому естественно принадлежит право воспитывать молодые поколения, а благодаря воле правительства, нуждавшегося в людях, годных для государственной службы. Такое происхождение наших университетов отзывается на всем их характере; оно дает университетской науке вид чужеземного растения, искусственно пересаженного на русскую почву, оно затрудняет попытки к улучшению русских университетов. Но, с другой стороны, не следует и преувеличивать затруднений».

И затем как-будто для того, чтоб доказать это, «Современная летопись» сама в свою очередь пускается в преобразования.

Так как уже довольно было ломки, говорит она, так как пора остепениться и начать пользоваться как нравственными, так и денежными средствами университетов с меньшею поспешностью и с большим уважением к существующему, то на первый случай, в видах усиления корпоративной связи и облагорожения, возвышения корпоративного духа, следовало бы обратить внимание именно на те элементы, которые уже есть в университетах, и этими элементами подкрепить университеты. В московском, например, университете есть стипендиаты из лучших студентов, окончивших курс в университете и оставляемых теперь при университетах; так как эти стипендиаты уже оказывали помощь студентам в их занятиях древними языками, то в таком случае надобно усиливать сближение стипендиатов с студентами и способствовать ему всеми средствами. На самих же стипендиатов обратить особое внимание. Отборные из них уже посылались за границу; но чтоб за границей они не теряли даром времени, не разъезжали там в качестве туристов, то желательно обратить особое внимание, чтоб они поступали за границей под руководство к известным ученым, по выбору русского правительства, как уже и было делалось графом Сперанским.

Но и кроме этих стипендиатов, есть множество лиц, получивших ученые степени магистра и доктора и остающихся с Москов-

ским университетом только в идеальных связях. Для этого надо эти связи материализовать. А именно: безвозмездно эти молодые ученые не могут заниматься с студентами, подобно стипендиатам, поэтому развить бы приват-доцентство и ввести профессорский гонорарий. Да кроме того, обсудить бы вопрос: нельзя ли сделать их членами университетской корпорации и дать им некоторое участие в управлении университетом, например в выборе ректора, в избрании профессоров на пятилетия, в повышении из экстраординарных в ординарные... И так далее; всё в этом духе реформы.

Наконец, по «Современной летописи», есть много хороших элементов в самих студентах; но они скрываются, прячутся отчасти из скромности, отчасти из страха, отчасти из ложно понимаемого товарищества. А между тем тон дают люди, плохо учащиеся. Поэтому надо позаботиться о том, чтоб лучшие студенты пользовались почетом между своими товарищами.

«Не в одном университете случается, что безграмотные получают шаг вперед перед грамотными. Но университет должен заботиться о том, чтобы лучшие студенты пользовались почетом между своими товарищами. В прежние времена эта цель достигалась влиянием попечителя. Граф С. Г. Строганов лично знал всех лучших студентов, постоянно следил за ними, оказывал им внимание во время студенчества и поддержку по выходе их из университета. Мы можем засвидетельствовать, что такая внимательность попечителя сильно помогала университету. Но этот порядок был связан с лицом попечителя и, следовательно, не мог быть прочен».

Следовательно, случайную деятельность одного лица, говорит «Современная летопись», нужно заменить какими-нибудь общими мерами. Эти меры, по мнению ее, должны быть на первый случай: раздача стипендий и экзамены, переводные и вступительные, которых ни в каком случае и ни под каким видом не надо уничтожать.

Но все это только усиление внешней формы корпораций, по словам «Современной летописи». Главное же состоит в духе этой корпорации, а этот дух есть дух науки. Дух этот должен связывать профессоров и студентов. Но само собою разумеется, что этот дух науки можно встретить только там, где наука пользуется уважением.

И вот, чтоб наука пользовалась уважением и, главное, чтоб достойным образом заключить свои реформы в университете, «Современная летопись» уже в 46-м своем номере придумывает чрезвычайно хитрую вещь.

До сих пор, говорит она, живой и деятельной связи между членами университета не было, университетская корпорация была лишь отдельным, слабым и едва вразумительным намеком на то, чем ей быть следует.

«Университетский совет был более формою, нежели серьезным делом; члены совета не сознавали ни прав, ни обязанностей своих. Всё, что касалось науки, преподавания, университетского устройства, совершалось по-

мимо их и падало им на голову; и когда представлялась надобность в их серьезном содействии, они весьма естественно оказывались не очень способными к совокушной деятельности. Чувство общего дела не одушевляло их, и всё распадалось на мелкие интересы, на тесные кружки, всё превращалось в интриги. Каждый, дурно ли, хорошо ли, отправлял свое дело, с разных кафедр преподавались разные науки, по духу науки не жил самостоятельною жизнью в университетской среде и не связывал ее членов в одно живое целое. Всякий знал только себя и мало интересовался делами, имеющими общее значение. В университетах наших повторялось в малом виде то, что происходило во всей нашей общественной жизни.

Есть в этих отношениях что-то неправильное, говорит «Современная летопись», есть какая-то чуждая примесь, препятствующая им установиться надлежащим образом. Что это за примесь и откуда она?

Вот откуда: «Университеты у нас служат не просто высшими учебными заведениями, но и местами, сообщающими молодым людям права на чин. Таким образом, наши университеты, вместе с собственным своим назначением, соединяют еще характер служебного места, в котором выслуживаются в чины». Это, конечно, не худо, замечает «Современная летопись», но в том-то и дело, что лишний и не свойственный учреждению элемент не увеличивает, а уменьшает его силу, не обогащает его организацию, а ослабляет и портит ее. Так, стало быть, надо отнять у университетов те привилегии, которыми они пользуются относительно государственной службы? Нет, совсем не надо, отвечает сама себе «Современная летопись», и предлагает особый проект для разрешения этого чрезвычайного затруднения.

«Не лишайте университетского образования тех служебных преимуществ, которыми оно до сих пор пользовалось, но постарайтесь освободить эти преимущества от всего того, что сообщает им несвойственный характер и вредит университетскому образованию. Пусть преимущества остаются; но пусть будет устранен характер монополии, который до сих пор составляет их принадлежность. Пусть университетский экзамен сообщает, если нужно, известные служебные права; но тем не менее университетский экзамен должен возратить свой чисто педагогический характер».

Как же это сделать? А вот как:

У нас молодой человек, вступая в университет, не имеет, как в немецких университетах, права выбора, кого ему слушать по той или другой науке. Студенты у нас по необходимости становятся в обязательные отношения к преподавателю. Наконец, профессор есть решитель участи студента. От профессора зависит отчасти вся будущая его карьера. Студент приучается видеть в профессоре притеснителя.

«В студенте, подходящем к экзаменационному столу, сказывается совсем не то чувство, которого требует это важное педагогическое пособие. Он забывает о пользе экзамена и видит в нем только практическую помеху на своем пути. Это не педагогическая проверка его занятий, возбуждающая и поддерживающая его молодую деятельность; нет, в глазах студента это испытание, которым решается житейский вопрос, не имеющий ничего общего с наукой и университетским образованием. Строгость экзамена, са-

мая справедливость его чувствуется студентом с оттенком чего-то неприязненного и злого; не с благодарностью, а с досадой и озлоблением принимает он заботливость педагога об его образовании, — заботливость, которая может пмечь тем худшие житейские последствия для студента, чем она деятельнее и добросовестнее. „Сделайте милость, — думает про себя молодой человек, стоя перед профессором-экзаменатором, — оставьте ваши заботы о моем умственном образовании, да только не придирайтесь ко мне и не вредите моей карьере“».

Таким образом, замечает «Современная летопись», отношения между профессорами и студентами не могут сохранять правильный и добрый характер; экзамены тоже теряют свою настоящую пользу. Что же делать? Ничего другого, как учредить особые экзамены на государственную службу и оставить за кончающими университетский курс только преимущество обходиться без этих особых экзаменов.

«Но легко сказать: учредите экзаменационные комиссии. Экзамен на государственную службу должен соответствовать окончательному университетскому экзамену; где же найти экзаменаторов для таких комиссий, — не говорим в губернских городах, — даже в столицах? Как найти экзаменаторов по всем университетским наукам, когда с таким трудом замещаются у нас университетские кафедры?»

Мы думаем, что учреждение комиссий с вышесказанною целью не такое трудное дело, как кажется с первого взгляда. Мы думаем даже, что нет невозможности устроить подобные комиссии не только в столицах, но и в губернских городах, если б это потребовалось, при всех неблагоприятных условиях нашего общественного образования.

Экзаменаторов, которые соответствовали бы университетским преподавателям по своему ученому образованию, действительно было бы трудно набрать для таких комиссий. Но этого и не требуется. Нужны не испытатели в разных науках, а три-четыре человека, которые могут даже вовсе не быть посвящены в таинства университетских наук, во всяком случае могут не отличаться особыми учеными достоинствами, — три-четыре человека, способные добросовестно и отчетливо исполнить данное им предписание. Экзамен на государственную службу в подобных комиссиях должен быть письменный, по общей обнародованной программе для каждого предмета. Вся обязанность членов комиссии должна состоять только в соблюдении, чтобы письменные ответы на выпавшие по жребию вопросы были писаны самим испытуемым без всякой посторонней помощи и без подлога. Это не экзаменаторы в собственном смысле, а присяжные, которые не оценивают ответов, а только препровождают их куда следует, с ручательством за их подлинность. Оценка же ответов может принадлежать или университетским советам, или центральной комиссии, членами которой могут быть отчасти и профессора, но уже не в качестве профессоров, а с особым служебным назначением. Экзаменационные комиссии должны быть постоянно открыты, и экзамены на государственную службу должны производиться во всякое время, чтоб единовременно стечение множества лиц не могло затруднить комиссию в добросовестном отправлении ее присяжной обязанности».

Ну-с, каков проектик? Но удержимся до времени. Мы излагаем покамест только простую историю нашего вопроса об университете, сообщаем читателю, по возможности ясно и полно, всё, что сказали до сих пор об этом вопросе наши журналы и газеты. Разумеется, мы не беремся сообщать непременно *всё*, что у нас явилось по этому поводу во всех газетах. Мы представляем чита-

телю обзор только статей замечательнейших. И нам остается еще передать статью «Педагога» и профессора А. Бекетова. Обе статьи были помещены в «С.-Петербургских ведомостях».

Но прежде статьи «Педагога» упомянем еще о заметке, сделанной г-ном Сухомлиновым в 245 <-м> № «Петербургских ведомостей». Г-н Сухомлинов допускает корпорацию студентов, по свободную, которая сама собою составила, и отрицает, вместе с г-ном Костомаровым, всякую *узаконенную* корпорацию. По поводу того, что вмешательство закона в то, что само собою должно выходить из прав и обычаев, он приводит слова Екатерины II: «... весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями. Мы ничего лучше не делаем, как то, что делаем вольно, непринужденно и следуя природной нашей склонности».

Мнение «Педагога» в 252<-м> № «С.-Петербургских ведомостей» довольно замечательно. Он полагает самым необходимым условием развития наших университетов как можно большее ослабление студентской корпорации. В то же время он предлагает по возможности укрепить связь профессорской корпорации. Между прочим, он говорит:

«Связью профессорской корпорации, по уставу 1835 года, служат одинаковые права и преимущества службы, одинаковость условий для вступления в корпорацию, коллегиальное решение дел в факультетских собраниях и совете и особые привилегии, принадлежащие университету, как ученой корпорации.

Студентская корпорация, по тому же уставу, основывается также на одинаковости условий, требуемых для получения звания студента, для успешного прохождения курса и для приобретения ученой степени, на одинаковости прав, преимуществ и даже одежды, и на одинаковом подчинении студентов университетской полиции как в самом здании университета, так и вне университета.*

Единственною связью между тою и другою корпорациею, то есть профессорскою и студентскою, служат научные интересы. Затем, вне этих корпораций, как нечто постороннее, стоит университетская полиция, состоящая не из членов, принадлежащих к учебному сословию университета».

Затем он выводит, что хотя и нельзя сомневаться в том, что сила науки заключается в хороших профессорах, но что только полное собрание ученых, взаимно дополняющих друг друга, подвергающихся взаимному контролю, действующих по одному, сообща обдуманному плану, может доставить науке достаточную гарантию и силу. Но совсем другое дело, по его мнению, корпорация студентов. Заимствована она у нас из Германии. Возникла она там вначале по необходимости обороны от внешних влияний; впоследствии же, с развитием государственного устройства, первоначальная цель студентской корпорации прекратилась и заменилась другою, приняв характер воспитательный. Характер этот,

* Мы не включаем сюда Дерптского университета, где студентская корпорация ближе прочих наших университетов подходит к германским.

по уставу 1835 года, имеет студентская корпорация в наших университетах. Поэтому защитники корпоративного устройства, как замечает «Педагог», совершенно логически считают университет воспитательно-учебным заведением. «Педагог» тоже признает главной целью университетского учения воспитание, но, по его мнению, сила воспитательная должна заключаться почти исключительно в науке, а вовсе не в надзоре университетского начальства за студентами вне университета. Надзор же в стенах университета «Педагог» считает необходимым.

Сочувствуя ослаблению студентской корпорации, «Педагог» делает довольно любопытное рассуждение. Он говорит, что студенту прежде всего надо учиться. Дело его изучать науку по профессорским лекциям и тем источникам, которые будут ему указаны профессором или отысканы им самим. На всё это нужно много доброй воли и усидчивости. Но до того ли студенту, чтобы тратить дорогое время на предметы, чуждые его занятию? К числу этих чуждых предметов «Педагог» с резкостью относит даже необходимые сходки студентов, чтобы целою корпорацией обсуживать как научные, так и разные другие вопросы. Он отрицает даже, что в такого рода рассуждениях и диспутах развивается их мыслительность и образуется самостоятельность суждений. Кружки студентов он допускает, и то, кажется, по самой естественной необходимости, потому что невозможно, чтобы три-четыре человека не сошлись вместе. Но этими кружками он ограничивает все право сходок. Он допускает даже кружки большие, как например музыкальные, литературные и прочие, то есть вообще соединения студентов по однородности занятий, по взаимной симпатии, по единству происхождения и т. д. Но чуть только дело коснется до общей сходки студентов, то уж тут «Педагог» совершенно против нее.

«Отдельные кружки не то что корпорация: каждый член кружка вступает в него свободно, с определенной целью; так же свободно он и оставляет кружок, если цель, с которою он вступил, не достигается в нем. В корпорации же, как в юридической единице, имеющей общие всем права и обязанности, каждый член порабощается общему духу; в ней люди различных мнений обязываются к одинаковым действиям, преследование одного члена возбуждает противодействие всей массы, оскорбление, причиненное одному, принимается всеми. Отсюда в обширных студентских корпорациях необходимо возникают столкновения с лицами, не принадлежащими к ним, и с разными местными властями, и в самых корпорациях, без руководителей, в которых всегда будет недостаток, являются все элементы раздора между членами, их составляющими. За доказательствами этой истины ходить недалеко».

Вследствие всего этого «Педагог» вполне сочувствует принятым у нас в последние годы мерам к ослаблению студентской корпорации, заключавшимся в подчинении студентов вне университета общей полиции и в уничтожении их форменной одежды. Одним словом, он желает теперь совсем порешить студентскую корпорацию, уничтожив в университетах все испытания, кроме ис-

ыгания на ученые степени, и сделав университет открытым для всех учебным заведением. Развивая эту идею далее, он старается доказать (и не безосновательно), что надзор над студентами вне стен университета почти невозможен, что для этого слишком много надо над ними надзирателей, а следовательно, надо их всех подчинить общей полиции; приемные экзамены тоже уничтожить; переводные экзамены, по «Педагогу», совершенно бесполезны, что они больше ничего как принудительная мера к учению и что в этом определении их заключается их смертный приговор, что они, наконец, почти невозможны. Возможно ли, спрашивает «Педагог», профессору произвести строгое испытание тремстам, например, студентам в один или два дня?

«Если он будет уделять на это, в течение двух дней, в каждый день по пяти часов, при полном внимании (а больше нельзя), то на каждого экзаменуемого придется только по две минуты. Спрашивается, к чему послужит такой экзамен? Не будет ли он пустою формою, при которой и совершенно слабые будут легко переходить в следующие курсы? Если же на переводные испытания запачкать столько времени, сколько нужно, то в таком случае пришлось бы две трети годичного курса употреблять на одни только экзамены (что легко доказать), и затем у профессоров не осталось бы времени на самое существенное, то есть на чтение курсов. Некоторые предполагают, частью для устранения этого неудобства, частью в видах усиления строгости испытаний, учредить особых экзаменаторов, не из профессоров. Но для осуществления такого плана у нас нет, во-первых, достаточного числа ученых — так как и при замещении палатных профессорских кафедр встречаются неодолимые затруднения; во-вторых, такое учреждение было бы нескончаемым источником столкновений между профессорами и экзаменаторами; в-третьих, и таким экзаменаторам нужно было бы столько же времени на испытания, как и профессорам, то есть две трети учебного года, и, наконец, в-четвертых, всё это потребовало бы, без всякой пользы, затраты огромных сумм».

После всех этих рассуждений «Педагог», оканчивая свою статью, еще раз формулирует все свои мнения следующим образом:

- а) Корпорация профессоров сохраняется во всей силе.
- б) Студентская корпорация уничтожается отменю приемных и переводных испытаний, обязательного посещения лекций и всех особых студентских прав
- в) К слушанию лекций допускаются всякого рода лица, без различия звания, пола и возраста; с известною умеренною за то платою от которой было бы, однако, желательно освобождать лиц действительно недостаточного состояния.
- г) Определенных сроков на слушание курса не полагается.
- д) Испытания слушателей на ученые степени производятся с усиленною строгостью, и к испытаниям этим допускаются только лица, предъявившие свидетельства, выданные им из гимназий, о знании полного гимназического курса.

Не можем не заметить при этом, что приведением всех этих мер в исполнение не было бы и резким переворотом; на таком почти основании в наших университетах и теперь слушают лекции так называемые вольнослушающие; значит, вся реформа состояла бы только в том, чтобы положе-

ние о вольнослушающих сделать общим для всех слушателей лекций, без различия».

Наконец, замечательно еще мнение профессора А. Н. Бекетова. Он совершенно против организации и официальной корпорации студентов.

«Многие думают, что в наших университетах студенческие корпорации отнюдь не должны походить на корпорации студентов Западной Европы; многие думают, что *русские студенты должны нести особые обязанности, не имея особых прав*. Обязанности эти должны заключаться в следующем: ходить постоянно на лекции и учиться; вести себя внутри и вне университета согласно особым правилам; платить деньги за слушание лекций; повиноваться особому начальству. Одним словом, студенты, по этому мнению, уже составляют не корпорацию, а *ученическое сословие*, не отличаясь нисколько от гимназистов. Мнение это основано на следующем: в России образование и цивилизация вообще находятся на весьма низкой степени развития, главная часть небольшого учащегося общества не имеет серьезного стремления к науке, а между тем для России необходимы ученые специалисты и серьезно образованные люди вообще, следовательно, необходимо даже *насильственными педагогическими средствами заставлять учиться*. Пусть университеты будут пока высшими гимназиями, пусть упрекает нас в этом Европа; иначе мы действовать не можем, ибо наше общество стоит еще чересчур низко и не может обходиться в деле образования без *строгой опеки*».

И затем он опровергает это.

«Если студенты не что иное, как гимназисты высших классов (положим, восьмых, девярых, десятых и одиннадцатых), то между ними и гимназистами не должно быть никаких существенных отличий. Во-первых, каждому бросается тут в глаза различие лет. В университете слушают лекции молодые люди от 17-ти до 23-х и 25-ти лет, в гимназии учатся дети. Кончивший курс в гимназии может поступить, и часто поступает, на действительную службу, если не вступает в университет. Следовательно, студенты признаны государством зрелыми гражданами, способными приносить действительную пользу правительству; гимназисты являются и тут детьми. Студенты, по закону, владеют недвижимою собственностью — гимназисты нет; следовательно, государство и тут признает студентов зрелыми членами гражданского общества. Спрашивается: возможно ли после этого, логично ли принуждать к учению школьными педагогическими средствами людей, пользующихся самими существенными гражданскими правами? Я могу участвовать в администрации государства, могу покупать и продавать имение, а учиться должен по указке!»

Превращение совершеннолетних, хотя и юношей, в детей, превращение гражданина в школьника есть источник всех университетских беспорядков, а вследствие этого главная причина остановки просвещения. Между студентами есть дети, это несомненно; но следует ли поэтому держать взрослых как детей? Должен ли профессор превращать свою лекцию в урок, если к нему в аудиторию, кроме студентов, придут и гимназисты? Взрослые всегда имеют перевес над детьми, они всегда увлекают детей за собою, как в деле науки, так и во всем остальном. Должно ли стараться, чтобы дети не ходили в университет, или изгонять оттуда взрослых? Одно из двух: если университет высшая гимназия, то его должны населять дети; в противном случае в него нельзя вводить школьных учреждений».

Одним словом, г-н Бекетов полагает, что нельзя и не следует заставлять учиться в университетах насильственными педагогическими правилами. Пусть лекции отличаются ученостью и дель-

ностью, говорит он, как это требуется для окончивших уже курс в средних учебных заведениях; пусть экзамены на степени будут строги и взыскательны: вот всё, что следует со стороны университета. Если, вследствие этого, государство и общество будут оказывать людям с университетским образованием больше доверенности, чем остальным, то это заставит заниматься студента несравненно действительно, чем всякие принудительные педагогические меры.

Развивая свою мысль, автор статьи говорит далее, что университет prepares молодых людей к жизни, а гимназия подготавливает детей к дальнейшему образованию воспитанием. Следственно, студент отнюдь не должен удаляться от жизни, и педагогические правила не должны устанавливать для него искусственных отношений. Юноша, которого ведут на помочах к житейской цели, предохраняя его искусственно от житейских соблазнов, непременно утратит часть своих способностей.

«Общество предлагает студенту многие выгоды, а для достижения их дает средства и ставит условия; средства заключаются в посещении лекций, условия — в сдаче экзаменов. За это оно обещает ему умножение его нравственного и материального благосостояния; от него не требуется ни малейшего подчинения; он может не пользоваться предлагаемыми средствами, если они ему не нравятся, но учная степень и сопряженные с нею выгоды суть необходимые следствия лишь одного факта: хорошо выдержанного экзамена, так же как доход честного ремесленника есть следствие хорошо исполненной работы. От студента требуется только, чтобы он умел рассуждать, как купец, как ремесленник, как всякий член гражданского общества. Университет есть общественное заведение, в котором учатся по собственному побуждению вследствие собственных соображений. Тот, кто хочет слушать университетские лекции, должен уметь рассуждать следующим образом: наука в соединении с жизнью способна развить мои умственные силы, насколько я сам к тому способен, снабжая меня, этим самым, нравственными и материальными выгодами. Кто не умеет этого сознать, тот не студент — ему место в гимназии. Если же в университет и будут ходить иные, вследствие посторонних побуждений, то они или вскоре прекратят свои посещения, или дойдут через год, через два, пусть даже через три, до сознательного занятия науками, сделавшись *настоящими студентами*. Из последнего следует, между прочим, что курсы не должны быть ограничиваемы каким бы то ни было числом годов.

Постоянство, твердость и усилия, требуемые для достижения ученой степени, — вот главные воспитательные элементы, вводимые университетом в среду, образующую характер студента; общение с товарищами — вот еще один сильный элемент воспитания; а кроме того, жизнь вне университета со всеми ее приманками и тяжкими испытаниями — вот могучий воспитательный элемент, не оставляющий человека до гробовой доски.

Из всего сказанного я считаю возможным вывести, что все педагогические припудительные средства в университетах должны замениться *обязательною дельностью лекций и обязательною строгостью экзаменов на ученые степени*. Мне кажется, что весь ключ для поднятия уровня нашего высшего образования заключается в двух высказанных правилах, с присоединением третьего: строгости выпускных гимназических экзаменов. Следовательно, всё зависит от учителей и профессоров. К ним нужно обратиться, их должно просить о применении этих трех правил. Я полагаю, что пока *все или хотя большая часть преподающего сословия не предпри-*

мет этого, до тех пор никакие искусственные меры не в состоянии будут поднять ни на один волос уровня высшего образования в России; оставаясь же на одной точке, оно, естественно, будет всё более и более отставать»

Наконец, г-н Бекетов заключает к совершенному уничтожению университетской корпорации и формулирует все свои реформы следующим образом:

«К слушанию лекций допускаются все, без различия возрастов и полов. Плата за лекции — если она взимается — распределяется по числу курсов и предметов, которые каждый желает слушать.

Приемные экзамены уничтожаются; остаются одни экзамены на действительного студента, кандидата и проч.

Устройство университетского сословия и факультетов остается прежним, со всеми его правами и обязанностями, за исключением тех, которые отходят сами собою. вследствие уничтожения официального звания студента.

Экзамены на степени производятся со всевозможною строгостью. К ним допускаются все желающие на тех же основаниях и в том же порядке, в каком это производится до сих пор для вольнослушателей, с тою разницею, что дозволяется держать и на действительного студента, что, впрочем, само-собою разумеется.

Экзамены производятся публично: присутствовать при них допускаются все лица, имеющие какую-нибудь ученую степень и занимающиеся какою-нибудь ученою специальностью.

Нелишнее будет заметить, что так как лекции и экзамены публичны, то общество весьма легко и удобно может контролировать профессоров и экзаменаторов с помощью журналов — то есть гласности».

II

Вот мы выписали и изложили, по возможности подробнейшим образом, почти все мнения, высказанные по новому вопросу теми, которые наиболее способны судить о нем. Почти все авторы статей, нами изложенных, знакомы с вопросом об университетах специально. Удовлетвориться ли нам этим изложением, в сознании совестливо исполненной перед читателями обязанности журнала (потому что журнал все-таки исполнил свою обязанность: он тщательно изложил всю историю вопроса и познакомил с ним своих читателей), или непременно высказать и свое мнение, подать и свой проект реформы, — хоть какой-нибудь, да реформы? Ведь иной, пожалуй, судит, что неприлично даже, в настоящее время, журналу выйти без своего проекта. Мы знаем это. Мы даже слышали подобные мнения. Мундирность и официальность нас проела до костей. Статью! Хоть для парада, а подавай статью о том, как перестроить университет.

Но увы, читатель! Мы решаемся выйти без проекта об университетском вопросе. Не потому, чтоб уже совсем у нас ничего не было сказать об университетах, а потому, что мы на весь вопрос этот смотрим с совершенно другой точки зрения.

— А коли так, стало быть, у вас уж и есть проект? — скажут нам.

— Вот то-то и есть, — отвечаем мы, — что даже самый взгляд наш на всё это дело совершенно противоречит всей этой *проектировке*. Мы именно думаем, что дело не в одной только перестройке университетов. Не в том только дело, думаем мы, что вот тут законопатить щель, а тут открыть новую отдушину. Требования университетов гораздо глубже, преобразование их гораздо кореннее, чем кажется, и мы очень ошибемся, если только одной переменной мест и некоторыми домашними переделками думаем достигнуть цели, так что

У нас пойдет уж музыка не та!

Но объяснимся по возможности.

Именно то, что возник вопрос об университетах и так глубоко откликнулся в нашем обществе, — именно это показывает, что наступило для наших университетов то время, когда они сами стремятся сознать себя частью живого организма всей России, а не искусственной пересадкой из иностранной земли, чем они и были долгое время, то есть по крайней мере столько же, сколько была этим пересадком наша литература, наш европеизм и весь новый русский человек, только теперь, только в наш век начавший понемногу сознавать себя, свою личность, свое положение; только недавно осмотревшийся кругом и спросивший себя, точно проснувшись от сна: «Где ж я и кто такой я сам?» — и, наконец, еще недавнее почувствовавший, что он действительно живет и имеет неотъемлемое право жить.

Университет тесно связан с организмом всей земли нашей, как неотъемлемая часть ее. Следственно, болезни всего организма — его болезни, процветание всего организма — и его процветание. Если всё тело здорово — и он здоров; если же оно больное, то нельзя вылечить, например, один только нос.

Вот почему все средства улучшить университеты, превосходные, обдуманые и искренние средства, выше предложенные и нами изложенные, по нашему мнению, имеют характер какой-то пальятивности. Мы сплошь хвалим все эти вышеизложенные мнения, хотя большая часть из них одно с другим не согласны. Но зато в каждом мнении есть своя доля правды; главное, что все эти мнения — плод добросовестнейших изучений: а добросовестность в этом деле — чрезвычайно важная вещь. Кто говорит! Множество из предложенных мыслей могло бы и должно бы было даже сейчас быть приложено к делу о переделке университетов. Вот почему мы так и ценим все эти мнения, так подробно и изложили их публике. Но все-таки мы, с своей стороны, крепко уверены, что если б изменился в нашем организме основным образом взгляд на дело просвещения и развития нашего вообще, — изменился бы радикально и взгляд на преобразование университета, и многие из очень дельных теперь предложений по части реформ оказались бы совершенно ненужными, механическими, пальятивными, слабыми и почти бездушными.

Например, многие, то есть почти все, из этих проектов новых реформ имеют задачей возвысить науку, усовершенствовать профессоров, а главное, возвысить бодрый дух, жажду образования и уважение к науке в самих студентах. Без сомнения, некоторые из предложенных к тому мер могут сильно тому и теперь способствовать. Но возьмите вопрос хоть немного поглубже: вот, например, учащийся юноша, сгорающий жаром к науке, с энтузиазмом изучающий свой предмет. Он готовится быть чиновником, юристом например; вот он копчил курс, он стремится на службу — и что ж? С первого шага он видит, что чуть ли не напрасны были все его хлопоты. К чему, в самом деле, было такое глубокое изучение? Перед ним заведенная административная машина, на всё готовая издревле форма, канцелярская тайна, порядки. На него смотрят недоверчиво. Старшие начальники говорят, что все его стремления вовсе не к месту и не по месту, младшие над ним даже посмеиваются... «Прыток больно, дескать». Но, положим, юноша терпелив и благоразумен, не доверяет первому впечатлению; он решается ждать, он сам нарочно втягивается в колею: «Хоть через десять, хоть через пятнадцать лет, — думает он, — достигну того, что в состоянии буду приносить пользу!» Но через десять лет он настолько приобретает опытности, что уж и сам видит всю невозможность своих юношеских мечтаний. Административное колесо заведено раз навсегда и — много-много, если он будет только спицей в этой колеснице... А для такой цели нечего и было

... изучать Санхоньятона,
Зубрить «Республику» Платона и т. д., и т. д.

Так точно и во всем. Наука у нас почти не требуется на практике. Есть у нас некоторые специальные требования, в весьма несложном виде, но те восполняются специальными заведущими. И к тому же от нашего научного деятеля практика первым условием требует отсутствия самонадеянности, оригинальности, малейшего самоначала, что с самого первого шага подавляет всякое развитие, всякую струйку гениальности и вдвигает прямо деятеля в общую колею, в условные формы, для соблюдения порядка. К тому же и общественные требования ничтожны. Уровень образования до крайности низок. В действительную жизнь наука не перешла, и ее еще покамест не требуется. Собственного взгляда у нас нет ни на что, собственной деятельности тоже. Денег наука получает ужасно мало. Кроме того, до сих пор еще как будто опасаются у нас науки в большом количестве. Ей как-то не доверяют. Что за жалкая судьба быть, например, у нас педагогом! Взгляните на участь учителей. А между тем ведь педагогика может возбудить к себе страстное стремление в деятеле, желающем непременно приносить пользу. А между тем действительность страшно отрезвляет все эти стремления: ни преподавать, ни самому изучать предмета нельзя. Какая уже тут иной раз наука,

тут склады позабудешь! И как иные наши лекаря, иногда даже много обещающие по выпуске из университета и даже действительно способные, забывают иногда науку в своем уездном уединении, так и ученый наш, даже профессор, даже, наконец, адепт всякой другой науки, способен просто забыть ее хоть бы через одну только апатию, не говоря уже о других неудобствах.

Образование требует к себе доверия. Надобно, чтоб само общество сознало всю силу его, не подозревало его, не становилось к нему в враждебные отношения. Говорят: отчего нет промышленности, отчего нет торговли? Но на всё надобны гарантии и общая гармоническая связь с тем, что в данную минуту движет обществом. Положим, промышленность и торговля требуют науки. Наука в промышленности и торговле находит свое применение. Нет торговли и промышленности — науки теряют огромную часть своих применений, и мы даже не подозреваем ее полезности и смотрим на всё отвлеченно. У нас все смотрят на науку как-то отвлеченно.

Но ведь я знаю, что на эту тему можно написать тридцать пять печатных листов, а потому лучше и не писать, потому что всего не напишешь. . . Замечу только одно: неужели в университетах не знают об этих всех обстоятельствах? Конечно, знают, потому что всё это прямо до университета касается. Да хоть бы даже и не знали, все-таки это и бессознательно отразилось бы на университетах, потому что университет есть неотъемлемая часть всего организма, а не забавная оранжерейная пересадка для одной только красы. Если образование принимает вид какой-то отвлеченности, если наука не может укорениться в действительности, если в действительности нет на нее прямых непосредственных требований, если она не может сейчас найти себе применения и заявить себя, — спрашивается, не замрет ли она сама собою? Если не замрет совершенно, то, во всяком случае, не разовьется нормально. Вот почему и ослабевает духовная корпорация учащихся. Но еще в учащихся не так скоро: неопытность, юношеский жар, любовь к науке, взгляд на нее сквозь европейскую призму, разные пестыточные надежды, — всё это еще поддерживает юношу. Но в сословии учащихся, профессоров разумеется, всё это недоумение способно отразиться сильнее. Наклонность к отвлеченностям, апатия, равнодушие и, наконец, привычка пробираются потихоньку и в их корпорацию. . . Духовная связь всех членов университета ослабевает, потому что ее нет с действительностью. Уровень образования, инициативы в науке, открытий, самодеятельности падает, и. . . и по крайней мере наши университеты в настоящее время ни *при каких собственных усилиях* не могут сравняться с европейскими. . .

Вот почему мы и сами не предлагаем никаких реформ, да и о предложенных реформах не очень распространяемся. Впрочем, что-нибудь и скажем. Например, нас ужасно поражает во всех этих реформах одно обстоятельство, чрезвычайно важное, именно:

этот дух ломки, перестройки, вырыванья с корнем, пересадки, эта готовность хоть сейчас же ломать и перестраивать сызнова, и, может быть, даже не легкомысленная. По-нашему, это многозначительный и отчасти очень грустный факт. Значит, мы не прижились ни к чему, ничего еще не ценим, ко всему своему равнодушны, ничто нам не мило, свой угол постыл, ничего мы не растили, ничего не поливали, были какими-то наемщиками, а не деятелями. Какой хозяин не любит дерева, которое он посадил, дома, который он выстроил, в котором он жил и вывел детей? По-нашему, хоть сейчас ломать, хоть сейчас и на переселение. Какое равнодушие! А кто виноват?

Но, однако ж, все хлопочут об образовании: видно, что уж всех заживо задирает новый вопрос. И хоть все предлагают только одни внутренние перестройки, но за спасение самого здания нашей науки все стоят горячо. Все желают ей роста и укоренения на нашей земле. Везде видна страстная, горячая преданность делу. Хоть это отраднo. Ведь это все-таки обнадеживает. А мы и без того такие мечтатели! Без практической деятельности человек поневоле станет мечтателем.

Но скажем хоть что-нибудь... Конечно, все наши прожекторы и реформисты университетов совершенно не берут в соображение главного: это того практического состояния (если только можно так выразиться) и положения, в котором находится теперь наша наука. Но чтоб начать сначала, то есть с г-на Костомарова, скажем, что, по нашему мнению, он слишком произволен, теоретичен и отвлечен в своем делении всех русских учебных заведений, с высшего до низшего, на воспитательно-учебные и образовательно-ученые. Конечно, в высших заведениях, как например в университетах, совершенно не годятся те воспитательные приемы, которые употребляются в средних и низших заведениях: но из этого вовсе не следует, что, кроме тех приемов, нет уже совершенно других. Они есть и, главное, потому, что воспитание юноши, во всем объеме этого слова, вовсе не оканчивается, как только юноша перешагнул в университет. Это уж что-то слишком по щучьему веленью, и разграничение слишком произвольно и резко. Г-н Костомаров ломает всё и совершенно уничтожает почти всякую форменную корпорацию (кроме естественной, духовной корпорации, научной, если можно так выразиться). Он бы и был, может быть, даже и очень прав в этом, в некотором отношении разумеется, если б только не придавал такого важного значения и таких огромных последствий всей этой ломке. Кажется, по мнению г-на Костомарова, только в этом, и единственно в этом, и состоит вся беда университета. Впрочем, разбирая одну только идею г-на Костомарова, нам кажется, что он не во всем справедлив, гоня всякую форменную корпорацию. Уж она тем одним заслужила хоть отчасти, что защищала во имя науки учащегося мещанина от полицейских розог. Говорят иные, поддерживающие идею г-на Костомарова, что студенту нужна действительная

жизнь, что в ее школе он благодатнее, практичнее разовьется, не уйдет в маленький мирок тесных университетских интересов и не пожертвует своим гражданством своей корпорации; что корпорация обезличивает. Может быть, тут есть и много справедливого, но нам кажется, что и при корпорации наш студент был вовсе не чужд действительной жизни, даже много переносил от нее. Что не такой дух русского студента, чтоб он обезличился для своей корпорации; что это уж более по-германски, где прежде всего царит форма, а немецкие формы нам и вчуже-то надоели. И наконец, чем гарантирует г-н Костомаров, что в между преобразованными по его плану студентами не заведется корпорации, если уже у нас это так в духе? То-то и есть, что, кажется, все эти корпоративные исключительности не в нашем духе. А впрочем, что касается излишних стеснений, излишних отчетов и обязанностей, от которых г-н Костомаров хочет избавить студента, то в этом он совершенно прав. Науку не следует вести на помочах и присматривать за нею. Ей надо дать побольше инициативы.

Не будем рассматривать в подробности и совершенно противоположных костомаровским идей «Русского вестника», страстно отстаивающего корпорацию. Насчет усиления корпоративного духа «Русский вестник» сказал несколько хороших, но уже слишком отвлеченных слов. Как дошло дело до практических проектов «Русского вестника», отвлеченность его проявилась довольно сильно... Мы разумеем здесь отвлеченность в том ее смысле, когда человек при всяком удобном случае начинает ужасно много и красно говорить, так сказать, даже парить выше облака ходячего; когда же дойдет до самого дела, то он очутится уже гораздо ниже лесу стоячего, под какой-нибудь кочкой, в трясины, и из-за этой кочки ничего не видит. В одном слишком воспарил, в другом заслонился. Поневоле придется рассуждать в пных случаях отвлеченно. Впрочем, что ж? Мы не хотим разбирать трех статей «Современной летописи» подробно. Автор этих статей часто слишком нехладнокровен, слишком горяч. Он даже ужасно любит преувеличивать. Вот он, например, говорит о хранении преданий. Предания, конечно, прекрасная вещь, они связывают; они дороги, как всё в самом деле выжитое: не фиктивную, но действительную жизнь. Но предания и мертвят, предания уже слишком ассимилируют и обезличивают, и во всем есть мера. А вы уж, кажется, *слишком* заходите. Например: ведь, уж конечно, вы разумеете одни *хорошие предания*. А ведь чтоб знать во всякий момент, что хорошо, надобно и во всякий момент рассуждать и относиться к делу критически: ну а такое отношение исключает исключительную цель сохранения преданий; иначе их придется сохранять *во что бы ни стало* погому голько, что они предания. Вот, например, вы говорите насчет стипендиатов. Всё это, конечно, немного искусственно; но положим, что всё это действительно хорошо для университета, хотя немного и пальятивно. Вы

желаете, чтоб стипендиатов посылали за границу; для того чтоб они не обращались в туристов, требуете, чтоб правительство само выбирало им там хороших профессоров в руководители. Так делал граф Сперанский, прибавляете вы. Заметьте, что вы посылаете кандидатов, да еще *отборных*. Неужели вы уже и на *отборных*-то не надеетесь? Вспомните: ведь вы сами их *отбирали*. Ведь это грустно, если и из *отборных*-то нельзя ничего выбрать путного. Чуть отвернулось от него бдительное око надзора, как уже он тотчас в *bal-Mabile* — и за гризетками! Если уж отбирали, сами нашли, что он из достойнейших, то уже и не оскорбляйте его недоверием, имейте хоть к его юношеской-то чистоте уважение. Ведь если вся русская паука не может образовать ни одного молодого человека, достойного уважения и доверия, то не стоит и хлопотать так много из-за нее и за границу посылать не стоит. Шалопай и за границей не исправится. Неуважением к нему, в виде неустанного надзора за ним, вы его не исправите и отнюдь не заставите его смотреть на самого себя с уважением. Один немец-профессор не образует из него человека, как вы надеетесь. Он только надоест ему под вашей фериулой, а стипендиат будет на него рисовать карикатуры, да еще, пожалуй, займется его дочкой. Что же касается собственного выбора за границей профессора, то ведь ваш стипендиат — кандидат. Он достаточно просвещен, что может и сам сделать выбор, даже лучше всякого постороннего, хотя бы этот посторонний был и сам граф Сперанский. Тут поможет преданность к науке, энтузиазм, профессор, который наиболее симпатичен. Неужели и в науке-то лучшего кандидата всё еще водить на помочах? Ведь мы дойдем наконец до того, что нам хлеб будут в рот класть чужие, — хлеб, нами же заработанный. Хоть науку-то уважайте, г-да профессора.

Вы вот говорите еще о переводных экзаменах и, главное, о том, чтоб не шалопаи и негодяи между студентами давали общий тон всему университету, а лучшие. Да мы просто возмущаемся против этой идеи. Вы в высшей степени не уважаете юношество; как же вы хотите после этого, чтобы оно само себя уважало? Как могли вы подумать, что негодяи могут давать общий тон и иметь на него влияние? Мы решительно не верим этому; если это и бывает случайно, то обманом, слишком ненадолго, да и берут-то эти негодяи именно чем-нибудь тем, что драпируются во что-нибудь благородное и ослепляют остальных, слишком им доверяющих. Следовательно, благородным же ослепляют. Юношество чище, благороднее, чем вы думаете. Оно еще не так привыкло к гадости и не смотрит на предметы таким пошло-матерьяльным взглядом, как иные взрослые мудрецы. Вы требуете отличий между студентами, требуете, чтоб отличались начальством те, которые оказали несомненные успехи в благонравии и прилежании к наукам. Отличенные начальством, естественно, будут в почете и между студентами, говорите вы. Итак, мы входим в систему наград и похвальных листов.

Наконец, говоря о противоречии между чисто научным интересом экзаменов и раздачею патентов на чин через эти же экзамены, «Современная летопись», чтоб разрешить это недоумение, предлагает младенческий проект особенных экзаменационных комиссий, открытых везде, и даже по губерниям. «Молодой человек, желающий поступить на службу, идет в эти комиссии и экзаменуется письменно. Комиссии не должны состоять из ученых и знающих дело людей, — говорите вы; — иначе недостало бы экзаменаторов повсеместно; а достаточно, чтоб они были только люди честные, правдивые и гарантировали правительству, что поступающий на службу молодой человек всё это сам написал». Читаешь и не веришь. Да как же гарантировать, что молодой человек это всё сам написал? А заказные ответы? Что ж, он так и должен будет писать на их глазах, а они следить, как он пером водит? Да живали ль вы в губерниях? Знаете ли, что ваш проект материально невозможен? Мы вовсе не хотим сказать, что уж так трудно найти четырех честных и вместе с тем неученых людей в каждом губернском городе. Но знаете ли вы губернскую жизнь? Знаете ли, сколько можно сотворить сделок при сдаче такого ответа? Да и найдется ли хоть одна такая комиссия, которая не стала бы, наконец, смотреть на все эти экзамены, как на забавную шутку, сквозь пальцы? И вовсе бы это не считалось бесчестием. Есть много честнейших людей из докторов; а между тем вряд ли кто-нибудь из этих честнейших докторов почтет себе за бесчестие выдать медицинское свидетельство о болезни своему знакомому, да даже и незнакомому, и без всяких денег, без всякого подкупа. Так точно будет и при новых экзаменаторах. А провинциальное гостеприимство? а партийка в преферанс, в виде взяточек? а дочки, которых надо выдать замуж, и тысяча других домашних обстоятельств, и в довершение всего комическое и несколько унижительное положение экзаменаторов, честных, но неученых, перед молодым человеком совершенно ученым и поневоле смотрящим на всю их честность, но неученость с высоты одной только своей учености. . .

Не будем много говорить и о замечательной статье «Педагога» в «СПб., ведомостях», который тоже не за корпорацию и горячо желает уничтожения ее. Не скажем и про то, что он, например, допускает кружки между студентами — музыкальные, литературные, научные и т. д., и т. д. А чуть дело дойдет до большого кружка, то есть до соединения всех студентов между собой с какою-нибудь целью, хотя бы во имя науки, то уж он этого и боится. Впрочем, мы так подробно изложили эту статью и сделали столько из нее выписок, что читатель, наверное, познакомится с ней надлежащим образом сам, особенно рассматривая ее в связи с другими статьями. Статья профессора Бекетова еще замечательнее; это горячее и честное убеждение. Невозможно не согласиться в очень многом с г-ном Бекетовым. Конечно, мы не можем с ним во всем согласиться, как, может быть, уже и понял читатель. По-

нашему, не совсем справедлива мысль г-на Бекетова, что всё зависит от учителей и профессоров и вовсе недостаточно просить их и даже *обязать их дельностью лекций* и т. д. Профессор есть только часть университетского организма, а университет есть часть всеобщего организма. Следовательно, не в одном профессоре дело. Впрочем, дельностью лекций и строгостью экзаменов А. Н. Бекетов хочет заменить только одни принудительные педагогические средства в университетах. Он прав, говоря, что плохо водить науку на помочах и учиться чуть ли не *из-под розги*. Но если несостоятельна принудительная система, то несостоятельны и системы *пальятивные*. . . одним словом, вопрос университетский достиг живого, действительного своего значения, и мы этому очень рады. Значит, пустило корни, значит, жьвет! .

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМЕЧАНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ОЧЕРКЕ М. И. СЕМЕВСКОГО
«ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ»»

В февральской книге мы напечагаем историческую монографию М. И. Семевского «Царица Прасковья», не вошедшую по некоторым причинам в первый номер нашего журнала.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ А. А. ГРИГОРЬЕВА «О ПОСТЕПЕННОМ, НО
БЫСТРОМ И ПОВСЕМЕСТНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕВЕЖЕСТВА
И БЕЗГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
(ИЗ ЗАМЕТОК НЕНУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА)»»

Хотя мы во многом несогласны с почтенным и, к сожалению, неизвестным нам автором, мы с удовольствием, однако, даем место статье его. Она откровенна, искренна, а едкость ее для многих из нас, людей издающих и пишущих, пройдет не бесследно. Мы же, с своей стороны, не разделяем того тонко-политического учения, гласящего, что не для чего посвящать непризванных (т. е. публику) в закулисные тайны литературы. Мы верим в прямое и здоровое чутье масс и думаем, что честно высказанная правда никогда не повредит в глазах читателей ни литературе, ни тому уважению, которое *должна* питать к ней читающая и мыслящая публика, потому что без уважения не мыслима и сама публика.

«ПРИМЕЧАНИЕ К РОМАНУ Э. ГАСКЕЛЛ «МЕРИ БАРТОН»»

Печатаем этот интересный роман потому, что в нем живо очерчены быт и страдания рабочего класса в Англии. Из всех европейских государств одна только Россия может смотреть

с братским участием на все эти бедствия, на всю эту сословную ненависть, благодаря бога ей самой вовсе неизвестные. Падель крестьян наших землю спасает нас навсегда от этой страшной, повсюду знаящей теперь язвы, которая называется пауперизмом, или *пролетариатом*.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО
О ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖУРНАЛАХ»»

Непростительная ошибка! Модные картины до сих пор прилагаются к серьезнейшему из петербургских журналов — к «Отечественным запискам».

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «МАДАМ ЛАФАРЖ
(ИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ)»»

Имя госпожи Лафарж известно во всем свете. У нас его тоже знают, но вместе с этим знают только одно, что она отравила своего мужа. Мы уверены, что весь этот возмущающий душу процесс известен очень и очень немногим. Вот почему мы решились напечатать его, несмотря на его кажущуюся известность. Он стоит того по многим причинам.

«ПРИМЕЧАНИЕ К «ПОВЕСТИ ОБ ОДНОМ СУМАСШЕДШЕМ ПОЭТЕ»
П. А. КУСКОВА»

«Повесть об одном сумасшедшем поэте» есть воспоминание друга о друге, уже не существующем. Мы не имели чести знать лично самого поэта и потому все похвалы, все достоинства и похвальные качества, приписываемые поэту его другом, оставляем на его совесть. Мы помещаем эти воспоминания, потому что изложение их показалось нам довольно оригинальным... Впрочем, об этом пусть судят читатели.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ»»

Даже и этой уступки не можем мы сделать противникам Пушкина. Татьяна — прелестнейший тип русской женщины и первый такой тип по времени в нашей литературе.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ П. А. КУСКОВА «ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА»»

В скором времени мы надеемся поместить обстоятельный разбор статьи г-на Щербивы.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ О РОМАНЕ В СТИХАХ Я. П. ПОЛОНСКОГО
«СВЕЖЕЕ ПРЕДАНИЕ»»

О Т Р Е Д А К Ц И И

В следующей, июньской книжке «Времени» мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей политической литературы — первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского «Свежее предание». Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ
ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ»»

Три лекции, которые мы предлагаем читателям, принадлежат к вводным лекциям первого тома «Истории новой философии» Куно Фишера. Самы по себе они образуют почти строгое целое. Мы взяли их из перевода этой книги, приготавливаемого г-ном Н. Страховым к печати.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО О ПОЛѐМИКЕ»»

Конечно, такие надежды совершенная утопия; но нельзя же иногда не потешиться утопией.

«ПРИМЕЧАНИЕ К РАССКАЗАМ В. де ГАСПАРЕН «ГОЛУБЯТНЯ»
И «БЕДНЫЙ МАЛЬЧИК»»

В прошлом году в Париже вышла книга «Les Horizons Prochains»,¹ имевшая огромный успех. Она вся состоит из мелких рассказов. Имя автора неизвестно, но, без сомнения, это женщина. Мы перевели из этой книги две прилагаемые повести, чтоб познакомить публику с новым талантом. Прибавим только, что талант этот, по преимуществу религиозный, к сожалению, вдохновляется более католицизмом, чем евангельским учением.

¹ «Ближайшие горизонты» (франц.).

〈ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ П. А. БИБИКОВА
«ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОЙНЫ»〉

Не разделяя всех мнений этой прекрасной статьи, мы с удовольствием печатаем ее как изложение сущности новой любопытной книги знаменитого французского публициста.

〈ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. С. ЛЕСКОВА «О РУССКОМ РАССЕЛЕНИИ
И О ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ»〉

С удовольствием помещаем статью эту. Вопрос о колонизации в России так важен, что чем больше будут писать о нем люди бывалые и знающие предмет, тем лучше.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1862 ГОД

(Стр. 147)

Черновые наброски (ЧН)

В ОБЪЯВЛЕНИЕ

Журналистика дает средства науке, потому что дает деньги. Сознательная масса, входящая в жизнь (новое общество) Мы накануне нового поколения (с боярства).

Мы не исполнили, но будем работать, не внимая никаким *покиваниям*.

Мы были искренни и чистосердечны и будем таковы, мы не променяем *литературы*, мы ценим ее...

Литература — выражение всей жизни. Журналистика (NB₁).

Главное оттого, что от литературы требуют журналистики. У литературы, как у *нрзб.* существа, свои законы, а ее накрывают в разные стороны как попало. Достоинство литературы.¹

Полемика, авторитеты. Мы не смотрели на лица, но, признаемся, нам дороги и милы лица честные, <мы> готовы дать этим всевозможную поддержку. Зато где мы видели равнодушные, нечестность (популярное), а главное — старого, отжившего поколения, мы готовы хвалить всё хорошее в противниках наших, — готовы быть храбрыми и за старину.

Всего в один год не сделаешь — разве выскажешься. Но мы даже вполне не успели и высказаться.

Литература погибает. Что значит для нас слово.² <с. 11>

¹ Главное оттого ∞ *литературы. вписано.*

² Литература погибает. ∞ слово. *вписано на полях.*

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Не против прогресса мы, боже сохрани, мы, может быть, больше, по делу в том, что в прогресс-то идут стертые пятиалтынные, люди без предания, с ненавистью, а ненависть есть явление ненормальное. Мы дошли до того, что наши прогрессисты ненавидят¹ всё в прошедшем² и уже стали не способны заслужить любовь, даже не эгоисты, не фразеры, а истинно крепкие люди. <с. 111> Что же касается до фразеров и эгоистов, мы ненавидим их — «Русский векстник».

Наша фраза об авторитетах и авторитетиках взволновала <?>

№3 Мы знаем, какие вопли мы возбудили теперь³ против нас, но мы не боимся, мы идем смело, потому что знаем, что поступаем чисто и честно, и, главное, ощущаем в себе чувство любви не меньше других.⁴ <с. 112>

Боже, какие крики мы подымали против себя в отсталости. Но, может быть, больше храбрости в известных случаях высказать свою идею, чем поддакивать всем, вяло и бездарно стремиться — вперед — не зная куда, не с историей, а за теорией.

К тому же мы смело говорили, что мы не только не отстали, но еще впереди прогрессистов, и мы всё спешим <ли?> отбрыкивать. Мы чуть ли и теперь не отбрыкиваем даже то, чем мы гордились еще так недавно. И <4 нрзб.> так же как не сделались ничем <?> под старость. Но мы в благородном движении вперед отрицали всё сплошь и отбросили даже то, без чего нельзя было идти вперед <...> Мы опровергли <?> многое из нашего прошедшего. Мы даже не взяли с собой родимой земли <...> без того нас не примет народ. А народ-то, может быть, гораздо дальше, чем мы, ушел в своем развитии. У него нет наук, нет искусств, но он отстоял свои начала, и следы его мысли видны нам, мысли до того смелой, <с. 111> что мы и не догоним его с западными теориями <...> <с. 112>

Литератур<у> как средство, как особен<ное> явление, как средство. <с. 111>

¹ Вместо: наши прогрессисты ненавидят — было: ненавидели

² Далее было: даже

³ теперь вписано

⁴ Последующий текст вписан между строками и вдоль полей сс. 111—112 и во многих местах поврежден. Соответствующие места помечены: <...>

ВАРИАНТЫ
—
ПРИМЕЧАНИЯ

ВАРИАНТЫ

III. КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

(Стр. 5)

Варианты наборной рукописи (НР)

Стр. 5.

²⁻³ III. ∞ Статья первая / Ряд статей о русской литературе. III. *Над заглавием набросок плана статьи:* О чрезвычайном напряжении умственных способностей русской литературы [для] при составлении книжки для народного чтения. 2) Книги для народа и тревога в литературе. 3) О народном чтении.

¹⁻⁶ Эпиграф: Читать ∞ «Горе от ума» — *вписан.*

⁵ такой / подобной

⁹ чуть ли не назначались / даже, кажется, *наз* (начались) в своей февральской книжке / в нынешнем году

¹² к нашим литераторам / к литературе

¹³ а кто отзовется / а хоть бы кто отозвался

¹⁴ После: мнение — разобрал его

¹⁷ о появлении подобных проектов / а. о подобных проектах б. вообще о появлении подобных проектов

¹⁹ высшее / образованное

²⁰ всех *вписано.*

²⁶ об этом *вписано.*

²⁹ жизни *вписано.*

Стр. 6.

² После: остающийся — *было:* единственный первый шаг даже *вписано.*

³ других / всяких других

⁷⁻⁴ грамотность ∞ шагом / единственный первый шаг

^{1 5} и должно *вписано.*

⁷ возможное *вписано.*

⁹ мы чувствуем, что *вписано.*

¹⁰ в отдельной / в этой отдельной

¹⁰ п попортили *вписано.*

¹¹ похожи / *Начато:* уподобился

¹⁵ даже *вписано.*

¹⁵ в русской жизни *вписано.*

¹⁵⁻¹⁶ поразившей / факт, поразивший

¹⁶ но проявившийся ∞ явлении *вписано.*

¹⁷ об этом факте / о нем

¹⁷ После: Теперь же — *вписано:* по случившемуся факту

- 1^b *После*: мы — *вписано*: в нем
 2¹ по-европейски / наше европейское
 22 то п / и
 22 с чем и / с чем и как
 23 *После*: к пароду — точно мы говорим на разных языках. [♦] *Вместо*:
 что мы даже не знаем ∞ языках — *было*: полное наше бессилие.
 Мы до крайности не умеем и не знаем, как приступить к пароду и
 каким языком заговорить с ним. *Далее начато*: Вот
 27 Не говорим / Не говоря
 27 все как-то уж молча / и как-то все молча
 32 А согласившись / Согласившись
 32 мы все / мы как будто
 37 разу / раза [♦]
 38 *После*: особенно — исторического русского
 38 Положим так / Положим что
 39-40 Но мы все-таки / Ну, а это как вам покажется: Ведь мн
 41 надо же согласиться, что *вписано*.
 43 народных «читальников» / для народного читальника.
 43 об этом / об нем
 44 *После*: умными — *начато*: Эти люди
 44 добросовестными / в высшей степени добросовестными
 45 *После*: на ошибке — Мы просто не умеем взяться за дело.

Стр. 7.

- 1 опять *вписано*.
 1-2 читальники ∞ проекты *вписано*.
 3 *После*: у нас — людьми умными (бесспорно) [♦]
 4 Что ж / Ну что ж
 4 *После*: сделали? — *было*: а. Заговорить с народом не умели, когда
 до дела дошло. б. Умели ли они заговорить с народом?
 7 широка / велика
 11-12 говорим ∞ отвлеченно / а. по книжкам б. говорим мы, все знают;
 но это-то знают только по книжкам
 12 но знают / но знают как-то
 12 например *вписано*.
 14 этому *вписано*.
 14 Не верят и теперь. *вписано*.
 14-15 Те, которые / а. *Начато*: Те б. Вот, например, те
 16 *После*: жизнь — *было*: например, иные литераторы, доктора и кой-кто
 другие, ведь многие из них вполне уверены, что они
 16 даже склад его мыслей *вписано*.
 22 простонародную / народную
 23 вполне убеждены / ведь уверены
 24 даже *вписано*.
 24-25 Будем ∞ им / а. ответим им: «нисколько», т(о) е(сть) нисколько
 вы народ не знаете. б. будем им противоречить и скажем им: ни-
 сколько вы народ не знаете.
 26 Вы, господа ∞ внешность / Вы знаете внешность
 26 очень *вписано*.
 26 настоящей / всей
 29 пожалуй *вписано*.
 29 хоть и / не
 32 И никогда / Он никогда
 32 доверчив / вполне доверчив [♦]
 34 даже *вписано*.
 36 потому что эта / это вошло уже
 37 *После*: кровь его — *начато*: Какие же тому при(чины)
 39 *После*: история — *было*: 2) привычка, или, лучше сказать
 39 слишком долголетняя *вписано*.

- 39-41 *После:* друг от друга — *было:* а 3-я и главная, что мы, почти никто сами не умеем подойти к народу.
 40 основанная ∞ наших *вписано*
 40-41 Доверенность ∞ заслужить / Ведь его доверенность надо заслужить
 42 *После:* это — *начато:* Доро(сли)
 44 Наш *вписано*.
 47-48 а когда ∞ делается / следств(енно) делается

Стр. 8.

- 5-8 Мало того ∞ жизни *вписано*.
 7 *Слова:* теперь — нет.
 9 *Вместо:* своего сближения с Европой — *начато:* европейской связи?)
 12 Оба / Оба явления
 14 Наши / русские
 17-18 по свидетельству ∞ записок» *вписано*.
 19 *После:* народности — *было:* а. *Начато:* «Мы справлялись б. Впрочем, «Русский вестник» и не до того дойдет. Недавно он [тоже] уже высказал себя по вопросу о женщине. . . Он близок к апофеозе. Ему недалеко. Надобно только смело и пахально решиться на всё то, на что р-шалась Фита [Впрочем] [Мы] Правда, на многое она решалась, отчего мороз по коже подирает; только бы не испугаться. «Русский вестник», кажется, не пугается.
 21-22 действительность ∞ народности / русскую народность
 22 доказывать / просто доказывать
 25 «Отечественные записки» говорят / а. *Начато:* «Отечественные» б. г-н Дудышкин говорит
 26-27 (то есть ∞ народного) *вписано*.
 30 *После:* верим — *было:* восклицаем мы
 31-33 попрекаете ∞ принять / умоляете, чтоб на статью вашу обратили серьезное внимание (и никто-то не обращает!), что мы ни за что не примем
 35 Вы люди «ученые» / Вы человек «ученый»
 36 немецкие ∞ переложенные / немецкий геллертер, переложенный
 37 отыскивающие / отыскивающий
 37 с фонарем в руках *вписано*.
 38 не видящие / не видящий
 40 А что / Ну что
 44 все аглицкие теории / а. *Начато:* английские теории и воз(рения?) б. *Начато:* аглицкие
 47 удивлен / изумлен

Стр. 9.

- 9-10 Как-то ∞ явление? / Но обусловлено ли?
 10 оно ∞ наукой / это с
 12 повторяется / повторится
 14 они *вписано*.
 21 *ученый* / желтый ◊
 17-28 что в нем ∞ русского / что тут нет ни одного русского мотива
 30 монахов *вписано*.
 32 слейном / чисто(м)
 32-33 летописцы / потому что летописцы
 33 говорят нам *вписано*.
 34 в известную сторону / в другую сторону
 36 древнерусским лицом / русским и даже истор(ическим)
 37 Неужели *вписано*.
 38-39 Стало быть / Стало быть, по-вашему ◊
 40 как лицо *вписано*.
 41 древнегреческая / греческая
 48 только *вписано*.

- ³ так / до того
³ выразилась ∞ эпохи / выражалось до Онегина наше общество)
⁴⁻⁶ выразиться у одного только / только выразиться у одного
⁷ самый *вписано*.
⁷⁻⁸ в первый раз *вписано*.
⁸ *После*: нами — бессознательно
⁸ прихотливый / гнилой (?)
¹¹⁻¹³ Мы в недоумении ∞ с нее / *а. Начато*: Когда мы сперва?) *б.*
 Мы в недоумении стали перед европейским направлением нашим.
 чувствовали, что не могли отстать от него
¹⁵⁻¹⁶ настоящим образом ∞ с родной почвой / [стали] сознали себя вполне
 русскими и бессознательно почувствовали, что трудно [развивать]
 разрывать связь с народом)
¹⁸⁻¹⁹ прерывают / отвечают)
¹⁹ *ученые* / желтые ◊
²² *После*: начинается — *начато*: сознательное)
²⁴ потому-то *вписано*.
²⁶ вдруг / как будто
²⁹⁻³⁰ первым началом / и началом
³⁰ *Над словами*: когда паша — *начато*: уже потоком)
³¹ потом *вписано*.
³³ народное / народность
³⁴ появления / явления
³⁵ Тогда / Мы тогда
³⁷ *После*: с насмешкой — стали впервые сознавать себя русскими
³⁸ *После*: русским — и вернуться на родную почву
³⁹ начали / стали
⁴⁰ *После*: образом — стали
⁴⁴ можем быть *вписано*.
⁴⁸ с горя *вписано*.

- ²⁻³ Скептицизм Онегина / Этот скептицизм уже не
⁶ что на свете ∞ делать / что пути ему все заказаны ◊
⁶⁻⁸ что на свете ∞ ее / все пустоты внешних форм европейской цивилизации
⁸⁻⁹ Тип Онегина / Он
⁹⁻¹⁰ образоваться ∞ нашем / вырасти в том обществе
¹²⁻¹³ У Пушкина ∞ черта *вписано*.
¹³⁻¹⁵ В этом обществе ∞ англичан / Мы говорили на всех языках, и в то же время почувствовали, что мы не французы, не немцы, не англичане
¹⁶ *После*: дело — *начато*: они у
¹⁶ *После*: нигде — *было*: *а. Начато*: И это, разумеется, всё это должно было выразиться в обществе богатым и наиболее свободном от пут житейских [материально] *б. Начато*: Разумеется, *в. Начато*: Тип Онегина должен был явиться в обществе праздном, т. е. в высшем [в таком обществе], не связанном материально, в обществе богатым и наиболее свободном от житейских пут
¹⁷⁻¹⁸ Онегин ∞ не уважает его. / *а.* Онегин принял цивилизацию, недостаточно уважая ее. *б.* В этом-то обществе Онегин и принял цивилизацию, недостаточно уважая ее.
¹⁸ в то же время / в то же время он
¹⁸⁻¹⁹ сомневается ∞ останавливается / сомневался, колебался. Он уже сознает себя русским и в недоумении становится
¹⁹ жизни / нашей жизни
²¹ эту идею, эту борьбу / все эти идеи, жизнь столичная, ветренная, бессмысленная начала ему претить. Случай бросил его в деревню. Он достаточно сознал, что нечего уважать умирающего дядю за то

только, что он дядя. Но он уж слишком цинично говорит о нем. Из этого первого монолога видно, что у этого господина всё прежнее прошло, всё потеряно, он ничего достаточно не уважает. Но в «скупности»

- 23-24 А между тем ∞ жаждет / Но в сущности так ли это? Не жаждет ли его душа
23 он / ведь он
23-24 пред ∞ убеждением / перед новым верованием ♦
24 *После:* душу — а. Он заводит знакомство с Ленским. Он не может не любить его, но явно перед ним тонирует. Он не уважает его восторга, в душе смеется над ним, в то же время спорит с ним, *снисходит* до этих споров. 5. Он встречается с Ленским. Он не может не любить его, но явно над ним ломается. Он видимо не уважает его восторга, смеется над ним, и в то же время спорит с ним, *снисходит* до этих споров. Стало быть, он не совсем над ним смеется. ♦
25 *После:* не устоять — ему суждено выражать *свои*
25-26 никогда ∞ наивным / а. ни фатом, ни новым человеком б. никогда прежним [пустым светским] человеком, легкомысленным. не сознаю щим себя и наивным ♦
26-28 во он ничего ∞ жизни / а. Он ничего не разрешит; он мало увидит, мало во что и верует, но страдать будет. Одним словом, выразит вполне свою эпоху. Является Татьяна б. *Далее начато:* Вот поэзия, перед которым / эпохе, в которой
31 созданием / началом
32 *После:* Ленского — было: а. но он его застрелил из тщеславия, из предрассудка. Он всё это сознал потом сам, сознавал даже и во время убийства, он в истине — и колебался. Он сознавал, что кто колеблется в истине, тот почти всегда раб глупых предрассудков. б. он застрелил его из фатства, из тщеславия, из предрассудка. Он всё это сознавал даже во время убийства. ♦
36-37 Начинаются ∞ агония / И вот начинаются его мучения, его путешествия.
37-38 Проходит молодость ∞ взяться *записано.*
39 Нет это / Но хоть бы и
40 не знает даже ∞ и любить *записано.*
46-47 Но он ∞ ни себя / а главное, он не уважает себя
47 не уважает даже / ни даже

Стр. 12.

- 3-4 в между тем ∞ не умеет / и даже эгоистом-то непостоянным
4 был ∞ эгоистом / слишком любил себя
7 среди неразрешенных *записано.*
10 в прежние идолы / к прежним идолам ♦
12 не разбиваемое / не разбиваемого ♦
17-18 вошел ∞ и развиваться / уцелел в обществе и пошел перерождаться и («рзб.») с ним
21-22 в то же время *записано.*
22 И всё та же / Та же
23 вечное роковое *записано.*
25-26 которая приводит ∞ смерти *записано.*
27-28 И всё ведь это ∞ жизни. / а. Это ярко и народно выражало собою развитие и ход [общества] нашего общества. б. И всё ведь это действительно повторялось в нашей жизни.
28 потом *записано.*
30 ни в чьей / ни в какой ♦
32 пред / перед ♦
32 уморив себя сам *записано.*
33 *Слов:* и в точности определить — нет.

- 33 над которым бы / над чем не
- 35-37 Рудин и Гамлет ∞ спасает их. / *а. Начато:* Мы уже знаем, что быть б. Рудин [уже] и Гамлет Щигровского уезда уже не смеются над своей деятельностью, они только смеются над самими собою
- 37-38 Они только смеются ∞ себя *вписано.*
- 39 бескорыстно выстрадали / страдали. *Далее было:* Но прошли и Рудины (потому что они уже прошли) и мы уже знаем, что делать. . .
- 39 В наше время / Но в наш век
- 40 *После:* Рудины — *а.* мы уже знаем, что делать. . . б. Наши Рудины теперь знают, что делать. . . ◊
- 41 *После:* помилуйте — мы с вами и не спорим
- 41 ученый / желтый ◊
- 41 *После:* журнал — Положим, что всё это верно.
- 41-42 где же, в чем / *а.* Но где же б. Где же, в чем
- 44 *После:* Краевский — *начато:* сказки
- 44-46 стараясь ∞ Дудышкину *вписано.*
- 46 *Слов:* ну и всё прочее — *нет.*
- 47 поспешно / быстро
- 48 своего ∞ части *вписано.*
- 48 по критической части / *а.* по критической части журнала б. *Начато:* по изданию жел<того> в. по критической части: где же тут

Стр. 14.

- 4-5 Ну что ж это за ∞ его поэзии / Ну что ж, если ничего еще из поэзии Пушкина
- 6 А вот / А, так вот
- 8 *После:* за дело — *а.* что они б. до народности
- 8-9 в этом случае, что *вписано.*
- 11 Ведь / Но ведь
- 12 тот же / тоже
- 18 *После:* бывало — Вот смешные требования
- 18 Трудно ∞ себе / Да вы и представить себе не можете
- 18-19 *После:* поэта — Просто нельзя представить его себе!
- 21-23 потому что ∞ интересы. *вписано.*
- 23 сознания / непонимания
- 27 определяете / считаете
- 31 «образованные» *вписано.*
- 34-35 уже не греки / уже не те
- 37 то есть сами признаемся / *а.* признаемся сами б. то есть признаемся сами.
- 40 чисто *вписано.*
- 41 не давали / не дают
- 43 русского *вписано.*
- 45 по той же дороге *вписано.*

Стр. 14—15.

- 18-2 Но из этого ∞ переродились *вписано.*

Стр. 15.

- 5 во Пушкин, бывши / и Пушкин, бывший
- 6 *После:* поэт — и может быть и вполне, потому что остальная часть народа, если пойдет по нашей дороге, то непременно должна перейти через Пушкина, к какому бы результату она не дошла. . . Петром Великим мы были разьединены.
- 9 *После:* идеалу — *было:* Беранже точно народный поэт, но он имел влияние
- 14 народонаселения / франц<узского>
- 15 заинтересованы / интересовались
- 23 он будет иметь / он имеет
- 26 и самая большая *вписано.*

²⁷ в том / а. в движении б. *Начато*: в общественном

²⁹ *Слова*: во-пе; вых — нет.

³⁵ *После*: современное — *начато*: отрешившееся

³⁷ знало / знало и понимало

³⁷ *После*: Булгарин — Нет, оно увидело во всем русского и вполне русский дух.

³⁸ Разумеется *вписано*.

Стр. 16.

⁶ *Слов*: Оно и грамоте не умеет — нет.

⁸ для нее / для них [♦]

⁹ для нее / для них

⁹ одним из главнейших провозвестников / провозвестником

⁹⁻¹⁰ *После*: общечеловеческих — европейских

¹¹⁻¹³ а это-то ∞ дома *вписано*.

¹⁶ *После*: Пушкина — [Как] А [кто] какой другой может быть народный поэт? [Есть] Действительно, такой поэт мог бы явиться и в самом простонародье и в таком случае выразил бы [всю] сущность [всего] простонародья, но не возносясь над ним отнюдь, а [если] приняв всё существующее за норму, за идеал. Но такого поэта не может быть среди движения. Русь рвется к движению и развитию и может только производить таких народных поэтов, как Кольцов, который несравненно выше массы своим развитием и более народный поэт для высшего общества, чем для низшего. Неужели Пушкину было идти к народу и, заговоря его языком (что он очень бы сумел сделать), скрыть от народа свое развитие, заговорить его понятиями, иногда исконными и предрассудочными его верованиями, всем тем, что он любит и уважает и что ненавидит. [Напротив] Народ почти всегда прав в основном начале своих чувств, желаний и стремлений; но дороги его во многом неверны, ошибочны, и, что плачевнее всего, [противуречивы] форма идеалов народных часто именно противуречит тому [что], к чему народ стремится. Всё это происходит от невежества. Пушкину предстояло или учить его (что было пелепо и несвоевременно). Каким же подлецом представляете вы себе народного поэта [если он не] в таком случае? [Да наконец] Чему бы он должен был поддакивать? Нет, Пушкин был <в> высшей степени народным поэтом, но, конечно, для той части русского народа, который участвовал в движении и развитии, и будет народным поэтом для всех тех, которые будут участвовать в движении и развитии. А мы надеемся, что в этом будут участвовать совершенно все.

«Русский вестник», между прочим, [ставит в большой] не отдает чести Пушкину, потому что он неизвестен в Европе; потому что Шиллер, Шекспир, Гете проникли всюду в европейские литературы и [много каждый из них при] привнесли в общечеловеческое европейское развитие, а Пушкин нет. Какие смешные требования. Не говоря уже о том, что и самый <не закончено> Зависело ли это от Пушкина? *Рядом с этим текстом на полях вписано*: Может быть, да, но Пушкину нельзя было быть таким простонародным поэтом. Куда скрыть свое развитие? Но тот, простонародный, был бы не сильнее его и далеко не выразил бы того, что выразил Пушкин. Он мог быть сильнее, но горизонт его был бы уже <2-3 нрб.>.

¹⁸⁻¹⁹ по своему развитию / своим развитием

¹⁹ *После*: поэт — Но он выразил бы

²⁰ свою / всю свою

²¹⁻²² *После*: за идеал — Пожалуй, он мог бы непосредственно и, так сказать, созерцательно изобразить нам среду свою.

²²⁻²⁴ Его поэзия ∞ самого пения *вписано*.

²⁴ Мог бы он / Во-вторых, мог он

²⁶⁻²⁶ и изобразить ∞ какое-нибудь / то есть изобразить в какой-нибудь момент народной жизни какое-нибудь

- 29 *После*: узок — Развитие его было бы слабое и почти наверно ошибочное. Конечно, давай бог таких поэтов, они, пожалуй, выразили бы скалу <?> простонародья в данный момент его развития, но ведь это было бы очень немного для познания всего народа сравнительно с Пушкиным.
- 30 Во всяком случае ∞ его *вписано*.
- 33-34 непременно *вписано*.
- 35-36 Пушкин ∞ на которой / Неужели Пушкину, для того только чтоб быть
- 36-37 простонародьем / народом
- 38 непременно *вписано*.
- 43 *Слова*: противоречит — *нет*.
- 44 Пушкину / ему бы
- 45 странным вещам *вписано*.
- 45 себя / свои знания
- 45 Пришлось ∞ себя / Как коварно скрывать иногда свою душу
- 46 хитрецом / подлецом ◊
- 47 *Слов*: и даже — *нет*.

Стр. 17.

- 1 Но, положим, наконец / С нами, может быть, будут не соглашаться: скажут
- 6-8 Во всяком случае ∞ Пушкин / а. Положим, можно. б. *Начато*: Во всяком случае, для такой деятельности в. Для такой деятельности г. В <нрзб.> действительно можно д. Но Пушкину, например
- 8 надо было бы бросить / надо, во-первых, родиться [для этого] в другое время, во-вторых, бросить
- 9 *После*: назначение — в-третьих. непременно
- 10 намеренно *вписано*.
- 10 *После*: кругозор — и свою деятельность
- 11 своей великой деятельности / самого себя
- 13 об ней / об этом
- 14 *После*: поэзию — *начато*: Как же
- 19 Какое детское требование! / а. Следственно, Пушкин и вовсе не смеет такого великого <не закончено> б. *Начато*: странные
- 20-34 *Рядом с текстом*: Не говорим ∞ родной — на полях *вписано* и *зачеркнуто*: и следств(енно), может быть, и войдут во всеобщ(ую) челове(ческую) деятельность через Россию. Россия молода, но это не важно.
- 22 Они известны во Франции / Известны лишь
- 23 большею частью *вписано*.
- 25 *Слов*: и то только — *нет*.
- 26 Шекспир / он
- 30 вероятно / кажется
- 42 провозвестников / предводителей
- 46-47 Не то что ∞ не знают *вписано*.
- 46-47 а даже имени-то / а имени даже
- 47 после этого знать / знать после этого

Стр. 18.

- 2 не слушает / улыбается
- 10-11 *После*: иностранцами-то — Кто знает, может, мы-то и внесем общечеловеческое, скрепляющее движение в Европу. Да и не только Пушкина, но, может быть, и Шекспира, и Шиллера, и Гете [узнает] поймет Европа [только] настоящим образом только [от] через нас. ◊
- 12 но / но ведь
- 19-20 доказать / доказывать
- 21 народа *вписано*.
- 29 назначение / значение

- 30 шел / угадал
 35 основным образом *вписано*.
 37 реформы *вписано*.
 39-40 за преобразователем *вписано*.
 43 *После*: цивилизации — Проявление ее в нем можно видеть иногда в разгулах пных купеческих сынков. ♦

Стр. 19.

- 1 стойко / величаво он
 1 умел / величественно умел
 8 привела / сознательно привела
 23 английских *вписано*.
 26 напрогив *вписано*.
 28 начинает ∞ будущее / предчувствуется будущее
 28 *После*: будущее — Цивилизация, лишившая нас, таким образом, европейского гражданского устройства, именно основанного на враждебном разделении сословий, тем самым указала нам на чрезвычайно яркую особенность нашего будущего развития: на слитие сословий воедино. ♦
 29 *Слов*: сословий воедино — нет.
 29 выразился / будет
 29 *Слова*: яснее — нет.
 33 *После*: тают в ней — [понятия] остаются одни только русские. Наше высшее общество, например, конечно, не могло и прежде создать из себя аристократию, [по примеру] а тем более после реформы Петровой. Оно никогда не имело самостоятельности, хотя и имело значение.
 37 Настоящее *вписано*.
 37-38 *После*: образованное — Образование сделалось теперь нашей стихией, жаждой, [Разумеется] пищей. Оно стоит теперь на первом плане всех наших потребностей и дошло до самого высшего [государствен<ного>] своего значения. ♦ *Далее было*: Разумеется, оно должно быть в настоящую минуту и наиболее усиленное. Да и вообще [стесненные образования] всякое ограничение <не закончено>
 39 в обществе *вписано*.
 42-43 то при малом ∞ самоучкой / а. *Начато*: то наука б. то желающие учиться учатся сами, без подде^ржки?>
 44-45 неудачно / неправильно
 46 ложные / неправильные, ложные
 46 прививаются к обществу / прививаются в обществе
 47-48 впоследствии ∞ в скорости / иногда неприятные

Стр. 20.

- 2 У настоящей / У всякой
 4 *После*: учащегося — *начато*: Он имеет силу
 13 ту же самую европейскую / эту же
 16 возвращаемся на нашу почву / идем к народу
 17 *Вместо*: общечеловеческого — *начато*: об европ<ейском?>
 18 привела / довела
 18-19 которую ∞ отвергаем *вписано*.
 23 нашему дальнейшему / нам
 24 на родную нашу почву / к народу
 26 *После*: сделало — *начато*: Передаем же
 27 приняв от нас науку / приняв это образование
 28 в развитии ∞ настояще-русском *вписано*.
 29 *После*: новыми — гигантскими
 29 от / из
 29 вступить / вступим
 31-33 Знание не перерождаст ∞ человека *вписано*.
 33 Оно не сделает и русского / Образование не может сделать русского
 36 конечно / конечно, скажет

ПРИМЕЧАНИЯ

В девятнадцатом томе Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского публикуются продолжение цикла «Ряд статей о русской литературе» (две первые его статьи «Введение» и «Г-н — бов и вопрос об искусстве» см. в томе XVIII) и другие вышедшие из-под пера Достоевского материалы журнала «Время» за 1861 г., где они были напечатаны анонимно (об авторстве Достоевского в отношении этих материалов см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 208—210, а также примеч. к отдельным статьям данного тома). Кроме того, в данном томе помещены воспроизводимые впервые варианты наборной рукописи статьи «Книжность и грамотность».

В разделе «Приложения» печатаются: 1) статья «Вопрос об университетах», замыкающая в журнале «Время» «Ряд статей о русской литературе» и являющаяся его неотъемлемой составной частью (все остальные статьи этого цикла во «Времени» 1861 г. принадлежат Достоевскому; данная же статья, вероятно, представляет плод коллективного творчества, но при его несомненном участии — см. об этом ниже, стр. 337—339); 2) редакционные примечания из журнала «Время» за 1861 г. Примечания эти не могут быть обычно в каждом отдельном случае с уверенностью приписаны Ф. М. Достоевскому или другому члену редакции «Времени», однако они характеризуют общую позицию редакции, где Достоевскому, как правило, принадлежала руководящая роль. К этому следует прибавить что (это впервые отметил Б. В. Томашевский) обилие редакционных примечаний — характерная черта всех номеров журналов, редактировавшихся при участии Ф. М. Достоевского, вплоть до «Гражданина» 1873—1874 гг. (1926, т. XIII, стр. 569). Соображения об авторстве отдельных примечаний (поскольку подобные соображения могут быть аргументированно высказаны на основании материала, которым мы располагаем) и о вероятности участия в их написании Ф. М. Достоевского см. в комментариях к данному тому.

О журнале «Время», истории его организации, участии в нем Ф. М. Достоевского, а также об его отношении к статьям, помещенным в журнале анонимно, см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 203—212; ср.: *Нечаева, «Время»*.

Текст статей и фельетонов данного тома подготовили: В. А. Туниманов («Ряд статей о русской литературе», редакционные заметки, примечания и объявления), Т. И. Орнатская (варианты к «Ряду статей», «Другие редакции»), И. Д. Якубович («Петербургские сновидения в стихах и прозе»), А. И. Батюто («Образцы чистосердечия». «Свисток» и «Русский вестник»), «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика», «По поводу элегии»

ческой заметки. . .», «Рассказы Н. В. Успенского», Г. В. Степанова («Выставка в Академии художеств за 1860—61 год», «Вопрос об университетах»).

Примечания составили: В. А. Туниманов («Ряд статей о русской литературе», объявления об издании «Времени» и другие редакционные заметки и примечания, кроме перечисленных ниже); И. Д. Якубович («Петербургские сновидения в стихах и прозе»); А. И. Батюто («Образцы чистосердечия», «„Свисток“ и „Русский вестник“», «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика», «По поводу элегической заметки „Русского вестника“», «Рассказы Н. В. Успенского»); Н. А. Хмелевская («Примечание к «Письму о Васильевского острова»»); Г. М. Фридендер («Предисловие к публикации «Заключении Казаповы . . .», «Приписка к статье Н. Н. Стрхова «Нечто о Шиллере»», «Примечание к статье «Процесс Ласенера»», «Выставка в Академии художеств за 1860—61 год», «Вопрос об университетах» — при участии Е. И. Семенова); М. А. Турьян («Предисловие к публикации «Три рассказа» Э. Поэ»); Г. В. Степанова (обзор критики (стр. 319—321) и реальный комментарий к статье «Выставка в Академии художеств за 1860—61 год»)

В. А. Туниманов участвовал также в редактировании комментария. Редакционно-техническая работа осуществлена Г. В. Степановой.

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Том XVIII. стр. 41; том XIX. стр. 5)

КНИЖНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

(Стр. 5)

Источники текста

НР — Наборная рукопись отрывка первой статьи. 8 листов, 1861 г. Авторская нумерация листов: 2, 3 и 4. На л. 1 — набросок плана статьи. Хранится: ГБЛ. ф. 93.1.1.3; см.: *Описание*, стр. 118. Публикуется впервые.

Вр, 1861; статья первая — № 7, отд. II, стр. 35—52; статья вторая — № 8, отд. II, стр. 91—130, без подписи (ценз. разр. — 22 июня и 3 июля 1861 г.).

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, №№ 7, 8. В собрание сочинений впервые включено в изданиях: 1883, т. X, отд. I, стр. 75—130.

Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями по *НР*:

Стр. 9, строка 5: «не узнаю ее» вместо «не знаю ее».

Стр. 11, строка 26: «легкомысленным, не сознающим» вместо «легкомысленно не сознающим».

Стр. 19, строки 5—6: «мы-то, может быть, и назначены» вместо «мы-то можем быть и назначены».

«Книжность и грамотность» — трактат, состоящий из двух статей, тесно связанных между собой и спаянных несколькими сквозными идеями, планомерно проводимыми Достоевским-публицистом. В первой Достоевский освещает проблемы народа и чтения для народа в теоретическом аспекте, противопоставляя свою точку зрения на них позициям «Русского вестника», «Отечественных записок» и — в меньшей степени, косвенно — славянофильским изданиям. Писатель вновь повторяет в более сжатой форме тезисы из объявления об издании «Времени» и «Введения» к «Ряду статей» об особенном (отличном от Европы) положении дел в России, обуславливающим и иные перспективы ее общественного развития: «... английских лордов у нас нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже развиваться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь покамест еще всё в брожении, ничто вполне не определилось, но зато начинает уже предчувствоваться наше будущее. Идеал этого слития сословий воедино выразится яснее в эпоху наибольшего всенародного развития образованности» (стр. 19). Утопический

элемент этой концессии очевиден: по-прежнему надежды Достоевского сводятся к формуле «путь мирный, путь согласия, путь к настоящей силе». Одновременно он вновь настойчиво подчеркнул отличие своего понимания исторического развития России от славянофильского, особенно в вопросе о смысле и значении реформ Петра I. Но главное в статье — не очередное повторение уже известных читателю «Времени» тезисов о мирном, согласном, внесословном развитии России и об исчерпанности реформ Петра I, достигших «окончательного развития». В центре статьи — размышления Достоевского о бездне, разделяющей цивилизованные слои общества и массу «простонародья», думы о том, каким образом возможно ликвидировать этот раскол. Достоевский не был одинок, обратившись к этой волновавшей его проблеме. О ней давно говорил молодой Белинский, а затем славянофилы, звавшие назад, в допетровскую Русь, казавшуюся им царством самобытности и внесословности, обвинявшие Петра I за то, что он насильно повернул Россию на «западный» путь развития, расколовший русское общество на «публику» и «народ». Этой славянофильской классификации Достоевский не признавал и в «публике» видел тот же русский народ, но только приобщившийся к европейской цивилизации, вкусивший плоды ее и ныне, после двухсотлетних странствий, пришедший к идее необходимости слияния с другими сословиями. Достоевский разделял мнения тех публицистов, которые трезво и реалистично смотрели на трудности, стоящие перед добродетелями-просветителями из образованных слоев общества, стремящимися перебросить мост через образованную столетиями пропасть. «Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности», — утверждал, например, Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (Добролюбов, т. II, стр. 228). По-видимому, внимание Достоевского привлекла и сильная, пронизанная скептическим отношением к кабинетным рассуждениям о народности статья Д. И. Писарева «Народные книжки» (РСЛ, 1861, № 3). Писарев полемически обрушился здесь на либеральных «теоретиков» и «фразеров», эксплуатирующих модную тему необходимости народного образования: «Говоря вообще, мы плохо понимаем требования народной жизни, хотя и много кричим на эту тему Теоретики, фразеры, реформаторы с высоты величия отвлеченной мысли, доктринеры, фанатики, готовые умереть на словах за честь своего знамени, энтузиасты, крикуны и махатели руками расплодился неизменно в нашем рассыропленном обществе» (Писарев, т. I, стр. 57).

Соглашаясь с публицистами «Современника» и «Русского слова» в выводах о глубине пропасти, разделяющей цивилизованное общество и народ, Достоевский в отличие от них верил в возможность союза лучшей части дворянской интеллигенции и «почвы»: «Мы оптимисты, мы верим. Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования; а когда что-нибудь стало насущною необходимостью, то, разумеется, делается».

Первая статья «Книжность и грамотность» появилась после статьи Г-н — бов и вопрос об искусстве» через четыре месяца. В период между этими выступлениями Достоевский преимущественно полемизировал с журналом М. Н. Каткова (в статьях «Образцы чистосердечия», «„Свисток“ и „Русский вестник“», «Ответ „Русскому вестнику“», в приложении к «Письму с Васильевского острова»). Продолжит он полемику в «Русском вестнике» и в статье «Книжность и грамотность»,¹ где поводом явится спор «Отечественных записок» и «Русского вестника» о народности, представляющийся Достоевскому таким же комическим недоразумением, как и дискуссия между

¹ В том же июльском номере появится еще одна антикатковская статья Достоевского — «Литературная истерика», а в октябрьском — «По поводу элегической заметки „Русского вестника“» (о полемике Достоевского с Катковым см. также ниже, стр. 292—298, 330—334).

обими журналами о значении Пушкина. Достоевский переводит разговор о народности на разбор мнений современной литературной критики о Пушкине: полемизирует он прежде всего с Дудышкиным как автором статьи «Пушкин — народный поэт» (*ОЗ*, 1860, № 4) и обзоров «Русская литература» (*ОЗ*, 1861, №№ 2 и 4). Но одновременно Достоевский затрагивает ряд статей и молебнических заметок Каткова: «Пушкин» (*РВ*, 1856, № 1, кн. 1, стр. 155—173; кн. II, стр. 306—325; № 3, кн. II, стр. 281—311);¹ «Наш язык и что такое свиштуны» (*РВ*, 1861, № 3); «Одного поля ягоды» (*РВ*, 1861, № 5). В «чудовищной», по определению Достоевского, статье Дудышкина, повторяя старый упрек по адресу поэта в зависимости его «Бориса Годунова» от Карамзина, Дудышкин выражал общее сомнение в его народности: «... ни один собиратель народных песен и сказок не встретил в народе пушкинского стиха. Народу до сих пор чужд Пушкин» (*ОЗ*, 1860, № 4, стр. 58).² Дудышкин придавал большое значение своей статье и в февральском обзоре русской литературы обижался, что на нее «до сих пор не последовало ответа, который бы можно было назвать литературным ответом» (*ОЗ*, 1861, № 2, стр. 72). В апрельском обзоре Дудышкин, обращаясь к «Времени» и «Русскому вестнику», вновь жаловался на то, что они «отошли от вопроса, предложенного нашей эстетической критике: насколько в Пушкине *народного в настоящее время?* Даже самый-то вопрос был не понят, а ответа, конечно, не последовало и до сих пор, хотя вет ровно уже год, как вопрос этот предложен. А вопрос был предложен прямо и, кажется, ясно: требовался ответ о народности первого русского поэта в политическом, общественном, нравственном и эстетическом отношениях, потому что в наше время слово „народность“ обнимает всё это» (*ОЗ*, 1861, № 4, стр. 134).

«Разве не скандал в своем роде статья Дудышкина о Пушкине, — статья, которая сама себя испугалась и поспешила умолкнуть?» — отвечал на первую статью Дудышкина автор «Письма Постороннего Критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“» (*ВР*, 1861, № 1, стр. 49).³ Имя Пушкина было священным для журнала, и уже сам вопрос о народности его творчества казался Достоевскому кощунственным. «Ему было дано непосредственное чутье народной жизни и дана была непосредственная же любовь к народной жизни. Это — вопреки появившемуся в последнее время мнению, уничтожающему его значение как народного поэта, мнению, родившемуся только вследствие знакомства наших мыслителей с народной жизнью из кабинета и по книгам, — неоспоримая истина», — оспаривал мнение Дудышкина А. Григорьев в статье «Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 2—3). Достоевский целиком разделял такой взгляд.

Катков воспользовался статьей Дудышкина для нападков на Добролюбова и «Современник», похвалив «Время», вступившее за поэта. Однако и он, подобно Дудышкину, отверг народность Пушкина, прибегнув для этого к сравнению русского поэта с гениальными художниками Европы: «Он бесконечно дорог для нас, — но, к сожалению, только для нас и ни для кого более (...). Все эти залого и внутренние основания надежд, всё это наша домашняя тайна, до которой никому еще нет дела; всё это еще требует окончательной пробы жизни для того, чтобы явиться с полными правами действительности. Зачем спорить, когда дело перед глазами и стоит лишь взглянуть на него? Пушкин великий поэт, и мы чувствуем, что по силе творчества он не уступит никому; но пусть скажут, соответствует ли всё им сделанное тем силам, которые в нем чувствуются, и пусть также скажут, что значи-

¹ Достоевский еще 13 апреля 1856 г. писал А. Е. Врангелю: «„Русский вестник“ напечатал вступление к разбору Пушкина Каткова, где идеи совершенно противоположны моим».

² О статье Дудышкина и вообще о борьбе вокруг Пушкина в 1860-е годы см. статью В. Б. Сандомирской и Б. П. Городецкого в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 50—77.

³ Аналогичная мысль содержится и в «Письме с Васильевского острова в редакцию „Времени“» (*Вр*, 1861, № 4, стр. 149).

Пушкин для остального мира, между тем как везде, а равно и у нас, видим мы могущественное влияние Байронов и Шиллеров? Дело не в личных силах того или другого писателя, а в той жизни, которой он служит органом, в той идее, которую он носит, в том значении, которое имеет его слово для человечества. Пушкин действительно выразил момент жизни нашего общества, и мы чувствуем попятные нам указания этой жизни; он, может быть, коснулся и более глубоких основ ее, которые могли бы иметь всемирное значение, но эти намеки неясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны; мы сами сомневаемся и спорим об их значении» (РВ, 1861, № 3, стр. 17). Эти слова Каткова вызвали одобрение Дудышкина (ОЗ, 1861, № 6, Литературное обозрение, стр. 46).

Горячо полемизируя с «Русским вестником» и «Отечественными записками», Достоевский не соглашается в вопросе о Пушкине и со словами Белинского, цитировавшимися в обзоре «Русская литература» (ОЗ, 1861, № 6, стр. 31): «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу, или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом. . . Нам кажется, это только вполонину. Народный поэт — тот, которого весь народ знает, как, например, знает Франция своего Беранже; национальный поэт — тот, которого знают все сколько-нибудь образованные классы, как, например, немцы знают Гете и Шиллера. Наш народ не знает ни одного своего поэта, он поет себе досель „Не белы-то снежки. . .“, не подозревая даже того, что поет стихи, а не прозу. . .» (Белинский, т. VII, стр. 332). Достоевский отвергает попытки измерить народность творчества Пушкина уровнем развития читающей массы народа, как и той средой, в которой поэту суждено было жить. Полемизируя с приведенными словами Дудышкина, Достоевский утверждает, что «все политические, общественные, религиозные и семейные убеждения» своего народа не выразили ни Беранже во Франции, ни Гете и Шиллер в Германии, ни Шекспир в Англии. По Достоевскому, ошибочны вообще абстрактные рассуждения о «всеевропейском» значении этих художников: писатель противопоставляет подобным абстрактным рассуждениям неоспоримый и особенно показательный, с его точки зрения, факт: все они были усвоены русским образованным обществом. стали ему родными, неотделимыми от роста его общественного самосознания. Достоевский придавал огромное значение этому явлению на протяжении всего послекаторжного периода творчества; видел в органическом усвоении поэтической мысли гениев разных европейских народов ярчайшее подтверждение пластичности и восприимчивости, всеотзывчивости русской натуры. И то, что русское образованное меньшинство оказалось способным к такого рода духовному, полному, совершенному усвоению европейского наследия, в глазах Достоевского являлось свидетельством его народной сущности. «Инстинкт общечеловечности», присущий вообще русскому народу, в верхнем слое общества обнаружился в интенсивном и сознательном приобщении к европейской науке и европейскому искусству. В Пушкине это стремление нашло свое наиболее полное и законченное выражение, в этом тайна и главный смысл его народности, более того — именно поэтому он явление «неслыханное в беспримерное между народами». Таков ход мысли Достоевского, объясняющий, почему он разговор о грамотности, просвещении и народности перевел в плоскость спора с Катковым и Дудышкиным о смысле и сущности творчества Пушкина.

Достоевский не ограничивается выражением несогласия с мнением современной критики о Пушкине. Избирая тот же угол зрения для анализа явлений литературы, что и во «Введении», он прослеживает по произведениям поэта этапы «русской сознательной жизни». Из произведений Пушкина в центр своих рассуждений Достоевский ставит «Евгения Онегина», но спорит с различными толкованиями «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Повестей Белкина».

Пolemическое начало разбора Достоевским «Евгения Онегина» очевидно, оно указано самим автором: «Онегин, например, у них тип не народный. В нем нет ничего народного. Это только портрет великосветского шалолая

двадцатых годов» (стр. 9). Достоевского возмутили слова М. Н. Каткова о Евгении Онегине и Печорине в статье «Пушкин»: «Онегин — праздношатающийся и скучающий чудак, который одним только серьезно занят — наукой любви и, по уверению поэта, достиг в ней глубокой премудрости; пустой фат, а впрочем, добрый малый, из которого могло бы выйти что-нибудь и более путное, чего уж никак нельзя сказать о преемнике его Печорине. Онегин еще только может быть Печориным, но может быть и чем-нибудь другим, а в героис Лермонтова вполне назрело нравственное ничтожество и заглубело в неприглядном эгоизме» (РВ, 1856, № 3, кн. 11, стр. 303) А в статье «Наш язык и что такое свистуны» Катков, поучая «Время», писал: «Мы еще продолжаем поднимать вопрос, не глупо ли поступила Татьяна Пушкина, что поставила долг выше влечения страсти и не бросилась на шею к притупленному франту, который воспылал к ней страстью, когда она стала ему недоступна» (РВ, 1861, № 3, стр. 17—18). Отпор у Достоевского вызывает и мнение Н. И. Костомарова о Пушкине и его романе: «Если у великоруссов был истинно великий, гениальный, самобытный поэт, то это один Пушкин. В своем бессмертном, великом „Евгений Онегин“ он выразил одну только половину великорусской народности — народности как называемого образованного и светского круга» (Н. И. К о с т о м а р о в. Две русские народности. — «Основа», 1861, № 3, стр. 68). Костомаров стеной отделил друг от друга две русские народности, он считал нелогичным судить о художественной восприимчивости и фантазии русского народа по творчеству первого поэта образованного меньшинства. Дудышкин в апрельском обозрении «Русская литература» сочувственно цитировал Костомарова, приводя его доводы как аргументы, ставящие под сомнение положения статьи Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“»: «... скудость великорусского воображения, которое отражается и в песне, и в изображении женщины, и в отшопеии любви к природе, и в понятии о любви, — составляет характеристику нашей народности, извлеченную из изысканий исторических, которые мы не можем назвать поверхностнымп. И та же характеристика народа, сделанная нашими критиками-эстетиками по художественным произведениям Пушкина, выходит совсем иной. Если мы будем судить о самих себе по Пушкину, как представителю лучших свойств русской природы, наш народ окажется озаряемым громадной фантазией; если судить по всему тому, что донесла до нас старина, народ наш окажется, как уверяет г-н Костомаров, скудно наделенным фантазией». И далее Дудышкин вопрошал: «Откуда такие противоречия?» (ОЗ, 1861 № 4, стр. 143). Достоевский решительно отклоняет такого рода логику, считает ложным весь ход мысли и Каткова, и Костомарова, и Дудышкина от начала до конца. Онегин — «тип исторический», в его скепсисе, эгоизме, колебаниях, сомнениях отразилась целая эпоха развития общества: «Это первый страдалец русской сознательной жизни» (стр. 14). Предваряя свою Пушкинскую речь 1880 г., Достоевский прослеживает этапы развития онегинского типа, разъясняя его значение и народность. Достоевский определяет народность по Гоголю и Белинскому, сочувственно процитированному слова Гоголя об «истинной национальности» и далее примененному их к «Евгению Онегину»: «Разгадать тайну народной психики — для поэта значит уметь равно быть верным действительности и низших, и средних, и высших сословий. <... > И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, значит оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности» (Белинский, т. VII, стр. 439).

К этим мыслям восходят сопоставления Достоевским возможного будущего «настоящего простонародного поэта» с Пушкиным и его вопросы: «Разве с развитием народа исчезнет его народность? Разве мы, „образованные“ уж и не русский народ?» (стр. 14).

Онегин, в интерпретации Достоевского, отразил сильное, хотя и неопределенное движение образованного общества к «почве». Прослеживая стадии «перерождения» типа «лишнего человека» от Онегина и Печорина до Рудина и Гамлета Щигровского уезда, Достоевский резюмирует: «Они много бескорыстно выстрадали... В наше время прошли уж и Рудины...» (стр. 12).

Слова Достоевского — перекликаются с тезисами статьи Герцена «Very dangerous!!!»: «... Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный тип лишнего потерянного человека, только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах <...> Но время Онегиных и Печоринных прошло» (Герцен, т. XIV, стр. 118—119). Герцен вынес эти слова из «Very dangerous!!!» в эпиграф другой статьи, привлекая особое внимание Достоевского и редакции «Времени», — «Лишние люди и желчевики» (см. об этом: наст. изд., т. XVIII, стр. 243). В ней Герцен писал, предопределяя частично содержание этюда Достоевского о типе Онегина: «Лишние люди были тогда столько же *необходимы*, как *необходимо* теперь, чтоб их не было» (Герцен, т. XIV, стр. 317). Мысли писателя о лишних людях — тоже в своем роде, как и у Герцена, их защита, но полемизирует он в статье «Книжность и грамотность» с «Русским вестником» и «Отечественными записками», а не с «желчевиками» и «Невскими Данилами» «Современника».

Не меньше негодование Достоевского вызвали различные суждения публицистов 60-х годов о «Борисе Годунове», и особенно о Пимене-летописце. Здесь также мнение Дудышкина берется Достоевским как крайнее выражение эстетического тупоумия. «Трогательная личность Пимена, — писал С. Дудышкин, — которую вся Россия наизусть знает, как-то холодно теперь действует на нас, когда знаешь, что все наши старинные летописцы писали не без ведома царя и были летописцами царскими» (ОЗ, 1860, № 4, стр. 71). «А поэтическая правда? — восклицает Достоевский. — Стало быть, поэзия игрушка? Неужели Ахиллес не действительно греческий тип, потому что он как лицо, может быть, никогда и не существовал? Неужели „Илиада“ не народная древнегреческая поэма, потому что в ней все лица явно пересозданные из народных легенд и даже, может быть, просто выдуманные?» (стр. 9). Характерно, что Достоевский совершенно обошел вопрос об отрицательном влиянии Карамзина на Пушкина, а о нем говорили в 60-е годы не только Дудышкин, но и А. Милюков в статье о «Псковитянке» Л. А. Мея (Св, 1860, № 5, стр. 4, 12) и даже А. Григорьев в «Народности и литературе» (Вр, 1861, № 2, стр. 100). Для Достоевского «Борис Годунов», равно как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Песни западных славян», «Повести Белкина», бесспорно и без всяких оговорок подлинно народные произведения.

Проблеме чтения для народа, связанной с просветительской программой Достоевского, посвящена вторая статья «Книжности и грамотности», содержащая разбор проекта «Читальника» Н. Ф. Щербины — «Опыт о книге для народа», напечатанного в № 2 «Отечественных записок» за 1861 год. В журнале «Время» ранее о статье и проекте Щербины писал П. А. Кусков в заметке «Вместо фельетона» (см. ниже, стр. 350). Отдавая должное добрым намерениям Щербины, он высказывал о проекте «Читальника» ряд критических замечаний, получивших развитие в статье Достоевского. П. А. Кусков, в частности, писал: «Утешительное явление, что наши таланты, наши поэты пачнают приносить посильные дары жизни и обществу, и именно с тех сторон, которые прежде как-то упрямо обходились ими. Но чрезвычайно обескураживают в этой статье, например, следующие строки: „Этот отдел помещен в начале книги с расчетом, чтоб завлечь на первый раз читателя художественной приманкою поучительной мысли“. В этих строках всё осуждение этой книги, которая, надо сказать, задумана вообще прекрасно. Она прекрасно задумана, и каждый из нас прочтет ее с величайшим удовольствием от доски до доски; все прочтут. . . Только мужик читать не станет <...> но мужик не купит „Читальника“, потому что увидит, что там его учить хотят, что там с ним хитрят, и, как ребенок, пожалуй, обидится этим. Мужики интересны повести из нашего быта; ему интересны <...> рассказы из домашней жизни разных королей: так же ли они любят, как мы; так же ли они чего не любят, и какое они кушают кушанье, и как они разговаривают со своим кучером, и что во дворце министры говорят: всё это для мужика в миллион крат интереснее, чем всевозможные гигиенические и исторические сведения, и все замысловатые и незамысловатые поговорки, притчи, загадки и пословицы.

«...» Рассказы о тропических странах, о борьбе людей с зверьям, о тамошних бурях — всё это скорее поглотит внимание простолюдина, нежели *художественность поучительной мысли*. Нужно попроче, пооткровеннее заохотить их читать; а потом, когда расчитаются, прочтут и остальное» (Вр, 1861, № 5, стр. 9—11). К фельетону Кускова было присовокуплено Достоевским редакционное примечание: «В скором времени мы надеемся поместить обстоятельный разбор статьи г-на Щербины» (там же, стр. 11).

Интерес Достоевского к книгам для народа был в духе времени: в 1850—1860-е годы появилось множество хрестоматий, специальных народных изданий, огромное число рецензий на всю эту литературу, программных статей о просвещении крестьянства, среди которых серьезностью тона и глубиной обобщений выделялись статьи Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, Ф. И. Буслаева, К. С. Аксакова. Вспоминали шестидесятники и ранние попытки организации народных журналов-хрестоматий, особенно «Сельское чтение» В. Ф. Одоевского и А. П. Заблочного и серию рецензий на него В. Г. Белинского. Отношение Достоевского к «Сельскому чтению», как об этом свидетельствует «Село Степанчиково и его обитатели», было ироническим (см.: наст. изд., т. III, стр. 35, 509).

Достоевский, конечно, знал рецензии Белинского на «Сельское чтение» и не мог не обратить внимания на то, как постепенно становился прохладнее тон критика. Белинский хорошо принял первые выпуски «Сельского чтения», противопоставлял их как удачные и добросовестные опыты разным фальшивым и бульварным изделиям вроде «Воскресных посиделок». Критик был доволен направлением, содержанием и языком большинства публикаций: «Содержание и изложение статей „Сельского чтения“ так хорошо, что они читаются с удовольствием и не простолюдинами. Между тем в них видно основательное знание быта и свойств простого народа, верный взгляд на его нравственные потребности. „Сельское чтение“ вполне владеет тайною умения говорить с своими читателями, соблюдая собственное достоинство, то есть не заносясь в облака и не нагибаясь до грязи, но держась настоящей середины. Все мысли в нем излагаются не поучениями, не сентенциями, но живым, увлекательным и наглядно убедительным образом или в виде повестей, рассказов или разговоров, имеющих свой драматический интерес» (Белинский, т. VIII, стр. 156). Но, по-прежнему подчеркивая важность дела, затеянного В. Ф. Одоевским, Белинский резко отозвался о статьях Д. С. Протопопова «Кто такой Давид Иванович, и за что люди его почитают» и В. И. Даля «Что легко наживается, то еще легче проживается»: «Таковыми мертвыми идеями никого не убедишь ни в чем; им никто не поверит» (Белинский, т. IX, стр. 304). С раздражением писал Белинский о «крепостническом» языке, свойственном отдельным статьям «Сельского чтения», предваряя свою отповедь Гоголю: «... одно, что мы можем не похвалить в „Сельском чтении“, — это употребление презрительно-уменьшительных собственных имен: Ванюха, Варька, Сенька, Васька, Машка и т. п. „Сельское чтение“ должно способствовать истреблению, а не подержанию отвратительного обычая называть себя не христианскими именами, а кличками, унижающими человеческое достоинство. . .» (там же). Ряд позитивных и полемических положений в «Книжности и грамотности» восходит к традициям Белинского. Это и настоятельное требование верного «тона» в сочинениях для народа, чуждого высокомерия, учительства и подделки под народность, и особенно поемика с идеалистическим взглядом славянофилов. Именно с ними полемизирует Достоевский, с их идеализированным образом народа, когда пишет: «Вообще душу народа как-то уж давно принято считать чем-то необыкновенно свежим, непочатым и „неискушенным“. Нам же, напротив, кажется (то есть мы в этом уверены), что душе народа предстоит поминутно столько искушений, что судьба до того ее *починала* и некоторые обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзажкам» (стр. 40). Достоевскому чужды утопические построения «мистических философов», отрицающих реальные факты, конструирующих фантастический, идеализированный образ народа, он упрекает их в антиисторич-

ности, солидаризируясь с жесткими, но точными и справедливыми словами Белинского: «Народ для них <...> высшее откровение всякой истины, касающейся до сущности и формы нашей государственной жизни. Стоит только делать всем то, что делает народ, не отставать от него ни в чем — и всё пойдет хорошо, больше не о чем будет и заботиться. Само собою разумеется, что всякая попытка на распространение просвещения и образования в народе, в их глазах, есть ли больше, ли меньше, как святотатственное посягательство на здоровье и честь народной жизни» (Белинский, т. X, стр. 368).

Но разделяя многие мысли Белинского, Достоевский в то же время, следуя принципиальной линии журнала на устранение крайностей «западнических» и «славянофильских» теорий и на выработку синтетической, нейтральной программы, выдвигал тезис, который, не являясь в прямом смысле «славянофильским», несомненно был антизападническим: «А вдруг <...> народ узнает <...> что ведь и нас, обратно, он мог бы многому научить, а мы-то и ухом не ведем и не подозреваем этого, даже смеемся над этой мыслью и подступаем к нему свысока с своими указаниями. А научить-то народ нас мог бы, право, многому; вот хоть бы тому, например, как нам его учить» (стр. 28—29).¹ Каламбурно заявленная мысль здесь кажется случайной, но введена она с умыслом и представляет собой убеждение Достоевского, вынесенное им из Сибири: впоследствии он будет ее настойчиво повторять и варьировать — вплоть до январского выпуска «Дневника писателя» за 1881 г.

Несомненно также, что Достоевский в полемике с Щербиной использовал острую и справедливую славянофильскую критику различных изданий для народа. Во всяком случае, отдельные его иронические замечания по духу и тону близки к обстоятельной и яркой рецензии К. Аксакова на «Народное чтение» А. Оболонского и Г. Щербачева. Осуждение К. Аксаковым «приманок», «официального вмешательства», «наград» в деле просвещения народа (см.: «Парус», 1859, 10 января, № 2, стр. 31), созвучно возмущению Достоевского предложениями Щербини дарить «Читальник» мужикам «как бы в награду за их грамотность», и распространять его с помощью начальства.²

Приступая к разбору проекта «Читальника» и статью Щербини, Достоевский отказывается судить о других книжках и проектах, как явно неудачных и не стоящих внимания. Он упоминает только оцененные отрицательно критикой «Красное яичко для крестьян» М. П. Погодина, «Народные беседы» Д. В. Григоровича, а также официально-патриотические рассказы для солдат И. Н. Скобелева и повести А. Ф. Погосского, о которых тогда много писали.

«Красное яичко для крестьян» (1861) М. П. Погодина состояло из двух статей — «Слухи о решении крестьянского вопроса» и «5-е марта в Москве», с дополнением двух грамоток-обращений к народу от 24 марта и 17 апреля и разных приложений. Неестественный, фальшивый тон грамоток вызвал всеобщее раздражение.³ «Детским бредом» назвал слащаво-верноподданничес-

¹ Еще резче проводит Достоевский ту же мысль в «Записках из Мертвого дома»: «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться» (см.: наст. изд., т. IV, стр. 122).

² Рекомендации Н. Ф. Щербини вызвали возражение и рецензента «Северной пчелы» А. П. Пятковского, писавшего в заметке «О проекте г-на Щербини»: «... нельзя согласиться с г-ном Щербиной в том, что волостные головы и старосты, которым он поручает *покупать* его «Читальник» на мирские деньги и затем *дарить* его крестьянам, могут быть особенно хорошими помощниками в распространении книги и в усвоении ее нашим народом. Г-н Щербинин старается, конечно, скрыть в этом деле характер административной инструкции <...> Напрасные старания!» (СП, 1861, 20 июля, № 161).

³ Биограф историка констатировал: «Писания Погодина по крестьянскому вопросу не увенчались успехом. „Мужички“ его *грамотками* не вразумлялись, а дворяне, по его же собственному свидетельству, „на него опрокинулись“. Он получал ругательные письма с именами и без имен» (Барсуков, т. XVIII, стр. 101).

кие восторги Погодина Герцен (см.: *Герцен*, т. XV, стр. 136), проницательно отозвался о грамотках и Чернышевский (см.: *Чернышевский*, т. VII, стр. 710). С резкой статьей «Новый наставник русского народа» выступил критик «Светоча» Л. Ф. Пантелеев (*Св*, 1861, № 8, стр. 1—17). «Мы думаем, — писал Пантелеев, — что вместо всех похвал натуре русского человека, его кротости, благородной памяти за добро лучше сделал бы г-н Погодин, если б указал на факты, обстоятельства, способные вывести этого человека, действительно весьма умеренного и спокойного, из его нормального состояния, показал бы необходимость и в то же время возможность устранения таких обстоятельств, как могущих затруднить приложение совершившейся реформы в жизни» (там же, стр. 6). «Время» также откликнулось на грамотки и статьи Погодина во «Внутренних новостях» (1861, № 5, стр. 3—6). Неуклюжая проповедь российской «внесловности» вызвала сопротивление публициста журнала, вполне согласного с тезисом о коренном отличии России от Запада, с «сущностью мысли» Погодина, но тем более раздраженного неуместной иллюстрацией, способной ее лишь скомпрометировать. «Ведь если два человека имеют какой-нибудь недостаток, — уточнял обозреватель «Времени», отмежевываясь от нелепых сравнений Погодина, — только один наследственный, а другой — перенятый от соседа, то это не значит, что последний лучше первого; он только может надеяться скорее избавиться от него, и пусть он принимает целительные меры и питает в себе прекрасную надежду, а мудрому наблюдателю подобает поддерживать ее, но не забегать вперед и не восхвалять до небес красоту человека, хотя с временным, но еще довольно сильно бьющим в глаза изъянцем» (там же, стр. 6). Такова была позиция журнала Достоевских, и к ней отсылал писатель, упоминая в статье «Красное яичко» Погодина.

Разочарование современников вызвали «Народные беседы» Д. В. Григоровича, от него — автора «Деревни» и «Антон-Горемыки» — ожидали совсем не таких плодов. Рецензент «Светоча» выражал общее мнение, отмечая, что они «не только недостойны нашего народа, но нимало недостойны и самого г-на Григоровича» (*Св*, 1860, № 5, стр. 47). «„Народные беседы“ стали в некотором роде, наряду с грамотками Погодина, общественным „событием“». ¹ И. Панаев имел все основания, отвечая на упрек «Современнику» критика «Санкт-Петербургских ведомостей» в молчании о книгах Григоровича, утверждать: «. . . г-н Григорович и без того уже достаточно наказан журналами за свой опрометчивый поступок < . . . > гласность была к нему беспощадна и почти целый год обличала его, и < . . . > „Современник“ промолчал о „Народном чтении“, придерживаясь одной очень умной поговорки, которую приводить здесь бесполезно. . . » (*С*, 1861, № 1, «Свисток», стр. 28). Достоевский присоединяется к общей реакции прессы и, помня ответ И. Панаева, не пускается в критику книжек Григоровича, просто констатируя их неудачу как неоспоримый факт.

Заметное явление в «народной» литературе 1860-х годов составили повести и рассказы А. Ф. Погосского, чем и вызвано было выделение Достоевским его имени. Произведения Погосского для солдат противопоставлялись критикой ультрапатриотическим, консервативным рассказам И. Н. Скобелева, очерк о котором Д. В. Григорович поместил в брошюре «Русские знаменитые простолудины». Достоевский пренебрежительно, мельком упомянул в статье о рассказах Скобелева. Историк и публицист М. Семевский в статье «Иван Скобелев» противопоставлял псевдонародным произведениям Скобелева «прекрасное издание г-на Погосского», считая, что тот «едва ли не первый у нас писатель который с большим талантом соединяет необыкновенное знание солдатского быта, их воззрения, их нужды, радости и печали» («Русская речь», 1861, № 96, 30 ноября, стр. 693—694). Доброжелательно о произведениях Погосского писали В. Водовозов в статье «Русская народная педагогика» (*ОЗ*, 1861, № 9, стр. 114—125), В. Аничков в специальной рецензии

¹ Суворову разбору подверг книжки Григоровича публицист славянофильской ориентации К. Н. Бестужев-Рюмин (*ОЗ*, 1860, № 6, стр. 76), рецензент «Московского вестника» (*МВ*, 1860, № 10, стр. 28).

«А. Ф. Погосский и его „Солдатская беседа“» (*СПбВед*, 1860, № 239, 3 ноября).¹ Отношение самого Достоевского к рассказам Погосского не совсем ясное, вряд ли однозначное, но, несомненно, сочувственное. Поговорить «особенно» о Погосском Достоевскому не удалось. В журнале вообще не появилось специальной статьи о нем, только в сноске к обзору «Внутренние новости» извещалось как о примечательном событии: «Г-н Погосский, издатель журнала „Солдатская беседа“, объявляет, что он получил разрешение на издание другого подобного же журнала под названием „Беседа, народный вестник начального образования“» (*Вр*, 1861, № 4, стр. 49).

В статье «Книжность и грамотность» Достоевский присоединялся к демократической постановке вопроса народного просвещения. Но его позиция не была и не могла быть адекватной воззрениям «Современника» и «Русского слова», критиков и публицистов которого Достоевский упрекал в незнании и непонимании духа народа.²

Достоевский настороженно относился как к идеализации, так и к сатирическому изображению народа. С иронией пишет он о намерении Щербины преследовать разные «отрицательные стороны народа» («сатирической солью и насмешкою, выраженною в образе»), но вовсе не потому, что сомневается в существовании таковых сторон народа или является противником сатиры. Он не находит оснований для Щербины брать на себя роль учителя, обличителя и исправителя нравов. Его коробит тон и незыблемая уверенность автора проекта «Читальника» в собственной правоте, та легкость, с которой он берет за обличать и переделывать то, что ему известно поверхностно и из книг. Вот почему Достоевский находит, что такое наивное и прямое выражение педагогической цели «скверно». Отсюда и сарказм писателя: «И вообразить не можем, как это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто?» (стр. 24). Весь разбор проекта и статьи Щербины Достоевский подчиняет одному последовательно проводимому публицистическому принципу: доказывается, что благородство мыслей и побуждений автора поминутно вступает в противоречие с теоретическим, кабинетным («карамзинским») представлением о народе. Результат такого несоответствия, доказывает Достоевский, естествен и печален: странная смесь умных и справедливых мыслей, с которыми писатель согласен, соседствует рядом с полным непониманием народных нужд, с такими рекомендациями и советами, которые почти сводят на нет программу просвещения народа, предложенную Щербиной. Достоевский стоит на гуманистической точке зрения, призывает к уважительному и деликатному отношению к обычаям, вере и предрассудкам народа. Просветитель, по его глубокому убеждению, должен в первую очередь обладать тактом и реальным, а не «кабинетным» знанием народа.

¹ Но звучали и скептические голоса: Д. И. Писарова — «Народные книжки», «Московские мыслители» (*РСЛ*, 1861, № 3 и 1862, №№ 1, 2), Н. С. Лескова — «Дикие фантазии (современные заметки)» («Православное обозрение», 1877, № 11).

² В. Г. Базанов, анализируя содержание «Книжности и грамотности», приходит к выводу, что Достоевский во многом «перекликается с Белинским и отчасти с Чернышевским, вместе с ними утверждает истинно демократическое понимание народности. Общее состоит в стремлении сдружить «просто-пародье» с просвещением, в вере в его духовные силы, в его историческое развитие» (В. Б а з а н о в. От фольклора к народной книге. Изд. «Художественная литература», Л., 1973, стр. 53). Но в то же время Базанов констатирует, что во второй статье «Книжность и грамотность» «содержится совершенно очевидная попытка отгородиться от социальных суждений и требований Чернышевского и Добролюбова, от их понимания современного состояния крестьянской России. Не случайно в статье появляются какие-то «деятели», «свистуны», взгляды которых о народе Достоевскому кажутся слишком отвлеченными и догматическими» (там же, стр. 55). По-видимому, Достоевский, в частности, полемизирует со статьей Чернышевского «Суеверие и правила логики» (1861).

Статья «Книжность и грамотность» заняла видное место в разгласоной публицистике 60-х годов, с энтузиазмом обсуждавшей проблему просвещения раскорошенного народа, приобщения его к плодам цивилизации — науке и искусству. Бессспорен гуманистический и демократический дух выступления Достоевского, реализм и трезвость взгляда писателя, во многом обусловленные его личным жизненным опытом. Закономерно, что в статье также много говорится о трагической поре жизни писателя; «Книжность и грамотность» многими деталями; наблюдениями, выводами перекликается с «Записками из Мертвого дома». Воспоминания в статье — реальный и мощный аргумент, используемый автором в полемике с отвлеченно-теоретическими суждениями о народе. Они выделяют статью из множества других аналогичных по тематике публицистических выступлений тех лет. Воспоминания о собственных переживаниях в Мертвом доме оправдывают и объясняют тон Достоевского и сущность его скептической, по лишенной в то же время пессимистических оттенков позиции. Они приносят в статью ноту подлинного драматизма, лирической взволнованности: «Простолюдин будет говорить с вами, рассказывая вам о себе, смеяться вместе с вами; будет, пожалуй, плакать перед вами (хоть и не с вами), но никогда не сочтет вас за своего. Он никогда серьезно не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего *поскопного* земляка. И никогда, никогда не будет он с вами доверчив» (стр. 7). Воспоминания, наконец, своим реальным, трезво-скептическим содержанием независимо от воли автора статьи противопоставят тем утопическим иллюзиям, которые, как и многие его современники, Достоевский испытывал в год объявления высочайшего манифеста: «... правительство <...> до половины завалило ров, разделявший нас с народом, остальное сделает жизнь и многие условия, которые теперь необходимо войдут в самую сущность будущей народной жизни» (стр. 8).

Статья вызвала разноречивые отклики в печати. Публицист «Русской речи» во «Внутреннем обозрении», отдавая должное знанию автора «Книжности и грамотности» народа, находил в то же время содержание в целом «замечательной» статьи пясным, терминологию Достоевского — неопределенной (см.: «Русская речь», 1861, № 64, 10 августа, стр. 188).¹ Статья Достоевского и фельетон П. Кускова вдохновили и критика «Светоча» на большую статью об изданиях для народа, из которых преимущественно разбирается «Опыт о книге для народа» Щербина (Св, 1861, № 10, стр. 1—21). Статья критика «Светоча» развивает почти все главные тезисы «Книжности и грамотности», оттуда заимствуются оценки, тон и идеи. А. С. Суворин в письме к М. Ф. де Пуле 27 декабря 1861 г., отрицательно оценивая критический отдел «Времени» в целом («вельми слаб»), выделяет, однако, статьи Достоевского: «... что-то новое только и есть в статьях Ф. Достоевского («Книжность и грамотность»)» (ЛН, т. 86, стр. 382). Есть основания заключать, что выступление Достоевского привлекло внимание и революционно-демократической журналистики. Так, Д. И. Писарев в «Схоластике XIX века», пропизируя над словами публициста «Отечественных записок» К. Бестужева-Рюмина, которыми тот опровергал «утилитарный» взгляд Чернышевского, писал: «Я узнаю в этих словах дух того журнала, в котором был помещен проект г-на Щербина о „Читальнике“. Учить народ, пускать в продажу правительственным путем книги для чтения — всё это дело известное» (Писарев, т. I, стр. 152). Н. Ф. Щербина, по-видимому, был раздражен статьями П. А. Кускова и Ф. М. Достоевского о его проекте «Читальника». Об этом косвенно можно судить по тем резким эпитетам, которыми он наделяет журнал «Время» в письме к М. П. Каткову от 16 марта 1863 г.: «ловкий заискиватель», «комедиант», «петербургский зазыватель» (ЛН, т. 86, стр. 390).

Проблема народного просвещения была неразрывно связана с другой, не менее важной проблемой — народознания. Этим тенденциям и требованиям времени в значительной степени удовлетворяли как статья «Книжность и грамотность», так и «Записки из Мертвого дома»: они не только стали значитель-

¹ Как свидетельствуют записные тетради Достоевского (1861 г.), он обратил внимание на эту рецензию.

ным литературно-общественным явлением 60-х годов, но и реально, фактически продвинули вперед вопрос о народе. В творчестве Достоевского последующие обращения к народной теме и народным типам восходят к этим произведениям писателя. Контурно намеченная в них мысль о необходимости «преобразоваться в народ вполне» станет одной из центральных в «Дневнике писателя». Будет впоследствии возвращаться Достоевский и к проблеме народного чтения. В «Дневнике писателя» за 1876 г. (январь, гл. I, подглава 3) Достоевский по-прежнему констатировал: «. . . в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятых народу. Ни Пушкини, ни „Севастопольские рассказы“, ни „Вечера на хуторе“, ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно), непонятны совсем народу».

Стр. 5. *Читать, читать, а после — хватить!* — Неточно цитируемые слова Фамусова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5). У Грибоедова: «Вот молодость! . . . читать! . . . а после хватить! . . .» Об отражении комедии Грибоедова в произведениях Достоевского см.: А. Л. Бем. «Горе от ума» в творчестве Достоевского (*О Достоевском*, вып. III, стр. 13—33).

Стр. 8. *«Мысль, сказанная ∞ заниматься»*. — Цитата из обзора С. С. Дудышкина «Русская литература» (*ОЗ*, 1861, № 6, стр. 45). В скобках — ироническое разъяснение Достоевским главной мысли статьи Дудышкина о Пушкине.

Стр. 8. . . *ярого Герострата*. . . — Герострат (Herostratus) — эфесец, сюжет великолепный храм Дианы (Артемиды Эфесской) в 356 г. до н. э. для того, чтобы сделать известным свое имя потомкам. Жители Эфеса запретили провозносить имя Герострата, однако оно сохранилось в трудах Феопомпа (IV в. до н. э.) и со временем приобрело символическое значение.

Стр. 8. . . *немецкие геллертеры*. . . — Геллертер (нем. Gelehrter) — человек науки, оторванный от жизни и практической деятельности, схоласт, пачетчик.

Стр. 9. . . *«может быть да, и может быть нет»*. . . — Достоевский пародирует С. С. Дудышкина, приравняв его к следующим словам писателя из статьи «Свисток» и «Русский вестник»: «В какой литературе, начиная с создания мира, найдете вы такую особенность воспоминания, такое свидетельство о всечеловечности и, главное, в такой высочайшей художественной форме? Это-то и есть, может быть (!?), главнейшая особенность *русской мысли*. . .» (*ОЗ*, 1861, № 4, стр. 139). В том же обзоре Дудышкин стремится доказать справедливость своей точки зрения: «. . . для того-то, чтоб не повторять бездоказательно этого рокового в вопросе о народности, *может быть*, и был задан вопрос о народности Пушкина. *Может быть*, это признак народности, а может быть, признак высшей *художественности*. < . . . > Может быть, может быть. . . скажем и мы, но эти „может быть“ нужно доказать, а главное, разбить на составные части слишком сложное понятие народности, что и делает теперь наука» (там же). Далее Дудышкин резюмирует: «„Может быть“, Пушкин окажется народным поэтом больше, нежели мы с вами теперь воображаем. А может быть, он окажется меньше народным, и тогда нужно будет поклониться силе научных и эстетических доказательств» (там же, стр. 140). В июньском обзоре «Русская литература» Дудышкин с удовлетворением выписывает слова Каткова (см.: *РВ*, 1861, № 3, стр. 17) о Пушкине, уличая его в непоследовательной и пристрастной полемике с «Отечественными записками»: «. . . он, *может быть* (вот в этом-то и дело; отчего же вы не прочитали нашей статьи). . . он, *может быть*, коснулся и более *глубоких основ ее*, которые могли бы иметь всемирное значение; но эти намеки не ясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны: мы сами сомневаемся и спорим об их значении» (*ОЗ*, 1861, № 6, стр. 46). Дудышкин, воспользовавшись гипотетическими суждениями Каткова, повторяет сказанное ранее в полемике со «Временем»: «Точно так же вы говорите, что Пушкин, *может быть*, коснулся более *глубоких основ нашей жизни* < . . . > То, что вы повторяете, сказали и мы: *может быть*, Пушкин коснулся *глубоких основ нашей жизни*, а *может быть и нет*; во всяком случае, это нужно доказать. Таков

смысл вашей статьи, таков был смысл и нашей» (там же, стр. 47). Дудышкин выделяет столь важные для него слова и в статье Гоголя о Пушкине: «Пушкин есть явление *чрезвычайное* и, может быть (1), *единственное явление русского духа*» (там же, стр. 49).

Стр. 9. . . . *г-н Буслаев говорит в своей книге. . .* — Ф. И. Буслаев (1818—1897), исследователь русского языка, народной поэзии и древнерусского искусства, профессор Московского университета (с 1847), академик (с 1881). Речь идет о его исследовании «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (т. I—II, 1861). Буслаев был постоянным автором «Отечественных записок». В глазах Дудышкина он был первым и непререкаемым авторитетом по вопросам народности и народного просвещения; Дудышкин находил в его трудах значительный шаг вперед в изучении проблемы народности по сравнению с мыслями виднейших публицистов 40-х годов, в том числе и Белинского. Этот тезис критика «Отечественных записок» вызвал насмешливую реакцию публицистов-шестидесятников, особенно Ф. М. Достоевского (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 272). Дудышкин советовал в целях просвещения руководителям «Времени» обратиться к сочинениям Буслаева: «. . . мы просим журнал „Время“ прочесть сочинение г-на Буслаева и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворовским смельчакам. Да пусть они не забудут, что г-н Буслаев не касался, или, лучше сказать, не развивал ни общественного, ни политического значения этого слова» (ОЗ, 1861, № 4, стр. 134). Очевидно, что Достоевский здесь отвечает на совет Дудышкина. «Время» иронически относилось к немецкой «мифологической школе», представителями которой были постоянно сотрудничавшие в «Отечественных записках» Афанасьев и Буслаев. Ироническое замечание А. Григорьева об А. Н. Афанасьеве, который «сочинял по Гримму богов кочерги и ухвата», вполне разделялось и Достоевским (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 286). Но в то же время журнал Достоевских не был согласен и с общей отрицательной оценкой трудов Буслаева и Афанасьева, данной «Современником» в рецензии А. Н. Пыпина «По поводу исследований г-на Буслаева о русской старине» и в «Пolemических красотах» Н. Г. Чернышевского (1861). Так, А. Григорьев в статье «Взгляд на книги и журналы, касающиеся истории русского народного быта», с удовлетворением писал о том, что Афанасьев, оставив «богов кочерги и ухвата», «добросовестно и полезно» занялся «собираением материалов народного быта» (Вр, 1861, № 4, стр. 171). «Новый органический взгляд» на народность Григорьев отмечал в диссертации Буслаева (там же, стр. 172).

Стр. 10—11. . . . *бросились с горя в скептическое саморассматривание, саморазглядывание.* — Ср. со словами молодого Достоевского в «Петербургской летописи»: «Наступает какая-то всеобщая исповедь. Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками» (наст. изд., т. XVIII, стр. 27).

Стр. 11. . . . *холодный, кантемировский или фонвизинский скептицизм.* — Суждения Достоевского о творчестве А. Д. Кантемира (1709—1744) и Д. И. Фонвизина (1745—1792) восходят к мнениям Белинского, так писавшего о сатирах Кантемира в статье «Русская литература в 1840 году» (1841): «Очевидно, что сатиры Кантемира — явление чисто случайное; что дух народный в них не участвовал; что они вышли не из этого духа, не его выразили и не к нему возвратились. Одно уже иностранное происхождение их автора показывает, что они не имели в самих себе никакой необходимости, могли бы быть и не быть. . . .» Книга приняла их в себя, в книге и остались они; их знают школы, а не общество, но и школам известны они как мертвый исторический факт, а не как живое явление, по законам внутренней необходимости возникшее из предшествовавшего ему явления и оставившее после себя какие-нибудь результаты, которые в свою очередь породили какие-нибудь явления» (Белинский, т. IV, стр. 415). Достоевский тогда разделял и точку зрения Добролюбова на русскую сатиру XVIII в., писавшего, что «сатира не возвышалась у нас до понимания народных интересов, несмотря на некоторые исключительные явления, почти всегда имевшие только частный смысл» (Добролюбов, т. II, стр. 269—270). В статье «Русская

сатира екатерининского времени» (1859) Добролюбов писал, что сатира XVIII в. «при всей своей резкости, не могла удовлетворить высокому назначению истинной сатиры именно потому, что она слишком тесно связала себя с существовавшим тогда законодательством» (*Добролюбов*, т. V, стр. 366).

Достоевский напоминает исторические этапы развития русской литературы С. С. Дудышкину, автору статей о Фонвизине (которую он вслед за Белинским считал «дельной») и Кантемире.

Стр. 12. *Чего мне ждать? тоска, тоска!* — Цитата из «Евгения Онегина» («Отрывки из путешествия Онегина». 1829—1830).

Стр. 12. . . в бессилии создать и в точности определить себе идеал над которым бы он мог не смеяться. — Объяснение Достоевским сути душевной драмы Гоголя близко тому, которое дает Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1857): «Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силкина, благодетельного крестьянина. его Уленька — бледная копия с бедной Лизы» (*Добролюбов*, т. II, стр. 262).

Стр. 12. *Рудин и Гамлет Щигровского уезда*. . . — Герои произведений И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) и «Рудин» (1856). Эти произведения сыграли значительную роль в эволюции Достоевского-художника и неоднократно привлекали внимание Достоевского-публициста. По мнению Страхова, которое в данном случае высоко авторитетно, Достоевский «в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большою яркостью своего „подпольного“ героя. . .» (*ОЗ*, 1867, № 2, Наша изящная словесность. стр. 555). О Рудине Достоевский как о русском историческом типе недавнего прошлого говорит в «Дневнике писателя» за 1877 г. (январь, гл. II, подглавка 2) и 1880 г. (гл. III, подглавка 2). Достоевский разъясняет А. Д. Градовскому русскую сущность типа Рудина: «Да ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, — ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое, давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была собственно в том, что он на своей ниве работы не нашел и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему, как вы утверждаете».

Стр. 14. . . времена Перикла. . . — С именем знаменитого государственного деятеля Афин Перикла (род. между 500 и 400 г. до н. э., ум. осенью 429 г. до н. э.) обыкновенно связывают представление о высшем расцвете афинской демократии, греческой литературы и искусства (Периклов век).

Стр. 15. . . «Видение короля». . . — Первая из «Песен западных славян» А. С. Пушкина (1834). В «Дневнике писателя» за 1877 г. (февраль, гл. I, подглавка 1) Достоевский развернул свой более ранний, восторженный отзыв о «Песнях западных славян»: «. . . шедевр из шедевров Пушкина, между шедеврами его шедевр, не говоря уж о пророческом и политическом значении этих стихов, еще пятьдесят лет тому назад появившихся».

Стр. 17. . . не знают Барбье. — Анри Огюст Барбье (1805—1882) — французский поэт, прославившийся сатирическим сборником стихов «Ямбы» (1831). Стихи Барбье были необыкновенно популярны в России 40-х годов, особенно в среде петрашевцев. Влияние Барбье испытал поэт-петрашевец С. Ф. Дуров (1816—1869), товарищ Достоевского по петербургским кружкам и каторге; ему принадлежит многочисленные переводы стихов Барбье: «Как больно видеть мне повсюду свою горечь. . .» (1844), «Княйя» (1845. — Этот перевод одного из самых знаменитых ямбов Барбье читался на вечерах Петрашевского), «Есть бездна на земле, есть бездна роковая. . .» (1846) и др. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» напоминает читателям о поэме Барбье «Раздел добычи» (см.: наст. изд., т. V, стр. 83).

Стр. 18. . . «птенцов гнезда Петрова». . . — Цитата из третьей песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

Стр. 19. «Русский вестник» бесконечно неправ ∞ к народности . . . — Достоевский цитирует (не совсем точно и с купюрами) обзор С. С. Дудышкина «Русская литература», выражение критика Каткову: «Если бы вы не допускали теперь, по примеру Байбороды, народности в жизни, у вас не было противоречий, не было и помину о «мотивах русской жизни», о «глубоких основах ее; вы не примеривали бы к Пушкину понятия о народности, а просто назвали бы его великим поэтом, по силам его творческой фантазии, хотя и не европейским, в смысле великих идей, которых он был проповедником, и вопрос сочли поконченным; но вы хотели отстоять свое прежнее мнение и допустить повое, а от этого вышли противоречия, для оправдания которых вы сказали еще одно мнение, совершенно ложное: «что там, где идет спор о народности, там значит ее нет». На это ответит вам история литературы в Германии в начале XIX века и во Франции, где те же споры составили целый период литературы, только назывались не спорами о народности, а спорами о романтизме. Эти споры были занесены и к нам, но слишком преждевременно, и мы не были готовы принять их и понять во всей глубине. Известен результат этих споров и на Западе. Крутой поворот европейской литературы к самостоятельности, к народности, в котором, кажется, нельзя сомневаться теперь, но в то время этот поворот казался возвращением к грубости средневековых понятий» (ОЗ, 1861, № 6, стр. 47—48).

Стр. 21. . . . можно выписать длиннейший ряд ∞ народного чтения. — В. И. Водозов в статье «Русская народная педагогика» писал о потоке издания книг для народа на рубеже 50—60-х годов: «Таких изданий, например по каталогу Лермонтова и Компании», считается до 135 номеров — цифра, на первый раз очень почтенная. Но сюда вошли еще далеко не все книжки и брошюры, назначенные для народного чтения; много есть таких, которых не примет на свои страницы даже порядочный каталог, а они все-таки издаются иногда осьмым изданием» (ОЗ, 1861, № 9, стр. 94).

Стр. 21. «Отечественные записки» замечают ∞ народных книг. — Статью Щербины редакция журнала снабдила замечанием: «Помещая эту важную статью по отношению к вопросу, всех занимающему, мы надеемся, что литература наша обратит внимание на этот „Опыт“, и тогда обсуждение вопроса будет служить руководством для составителей подобных книг» (ОЗ, 1861, № 2, стр. 279).

Стр. 21. . . . сказка Пушкина о «Кузьме Остолопе». . . «Сказка о поеве и о работнике его Балде» (1830) А. С. Пушкина впервые была опубликована В. А. Жуковским в 1840 г. под заглавием «Купец Кузьма Остолоп, по прозванию осиповый лоб» (в тексте «поп» тоже был заменен «купцом»). Подлинный текст Пушкина увидел свет лишь в 1882 г.

Стр. 22. «Нам просто немисливо ∞ одни слова!» — Цитата из статьи Н. Щербины «Опыт о книге для народа» (Щербина, стр. 279—280). Курсы везде Щербины.

Стр. 22. . . . где-нибудь в Аркадии. . . — Аркадия — центральная часть п-ова Пелопоннес в Греции; в идиллически-пасторальной поэзии — счастливая страна.

Стр. 22. . . . издание Меналка или Тирсиса. . . — Имеются в виду идиллии «русского Геснера» В. И. Панаева (1792—1859) «Дафнис и Милон», «Меналк и Тирсис», опубликованные в 1815 г. в Казани. В публицистике 60-х годов со свойственным ей ироническим отношением к пасторальной литературе Меналк и Тирсис обычно упоминались в пародийно-сатирическом плане. В фельетонах А. В. Дружинина героями являются Иван Тирсисов и некто «Сергей Юрьевич, Тирсис из Тирсисов», «седовласый Тирсис», «старый Тирсис» (Дружинин, т. VIII, стр. 123, 438, 608). «Обществом Тирсисов на Спиридоновке, московской стихотворной идиллией» называл Салтыков-Щедрин редакцию славянофильского «Дня» (Салтыков-Щедрин, т. V, стр. 304). Н. Г. Чернышевский пронычески рисовал идиллическую картину журнального рая: «Необходимым условием каждой идиллии предполагается то, чтобы не было ни журнальной полемики, ни толков о журналах или книгах, ни даже мысли о них. О, как были бы мы счастливы, если бы могли обратиться в Меналков и Тирсисов! Мы играли бы на свирелях, мы

послы бы наших овечек, и мы сами были бы похожи на кротких овечек. Усласдительная, обольстительная картина! Не только журнальной полемикой. всеми журналами можно бы пожертвовать, если бы такой ценой возможно было кушать подобное счастье» (*Чернышевский*, т. IV, стр. 765).

Стр. 22. «Мы любим» ∞ *одни слова!* — Щербина цитирует стихотворение И. С. Аксакова «Добро б мечты, добро бы страсти» (1853). Выделенная Щербиной курсивом строчка стихотворения Аксакова — цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (реплика Гамлета во второй сцене второго действия).

Стр. 25—26. «Иная книга ∞ воспитания. . .» — Цитата из статьи Щербины (*Щербина* стр. 280—282). Курсив везде Щербины.

Стр. 25. . . *переводы «Потерянного Рая» или «Франция Венецианя»* . . . — Щербина имеет в виду одну из многочисленных прозаических переделок на русский язык поэмы Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» (1667). Добролюбов писал об этих переводах: «Известно, что „Потерянный рай“ пришелся очень по вкусу нашей публике. Первый перевод его вышел, кажется, в 1810 году, и с тех пор появлялось несколько переводов и, кажется, более десятка изданий его» (*Добролюбов*, т. V, стр. 532). «Франция Венеция, или История о храбром рыцаре Францисе Вещиане и о прекрасной королеве Ренцывене» — популярная в XVIII—XIX вв. любочная переделка рыцарского романа. См. о ней: *Белинский*, т. I, стр. 140—142; А. Пыпин и в. Для любителей квижной старины. М., 1888.

Стр. 25. . . *в Палерояле, или на лейпцигской ярмарке. . .* — Палерояль (Palais-Royal) — дворец в Париже; там помещалось знаменитое кафе где собирались либеральные и демократические деятели и где 13 июля 1789 г. Камиль Демулев призвал парижан к восстанию. В 60-е годы Палерояль был известен своими увеселительными заведениями. Рецензент «Светоча» применил сравнение Щербины к произведениям Григоровича: «. . . смотрел на быт народа сквозь стекляшку, купленное в Палерояле» (*Св* 1861, № 10, стр. 20). Лейпциг — город в ГДР (Саксония), со второй половины XVIII в. знаменит своими ярмарками

Стр. 26—27. «Подобные ∞ невозможно не зная». — Цитируется статья Щербины (*Щербина*, стр. 282).

Стр. 27. «То кровь кипит, то сил избыток». . . — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь, не верь себе. мечтатель молодой. . .» (1839).

Стр. 27. . . «одно худое видеть»? — Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811).

Стр. 27. . . *наши передовые ∞ четвертью столетия.* — Достоевский, возможно, говоря о «наших передовых», имеет в виду героя «Дворянского гнезда» Паншина, а именно его рассуждения по поводу известной «Думы» (*Тургенев*, *Сочинения*, т. VII, стр. 231—232).

Стр. 30—31. «Хрестоматия» ∞ *того просишь.* — Цитируется статья Щербины (*Щербина*, стр. 283—285). Курсив принадлежит автору.

Стр. 30. . . «Письмовник» *Курганова.* . . — «Письмовник» (1769) Н. Г. Курганова (1725—1796), математика, профессора морского корпуса, — самая популярная книга XVIII в., выдержавшая 10 изданий. В народ проникли многие сюжеты и анекдоты из «Письмовника».

Стр. 30. . . «Травник», «Мысленик», «Громник», «Волховник», «Колядник». . . — Речь идет о народномедицинских, суеверных и гадальных книгах, весьма распространенных не только в «допетровские» времена, но и значительно позднее. См. о них: Н. С. Тихонов в. Памятники отреченной русской литературы, т. II. СПб., 1863; Памятники старинной русской литературы. Изд. гр. Г. Куселева-Безбородко. Вып. 3, СПб., 1862.

Стр. 31. . . «Битвы русских с кабардинцами», «Милорда Георга», «Анекдоты о Балакиреве», «Старичка-Весельчака», «Новейшего астрономического и астрологического телескопа», «Мамаева побоища». . . — Перечисляются известные книги так называемой любочной, или «серобумажной», литературы. «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка умирающая на гробе своего супруга» принадлежит перу Н. Зряхова, имела огромный успех в народной (главным образом мещанской) среде. «Повесть о приключе-

нии милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы. . .» (1782) — роман М. Комарова (1730-е?—1812?), в XIX в. перешедший в лубок, десятки раз переиздававшийся вплоть до 1918 г. «Старичок-весельчак, рассказывающий древние московские были» — также неоднократно издававшаяся лубочная книга XVIII в. «Анекдоты о Балакиреве» («Балакирева голное собрание анекдотов, шута, бывшего при дворе Петра Великого») — лубочное издание книги К. А. Полевого «Полные избранные анекдоты о придворном шуте Балакиреве, любимце Петра I» (ч. I—IV, М., 1830), в которую вошли анекдоты и изречения, заимствованные из самых различных источников. Анекдоты пользовались огромным успехом в демократической читательской среде. Балакирев И. А. (1699—1763) — слуга Петра I, позже — шут при дворе Анны Иоанновны. «Новейший астрономический и астрологический телескоп» — «Новейший и самый полный астрономический телескоп, или Самовернейший, общий и подробный астрономический, астрологический, физический, диетический и экономический наставник для городских и сельских жителей, с предсказательным календарем на 336 лет». В рецензии на первую часть его Беллинский отмечал «безграмотное и рыночное название» книги (т. III, стр. 200). «Мамаево побоище» — лубочная повесть Ивана Гурьянова (1820-е—1850-е годы) «Дмитрий Иоаннович Донской, или Ужасное мамаевское побоище. Повесть XIV столетия» (1839). «Плохая выборка из „Истории“ Карамзина, разукрашенная фризурными взглядами и фризурным слогом», — отозвался о ней Беллинский (т. III, стр. 236).

Стр. 31. «*Всякая подделка ∞ мимо ушей*». — Цитируется статья Щербины (*Щербина*, стр. 285).

Стр. 32. . . название «*Читальник*» до того необыкновенное и «*маленько мужицкое*». . . — У Щербины: «Из книг, писанных „маленько мужицким слогом“ и назначенных собственно для простонародья, издателю почти нечего взять для „Читальника“» (*Щербина*, стр. 285). Выражение «маленько мужицкое» восходит к С. А. Бурачку (1800—1876), издателю «Маяка», обратившемуся в статье о Пушкине и его критиках к «добрым русским»: «Давайте выражать русское горячее чувство, мудрое знание и силу богатырской души — живым, кипучим, родным, народным, маленько мужицким словом. . .» («Маяк», 1843, январь, стр. 31). Беллинский иронизировал над этим «маленько мужицким словом» Бурачка в «Литературных и журнальных заметках» (1843) и в рецензии на «Грамматические разыскания» В. А. Васильева (1845) (см.: *Беллинский*, т. VII, стр. 24; т. IX, стр. 224).

Стр. 32. «*Народ, с одной стороны, тоже дитя*». . . — цитируется статья Щербины (*Щербина*, стр. 286).

Стр. 33. *Вон у Гоголя один герой ∞ обиделся*. — Имеется в виду следующий эпизод в «Мертвых душах» Гоголя (гл. XI): «Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: „Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!“» (*Гоголь*, т. VI, стр. 237).

Стр. 35. . . словечко князя Талейрана: «*Pas de zèle, messieurs, surtout pas de zèle!*» — Ж. М. Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord, 1754—1838), герцог, французский политический деятель и дипломат, прославившийся хладнокровием и пронизательностью, умением скрывать свои планы. Ему приписывают выражение «*Pas trop de zèle!*» «Поменьше усердия! (*франц.*)». С этими словами, по широко распространенному преданию, он обратился к молодым дипломатам, рекомендуя для пользы их и дела не очень проявлять рвение по службе. Ср.: O. Guerlac. *Les citations françaises*. P., 1961, p. 274.

Стр. 35. *La critique est aisée, mais l'art est difficile*. — Изречение, во времена Достоевского чаще всего приписывавшееся Буало, в действительности — цитата из комедии Ф. Нерико-Детуша (1680—1754) «Прославленный» (д. II, сд. 5). Ср.: O. Guerlac. *Les citations françaises*, p. 97.

Стр. 36. . . *точно из души нашего мужичка извлечен квадратный корень*. — К этому же сравнению прибегает герой «Записок из подполья»:

«. . . все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня» (наст. изд., т. V, стр. 115).

Стр. 37. . . . *вроде «Покорения Казани» из «Истории» Карамзина.* — Дела казанские описываются в IV и V главах восьмого тома «Истории» Карамзина. Достоевский вспоминает эти страницы «Истории» в «Дневнике писателя» за 1876 г. (сентябрь, гл. I, подглавка 4): «Осада была ужасна, и Карамзин описал ее потом чрезвычайно красноречиво». «История» Карамзина, как об этом писал Достоевский в статье «Одна из современных фальшей» (ДП, 1873 г.), была настольной книгой в семье Достоевских: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которую вслух по вечерам нам читал отец».

Стр. 37. *«Не подходи, не подходи! ты с ветру!» — кричит Обломов.* — Обломов встречается одинаковыми репликами Волкова, Судьбинского, Пенкина и Тарантьева: «Не подходи, не подходи! Ты с холоду» («Обломов», ч. I, гл. III, гл. IV).

Стр. 37. *Конечно, книга ∞ автос-эфа, как выражается г-н Щербина.* — «Книга для него — авторитет; печать в глазах его имеет большой кредит: он знает, что священное писание — книга, гражданские законы — в книгах. < . . > книга для народа — авторитет, „автос-эфа“» (ОЗ, стр. 286). Автос-эфа (греч. autos epha) — сам сказал; здесь употреблено как формула, выражающая слепое подчинение авторитету.

Стр. 37. . . . *не такой же народ ипохондрик, как ипохондрик г-на Писемского ∞ смерть.* — «Ипохондрик» — комедия А. Ф. Писемского (1852). Достоевский имеет в виду главного героя комедии — Дурнопечина, внушившего себе, что он смертельно болен.

Стр. 37. *«Говорящие животные и деревья покажутся народу бахарьством ∞ книги».* . . . — Цитируется статья Щербины (Щербина, стр. 286). Бахарьство — болтовня, выдумка: от «бахорить» — болтать, говорить лишнее.

Стр. 38. *«От народной ∞ историков».* — У Щербины: «По отделу историческому, от народной исторической песни и легко понятного по языку сказания летописи, должен постепенно и последовательно перейти к местам, почерпнутым из отечественных историков, местам, имеющим отдельный, определенный и замкнутый в себе интерес: народу не по душе отрывочность, незаключенность, неокругленная замкнутость в предмете его любопытства» (Щербина, стр. 287).

Стр. 38. . . . *для чего непременно приводить в «Читальнике» подлинную грамоту ∞ непонятнее?* — Достоевский пересказывает и частично цитирует следующее место статьи Щербины: «В другом случае, вместо того чтоб брать отрывок из историка, например о востесении на престол Михаила Федоровича Романова, падатель может привести подлинную грамоту о призвании на царство дома Романовых. В этой грамоте вступительно изображена вся история времен самозванцев, да и написана она народным, в смешении с церковно-славянским, языком, уважаемым народом и вполне понятным сколько-нибудь грамотному простолыдину» (Щербина, стр. 287).

Стр. 38. *«Подобного рода ∞ с Запада».* — Цитата из статьи Щербины (Щербина, стр. 287).

Стр. 39. *Вот вы, например ∞ гигиенических сведений».* — У Щербины: «. . . в „Читальнике“ должна находиться небольшая статья юридического содержания, выведенная из настоятельных и всеобщих потребностей и данных народного быта, сообразно со статистикой преступлений и смотря на большинство каких-либо известных их видов. Тут же должно поместить и статейку гигиенического содержания, обусловливаемого бытом нашего простонародья. Сколько мрет, болеет, калечится понапрасну от совершенного отсутствия в народе самых простых, общих, крайне необходимых гигиенических сведений! . . . Европейец несказанно ужаснулся бы, если б прочитал в нашем „Календаре“, какое огромное количество ежегодно умирает детей в каждой губернии» (Щербина, стр. 283).

Стр. 39. *Далее у вас предположено ∞ «какие есть науки?»* — У Щербины: «В этом же отделе поместятся календарные сведения, необходимые народу в его обиходе, выбор из словаря иностранных слов, вошедших во всеобщее упо-

требление, и в начале отдела читатель найдет небольшую краткую статью, содержащую в себе *определение* всех наук, что сделано и в «Письмовнике» Сурганова. Она, положим, будет называться «Какие есть науки» (Щербина, стр. 288).

Стр. 39. «Заключительным отделом с народу». — Щербина, стр. 288. Достоевский не совсем точно цитирует; у Щербины: «... отдел статей духовно-нравственного содержания».

Стр. 39. «Чтоб яснее с в них». — Цитируется статья Щербины (Щербина, стр. 289). Курсив автора.

Стр. 39. «Первый отдел, с формат». — Щербина, стр. 289.

Стр. 39—40. . . . из «Памятников старинной русской литературы» Н. Костомарова «О мудреце Кериме» Жуковского, небольшие рассказы Даля, как-то «Ось и чека» с «Притча о хмеле». . . — «Памятники старинной русской литературы» издавались Г. Купшелевым-Безбородко под ред. Н. Костомарова (СПб., 1861—1862. вып. I, II); «Притча о хмеле» («О хмельном питии, или О высокоумном хмеле и худоумных пьвицах») помещена во II выпуске (стр. 447—449). «О мудреце Кериме» — вторая повесть («рассказ повеселее») из произведения В. А. Жуковского «Две повести. Подарок на Новый год издателю „Москвитянина“» (1844). «Ось и чека» — небольшая притча В. И. Даля опубликованная в 3-й книжке «Сельского чтения» (СПб., 1845). Белинский выделяет ее как одно из удавшихся произведений в журнале — юмористический в народном духе рассказанный анекдот. . . (Белинский, т. IX, стр. 284).

Стр. 40. «Этот отдел с ее явлениях». — Цитируется статья Щербины (Щербина, стр. 287).

Стр. 40. «Слов о полку Игореве в переводе Дубенского! — Д. Н. Дубенский (ум. 1863), магистр московского университета, издал в своем переводе «Слово о Полку Игореве» (М., 1849). Рецензент «Северной пчелы» также нашел неуместным включение «Слова» в «Читальник»: «... нам кажется странным печатать для народа и „Слово о полку Игоря“, в каком бы ни было переводе, несмотря на множество поэтических красот его» (СП, 1861, 29 марта, № 70 стр. 278).

Стр. 41. . . . «Малое слово о Великом (Штре I)» Бенедиктова. — Стихотворение В. Г. Бенедиктова (1807—1873) «Малое слово о Великом» (1855) было сурово оценено в «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» Н. А. Некрасовым: «Это не народный язык и не язык людей образованных, — что же это такое? . . . Не беремся отвечать, — знаем только, что на такой тон нельзя написать удовлетворительного произведения о предмете, который избрал с-н Бенедиктов» (Некрасов, т. IX, стр. 310—311).

Стр. 41 . . . и — об инфузориях! — У Щербины: «Или, например, инфузории в капле воды и тому подобное, выбранное из многих книг и изложенное не в на чной форме, но ясно, занимательно, просто, для восприятия непосредственным созерцанием человека, находящегося, так сказать, еще почти в моменте эпического состояния» (Щербина, стр. 291). Д. И. Писарев в статье «Народные книжки» тоже восставал против поспешной и неумелой пропаганды в народе «немецкой науки»: «Придет время говорить и о вольтовом столбе, да ведь не теперь же и не таким образом. Ведь нельзя же забрасывать человека незнакомыми словами, до которых ему нет дела, ведь зарыбит в глазах и зашумит в ушах от этой бесцветной пестроты. < . . . > Сказать же вскользь о громе, потом об электрических машинах, потом о гальванизме, высказать при этом просвещенное сочувствие к прогрессу и привести этимологию этого слова, порадоваться на свою образованность и ткнуть мужику в глаза его невежество и суеверие — на это способен любой гимназист, перешедший в старший класс и гордый своим общественным положением» (Писарев, т. I, стр. 68). Инфузории (лат. Infusoria) — класс наиболее высоко организованных одноклеточных организмов.

Стр. 41. «Словарь иностранных слов с и теперь?». — У Щербины: «Небольшой словарь важнейших и общепотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык, что бывает необходимо при чтении газет и книг и что слышится в повседневном быту» (ОЗ, стр. 291).

Стр. 41—42. *В нем, видите ли ∞ народ гуманически.* — У Щербинны: «Здесь будут выбраны и систематически расположены целые пьесы и места из народной словесности и русских писателей, способные развивать и направлять народ гуманически, или представлять ему сведения и факты, выраженные в беллетристической форме» (ОЗ, стр. 292).

Стр. 42. . . «Что ты спишь, мужичок? . . .» или «Ах, зачем меня силой выдали». — Включение стихотворений А. В. Кольцова (1809—1842) «Что ты спишь, мужичок? . . .» (1841) и русской песни («Ах, зачем меня. . .») (1838), в «Читальник» вызвало у критика «Светоча» проницательную ассоциацию-картину: «Измучились бедные Ивановцы: в сухой год у них хлеб засохнет, в сырой — вымокнет, а там, на беду, червь выест — просто и не знают, что и делать! — А вот что, говорят им наши просветители: прочитайте в наших книжках песни Кольцова: „Урожай“, „Песню пахаря“, „Что ты спишь, мужичок? . . .“ и другие (Хрестоматия), авось хлеб-то и станет родиться. . .» (Св, 1861. № 10, стр. 3—4).

Стр. 42. . . «в ней выражено чувство чести ∞ нашему просто-народью». — Цитируется статья Щербинны (ОЗ, стр. 292). Курсив Достоевского. Ранее П. Кусков писал во «Времени»: «В „Песне про купца Калашникова“, будьте уверены, всё их внимание остановится на речах царя Грозного, а выражение чувства чести по отношению к жене они и не поймут, они и не заметят. У них у всех есть маленькое сознание этого. Нужно взяться за дело попрочее; а го шерехитришь и всё дело испортишь. „Боярин Орша“ в этом деле сильней бы подействовал; тут на сцене боярин: он знает, что удекает, а купец Калашников такой же мужик, как они! глуп, неучен, оттого так и делает» (Вр, 1861, № 5, стр. 11).

Стр. 42. . . *народные славянские рассказы и предания из книги Боричевского. . .* — Имеется в виду книга историка и этнографа И. П. Торпаны Боричевского (1810—1887) «Повести и предания славянского племени» (1840—1842).

Стр. 42. (Должно быть напечатано ∞ авторитета). — У Щербинны: «Они должны быть напечатаны церковнославянским шрифтом, равно как и места из Четких Миней, для ознакомления народа с церковнославянскою грамотою и чтоб придать книге более веса и авторитета» (ОЗ, стр. 294).

Стр. 42—43. . . *последние дни Иисуса Христа из книги Иннокентия. . .* — Иннокентий (в миру Борисов Иван Алексеевич) (1800—1857) — русский богослов и церковный оратор, ректор Киевской духовной академии. Трактат Иннокентия «Последние дни земной жизни господина нашего Иисуса Христа, изображенные по сказаниям всех четырех евангелистов» вызвал сомнение у представителей ортодоксального богословия (противником Иннокентия выступил Филарет, по настоянию которого было назначено секретное дознание «об образе мыслей архимандрита Иннокентия») и был напечатан только после смерти автора. О нем см.: М. П. Погодин. Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия. М., 1867; Барсуков. т. XVI, стр. 533; т. XVII, стр. 395—396, 473—479.

Стр. 43. . . *места из объяснений на литургию, из сочинений Гоголя и других. . .* — Имеется в виду богословское сочинение Н. В. Гоголя «Размышление о божественной литургии» (1848).

Стр. 43. . . *из «Начертания христианских обязанностей» Кочетова. . .* — И. С. Кочетов (1789—1854) — протоиерей, с 1841 г. ординарный академик имп. Академии наук, его сочинение «Начертание христианских обязанностей» в 40—60-е годы служило учебником в светских и духовных учебных заведениях.

Стр. 43. . . *из поучений Иродиона Путятина. . .* — Р. Т. Путятин (1807—1869) — известный проповедник, его «Краткие поучения» стали появляться в печати с 1842 г., некоторые из них были помещены в «Русской хрестоматии» Галахова (ч. I).

Стр. 43. . . *слово о пьянстве Тихона Задонского.* — Имеется в виду популярная проповедь воронежского и елецкого епископа Тихона Задонского (в миру Тимофея Савельевича Кириллова; 1724—1783), пятнадцати-

гомвое собрание сочинений которого вышло в начале 1860-х годов. О Тихоне Задонском см.: наст. изд., т. IX, стр. 511—513.

Стр. 43. . . *принятие христианства Константином Великим*. . . — Константин Великий (274—337), с 325 г. единодержавный император, по словам галльского панегириста Евсевия («*Vita Constantini*»), перед смертью принял крещение. Православная церковь чтит память Константина как святого и равноапостольного.

Стр. 43. . . *принятие христианства на Руси Владимиром*. . . — Владимир Святославович (вторая половина X в.—1015), великий князь Киевский, принял христианство в 988 г. Православная церковь за крещение Руси чтит Владимира святым и равноапостольным. Принятие христианства имело место и до 988 г.

Стр. 43. . . *жизние св. Ольги, Кирилла и Мефодия, Нестора-летописца*. — Ольга, великая княгиня, умерла в 969 г., завещав похоронить ее по христианскому обряду. Канонизирована православной церковью. Кирилл (в миру Константин) (826—869) и Мефодий (мирское имя неизвестно; род. до 820—ум. 835) — братья, славянские первоучители и апостолы, святые как православной, так и римско-католической церкви. Нестор (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, древнерусский писатель, автор «Чтения о князьях Борисе и Глебе», «Жития Феодосия», составитель «Повести временных лет».

Стр. 43. *Описание святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Афона*. . . — Иерусалим — главный город древней Иудеи, там находится верховная христианская святыня — храм св. Гроба. Сам город и его окрестности — места, почитаемые христианами всего мира. Вифлеем — небольшой город к югу от Иерусалима на территории древней Иудеи. Афон — гористый и лесистый полуостров в Греции, в Эгейском море; одно из самых почитаемых мест восточного православного христианства.

Стр. 43. . . *извлечения из путешествий Барского, инока Парфения Муравьева*. . . — В. Григорович-Барский (1701—1747) — русский паломник. Его книга «Пешеходца Василия Григорьевича Барского-Плаки-Албова, уроженца киевского, монаха антиохского, путешествие к святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся < . . . > им самим писанное, и пр. . .» полностью опубликована в 1788 г. и переиздавалась 6 раз. Парфений (Аггеев Петр; 1807—1878) — автор получившей большую популярность и любимой Достоевским книги «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника святыя горы Афонския инока Парфения» (1855). Об отношении писателя к этой книге см.: наст. изд., т. XV, стр. 528. А. Н. Муравьев — писатель, видный чиновник Синода, автор «Путешествия по святым местам в 1830 году» (СПб., 1832), вызвавшей избрание его в 1837 г. членом Российской Академии.

Стр. 43. *Так представлялись ∞ недостатки*. — Цитируется статья Щербины (ОЗ, стр. 295).

Стр. 43. «. . *Из смеси ∞ навязывать?*» — Цитируется статья П. Кускова «Вместо фельетона» (Вр, 1861, № 5, отд. «Смесь», стр. 11).

Стр. 45. . . *журнал «Учитель» ∞ много ль из пяти останется?*. — Еженедельный журнал «Учитель» издавался в 1860-е годы известными педагогами И. И. Паульсоном (1825—1898) и Н. Х. Весселем (1834—1906). Журнал пропагандировал педагогические идеи Песталоцци и Дистервега. Постоянным рецензентом и библиографом журнала был петрашевец Ф. Г. Толль (1823—1867). «Уточка», над которыми пронизывает Достоевский, — в № 2 «Учителя» в разделе «Наглядное обучение арифметике»: «4 утки поплыло в пруд, а 3 другие к берегу. Сколько всех было уток в пруду» (16 января, № 2, стр. 76). Ранее в журнале «Время» над этим разделом «Учителя» издевался П. А. Кусков в своем разборе содержания журнала за первое полугодие 1861 г. (Вр, № 6, стр. 185—200): «. . . в журнале „Учитель“ заметно необычайное стремление приблизить российский народ к немецкому началу, он для этого на последних своих страницах не ленится даже рисовать целые ряды шляп, удочек, уточек, кувшинчиков в разном количестве для наглядного обучения арифметике, и бог знает на какие хитрости поднимается он для

развития в детях мысли» (там же, стр. 199). П. А. Кускову очень резко отвечал Ф. Г. Толль в статье «О детских журналах» («Учитель», 1861, 1 декабря, № 23, стр. 973—975).

Стр. 46. . . *собрать бы их все да сжечь!* — Неточная цитата из «Горн от ума» Грибоедова (д. III, явл. 21, реплика Фамусова).

Стр. 46. *В видах средств ∞ из них.* — Цитируется статья Щербинь (Щербина, стр. 298).

Стр. 46. «*Нужно постановить ∞ в народе же.*» — Щербина, стр. 296—297.

Стр. 47. «*Есть еще способ ∞ по деревням.*» — Щербина, стр. 297.

Стр. 47. . . в «*Марфе Посаднице*» Карамзина. — См.: наст. изд., т. XVIII, стр. 48, 256.

Стр. 47. . . *все — Фролы Силины, благодетельные человеки!* — Об отношении Достоевского к повести Н. М. Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791) см.: наст. изд., т. III, стр. 511—512.

Стр. 49. «*Часто распространение книги ∞ чаще.*» — Цитируется статья Щербинь (Щербина, стр. 297).

Стр. 50. . . «*Зефироты же, например.* . . — Речь идет о первоапрельском шуточном рассказе В. Ф. Одоевского «Зефироты» (СП, 1861, № 73, 1 апреля, стр. 289—290). В мистификации Одоевского рассказывалось о некоей породе полулюдей-полуптиц, размножающихся «при посредстве поцелуев» и обладающих неотразимым оружием: их глаза, испуская «нечто вроде электрического пламени», испепеляют все живое на огромном расстоянии. Рассказ завершался пессимистическим выводом: «Помещая перевод из „Chiapes Advertiser“ в нашей газете, долгом считаем напомнить нашим читателям, что вопрос о возможности новой, более нас совершенной породы разумных животных был уже затронут наукой. До сих пор человек был первостепенным из живых земных существ, теперь приходится ему уступить первое место *зефиротам*. Кто знает? быть может, нам придется быть у них чем-нибудь вроде домашних животных» (там же, стр. 290). Рассказ Одоевского стал настоящей сенсацией, взволновал умы петербуржцев. Не помогло даже специальное «Объяснение»: «Северной пчелы»: «По неосмотрительности наборщика в статье „Зефироты“ (. . .) пропущено несколько слов в самом ее начале. Напечатано: „На днях получена здесь Chiapes Advertiser“, следует читать: „На днях получена здесь газета «Chiapes Advertiser» за пять лет XXIX столетия с 2857 по 2861 год.“» (СП, 1861, № 74, 3 апреля, стр. 294). Как свидетельствует некто А. Полоротов, автор тогда же появившейся брошюры «Зефироты и звероты» (СПб., 1861), «статью эту народ читал в Петербурге во всех ресторанах, трактирах и ресторациях два дня кряду, в особенности много читателей было в воскресенье, — этого было весьма достаточно для того, чтобы весть о вновь открытых крылатых людях, питающихся только запахом цветов, разнеслась повсюду, с горячими уверениями вестовщиков, что это действительная правда, потому что напечатано в газетах, с ссылкой на затронутие этого вопроса наукой и т. д. А так как, при всем этом, нынче такое время, что все и диковинки становятся не в диковинку, то девять десятых народонаселения в Петербурге уверовали в истину открытия и возможность существования зефиротов (. . .) огромное большинство и посейчас находится в уверенности, что рано или поздно, а привезут зефирота в Петербург и станут показывать сперва, конечно, в Пассаже, а потом на масленице, и на Адмиралтейской площади» (стр. 9—10). О впечатлении, произведенном на петербургскую публику, писал П. Горский в фельетоне «Истинно счастливый и практичный человек нашего времени. (Исторический рассказ)» (БдЧт, 1861, № 4, стр. 4—11). О популярности, выпавшей на долю шутки, говорят и другие факты: «Зефиротом», в частности, называли в кругу Е. А. Штакеншейдер Н. Г. Помяловского (Е. А. Ш т а к е н ш е й д е р. Дневник и записки (1854—1886). Изд. «Academia», М., 1934, стр. 292—293). Рассказ Одоевского упоминал в своем фельетоне и Кусков: «Мужик купит брошюру „Живая покойница“, „Мнение доктора такого-то (позабыл имя этого великого человека) о кончине мира“, „Зефироты“, — эти вещи, подаренные нашему народу „Северной пчелой“, но мужик не купит „Читальника“. . .» (Вр, 1861, № 5, стр. 10).

Стр. 51. *Трудящийся достоин платы; это давно сказано.* — Ср.: «трудо-
щийся достоин прощания» (Евангелие от Матфея, гл. X, ст. 10); «трудо-
ящийся достоин награды за труды свои» (Евангелие от Луки, гл. X, ст. 7).

Стр. 53. *...о каре Новгородца...* — Имеется в виду совершившееся
в 1478 г. присоединение Новгородской земли к Московскому великому кня-
зству, за которым последовало подавление Иваном III попыток сопротивле-
ния со стороны новгородцев.

Стр. 53. *...об осаде Лавры...* — Имеется в виду осада польско-литов-
скими войсками Лжедмитрия II Троице-Сергиевой лавры (23 сентября 1608—
12 января 1610 г.).

Стр. 53. *...о смерти Ивана-Царевича...* — Возможно, имеется в виду
сын Ивана IV (Грозного) Иван (1554—1581), убитый своим отцом. Но Достоев-
ский мог иметь в виду и брата Петра I Ивана Алексеевича (1666—1696).

Стр. 53. *...путешествий Кука...* — Путешествия Джемса Кука
(Cook James, 1728—1779) многократно переиздавались в различных русских
переводах начиная с конца XVIII в.

Стр. 53. *...путешествия капитана Бонтекое, гениально составленного
из прежних материалов Александром Дюма...* — Бонтеку (Bontekoe) Виллем
Исбрац (1587—1647?) — голландский мореплаватель, совершивший в 1618—
1625 гг. трудное и опасное путешествие в юго-восточную Азию и Китай
19 ноября 1619 г. на находившемся в Индийском океане корабле «Нью-Хорн»,
капитаном которого был Бонтеку, произошел пожар, приведший к взрыву
запасов пороха; оставшиеся в живых члены экипажа, предводительствуемые
Бонтеку, на шлюпке добрались до Суматры, где подверглись нападению
туземцев, вынуждены были вновь выйти в море и наконец у берегов Явы были
подобраны голландским флотом. Написанный Бонтеку рассказ о своем полном
приключений плавании был опубликован в 1646 г. в Голландии, а в 1663
и 1681 гг. издан в переводе на французский язык. Воспоминания Бонтеку
послужили основой для рассказа «Bontekoe», открывавшего цикл доку-
ментальных рассказов А. Дюма-отца «Les drames de la mer» («Драмы на море»),
который печатался в петербургском журнале «Revue étrangère de la litté-
rature, des sciences et des arts» (1852, v. LXXXI, février, p. 384—425). Отдельные
издания «Les drames de la mer» вышли в Париже в 1853 и 1860 гг. Рассказ
«Bontekoe» был переведен на русский язык уже в 1852 г. См.: «Капитан Бон-
теке» — *БДЧ*, 1852, т. CXIII, ч. 2, июнь, стр. 144—180 (анонимный перевод);
«Капитан Бонтеку» — «Морской сборник», 1852, т. VIII, № 7 (июль), стр. 15—
32; № 8 (август), стр. 91—120 (перевод В. К. Шульца). Подробное изложение
записок Бонтеку содержится также в статье «Гибель голландского корабля
„Нью-Горн“» в 7-м томе «Библиотеки путешествий», изданной А. А. Плюш-
ком (СПб., 1854). 6-й и 7-й тома этой серии — «Рассказы о кораблекруше-
ниях» — представляют собой сделанное В. М. Строевым изложение западно-
европейских печатных источников.

Стр. 53. *...о приключениях какого-нибудь кавалера де Шеварни и герцо-
гини де Лявергондьер* — Можно предположить, что писатель имеет здесь
в виду не один какой-либо определенный роман, а пародирует типичные сю-
жеты массовой французской буржуазной литературы, отчасти предвосхищая
памфлетную главу «Брибри в мабинь» в «Зимних заметках о летних впечатле-
ниях» (см.: наст. изд., т. V, стр. 90—98), где также говорится о миллионе,
который благородная «виконтесса» жалует своей воспитаннице Сесиль и ее
Гюставу.

Стр. 53. *...разных капитанов Полей, капитанов Панфилов...* —
Имеются в виду романы А. Дюма «Капитан Поль» («Le capitaine Paul» — 1838;
русский перевод: *БДЧ*, 1838, т. XXX) и «Капитан Памфил» («Le capitaine
Pamphile» — 1839).

Стр. 56. *...три листа или сорка.* — Народные азартные карточные
игры.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 11, отд. II, стр. 64—75, без подписи (ценз. разр. — 7 ноября 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1883, т. X, отд. 1, стр. 131—142.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья о газете «День» завершает публицистический цикл Достоевского. Полемика с «Отечественными записками», «Современником» и «Русским вестником» в предыдущих статьях в достаточной степени выявила специфику направления «Времени», отличие его от других идеолого-литературных тенденций эпохи. Полемицировал Достоевский и со славянофилами, но лишь мимоходом. В статьях других сотрудников журнала вопрос о существовании славянофильства возникал чаще; в целом отношение «Времени» к славянофильству было сочувственным, хотя достаточно сдержанным и скептическим: об этом свидетельствуют даже статьи А. Григорьева. Демонстративно называя глубокими мыслителями Аксаковых, Киреевских, Хомякова, превознося филологические труды К. Аксакова и религиозные брошюры Хомякова, выявляя грань, отделяющую «истинных» славянофилов «от учений мрака», от «Маяка» и А. С. Шишкова, Григорьев выпущен был, однако, признавать, что далеко не всегда эта грань была такой уж очевидной. «В пылу битвы за свое отрицание реформы славянофильство само иногда роняло песочек несколько случайных слов в защиту таких явлений допетровского быта, которые никакими общечеловеческими идеалами не оправдываются», — писал он в статье «Народность и культура» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 88). Достоевский ту же мысль проводит в данной статье значительно категоричнее. Не соглашаясь с Григорьевым, отдававшим предпочтение славянофильству перед западничеством, Достоевский адресует славянофильству аналогичные упреки в «старобоярском» направлении, в идеализме, теоретичности, догматизме, отвлеченном учительстве. Запомнил он тезисы Григорьева в статье «Взгляд на книги и журналы, касающиеся истории русского народного быта», во многом подготовившей почву для полемики Достоевского с И. С. Аксаковым и вооружившей его сильными аргументами. Писатель, в сущности, варьирует в более резкой форме следующие слова критика: «Славянофильский взгляд на народ, его быт, историю, предания, поэзию — взгляд, хотя и несравненно справедливейший, нежели взгляд отрицательный, в сущности сходен с сим последним тем, что он точно так же теоретический. Славянофильство < . . > не брало народ, каким он является в жизни, а искало в нем всегда своего *идеального* народа, обрезывало по условной мерке побегов этой громадной растительной жизни. Славянофильство в своем теоретическом ослеплении подавало руку шишковизму, который вел прямо к «Маяку» и «Домашней беседе»; славянофильство не любит, в сущности, Пушкина < . . > и, может быть, до сих пор еще чуждается современной народной литературы, во главе которой стоит Островский. По крайней мере, оно ни разу не выражало к ней, к этой новой литературе, своего сочувствия. К народу и к народному быту относилось это, впрочем весьма почтенное и много доброго сделавшее, направление учительно и даже иногда исправительно. *Своего идеального* народа оно отыскивало только в допетровском быту и в стенах, которых не коснулась еще до сих пор реформа» (*Вр*, 1861, № 4, стр. 176).

Не скрывая своих разногласий со славянофилами, Григорьев все-таки под конец стремился смягчить свою критику: «Мы хотели, — писал он, — только наглядно указать на существенный порок направления, которое тем не менее мы уважаем едва ли не более всех других долго существовавших теоретических направлений и которого самые промахи поучительны, потому что и самые промахи происходили из источника любви и уважения к народу» (там же, стр. 179).

Орган славянофилов газета «День» (издатель-редактор И. С. Аксаков) начала выходить в Москве еженедельно с 15 октября 1861 г. Газета имела отделы: Литературный, Областной, Славянский, Критический и Смесь. Политический отдел И. Аксакову не был разрешен. Газета выходила до 1865 г.

Совершенно естественно, что известие о новом славянофильском органе печати было встречено «Временем» доброжелательно: «... с 1 января будет издаваться в Москве новая газета „День“, под редакцией И. С. Аксакова. . . Будем ждать с нетерпением исполнения этого обещания!» (Вр, 1861. № 7, стр. 107).

Однако первые же номера газеты вызвали разочарование Ф. М. Достоевского и вынудили его выступить с необычно резкой по тону статьей, разбирающей общественно-политические и литературные взгляды «Дня». Достоевский отделяет свою позицию и от обскурантов вроде Аскоченского, приветствовавшего рождение «Дня», и от тех, кто неистово обрушился на славянофильскую газету, как на издание рептильное и ретроградное (а именно таков был почти общий голос российской журналистики). Восстает Достоевский, однако, не против сути выступлений критиков «Дня» («Мы не за „День“ заступаемся и не за взгляды его»). Его тревожат тон критики, в нем он видит страшные и болезненные симптомы, те «деспотические» приемы, тот «терроризм мысли», решительным и убежденным противником которого он выступал во всех статьях 1861 г. Реакция печати на появление «Дня» для Достоевского — лишнее свидетельство общего неблагополучия дел в разрозненном, разбившемся на множество партий и групп образованном обществе России.

После короткого полемического вступления Достоевский переходит к анализу содержания первых номеров «Дня», выделяя передовую статью И. С. Аксакова «Москва 14-го октября» (Д, 1861, 15 октября № 1); посмертно опубликованную статью К. С. Аксакова «Наша литература» (там же), передовую И. С. Аксакова «Москва 21-го октября» (Д, 1861, 21 октября, № 2) и корреспонденцию Н. Б.¹ «Из Каширы. Письмо 2-ое», сопровождаемую обширными примечаниями И. С. Аксакова (Д, 1861, 4 ноября, № 4). Анализ этих статей дает Достоевскому основание констатировать неизменность и догматичность славянофильских воззрений, неумение и нежелание славянофилов считаться с духом времени. Более того, он колко замечает, что беспрерывно говорящие о русских народных началах теоретики-славянофилы удивительно не по-русски отстаивают свои идеи, внося в споры с западниками дух вражды, фанатизма, непримиримости: «Те же славянофилы, с тою же неутомимую враждой ко всем, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочью, совершенно нерусскою формальностью» (стр. 58). Признавая большие заслуги славянофилов, Достоевский, однако, оценивает их без энтузиазма и горячности, нередко свойственных Герцену. Напротив, он вовсе не собирается преувеличивать эти заслуги, сопровождая даже похвалы серьезными ограничениями: «Есть у них *иногда* сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (*но отнюдь не всех*) основных элементов русской народной особенности» (стр. 59; курсив наш, — Ред.). Достоевский подчеркивает, что западничество было не в меньшей степени русским явлением, чем славянофильство, он пишет настоящий панегирик западничеству (признавая законность и необходимость даже «ярого западничества») и «страстно-отрицательной» литературе. Достоевский явно отдаёт предпочтение «западнической» партии, как партии движения, верной духу реализма в герценовском широком значении этого слова, имеющего мало общего с узким и односторонним «утилитаризмом». Судьба и произведение Герцена эмигрантского периода стоят за следующими словами Достоевского: «... западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и во что бы ни стало отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали

¹ П. М. Павлов (1836—1905). См.: Н. М. Павлов. Наше переходное время. (Сборник статей, помещавшихся преимущественно в газетах: «День», «Москва» и «Русь») Приложение к «Русскому архиву» 1888 г. М., 1888, стр. 138.

глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, попятием. Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее наконец и обратилось к *реализму*, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем. . .» (стр. 60). Реализм, ум, анализ, попятие («станция пытливого ума и анализа»), трезвость взгляда и способность к движению, умение честно признавать свои ошибки, «самопроверка», «самопознание» — всё это отличительные качества «западничества», по убеждению Достоевского, ставящие его выше мечтательного, книжного, догматического и нетерпимого славянофильства. Оценивая историческую роль славянофилов, Достоевский отказывает им в праве обвинять русское общество в целом и западников в частности во лжи и неискренности, указывает на их очевидный «разлад с действительностью». Его статья — последовательная попытка отделить «почвенническое» направление от славянофильского.

Достоевский высоко ставит труды К. Аксакова «о мире, об общине русской». Но в то же время он не может сдержать возмущения крепостнической моралью, развиваемой Н. Б. — корреспондентом «Дня» по крестьянскому вопросу. Недовольство Достоевского вызвали и идиллические примечания к корреспонденции Н. Б. редактора газеты И. С. Аксакова. Упорно проводя славянофильскую апологию «Запад—Восток» и искажая реальную картину крепостничества, Аксаков дошел до утверждения, «что в общей сложности личные отношения помещиков и крестьян были довольно человечны», что в России крестьянин «не был для помещика „вилеием“ (villain), а «рабом божьим», «христианскою же душою». Ответ Достоевского Аксакову недвусмысленно ясен: «Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с, одно другого, верно, стоило. Спросите у мужиков. < . . > А холоц, хам, халуй, хамлет — что, эти пазвания, по-вашему, благороднее вилеия?» (стр. 66). В этих словах ощущается влияние поллитического завещания Белинского, его «письма к Гоголю». Упрекает Достоевский редактора «Дня» и в недостатке подлинного христианского чувства. Грозным перемиадам и мрачным пророчествам Аксакова, фанатично вeterпным словам, вкладываемым им в уста «будущего» русского православного народа, Достоевский противопоставляет дух кротости, согласия, любви, терпимости: «И уж если пошло на тексты, то не грозный текст пророка приведет он (народ, — *Ред.*) тогда, а милосердные слова бесконечной любви. . .» (стр. 65).

Продолжает Достоевский в статье и спор со славянофильской концепцией развития русской литературы, в которой, по давнишнему убеждению писателя, яснее всего сказались теоретизм, отвлеченность славянофильского направления, его разлад с подлинно реалистическим взглядом на историю развития русского общества. Иронически задевая литературный опыт К. С. Аксакова, комедию в двух действиях с прологом «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (1851), Достоевский, видимо, вспоминал отзывы В. Г. Белинского о художественных произведениях славянофилов, в частности о драмах А. С. Хомякова. В «Статьях о народной поэзии» (1841) Белинский писал, что хотя в драме Хомякова «Ермак» «имена < . . > не только русские, но даже исторические русские, а дух и склад речи принадлежат идеальным буршам немецких университетов; и русского духа в ней слыхом не слышать, видом не видать» (*Белинский*, т. V, стр. 298). Аналогичен отзыв Белинского в статье «Русская литература в 1844 году» (1845) о «Дмитрии Самозванце» Хомякова: «. . . видна более или менее ловкая подделка под русскую народность, но нет ни одного истинного проблеска русской народности. Видим лица, видим события, видим русские слова, но не видим того, что давало бы смысл, было бы ключом к разгадке этих лиц и событий. Самозванец и Ляпунов г-на Хомякова говорят, кажется, по-русски, а между тем оба они — какие-то романтические мечтатели двадцатых годов XIX столетия, следовательно, нисколько не русские начала XVII века» (*Белинский*, т. VIII, стр. 465). К этим и другим суждениям Белинского о славянофильской беллетристике примыкает обращение-напоминание Достоевского руководителям «Дня» о бесплодности и ничтожности их художественных попыток изображения

русского народа: «Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались» (стр. 63).

В полемике Достоевского с литературными мнениями К. С. Аксакова безусловно присутствовал и личный момент: писателю были памяты отзывы Константина Аксакова о «Бедных людях» и «Двойнике» (см.: наст. изд., т. 1, стр. 477, 491). Личное Достоевский сопрягает с общим: он горячо возражает принципиальному противнику «натуральной школы» и «отрицательного направления» — К. С. Аксакову, с тем же упорством проводившему свои мнения в 1850-е годы, как и в 1840-е. В «Обзрении современной литературы» (1857) К. Аксаков продолжал утверждать, что «литература наша — собрание чужих форм, разных отголосков и только», писал о «хилости и недолговечности современного состояния нашей литературы, не нуждающейся для своего падения в посторонней помощи. . .» (*РВ*, 1857, т. 1, стр. 2—3). Аксаков пророчил «прекращение литературы, начавшейся с Кантемира, дух которой в основании был — подражательность», и находил этот процесс естественным: «Эта литература давала нам поэтические произведения < . . . > истинных талантов, попавших на общий ложный путь; она давала нам их, пока не замкнула своего круга, пока не истощила своих сил, пока не поколебалась вера в ее направление. Но теперь наступила эта минута, и прежняя литература, после полутораста лет своей деятельности, впада в совершенное бесение» (там же, стр. 38). Те же идеи проповедовал К. Аксаков и в статье, посмертно опубликованной в газете «День», что дало основание Достоевскому говорить о косности и догматичности славянофильской критики. Он упрекает братьев Аксаковых в непонимании реальных историко-литературных процессов, в разрыве с требованиями «живой жизни». Тенденциозное и поверхностное истолкование К. Аксаковым пьес Островского для Достоевского — убедительный образчик односторонности и предвзятости славянофильского воззрения на русскую литературу и искусство вообще.¹

Достоевский доказывает, что суждения К. Аксакова о русской литературе по духу неразумно слиты с примечаниями И. С. Аксакова к корреспонденциям «обскуранта» Н. Б. и его же мрачными перемнами-пророчествами. Отсюда естественно родившийся каламбурный мрачный прогиоз Достоевского: «Дурные „Дни“ вы сулите нам впереди. Мы с симпатией думали встретить журнал ваш, но вы хоть какую симпатию потушите» (стр. 65). Слова эти означали признание краха надежд редакции «Времени» на новый славянофильский орган печати как на возможного идеологического союзника.

Статья Достоевского определила на ближайшее время если не всеобщее, то господствующее отношение редакции «Времени» к общественно-политическому курсу взятой газетой «День». Об этом говорят также публикации журнала, как статья «Наследство старого года: задачи и „День“» (*Вр*, 1862, № 1), оспаривающая мнения газеты по дворянскому вопросу; заметка «Девятнадцатый номер „Дня“» (*Вр*, 1862, № 2), иронически комментирующая антисемитскую выходку И. С. Аксакова и др. (о полемике «Времени» с «Днем» см.: *Нечаева «Время»*, стр. 83—84, 271—273, 311—312).

¹ Даже в 70-е годы Достоевский не преминет при случае противопоставить славянофилам Пушкина, сути творчества которого они не поняли. Он писал Н. Н. Страхову 23 апреля 1871 г.: «У Вас была, в одной из Ваших брошюр одна великолепная мысль < . . . > что всякий чуть-чуть значительный < . . . > галант — всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству становился народным, славянофильским. Так, свистун Пушкин вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того, — высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор». В начале 60-х годов Достоевский относился к славянофильским теориям несравненно прохладнее и ставил в прямую связь догматизм их теоретических тезисов с утилитарной и пристрастно-нетерпимой, антиисторической эстетикой.

Продолжил полемику с «Днем» в 1862 г. и сам писатель. В статье «Славянофилы, черногогорцы и западники» он иронизировал над передовой И. Аксакова от 16 февраля 1862 г., в которой редактор «Дня» требовал ограничения прав евреев; в «Двух лагерях теоретиков» (1862) Достоевский называет «неизгладимым пятном на редакции» и другую передовую Аксакова «Москва 28-го октября», призывавшую молодое поколение учиться, а не бунтовать, так как студенты не имеют «полных прав гражданских, а следовательно. и голоса в делах общественных» (Д, 1862, № 3, стр. 2). В статье «О новых литературных органах и о новых теориях» Достоевский осудил «диатрибу» «Дня» против «нашего общества» (1863), которая в напряженной обстановке, вызванной правительственной кампанией, воспользовавшейся петербургскими пожарами, носила провокационный характер. Эти и другие полемические уклады и предупреждения Достоевского «Дню», вместе взятые, дают представление о глубине и серьезности идеологических разногласий «Времени» и его редактора со славянофильской газетой.

Некоторым диссонансом звучит в журнале лишь рецензия (по всей видимости, Н. Н. Страхова) на «Литературные воспоминания» И. И. Панаева. «Слишком легко было бы ценить людей и мнения, — читаем мы здесь, — если бы для этого нужно было только сосчитать число подписчиков на журналы. Славянофилам можно в этом отношении поскрбно позавидовать. Их мало читали, но их всегда уважали. Мало ли было журналов, которые шли во сто раз успешнее, мало ли писателей, которые читались в тысячу раз более? А между тем многие из них исчезли, не оставив по себе доброй памяти; много имен, некогда знаменитых, покрыты теперь бесславием. Славянофилы же, эти Киреевские, Хомяковы, Аксаковы, — чем дальше, тем значительнее, тем светлее и чище их память. Это какие-то живучие имена, и кто любит истинную жизнь, тот не отвернется от них с презрением, как отворачиваются те, кто из-за минутного шума и треска не слышит ничего менее громкого, но более постоянного» (Вр, 1861, № 12, стр. 191). Рецензия отразила существовавшее в редакции «Времени» противоречие между сочувствующими славянофильскому направлению Н. Н. Страховым и А. А. Григорьевым, с одной стороны, и остальными членами редакции — с другой. Разногласия эти не исключали соглашения по вопросам, позволявшим взаимно идти на компромиссы и определенные уступки. Притом рецензия на воспоминания Панаева была направлена против «террора мысли», грубых и оскорбительных суждений критика «Библиотеки для чтения», нетерпимого тона его статьи с фельетонным заглавием «Пора меж волком и собакой». В рецензии раздраженно осуждалось само славянофильское направление: «Перед нами 6-ть №№ нового славянофильского органа, *иже нарицается* — «День»: и все это мертвые зады, мертворожденные фразы, чревоуещанья и оракулы, пересыпанные возгласам *с. . .* самого бестактного, даже никого не обижającego хвастовства» (БдЧт, 1861, № 11, стр. 1). В оскорбительном тоне писал автор о К. Аксакове: «. . . смешно и страшно, что из этого микроскопического имени (К. Аксакова, — *ред.*) выбрасывают флаг; но дико, безобразно и более чем невежественно, когда этот флаг хотят навязать вам как национальный. Это тем более смешно и необузданно, что не только какой-нибудь Константин Аксаков, но и вся-то славянофильская партия перед лицом здравого смысла оказывается какой-то небывальщиной, менее чем мифом, который всегда имеет хоть символическое значение. Пора понять и заявить, что эта партия существует как название, потом — как группа людей, считающих взаимно друг друга единомышленниками касательно каких-то им только известных мистерий, но что такой партии как действительной силы, проявляемой каким-нибудь определенным способом, совершенно не существует. Какая угодно премия тому, кто расскажет понятным для человеческого смысла языком, над какою задачею трудится эта партия и что она сделала для ее объяснения. *с. . .* как деятельная сила, вы для общества вовсе не существуете» (там же, стр. 9, 13—14). Такая критика могла вызвать отпор не только Григорьева и Страхова, но и Достоевского, писавшего в комментируемой статье: «. . . пмя Аксаковых, всех тронх, слишком известно, чтоб не знать, с кем имеешь дело» (стр. 58).

Примечательно, что полемика Достоевского со славянофилами не прошла бесследно для А. Григорьева. Под прямым влиянием статьи Достоевского Григорьев писал в «Плачевных размышлениях о деспотизме и о вольном рабстве мысли» («Якорь», 1863, № 3): «. . . вижу и дикую статью покойного К. С. Аксакова о русской литературе, статью, сказать прямо приходится, при всем уважении к памяти благородного деятеля, исполненную одного только тупого самодовольства и всякого посмеяния достойную. . .» (*Григорьев, Воспоминания*, стр. 363). В той же статье А. Григорьев повторяет основные возражения Достоевского славянофилам: «Я глубоко сочувствую славянофильству в его любви к быту народа и к высшему благу народа — религии, но и глубоко же ненавижу это старобоярское направление за его гордость < . . . > Ведь если, впрочем, ты, молодая и притом *петербургская* редакция, протянешь руку славянофильству, оно, ослепленное своей татарской гордостью, пожалуй, и не примет твоей руки. Оно только в себя верит — и, в сущности, оно не народное, а старобоярское направление. Народ для него — только степной, а не городской народ; вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него — ложь; вся наша литература, кроме Аксакова и Гоголя, — вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на его дороге. Ведь выше князя Луповицкого славянофильское художество не поднималось, потому что, собственно, и «Семейную хронику» и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства русская литература. А без художества — теория пропащее дело» (там же, стр. 355—356).

Стр. 58. . . . статьи *с Хомякова, Константина Аксакова . . .* — В № 1 «Дня» опубликованы статьи К. С. Аксакова «Наша литература» (стр. 7—8) и А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России» (стр. 3—7). О статье Хомякова см. ниже, стр. 338.

Стр. 58. . . . *всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы.* — Областной отдел открывался следующими словами редакции: «Мы намерены помещать в этом отделе не только „вести из областей“, присылаемые в редакцию в виде писем от наших постоянных или временных корреспондентов, но и статьи, посвященные обсуждению какого-либо областного вопроса или вопроса всеобщей важности, но которого основание, повод, точка отправления стоят на областной почве. < . . . > Кроме того, мы желали бы представить в этом отделе нашим читателям такого рода описания, которые бы знакомили их с физиономией, тоном, нравственным характером наших губерний» (*Д*, 1861, № 1, стр. 12). Славянский отдел редакция «Дня» намеревалась превратить в международную политическую трибуну: «Открывая славянский отдел в нашем издании, мы имеем основание надеяться, что сделаем его со временем довольно полным источником разнообразных и верных сведений о положении и движении славянского дела. Но мы поставили себе и другую задачу. < . . . > мы желали бы (и приглашаем к тому и другие органы нашей печати) иметь в виду не одних русских, но и славянских читателей, сообщать не одни сведения, но и обсуждать общие вопросы, постоянно возбуждаемые антагонизмом западного и славянского мира, и не оставлять без внимания враждебные выходы европейской публицистики. < . . . > Именно теперь в настоящую трудную минуту, нужно было бы живое и дружеское слово славянам, такое слово, которое, возбуждая и поддерживая в них чувство славянской народности, в то же время скрепляло бы их духовную связь с Россией, *связь, без которой их собственное, самобытное развитие и преуспеяние — невозможно!* Пусть помнят это славяне!» (там же, стр. 16).

Стр. 58. . . . *Аскоченский, говорят, восторженно похвалил его.* . . . — В. И. Аскоченский, редактор мракобесной «Домашней беседы», с энтузиазмом процитировал передовую И. Аксакова в № 1 «Дня» и выразил сочувствие славянофильской газете: «Мы с напряженным вниманием прочитали profession de foi новорожденной газеты „День“ и от души порадовались такому взгляду на принятую ею задачу, о каком за несколько лет тому и подумать было опасно» (*ДБ*, 1861, № 42, стр. 817). Вновь восторженно приветствовал «День» Аскоченский месяц спустя: «Дай бог здоровья редакции, что она не

стала дожидаться обычного срока появления в свет газет и журналов. Не такое теперь время, чтоб стеснять себя подобного рода формальностью: в литературе нашей пожар; тушить надо, — кто первый поспел на тревогу, тому честь и слава < . . . > Мы почти уверены, что „свистящие“ цвилязаторы и громкоголосые прогрессисты поднимут, что называется, дым столбом против г-на И. Аксакова и его честного и добросовестного делания или намеренно пройдут его гордым молчанием, в надежде убить этот „глас вопиющего в пустыне“; но не почти, а решительно уверены и в том, что Русь святая не послушает их ни криков, ни воплей, поймет и молчание их и с трепетною радостью станет читать газету „День“, если только редакция так будет и продолжать ее, как начала» (ДБ, 1861, № 46, стр. 895—896). Аскоченский призывал новый орган печати не следовать пагубному примеру других появившихся в 1861 г. журналов — «Времени» и «Веку»: «Помоги господи! Но тронет ли новорожденная газета главный и существенный элемент жизни народной — веру православную, проведет ли она ее, как ярко-серебряную нить, в пестрой, а больше черной ткани быта общественного, — этого мы не видим покамест; имеем даже основание опасаться, чтоб п „День“, вслед за „Временем“ и „Веком“, не склонился к западу современного умничанья о религиозности и преданности вере, прикрывающей якобы грубое безверие» (ДБ. 1861, № 42, стр. 819—820).

Стр. 58—59. *«И на каком же ∞ уже брезжит»*. — Цитата из передовой И. С. Аксакова «Москва 14-го октября» (Д, 1861, № 1, стр. 1. Курсив Достоевского). Обвинения русского общества во всепроникающей «лжи» вызвало единодушно (исключение — Аскоченский) отрицательный прием в печати 1860-х годов. Характерно в этом смысле пародийное стихотворение В. С. Курочкина «Когда мне в первый раз принес рассыльный „День“. . .» (1861) в составе фельетона «Дни и ночи. (Образцы славянофильского витийства и поэтические грезы барона Тираха Толерансова)» (см.: Поэты «Искры». Изд. «Художественная литература», Л., 1955, стр. 194—195. («Библиотека поэта»). Большая серия).

Стр. 59. *Одно худое идетъ. . .* — Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья» (1811).

Стр. 59. *Ни один западник ∞ неоконченном*. — Трудно определить, какое произведение К. С. Аксакова, более всех славянофилов уделявшего внимание «миру» и «русской общине», имеет в виду Достоевский. В газете «День» часто публиковались (или перепечатывались) статьи и наброски К. С. Аксакова. В редакционном примечании к статье П. Бланка, в частности, приводятся следующие слова из записной книжки Аксакова о «мире»: «Замечательно, как, с одной стороны, народ ставит высоко мир, совет и пр., как высшее выражение ума и жизни вообще; с другой — видит в собрании людей — множество людей, толпу, и в ней силу стихийную, которая неразумна; почему толпа и может двигаться с силою, невольно все и всех увлекающею и часто увлекаемою незнанием. Мир судит бог, говорит народ, и в то же время: мир силен, как вода, и глуп, как дитя. Мир умен и мир глуп» (Д, 1861, № 4, стр. 7). «День» счел необходимым перепечатать и «Краткий исторический очерк Земских соборов» из вышедшего в 1861 г. первого тома Собрания сочинений К. С. Аксакова (М., 1861, стр. 298—306). Очерк представляет собой вступление к «Истории земских дум», работу над которой прервала смерть Аксакова. Весьма вероятно, что именно это сочинение привлекло внимание Достоевского, и в первую очередь, должно быть, следующее место очерка: «В самых первых временах в славянских народах мы встречаем человеческое общество, мир, и необходимое проявление его существования — совещание, носившее в древности наименование *Веча*. Народ, живущий под такими условиями, имеет на языке русском особое наименование *Земли*. Этим словом обозначается общественно-человеческое начало. Дела земские есть дело народное, то есть общественно-человеческое. Такой быт народный не есть быт общественный в тесном значении этого слова, как например быт родовый: напротив, этот быт — быт общинный — есть уже дело чисто человеческого духа и потому составляет заслугу у тех народов, где он встречается. Славянские народы. жившие с незапамятных времен под условиями обще-

ственно-человеческого, или земского, быта, являются тем самым уже на высшей степени человеческого преуспеяния, хотя, конечно, это высшее начало могло носить более или менее отпечаток грубости известного времени. Являясь под условными этого быта, славянское племя является племенем не государственным, не ищущим внешнего, принудительного *устройства*. Самое яркое тому доказательство — это то, что совещание славянской общины требовало *единогласия* для решения дела, как единого истинного пути для решения. Когда является одно общее мнение, тогда является действие общины; же община разделена между собою в вопросе по одному общему делу, там уже нет общины, ибо нет одной общей воли. — Есть другой путь, принятый первым началом, началом внешней правды, или началом государственным, началом, ожидающим, как сила внешняя, на принуждении. Этот путь — есть путь *большинства и меньшинства*. По этому началу, те, которых больше, — правее. Но здесь является внешнее насилие, побеждает множество, основываясь на счете, и принудительно налагает свое мнение на меньшинство. Большинство есть та же, только очищенная, грубая сила. Такого решения не могла допустить правда внутренняя, не могла допустить свобода общины. Единое согласие осталось характеристическою чертою славянского племени вообще и теперешних сходов нашего крестьянства. — Мы согласны, что, с точки зрения государственности, строго развитой, начало единогласия является не практическим; но точно так же, как и любовь братская, самопожертвование, всякая добродетель и вообще вся нравственная сторона человека является непрактическою» (Д, 1862, № 13, 6 января, стр. 3). В 1870-х годах большое впечатление произвел на Достоевского статья К. Аксакова «О современном человеке», опубликованная в сборнике «Братская помощь» (СПб., 1876). См.: ДП. 1876, февраль, гл. 1, подглавка 2.

Стр. 59. *Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе*. . . Речь идет о статье «Наша литература», одобренной редакционным примечанием: «Рукопись, к сожалению, не оконченная, найденная в бумагах К. С. Аксакова и писанная им в конце 1859 г. Она принадлежит к собранию статей, которые он предполагал издавать отдельными брошюрами под общим названием «Труды и Дни» (Д, 1861, № 1, стр. 7).

Стр. 60. . . *из описи Казани и Лавры с изъяснением его же «Марфы Посадницы»*. — Об отношении Достоевского в начале 60-х годов к «Истории» и художественным произведениям Карамзина на исторические темы см.: наст. изд. т. XVIII, стр. 256—257.

Стр. 62. . . *это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего*. . . — Достоевский произносит над исполненными гордыни словами К. Аксакова: «. . . сама история влилась в дело, и вопреки освобождения крестьян, возникновению которого так способствовала резко отделяющаяся от остальной литературы славянофильская дружина, — обратил на себя всеобщее внимание и вызвал дельные труды по этой части» (Д, 1861, № 1, стр. 8).

Стр. 62. *У него вся литература наша с иноземному идеалу*. — В статье К. Аксакова утверждалось: «А мы разорвали нашу связь с прошедшим, сваялись с корня, и вот причина беглого и ветреного хода нашей литературной и всяческой деятельности. Мы были прильнули к чуждому самостоятельному развитию, но, лишившись всякой своей почвы, своего дна, так сказать, — мы ничего и чуждого удержать в себе, как в решете, не можем. Все бежит сквозь; ничего не остается; или лучше: востоянно остается пустота. < . . > литература наша (говоря вообще) мчится с необыкновенной быстротою; она едет *налегке*. Налегке и немудрено мчатся. < . . > эта быстрота смены явлений, это бегом совершающееся развитие имеет еще мало в себе утешительного, доказывая только отсутствие почвы, отсутствие того веса, который умеряет движение и делает каждый шаг прочным и полезным» (Д, 1861, № 1, стр. 7).

Стр. 62. «*Портрет купца с жить должно?*» — К. Аксаков, прямо не называя имени А. Н. Островского, рассуждал в статье «Наша литература»: «Была ловля и на кушов. Купец скорее дался, благо в нем позамерла русская жизнь, не то что в крестьянине. Вышел купец похож. И борода схожа

и речь схожа: *должен* говорит, а не: *должен*, ну, и быт похож, и лед замерзшей старины, и мокрая грязь раскисшей новизны: слякоть, распутица. Сходно. А где же настоящий купец? Где душа его? где то, что в нем жить должно? где то добро народно-человеческое, которое, как в грязном сундуке, в быте куческом, и про которое прослышать можно бы? <...> Один из литераторов в особенности отмежевал себе купца» (Д, 1861, № 1, стр. 8). Об отношении М. М. и Ф. М. Достоевских к Островскому см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 205—206, 245.

Стр. 63. . . . *суждение барича в желтых перчатках*. . . — Достоевский прощески переосмысливает жанровую картинку из корреспонденции Н. Б.: «Было замечено в „Московских ведомостях“, помнится в одном письме из Твери, что есть посредники, которые слывают у народа за французов. Они являются на сельский сход в белых перчатках и говорят мужику „вы“. Мы очень хотим верить в добрые намерения таких господ, очень сочувствуем их деликатности и вежливости в обращении с крестьянами, но положительно уверяем, что эти „вы“ и белые перчатки на сельском сходе — карикатура» (Д, 1861, № 4, стр. 10. Н. Б. Из Кашеры. Письмо 2-е). Этим словам Н. Б. сопутствует примечание И. Аксакова: «Конечно, карикатура, с этим мы безусловно согласны» (там же, стр. 10). Достоевский вспомнит «карикатуру» в статье «Два лагеря теоретиков. (По поводу «Дня» и кой-чего другого)»: «Ну поймет ли нас народ, когда мы явемся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на „вы“?»

Стр. 63. . . . *выше князя Луповицкого вы еще не подымались*. — Комедия К. С. Аксакова «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню» (1851) появилась в печати отдельным приложением к «Русской беседе» (1856, № 1). Герой комедии, вернувшись из Парижа, пытается привить крестьянам своего поместья плоды европейского просвещения, терпит в этом полную неудачу, так как крестьянский мир во главе со старостой убеждает его в преуспеваемости исконного русского просвещения над всяческой западной премудростью.

Стр. 64. «*Что видим мы ∞ Покайтесь!*. . .» — Цитируется передовая И. С. Аксакова «Москва 21-го октября» (Д, 1861, № 2, стр. 1—2). Курсив И. Аксакова.

Стр. 65. . . . *ошибку в фальшь не ставят*. — Выражение это записано Достоевским под № 260 в «Сибирской тетради» (см.: наст. изд., т. IV, стр. 242).

Стр. 65. . . . *уверяет его ∞ много ума*. — Корреспонденцию Н. Б. в газете сопровождали редакторские примечания И. С. Аксакова, корректирующие слишком реакционные мысли корреспондента. Н. Б. писал: «Без преувеличения можно сказать, в последние пять, шесть лет очень много было написано в пользу „низших братий“ такого, после чего самый тип крестьянина возводился на высоту какой-то чуть не святости. Целые партии как будто лозунгом своим брали защиту и восхваление крестьянских добродетелей; учение о высоте крестьянской просвещенности сделалось учением передовых: малейший намек о грубости их нравов был бы сочтен уже обскурантизмом, отсталостью. Целые легионы прозелитов такого учения высыпали вслед за тем на всех путях общественной деятельности. . .» (Д, 1861, 4 ноября, № 4, стр. 9). И. Аксаков отмежевывается от признаний открытого крепостника: «Едва ли можно так легко относиться к такому явлению, как сочувствие „к низшим братьям“. Без всякого сомнения, в этом историческом нравственном движении общества было много преувеличенного, натянутого и ложного (еще более было тут подражательности подобному же движению на Западе), — но таков удел всякой великой мировой идеи, поступившей в кровообращение общественного организма, ставшей предметом жизненной разработки, сделавшейся достоянием миллионов отдельных человеческих единиц. Дело в том, что ведь „низшие братья“ и теперь всё же остаются „низшими“, и если участь их несколько облегчена после *вековых* страданий, то еще нам рано покоиться на лаврах, считать себя совершенно расквитавшимися и спешить умерять свои великодушные порывы, которые и всего-то гостят в нас так недавно, по поговорке: без году неделю! В этой самой поспешности не то что серьезно сложившееся требование, а скорее какое-то притязание на беспристрастие и свободу, довольно комфортабельную, от всяких увлечений, — притязание.

еще не оправдываемое обстоятельствами. Гораздо важнее вопрос о внутреннем содержании этого сочувствия, и о взаимном непонимании сочувствующих и, так сказать, сочувствуемых. Автор письма, без сомнения, думает согласно с нами, но мы сочли необходимым сделать это примечание, чтобы устранить всякие недоразумения» (там же). В другом месте Н. Б. обвинял крестьянское сословие: «Вслушайтесь в те крестьянские речи, которых наслушиваются теперь помещики при своих попытках к соглашению, — и вы, конечно, признаете крайнюю несостоятельность крестьянских юридических понятий. <...> Источником их вечного упорного несогласия <...> является часто даже не недоброжелательство к помещику, что было бы даже и извинительно по многим причинам. Нет, это просто следствие невежественного состояния, которое пробует и пытается всякими лишними требованиями и захватами вынудить себе наконец существо действительных своих прав, допускаемых законом» (там же, стр. 10). И. Аксаков возражал: «Неужели автор видит во всем этом одно невежество и ему всё в этом деле до очевидности ясно? Поздравляем его с таким завидным даром. Что касается до нас, то и нам несколько мудрено выяснить себе отношение бывших крепостных к крепостной барщине, и т. п. А ставить в вину крестьянину, что бродит ощупью в таком важном для него и в то же время темном деле, в разрешении которого он не участвовал, — не слишком ли это будет неосторожно? . . .» (там же, стр. 10). В другом примечании Аксаков, не соглашаясь с иронией Н. Б., признает разумным ответ крестьян посредникам. Н. Б., желая продемонстрировать отсутствие «юридических» понятий у крестьян, приводит характерный разговор: «„Согласны?“ — спросил один из наших посредников крестьян, согласившихся на предложенную им помещикам грамоту. „Да“. — „Так подпишите ваше согласие“. — „Да зачем же, батюшка, подписывать? уж коли точно нам так и по закону приходится, так подписывай, не подписывай — всё одно будет. Вот о подушных мы и не подписывались, а с нас каждый год собирают!“ — Вот их ответ, чисто анекдотический, но он — был». «Ответ не глупый. . .», — замечает Аксаков (там же).

Стр. 65. «Нам слишком хорошо ∞ отзывается». — Редакторское примечание И. Аксакова (Д, 1861, № 4, стр. 10).

Стр. 66. «Мы даже думаем ∞ развитие? — Примечание И. Аксакова (Д, 1861, № 4, стр. 9).

Стр. 66. . . . «виленьем». . . — Вилень (франц. vilain) крестьянин.

Стр. 66. . . . знаменитое *Jus primaevae noctis* — *Jus primaevae noctis* (лат.) — право господина на первую ночь с невестой вассала (крепостного). Ср. в «Записках из подполья»: «. . . вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это *droit de seigneur*. . .» (см.: наст. изд., т. V, стр. 136).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СНОВИДЕНИЯ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

(Стр. 67)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Вр, 1861. № 1, отд. VI, стр. 1—22, без подписи (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXII, стр. 176—208.

Печатается (вместе со стихотворными вставками Д. Д. Минаева) по тексту первой публикации.

На принадлежность прозаической части фельетона Ф. М. Достоевскому впервые указал Н. Н. Страхов. Перечисляя написанное Достоевским для первой книжки журнала «Время», Страхов писал, что Достоевский «в первом номере взял на себя и фельетон. Фельетон поручен был, собственно, Д. Д. Минаеву; но, не знаю почему, содержание написанного им фельетона не удовлетворило Федора Михайловича; тогда он наскоро написал свою

статью, под заглавием „Сновидения в стихах и прозе“ и вставил в нее все стихотворения, которыми был пересыпан фельетон Д. Д. Минаева, по тогдашней моде, введенной, кажется, Добролюбовым, именно его знаменитым „Свистком“ в „Современнике“» (*Биография*, стр. 213). Несмотря на указание Страхова, фельетон не перепечатывался вплоть до 1914 г.,¹ когда В. Астров (Савелов) в книге «Не нашли пути» поместил значительный отрывок из него.² В 1916 г. фельетон был опубликован полностью В. Л. Комаровичем, который на основе анализа его содержания и стиля доказал принадлежность его Достоевскому и указал на его большое историко-литературное значение (*РМ*, 1916, № 1, стр. 103—126; ср.: *Фельетоны*, стр. 106—120).

С Д. Д. Минаевым Достоевского познакомил в 1859 г. А. П. Миллюков. Он писал Достоевскому в Тверь 28 сентября 1859 г.: «Позвольте вам представить подателя этого письма — Дмитрия Дмитриевича Минаева. Уполномоченный издателем нового литературного журнала „Светоч“, он весьма желает познакомиться с вами и просит вашего участия в новом издании» (*ЛН*, т. 83, стр. 160). 18 октября Достоевский пишет брату Михаилу Михайловичу, что Минаев был у него в Твери и что он обещал ему сотрудничество в «Светоче». В 1860 г. Минаев, печатавший свои сатирические стихи, переводы и фельетонные обозрения «Петербургская летопись» в «Светоче», часто посещал «вторники» Миллюкова, на которых бывал и вернувшийся в Петербург Достоевский (см. вступительную статью И. Г. Ямпольского в кн.: Д. Д. Минаев в. Собрание стихотворений. Изд. «Советский писатель». Л., 1947, стр. XI—XII. «Библиотека поэта». Большая серия). Фельетоны Минаева имели успех, поэтому неудивительно, что он был приглашен во «Время» наряду с другими активными сотрудниками «Светоча» перешедшими работать в журнал братьев Достоевских.³

В первом номере «Времени» за 1861 г. в разделе «Критическое обозрение» Минаев поместил юмористический разбор четырех книг переводов из Гейне. В редакторской книге журнала «Время» за январь 1861 г. по этому поводу записано, что Минаеву «выдан гонорар „За библиографическую“ статью»; здесь же имеются сведения о гонораре ему и за стихи в фельетоне (*ГБЛ*, ф. 93, 1, 3, 22, л. 2).

Еще в сентябре 1858 г. в письме к брату, излагая в связи с задуманным им еженедельником программу будущего журнала, Достоевский писал: «Главное: литературный фельетон, разборы журналов. . .» (письмо от 13 сентября 1858 г.). В 1860 г. в печатной программе журнала «Время» на 1861 г. был также объявлен фельетон (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 40). Тут же было сказано, что «из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки».

Фельетон для первой книжки «Времени» был, как мы уже знаем, первоначально написан Минаевым. С этим фельетоном первый номер журнала, по-видимому, был представлен к 1 декабря 1860 г. в цензурный комитет, и было получено цензурное разрешение на его выход. Уже после этого, в последние дни декабря, неудовлетворивший Достоевского фельетон Минаева был заменен «наскоро» написанной, по выражению Страхова, статью Достоевского «Петербургские сновидения», датруемой концом декабря 1860 г. Что фельетон не мог быть написан раньше — подтверждается многочисленными переключками и прямыми цитатами Достоевского из декабрьского номера «Современника», в частности из фельетона Нового Поэта цензурно:

¹ А. Г. Достоевская, перечисляя статьи Достоевского, напечатанные во «Времени» за 1861 г., писала о данном фельетоне: «По мнению Н. Н. Страхова, статья написана Ф. М. Достоевским» (Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского <. . . > 1846—1903. СПб., 1906, стр. 35).

² В. Астров. Не нашли пути. Из истории религиозного кризиса. Станкевич—Белинский—Герцен—Киреевский—Достоевский. СПб., 1914, стр. 98—104, 281—291.

³ О Д. Д. Минаеве, о его роли в «Светоче» и переходе во «Время» см.: Фридендер, У истоков почвенничества, стр. 401—404.

разрешение которого было получено 19 декабря 1860 г., объявление же о выходе в свет появилось лишь 30 декабря (*СПбВед*, 1860, 30 декабря, № 283). Но и помимо этого, фельетон Достоевского насыщен самыми последними к тому времени новостями. Текст фельетона Минаева не сохранился, и мы не можем вполне определенно сказать, чем фельетон этот не удовлетворил Достоевского. Мотивами, вызвавшими его замену, могли послужить и идеологические разногласия между Достоевским и «искровцем» Минаевым (сотрудничество последнего во «Времени» прекратилось после того, как его фельетон был отвергнут редакцией), и неудовлетворенность Достоевского художественными качествами фельетона. Но можно предположить и еще один мотив: судя по сатирическим стихам Минаева, сохранным Достоевским в тексте фельетона, и фельетонам того же Минаева в первом и втором номерах «Светоца» за 1861 г. (которые по содержанию и манере должны были быть близки его фельетону, написанному для «Времени»), весьма вероятно, что большая часть фельетона Минаева была посвящена выпадам против только что вышедших «Очерков из Петербургской жизни Нового Поэта» И. И. Панаева. В связи с выходом их П. И. Вейнберг в статье «Литературные скандалы» писал по поводу «Очерков» Панаева, что они «не имеют ничего литературного. Это совсем не сочинения. Это то, что, пока не напечатано, называется слухами, новостями, сплетнями. Напечатанное, оно имеет свое место и значение в другой литературе — литературе скандалов» (*ОЗ*, 1860, № 10, отд. III, стр. 29—39). Примечание редакции к статье Вейнберга было прямо направлено против «Свистка». В «Светочке» Минаев также отозвался об «Очерках» Панаева критически: «Только один Новый Поэт, — пишет он, — умеет рассказывать о петербургской жизни весело, легко и занимательно. Это был бы соперник лучших парижских фельетонистов, если бы не один маленький недостаток — отсутствие светскости и тона пестивного джентльмена. К сожалению, при всех претензиях на приемы порядочного человека, у Нового Поэта на всяком шагу проглядывают замашки франта-комми из перчаточного магазина» (*Св*, 1861, № 2, стр. 8—9). Между тем «Время» поместило в первом номере «Письмо постороннего критика (по поводу книг г-на Панаева и Нового Поэта)»,¹ где высказано иное, сочувственное отношение к сочинениям Панаева. Да и вообще в расчеты редакции вряд ли входило затевать сразу же полемику с Панаевым и «Современником».

Свой взгляд на роль и задачи фельетониста Достоевский сформулировал в самом фельетоне. Порицая фельетонистов, дающих лишь перечень «воображаемых животрешущих городских новостей», он иронизирует над «едва оперившимися мальчущками», считающими, что фельетон — «это не повесть, пиши о чем хочешь < . . . > Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это . . . это почти главное дело». Вслед за этим писатель напоминает современным фельетонистам, как пример, о Вольтере. Достоевский размышляет над тем, каким представляется ему «присяжный, всегдашний», а не «случайный» как он сам себя рекомендует, фельетонист: «. . . я пожелал обратиться в Эжена Сю, чтоб описывать петербургские тайны». Упоминание Э. Сю не случайно. В 1840-е годы французская традиция определила путь развития фельетонного жанра от газетной хроник, «физиологических очерков» к «роману-фельетону» Э. Сю «Парижские тайны». Аналогично Парижу место в русском фельетоне со времен Гоголя занял Петербург.

Заглавие «Петербургские сновидения» связывает фельетон, с одной стороны, с литературой физиологий 1840-х годов, с другой, — с переосмысленной Достоевским романтической традицией. Для фельетона характерен композиционный прием, найденный еще в «Петербургской летописи»: на первый план в нем выдвинуты личность автора — «мечтателя и фантазера» и его сложный внутренний мир.

Появившись впервые в цикле ранних фельетонов Достоевского, в «Хозяйке» и «Слабом сердце», образ «мечтателя» углубился в «Белых ночах» (см.: наст. изд., т. II, стр. 486—487). В «Петербургских сновидениях» он через

¹ Совокупность аргументов, приводимых В. А. Тушмановым, позволяет отнести «Письмо постороннего критика» к *dubia*,

10 лет получает иные психологические оттенки. Рядом со старым типом «сентиментального мечтателя» в фельетоне, в соответствии с новыми веяниями времени, теперь мелькают «мечтатель-прогрессист», «мечтатель-деятель», к которым писатель относится иронически. Главный герой фельетона психологически во многом превосходит тип мечтателя из позднейших повестей и романов Достоевского 1860—1870-х годов от «Преступления и наказания», где тема «мечтательства» приобретает новую сложную философско-историческую интерпретацию, которую она сохраняет вплоть до замысла особого романа «Мечтатель» (1876 г.), оставшегося неосуществленным (см.: наст. изд., т. XVII, стр. 8 и 435) и «Братьев Карамазовых».

В противовес легкому, юмористическому и даже слегка эксцентрическому началу фельетона дальнейшие, автобиографические его страницы написаны с глубоким задушевым лиризмом. Здесь приподнимается завеса над многими малоизвестными нам по другим источникам страницами жизни писателя от момента выхода его в отставку до появления в большой литературе. Автобиографичность фельетона явственно проступает в сопоставлении с письмами 1840-х годов. В письме к старшему брату от 1 января 1840 г., описывая встречи с другом юности И. Н. Шидловским, Достоевский писал: «. . . мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили. столько читали < . . . > Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им < . . . > Имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». Та же атмосфера юношеского упоения литературой, мечтательством, романтическими грезами отражена в фельетоне: «. . . бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире < . . . >» (стр. 70).

Восприятие Петербурга как некоего «сна», стоящего на грани реальности и фантастики, перенесенное из повести «Слабое сердце» (см.: наст. изд., т. II, стр. 48), проходит лейтмотивом через все творчество писателя. С «видением на Неве» связывает Достоевский начало нового этапа жизни — «с той именно минуты началось мое существование. . .», т. е. жизнь в творчестве (стр. 69). В героях его петербургских «сновидений» легко угадываются герои ранних произведений писателя. Среди перечисленных им «странных, чудных фигур» — «прозаический» и в то же время «фантастический» титулярный советник — Голядкин; Макар Девушкин и Вася Шумков — «чистые» и «честные» сердца, «преданные начальству», «оскорбленная и грустная» Варенька Доброселова и т. д.

«Петербургские сновидения» — произведение особого рода. С одной стороны, оно подводило в какой-то мере итог сделанного в докторский период, с другой — заключало в себе программу дальнейших творческих замыслов, обогащенных долгими размышлениями, новыми темами и мотивами. Новый герой опять-таки чиновник, но неожиданный поворот сюжета — возникшая у него «неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей», связывает привычную чиновничью тему 1840-х годов с бурной исторической обстановкой 1860-х. Достоевский переходит к злободневным петербургским событиям последних дней: «. . . вычитал я недавно из газет опять одну тайну» (стр. 72). Далее следует рассказ, почти буквально совпадающий с недавней заметкой в газете «С.-Петербургские ведомости», озаглавленной «Новый Гарпагон»: «5-го декабря, Нарвской части, 1-го квартала, в доме Кобылинского, найден умершим отставной титулярный советник Николай Петров Соловьев. Из дознания видно, что Соловьев, имевший около 80-ти лет от роду, жил в этом доме, на квартире у финляндского уроженца Андрея Глед, нанимая у него в комнате угол, отделенный ширмой, и платил за это 3 р(убля) серебром» в месяц. Соловьев жил здесь больше года, по-видимому, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость своих средств и даже за квартиру вовремя не платил, оставшись после смерти должен за целый год; в течение этого года Соловьев постоянно был в болезненном положении, страдая отдышкой и вообще расстройством грудных органов; для излечения от болезни ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу, отказывал себе в употреб-

лении свежей пищи даже в последние дни своей жизни и умер, не исполнив последнего христианского долга. При осмотре бумаг Соловьева найдено 169 022 р. (рубля) в билетах разных кредитных установлений и наличными деньгами, кои отосланы, для хранения, в 1-й департамент Управы благочиния. Тело умершего подлежит вскрытию» (*СПбВед*, 1860, 10 декабря, № 269). Фигура «Нового Гарпагона» должна была поразить Достоевского сходством с ситуацией, обрисованной им еще в 1846 г. в рассказе «Господин Прохарчин». Вернулся Достоевский к близкому мотиву и позднее — в «Подростке».

Следуя за Гоголем и отчасти за Бальзаком в изображении нищих-богачей, Достоевский переключает рассказ в иной, «фантастический» план, воссоединяя его с пушкинской идеей мрачного, демонического могущества утверждаемого с помощью денег (см.: *Бем* стр. 82—123). Реальный факт обогащения сопоставлениями с литературными образами его предшественников, дает Достоевскому возможность сказать свое слово, сделать именно то, о чем он говорит в начале фельетона: «... на всё можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить свою собственною мыслию, сказать свое слово, новое слово» (стр. 67—68). Тема свободы и могущества личности, достигнутых в результате накопления богатства, пройдет через все последующее творчество писателя. Элементы ее ощущаются в «Игроке», «Записках из подполья», «Идиоте»; она займет главенствующее место в неосуществленном замысле «Жизни великого грешника», а затем в романе «Подросток» станет «одержимой идеей» Аркадия Долгорукова (см.: *наст. изд., т. XVII, стр. 292—299*).

«Петербургские сновидения» поднимают и ряд других тем, сквозных в творчестве Достоевского, — темы «униженной бедности», страдающих детей, губительного для человеческой души равнодушия и нравственного цинизма перед лицом общих страданий.

В связи с полемикой начала 1860-х годов о нищенстве (И. Прыжов. Очерки древнерусского быта. «Наше время», 1860, № 45; Проект положения нищих. «Чтения в Обществе истории древностей российских», 1860, кн. 3, стр. 185—204) внимание фельетониста привлекает «некий господин» «в форменном пальто», «родной братец Ноздреву и поручику Живновскому», а также другой подобный же господин «отвратительно благородной наружности», просящий милостыню на улицах Петербурга. Трансформировавшись, соединив в себе черты и Ноздрева и Живновского, они появляются вновь в «Идиоте», на страницах черновых материалов к «Бесам», в романе «Подросток», где столкновение героев с «пьяным просящим поручиком» развернуто в целый эпизод (*наст. изд., т. XIII, стр. 220—224*).

Заключительная часть фельетона соответствует его подзаголовку: «в стихах и прозе». Возможно, такой был подзаголовок уже фельетона Минаева (ср. фразу в его сатирическом разборе русских переводов из Гейне: «„Развратные мысли“ этого писателя, в стихах и прозе, постоянно являются в наших журналах и газетах» (*Вр*, 1861, № 1, стр. 63)).

Сатирические стихи и пародии Минаева, искусно вплетенные в ткань «Петербургских сновидений», насыщают эту часть фельетона повседневными новостями литературного и общественного характера. Это включает фельетон в атмосферу острой журнальной полемики шестидесятых годов, в центре которой стояли споры вокруг «Современника», «единственного русского журнала, в котором все статьи можно читать с любопытством» (стр. 79).

Постоянно обращаясь к фельетону «Современника» и в какой-то степени пародируя его, Достоевский иронически называет статьи Добролюбова «указами, отдаваемыми им по русской литературе». К этой мысли он вернется в написанной вскоре статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» («Но писать в „Современнике“ указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом, — и ошибочно и бесполезно» (см.: *наст. изд., т. XVIII, стр. 100*)). Фельетонное обозрение в «Современнике» в эти годы вел И. И. Панаев. Его фельетоны «Петербургская жизнь. Заметки Нового Поэта» появлялись в журнале ежемесячно с 1855 по 1861 г. Основное их содержание составляли очерки быта и нравов различных слоев петербургского населения.

Во вступлении к «Петербургской жпани» Новый Поэт писал, что в центре его внимания будет жизнь светского, веселящегося Петербурга (что и дало повод к ироническим выпадам Достоевского). Но Панаев далеко вышел за пределы этой сформулированной им общей программы и придал своим фельетонам яркое обличительное направление. Как и во всех газетных и журнальных фельетонах, большое место Новый Поэт отводил хронике городской жизни: отчетам о театральныа постановках, выставках, заседаниях научных и благотворительных обществ, састрожая иностранных знаменитостей. Эти черты панаевских фельетонов, гообставшие им налет известной стереотипности. Достоевский пародирует в «Петербургских сновидениях». Говоря о «последнем фельетоне Нового Поэта», писатель имеет в виду его «Заметки» в декабрьской книжке «Современника» за 1860 г. Здесь даны две новеллы, по содержанию контрастирующие друг с другом. В одной — «счастливыи, богатый город (. . .) решительно город дворцов, замков, палаццо». В другой — Выборгская сторона, «узенькие переулки, обстроенные деревянными, полусгнившими и покривившимися домишками». В связи с этим Достоевский пишет: «Он (Новый Поэт, — *Ред.*) описывает безумную петербургскую роскошь и . . . бедность». Иронизируя над описываемыми Панаевым мерами, принимаемыми в Петербурге «против бедности и дороговизны» Достоевский цитирует приводимый Панаевым «слух» об учреждении компета народного здравия, упоминает о речи инженера Васильева «об улучшении Петербурга», которая только что разбиралась в «Современнике» (см. об этом ниже, стр. 273). Достоевский спорит с Панаевым по поводу его возмущения «мыслями» П. Л. Лаврова, высказанными им в трех лекциях о современном значении философии, прочитанных 22, 25 и 30 ноября 1860 г. в Пассаже в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (*СПбВед*, 1860, 19, 25 и 27 ноября, №№ 253, 257 и 259) по поводу «самостоятельного значения искусства» (*С*, 1860 № 12, стр. 404). Вскольз касается автор «Петербургских сновидений» темы «литературных скандалов», высказывается о «будущих критиках г-на Краевского», иронизирует над возможностью появления в газетах письма Краевского с объяснением степени своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», зная, что подобное «Необходимое объяснение» от редакции «Отечественных записок» уже было опубликовано в «С. Петербургских ведомостях» (1860, 16 сентября, № 200). Перечислив главные фельетонные «новости дня» и пообещав вернуться к ним в последующих номерах, Достоевский заключает рассказ возвращением к обрамляющему фельетон мотиву «сна», что придает ему своеобразную музыкальную завершенность.

Стр. 67. *Приехала, напр<имер>, Ристори со она в «Камме» со в «Марии Стюарт»*. . . — Аделаида Ристори, она же маркиза Капраника дель Грилло (1823—1906), — итальянская актриса, гастролировала с своей труппой в Петербурге зимой 1860 г. Гастроли Ристори начались 1 декабря трагедией Э. Легуве «Медея» (перевод А. Л. Элькан) и написанной специально для нее трагедией Дж. Монталелли «Камма» (на сюжет из Плутарха). Затем Ристори играла в «Марии Стюарт» Шиллера (перевод А. Маффеи), драме П. ДжиакOMETTI «Юдифь» и в «Макбете» Шекспира. Газета «С.-Петербургские ведомости» в еженедельном воскресном фельетоне «Петербургская летопись» последовательно сообщала о каждом выступлении итальянской актрисы (*СПбВед*, 1860, 4, 11, 18 декабря, №№ 265, 270 и 276). «Московские ведомости» поместили статью «Г-жа Ристори в Петербурге» (1860, 20 декабря, № 276), подробно разбирали выступления гастролерши и журнальные фельетонисты (*ОЗ*, 1860, т. СХХХIII, № 12, отд. VI, стр. 63—72; *С*, 1860, № 12, стр. 398—400; *Св*, 1861, № 2, отд. IV, стр. 18—22). Журнал братьев Достоевских во втором номере поместил статью А. А. Григорьева (?) «Несколько слов о Ристори» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 151—158).¹

Стр. 67. . . и пишет фельетон à la Новый Поэт о камелиях, устрицах

¹ Об авторстве этой статьи см.: Б. Ф. Егоров. А. Григорьев — критик. «Ученые записки Тартуского университета», 1960, вып. 98, стр. 236. (Труды по русской и славянской филологии).

и приятелях. . . — Стремясь показать стереотипность обычных журнальных фельетонов конца 1850-х—начала 1860-х годов, Достоевский обращается за примером к фельетонам И. И. Панаева в «Современнике». «Приятеля», «друзья», «знакомые литераторы и просто «знакомые» — непременные персонажи чуть ли не каждого его фельетона. Камелии — нарицательное название женщин легкого поведения, вошедшее в употребление после появления романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1847), а затем и его одноименной драмы (см. также, стр. 274). Устрицы как один из символов гастрономической роскоши наряду со «страбургскими пирогами» (Достоевский упоминает их ниже) постоянно присутствовали в фельетонах Панаева. Описывая праздничный вид Невского проспекта в фельетоне «Слабый очерк довольно сильной особы», он замечает: «. . . устрицы только что привезли, и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милотинных лавок для соблазна прохожих (. . .) на полках были раздражающие вкус страбургские пироги» (С, 1857, № 11, стр. 88). В ноябрьских «Заметках Нового Поэта» за 1860 г. Панаев, переключаясь с Достоевским, пронизывает над фельетонистом, считающим себя счастливейшим человеком в мире, если ему удастся напечатать хоть какую-нибудь новость, «хотя бы о привозе устриц», а на последних страницах «Заметок», точно забыв об этом заявлении, среди прочих «новостей» сам подробно описывает еще одно «небольшое заведение для устричных охотников» и даже советует содержателям его, «благоразумно уменьшившим цену на устрицы, не увеличивать неблагоприятно цены на другие яства» (С, 1860, № 11, стр. 108—109, 131).

Стр. 68. *Антрепренер* — здесь в значении издатель. В «Униженных и оскорбленных» Достоевский о Краевском-издателе писал: «Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что в литературе надо антрепренера . . .» (см.: наст. изд., т. III, стр. 423).

Стр. 68. . . . *там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность*. . . — Рассуждениям о «нравственности и безнравственности» посвящена большая часть октябрьского фельетона Нового Поэта (С, 1860 № 10, стр. 390—395).

Стр. 68. . . . *случилось что-нибудь с Андрей Александровичем!* — Речь идет о редакторе «Отечественных записок» А. А. Краевском.

Стр. 68. *Еще с детства, почти затерянный, заброшенный Петербург*. . . — Автобиографический мотив. Достоевский, приехавший для поступления в Инженерное училище в Петербург в 1837 г., чувствовал себя здесь одиноким, тем более что приехавший вместе с ним брат Михаил был вскоре отправлен в Ревель.

Стр. 69. . . . *спешил с Выборгской стороны к себе домой*. — Выборгская сторона — один из окраинных районов тогдашнего Петербурга, отделенный от центральной части города Невой. Панаев в «Заметках Нового Поэта» противопоставляет великолепие Петербурга «бедным лачугам» Выборгской стороны (С, 1860, № 12, стр. 393—397).

Стр. 69. *Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей э-на — бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог*. . . — Достоевский имеет в виду недавнее выступление Н. А. Добролюбова, который в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860) (Добролюбов, т. VI, стр. 7—32) настаивал на отмене телесных наказаний в гимназиях и полемизировал по этому поводу с Н. И. Пироговым, допускавшим сечение гимназистов розгами. Отношение Достоевского к этой полемике отразилось в набросках 1861 г. к неосуществленной статье о Добролюбове и Пирогове.

Стр. 69. . . . *образ покойного Фаддей Венедиктовича ∞ написал «Выжигина»*. . . — Ф. В. Булгарин (1789—1859) — агент III Отделения, издатель-редактор официальной газеты «Северная пчела», которую вместе с Н. И. Гречем он издавал более 30 лет. Булгарин вел в «Северной пчеле» еженедельный субботний фельетон «Журнальная всякая всячина», который был посвящен в основном обличению литературных противников в неблагонадежности, а также беззастенчивой саморекламе. Булгарин был автором благонамеренных нравоописательных романов «Иван Выжигин» (4 ч. СПб., 1829), «Петр Иванович Выжигин» (4 ч. СПб., 1831) и др.

Стр. 69. . . . *Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству. . .* — Достоевский считает началом «служения» И. И. Панаева искусству 1847 г., когда Панаев и Некрасов стали издателями «Современника».

Стр. 70. . . . *я любил вообразить себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона. . .* — Перикл (ок. 490—429 гг. до н. э.) — древнегреческий государственный деятель периода расцвета афинской демократии. Марий Гай (155—86 гг. до н. э.) — римский полководец и политический деятель. При римском императоре Нероне (54—68 гг.) усилилось преследование первых христиан. В 64 г. возникло, в частности так называемое «Неровово гонение», когда римская христианская община за предполагаемое участие в поджоге Рима подверглась гонениям и кровавой расправе.

Стр. 70. . . . *в Швейцарию гочу бежать. . .* — Намек на строку из юмористического стихотворения Н. А. Некрасова «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белошиткина» (1843): «Бежать хотел в Швейцарию». Ср. «Зимние заметки о летних впечатлениях» (наст. изд., т. V, стр. 51).

Стр. 70. . . . *я записывался в библиотеку у Смирдина, но сапогов себе не покупал.* — Библиотека книгопродавца и издателя А. Ф. Смирдина (1795—1857) с 1832 г. находилась на Невском проспекте в доме лютеранской церкви св. Петра (ныне дом № 22/24). Посетителями ее были А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский и другие известные писатели, поэты и журналисты. Библиотека выдавала книги и журналы для чтения на дому всем желающим по подписке (о библиотеке Смирдина см.: Н. П. Смирнов - Соколовский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. Изд. Всесоюзной книжной палаты. М., 1957).

Стр. 70. . . . *мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай.* — Клара Мовбрай (или Мобрай) — героиня романа В. Скотта «Сен-Ронаские воды» (1823), упоминаемого Достоевским также в произведениях 40-х годов «Белые ночи» и «Неточка Незванова» (см.: наст. изд., т. II, стр. 116, 239, 490, 505).

Стр. 70. . . . *мне приятно было читать «Kabale und Liebe» или повести Гофмана.* — Трагедия Шиллера «Коварство и любовь» (Kabale und Liebe, 1783) сыграла значительную роль в литературном формировании Достоевского наряду с другими драмами Шиллера (об отношении Достоевского к Шиллеру см.: наст. изд., т. VII, стр. 366). С «Коварством и любовью» имеет ряд сюжетных совпадений роман «Униженные и оскорбленные» (см.: наст. изд., т. III, стр. 485). Следы увлечения Гофманом отразились не только в ранних произведениях Достоевского («Двойник», «Белые ночи»); по замечанию Л. П. Гроссмана, «известное влияние Гофмана (на Достоевского) никогда не исчезало» (Библиотека, стр. 112). Достоевский в том же номере «Времени», где напечатан фельетон, сам объясняет, что привлекало его в реалистических повестях Гофмана (см. выше, стр. 87).

Стр. 70. . . . *с воротником из кошки, которую, впрочем, всегда можно было принять за кунуцу.* — Неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Шпатель» (1842) (Гоголь, т. III, стр. 155).

Стр. 71. . . . *воисе не Дон Карлосы и Поэты. . .* — Дон Карлос и маркиз Поза — герои драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), переведенной на русский язык М. М. Достоевским (БДЧт, 1848, №№ 2—5). Оба они часто упоминаются Достоевским — в статьях: «Г-н — бов и вопрос об искусстве», «Два лагеря теоретиков»; в письме к брату от 1 января 1840 г. и др.

Стр. 71. *Белья на нем почти тоже не было. . .* — Аналогичное замечание см. в рассказе «Господин Прохарчин»: «можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче» (наст. изд., т. I, стр. 242).

Стр. 71. . . . *кучер, хлестнувший его один раз кнутиком. . .* — Ближайший эпизод упомянут в первой (краткой) редакции «Преступления и наказания» (наст. изд., т. VII, стр. 38). См. также «Медный всадник» Пушкина (Пушкин, т. V, стр. 146).

Стр. 71. *Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью. . .* — Ср. рассказ «Скверный анекдот» (1862), где говорится, что жена отставного

титularного советника Млекошитаева была женщиной, «родившейся с зубной болью» (наст. изд., т. V, стр. 36).

Стр. 72. . . . *проговорила, как Валаамов осел.* . . . — В библейской легенде ослица месопотамского волхва Валаама заговорила человеческим голосом, в чем Валаам усмотрел божественное указание (Библия, Числа, гл. 22, ст. 20—35). Выражение «валаамова ослица» употребляется проницательно по отношению к неожиданно заговорившему молчаливому человеку Достоевский пользуется им также в «Братьях Карамазовых» (см.: наст. изд., т. XIV стр. 114).

Стр. 72. *И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди!* — В 1860 г. не было ни одного номера русской газеты или журнала без статьи об итальянских событиях и о Гарибальди. Ежедневно в газетах излагались новые подробности его биографии, его взаимоотношений с Кавуром и Виктором-Эммануилом. Фельетонист «СПб. ведомостей» даже объявлял о появлении в Петербурге «горчицы à la Garibaldi» (*СПбВед*, 1860, 6 ноября, № 242) «Время» в своем первом номере в «Политическом обозрении» за 1860 г., большую часть которого занимает «итальянский вопрос», сообщало о триумфальном шествии Гарибальди на север Италии: «Вся Европа следила за этим шествием с самым напряженным любопытством < . . . > И деловой человек, и государственный муж, и простой работник, и поэт — в то время принимались за свое дело не иначе как с мыслью: что-то делает Гарибальди? что от этого будет?» (*Вр*, 1861, № 1, стр. 28).

Стр. 72. *Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова.* . . . — Герой повести Герцена «Доктор Крупов» (1847) — врач-материалист, считающий, что все человечество больно безумием. Крупов утверждал, что умалишенные «самобытнее < . . . > независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее» всех остальных. Говоря о сходстве чиновников различных канцелярий с больными, Герцен писал: «Чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками» (*Герцен*, т. IV, стр. 257).

Стр. 72. . . . *ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу.* — Максимилиановская больница для проходящих, основанная Обществом посещения бедных в 1850 г., находилась в Петербурге на углу Вознесенского проспекта и Глухого переулка (ныне угол пр. Майорова и пер. Пирогова).

Стр. 73. *Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния.* . . . — Вслед за первым газетным сообщением о «Новом Гарпагове» — Соловьеве (*СПбВед*, 1860, 10 декабря, № 269), где действительно говорилось о передаче его денег в Управу благочиния, появилось второе — о том, что «у Соловьева осталось завещание, которым он отказал свое состояние детям какого-то господина, которые выросли на его глазах и у отца которых его принимали с радушием» (*СПбВед*, 1860, 24 декабря, № 281).

Стр. 73. . . . *в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ.* — Панаев, описывая Невский проспект, замечает: «в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы» (Очерки из петербургской жизни Нового Поэта, т. 2. СПб., 1860, стр. 78). На Невском проспекте газовое освещение появилось в 1839 г. Многие другие улицы Петербурга в 1860 г. переходили на газовое освещение. Так, в сентябре газеты сообщали, что оно появилось на Гороховой, Офицерской, части Вознесенского и Загородного проспектов (*СПбВед*, 1860, 25 октября, № 208).

Стр. 73. *Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером.* — Достоевский намекает на слова о нем Белинского, который писал, что кроме чрезмерной растянутости в «Двойнике» есть еще и другой существенный недостаток: это его «фантастический колорит». «Фантастическое в наше время, — писал далее критик, — может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведовании врачей, а не поэтов» (*Белинский*, т. X, стр. 41). Год спустя в связи с «Хозяйкой» Белин-

ский писал еще более резко о том, что Достоевский ищет себе «какой-то небывалой дороги <...> хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом <...> вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастические рассказы Тита Космокротова, забавлявшего имп публику в 20-х годах пынешнего столетия <...> Что это такое? Странная вещь! непонятная вещь!» Порицая «Хозяйку», Белинский замечал, что автор должен издать необходимые пояснения и толкования «на эту дивную загадку его причудливой фантазии» (Белинский, т. X, стр. 351).

Стр. 73. *Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?..* — Ср. в «Униженных и оскорбленных»: «...ездил к разным Жозефинам и Миннам...» (наст. изд., т. III, стр. 224). Имя Арманс как нарицательное также упоминается в «Идиоте» (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 11). В очерке Панаева «Камелии» фигурирует французенка Арманс (Очерки Петербургской жизни Нового Поэта, т. I, СПб., 1860, стр. 111). В первом случае, возможно, Достоевский имеет в виду фаворитку министра двора графа В. Ф. Адлерберга — Минну Ивановну Буркову, которую упоминают также Герцен (*Герцен*, т. XIII стр. 81, 89) и Салтыков-Щедрин (*Салтыков-Щедрин*, т. III, стр. 610).

Стр. 74. *...ходил в театр смотреть «Жизнь игрока».* — «Тридцать лет, или Жизнь игрока» — мелодрама французского драматурга В. Дюканжа (1783—1833), пользовавшаяся большой популярностью на русской сцене. где она шла в переводе Р. М. Зотова.

Стр. 74. *...богатство его состояло в стенных часах, с гириями ∞ давно уже стали и развалились.* — Возможно, эти часы появились в фельетоне Достоевского, по аналогии с описанием комнаты Плюшкина в «Мертвых душах», где упомянуты «часы с остановившимся маятником, к которому пауку уже приладил паутину» (*Гоголь*, т. VI, стр. 115).

Стр. 75. *...фигурка в синем мундире и красных панталонах ∞ И дамы с восторгом купила зуава.* — Зуавы (от зуауа — название одного из кабилских племен) — французские колониальные войска, сформированные из жителей Северной Африки. Впервые подразделения зуавов организованы в Алжире в 1830 г., позднее они участвовали в Крымской войне 1854—1855 гг.

Стр. 75. *Недалеко от них, у другого вораго игрушек ∞ Я не знаю, что они купили.* — Ср. данное место с исключенным отрывком из «Негодки Названовой», где накануне рождества мальчик Ларенька просит родителей купить ему игрушку (см.: наст. изд., т. II, стр. 444).

Стр. 75. *...преследуемый памятью Шиллера, продаваемую мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил.* — В ноябре 1859 г. праздновалось столетие со дня рождения Ф. Шиллера (1759—1805), а в мае 1860 г. была 55 годовщина со дня его смерти. Панаев, упоминая темы, затрагиваемые фельетонистами, перечисляет: «... третий красноречиво распространяется о медальках в память Шиллера, которые разносятся теперь по всему Петербургу» (*С*, 1860, № 11, стр. 108—109). Подобные же медали, очевидно, были выпущены в честь Виктора-Эммануила II (1820—1878), короля Сардинии, который стал королем Италии, объединившейся в 1860—1861 гг. под его властью. Газеты за ноябрь—декабрь 1860 г. были полны сообщений о почестях, «принимаемых Виктором-Эммануилом от своих подданных», например о том, что туринцы организовали подписку на корону из золотых лавровых листьев, которую преподнесли королю (*СПбВед*, 1860, 30 декабря, № 283).

Стр. 76. *...господин вершков девяти росту...* — В XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост этого господина был два аршина (71 см×2=142 см) девять вершков (4.45 см×9=40.05 см); всего около 182 см.

Стр. 76. *...поручику Живновскому...* — Живновский — персонаж «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина, упомянут Достоевским также во введении к «Ряду статей о русской литературе» (см.: наст. пзд., г. XVIII, стр. 60).

Стр. 76. *И какие, должно быть, они были в свое время дантисты.* — Дантист — сатирическое наименование полицейского, не брезгающего кулачной расправой. В смысле «зубодробитель», «герой зуборазрушающей

силы» слово «дантист» впервые употреблено Гоголем в «Мертвых душах» (т. I, гл. 10).

Стр. 76. . . . я проходил по Вознесенскому проспекту. — Вознесенский проспект (ныне проспект Майорова) — одно из любимых мест действия в произведениях Достоевского (см. об этом: наст. изд., т. II, стр. 478; т. VI, стр. 35; т. VIII, стр. 14).

Стр. 77. У Смольного монастыря. . . — Смольный монастырь находился в удаленной части Петербурга, в другом конце города по сравнению с Петербургской стороной.

Стр. 77. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой, из специального заведения — мыслитель! — Под «поэтом» Достоевский имеет в виду А. В. Кольцова, под «мыслителем», возможно, — Н. Г. Чернышевского. В записной тетради 1860—1862 гг. Достоевский отмечает: «Чернышевский» говорит, что он семинарист, — имея в виду, очевидно, его статью «Полемические красоты» (С, 1861, №№ 6—7).

Стр. 78. . . . бедность развивает человека, учит его, иногда добродетели. . . — Эту же «зернистую», по его определению, мысль повторяет Фома Опискин в «Селе Степанчикове» (1859): «. . . несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь» (см.: наст. изд., т. III, стр. 153 и 516). Последний писал в статье «О помощи бедным» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями»): «. . . несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и ежедневном положении» (Гоголь, т. VIII, стр. 236).

Стр. 78. Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростию! — В 1850—1860-е годы в журналистике были широко распространены мнимые цитаты и перифразы из Кузьмы Пруtkова. Ему не раз приписывали собственные иронические изречения Щедрина, Чернышевский, Некрасов, Добролюбов. Чернышевский в рецензии на «Три поры жизни» Евгения Тур (1854) писал: «Скучно припоминать скучное, — говорит один из неизданных афоризмов Кузьмы Пруtkова» (Чернышевский, т. II, стр. 223). Комическая бессмыслица каламбуров Пруtkова часто подхватывалась газетными и журнальными фельетонистами (см.: Б. Я. Бухштаб. Русские поэты. Изд. «Художественная литература». Л., 1970, стр. 218—219). В черновом наброске 1861 г. для предполагавшейся переработки «Двойника» Достоевский замечает: «Выдумывают каламбуры à la Кузьма Пруtkов» (наст. изд., т. I, стр. 434).

Стр. 78. . . . в своем последнем фельетоне ∞ на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях. . . — В декабрьском фельетоне Панаева из петербургских «оконечностей» упоминается Выборгская сторона (С, 1860, № 12, стр. 404).

Стр. 78. . . . он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербуржцах. — В том же фельетоне Панаев сообщает о дороговизне квартир в Петербурге, об увеличении цен на мясо и ссылается на «наблюдение петербургских хозяек» «об ежедневном уменьшении в своем объеме булок» (С, 1860, № 12, стр. 406).

Стр. 78. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники. — Начиная со слов «Комитета народного здравия. . .» — буквальная выписка из декабрьского фельетона Панаева (С, 1860, № 12, стр. 404).

Стр. 78—79. Посмотрите на Комитет литературного фонда ∞ прошлого года денег! — Литературный фонд — вошедшее во всеобщий обиход неофициальное название «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Оно было учреждено в Петербурге в 1859 г., а самая мысль о его создании впервые была высказана А. В. Дружининым в «Библиотеке для чтения». Первое собрание общества состоялось 8 ноября 1859 г. под председательством Е. П. Ковалевского. 25 января 1860 г. А. Н. Плещеев писал Достоевскому «. . . в Петербурге очень успешно действует общество Лите-

ратурного фонда. . . Оно уже имеет довольно значительные суммы и назначило много пенсий». Во втором номере «Современника» за 1860 г. в «Заметках Нового Поэта» приводятся сведения о денежных пожертвованиях и литературных чтениях в пользу «Общества», которые встречены публикой «с большим участием, за билеты на эти чтения платят вдвое против объявленной цены и более, зала Пассажа не может вместить всех желающих» (С, 1860, № 2, стр. 375—376). Протоколы заседаний комитета «Общества» печатались в газетах. Подробно освещалось в печати финансовое положение Литературного фонда (см.: С, 1860, № 8, стр. 315—317). С начала 1860-х годов Достоевский принимал живое участие в деятельности Литературного фонда (см. об этом: Р. Б. Заборова. Достоевский и Литературный фонд. РЛ, 1975. № 3, стр. 158—170).

Стр. 79. . . *речь одного инженера, г-на Васильева*. . . — Речь инженера Васильева «Взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга» была произнесена в первом собрании инженеров и архитекторов в Институте корпуса путей сообщения (СПбВед, 1860, 4 декабря, № 265).

Стр. 79. . . *если бы был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал как-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка*. . . — И. А. Гончаров обыкновенно задолго до публикации нового романа печатал из него отрывок, имеющий целостный характер. Так, «Сон Обломова» впервые был опубликован в «Литературном сборнике», изданном редакцией «Современника» в 1849 г. В 1860 г. в «Современнике» появился отрывок из романа «Обрыв» — «София Николаевна Беловодова» (С, 1860, № 2).

Стр. 79. . . *об мыслях — на Лаврова в Пассаже*. . . — См. выше, стр. 267.

Стр. 79. *В спорах голосисты ∞ Станешь петь нам ты*. — Для своей пародии Минаев здесь использует размер и синтаксическое строение перевода Лермонтова из Гете («Горные вершины», 1840)

Стр. 80. *Есть наслаждение и в дикости лесов*. . . — Начальная строка заимствована из стихотворения К. Н. Батюшкова (перевод отрывка из IV песни «Чайльд Гарольда» Байрона), использованного Минаевым как основа для сатирического «перепева».

Стр. 80. *В статьях Дудышкина есть чары*. . . — Об отношении Достоевского и сотрудников журнала «Время» к статьям С. С. Дудышкина см. выше, стр. 232.

Стр. 80. *Есть упоение в софизмах Гымалэ*. — Гымалэ — псевдоним Ю. А. Волкова, сотрудника «С.-Петербургских ведомостей», где в 1860 г. он опубликовал серию обширных статей «Литературные впечатления» (СПбВед, 1860, 20 июля, № 158; 5, 11 и 24 августа, №№ 170, 174 и 184; 20 и 30 сентября, №№ 190, 212). Данная минаевская строка — сатирическая переделовка начального стиха Председателя из «Шира во время чумы» Пушкина («Есть упоение в бою. . .»).

Стр. 80. *Мил Воскобойников, собирающий во мгле // Большую серию скандалов*. — О статье Н. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы!» (СПбВед, 1860, 30 ноября, № 261), которая здесь имеется в виду, см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 72, 275, 287.

Стр. 80. . . *но ты, о критик — бов, // Для сердца ты всего дорожишь ∞ // И равный силами с тобой лишь, может быть, // Один Конрад Лилиеншвагер*. — Конрад Лилиеншвагер — сатирическая маска, созданная Н. А. Добролюбовым (—Бовым), подписывавшим так свои пародии в «Свистке» (о возникновении этого псевдонима-маски и произведениях Добролюбова, им подписанных, см.: Добролюбов — поэт. В кн.: Б. Бухштаб. Русские поэты. Изд. «Художественная литература». Л., 1970, стр. 231—233). В декабрьском номере «Современника» за 1860 г. целый раздел «Свистка» назывался «Неаполитанские стихотворения (написанные на австрийском языке Яковом Хамом и переведенные Конрадом Лилиеншвагером)». Предисловие к циклу заканчивалось похвалами автору и переводчику: «Мы должны сказать откровенно, — прощически писал здесь Добролюбов, — со времени такого рода творений Пушкина, Майкова и Хомякова мы не читывали ничего столь

громкого, как стихотворения г-на Якова Хама в переводе Конрада Лилленшвагера) (С, 1860, № 12, «Свисток», стр. 23—34). Упомянут Лилленшвагер также в письме «Постороннего критика», помещенном в том же номере журнала «Время»: «... мне лично, милостивый государь, нравится более г-н Лилленшвагер» (Вр, 1861, № 1, стр. 59).

Стр. 80. *Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов.* — Намек на статью «Отечественных записок» «Литература скандалов» (ОЗ, 1860, № 10, стр. 29—39). См. о ней выше, стр. 264. Упоминаемый выше Минаевы Н. Воскобойников в статье «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы!» называет Нового Поэта «родоначальником скандального направления в литературе» (СПбВед, 1860, 30 ноября № 261).

Стр. 80. *Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского с изданиями г-ном Мюнстером и которые уже изданы теперь, может быть, до ста лиц.* . . — А. А. Краевский (1810—1839) — журналист-предприниматель, умеренный либерал. О взаимоотношениях его с Достоевским см. статью В. В. Виноградова «Достоевский и А. А. Краевский» (Достоевский и его время, стр. 17—32). А. В. Старчевский (1818—1901) — журналист; с конца 1840-х годов — помощник О. И. Сенковского по заданию «Библиотеки для чтения», затем фактический редактор этого журнала до 1856 г., с 1856 г. — редактор журнала и впоследствии газеты «Сын отечества» (до 1870 г.). А. Э. Мюнстер (род. 1824) — литограф. Издавал (первоначально отдельными выпусками) «Портретную галерею русских деятелей», в которую вошло 200 литографированных портретов с биографическими очерками (2 т. СПб., 1865 и 1869). О выходе очередных выпусков «галереи» постоянно сообщалось в печати начала 1860-х годов (СПбВед, 1860, 4 сентября, № 192; С, 1860, № 3, стр. 226 и № 7, стр. 145; Св, 1860, № 7, стр. 44).

Стр. 80. *Ода петербургских камелий Новому Поэту.* — Эта «Ода» Д. Д. Минаева по форме пародирует ряд стихотворений П. А. Некрасова.

Стр. 81. *Лишь о камелиях вышел с рассказами Новый Поэт.* — Среди очерков из Петербургской жизни Нового Поэта (ч. 1—2. СПб., 1860) помещены: «Дама из петербургского полусвета», «Камелиш», «Шарлота Федоровна» (последний очерк также посвящен истории одной из петербургских «камелий»).

Стр. 81. *Пусть враг прогресса // Новый Поэт от хулы Аскоченского // Юных камелий спасет.* — В. И. Аскоченский (1813—1879) — реакционный публицист, редактор-издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения». В № 43 «Домашней беседы» за 1859 г., в статье «Аномалии в мире литературном», говоря о появлении в 1859 г. всевозможных юмористических листков: «Смех», «Пустозвон», «Сплетник», «Муха» и т. д., — Аскоченский сообщал, что «Муха» предлагает «безнравственный и соблазнительный рассказ под названием: „Камелия“» (стр. 411). В связи с этим фельетонист «Светоча» Д. Д. Минаев, пронзая над Аскоченским, «смело и открыто» нападающим на «окаянный прогресс, цивилизацию и цивилизаторов», стремящимся к исправлению некоторых заблудших овец, именуемых камелиями, писал, что «сильно подействовал протест г-на Аскоченского на петербургских камелий. Они надели власницы, постились, посыпали голову свою пеплом и в заключение попросили одного знакомого им поэта сочинить в стихах благодарственный гимн г-ну Аскоченскому». Далее приводится и самый «гимн» (Св, 1860, № 1, стр. 57—63).

Стр. 81. *Пусть публицист занят делом Италии // — бов порицает весь свет.* — // *Вновь воспоем наши плечи и талии // Новый Поэт.* — Фельетоны Минаева помещались в «Современнике» обычно перед разделом «Политика», где постоянно уделялось пристальное внимание «итальянским делам». За этим же разделом часто следовал добролюбивский «Свисток», сатирические стихи и заметки которого были посвящены не только русским, но и международным вопросам.

Стр. 81. . . . известная эпиграмма о прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще

и г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах. — «Эпиграммой в прозе» Достоевский называет сатиру М. Е. Салтыкова-Щедрина «Характеры» — одно из острых выступлений сатирика в «Искре» против «Русского вестника» и «Отечественных записок» (И, 1860, 22 июля, № 28). Исаак Перейра (1806—1886) — французский банкир и публицист. С 1829 по 1834 г. принадлежал к кругу сенсимонистов. Сен-Жерменская железная дорога, проданная с торгов братьям Э. и И. Перейра, положила начало их богатству. 2 июня 1860 г. в Петербурге состоялось «третье общее обыкновенное и чрезвычайное собрание акционеров главного общества железных дорог», на которое из Франции приехал И. Перейра. Протокол заседания, на котором выступал Перейра и где присутствовали многие тогдашние журналисты, печатался в газетах. Отчет о заседании был напечатан в шюльских «Заметках Нового Поэта» (С, 1860, № 7, стр. 137—139).

В «Характерах» Салтыков-Щедрин сопоставил политическую биографию И. Перейры и эволюцию А. А. Краевского как редактора «Отечественных записок». Сравнение это было навеяно помещенным в «Искре» Письмом в редакцию, где Краевский осмеивался как автор, обиженный отказом «Искры» поместить его стихотворение «Чувства русского журналиста с капиталом при взгляде на банкира Исаака Перейру. . .» (И, 1860, 10 июня, № 22).

В сатире Салтыкова-Щедрина Краевский повествует о «заблуждениях своей жизни». Перейра же отвечает ему: «„Я сам был молод и заблуждался, был тоже сенсимонистом — и, однако ж, как видите!“

Одним словом, А. А. вышел от Перейры вполне утешенный.

— Что такое „сенсимонист“? — спросил он у г-на Дудышкина, возвращаясь домой.

— Не знаю, надобно справиться у Чернышевского, — отвечал г-н Дудышкин.

Но, за корректурами, справиться не успел. Вследствие этого, А. А. Краевский до сих пор полагает, что „сенсимонист“, „вор“, „partageux“, „lex agraria“ — одно и то же, и даже задумал, кроме Энциклопедического словаря, приступить к изданию „Словаря синонимов“. . . разумеется, с пособием благотворительности» (Салтыков-Щедрин, т. IV, стр. 200—201).

Стр. 81. . . . в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» с отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский. — Объявление «Отечественных записок», подписанное: «Редакторы и издатели А. Краевский, С. Дудышкин» (СПбВед, 1860, 13 октября, № 222), Достоевский иронически называет «историческим», подробно останавливаясь на критическом отделе этого журнала в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 70—71).

Стр. 81. Он уже слишком двадцать лет издает журнал. — А. А. Краевский стал издателем «Отечественных записок» с 1839 г.

Стр. 82. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она являлась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностью, неслышанною до того в русской журналистике. — «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности и мод», который выходил в Петербурге в 1834—1865 гг. Это был первый в России подлинный «толстый» журнал (до 30 печатных листов). Издавал его А. Ф. Смирдин, редактором же был О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем), который печатал в журнале свои многочисленные статьи, повести, фельетоны, большей частью под псевдонимом «Барон Брамбеус». «Библиотека для чтения» положила, по оценке современников, начало «торговому», или «коммерческому», направлению в русской журналистике.

Стр. 82. Но если г-ну Краевскому вздумается, например, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона» . . . — Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами», обязанности редактора которого принял на себя вначале Краевский, что вызвало возмущение в широких литературных кругах. «Современник» иронически сообщал: «Перед нами лежит огромное объявление: подписка на Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литера-

торами. 200 ученых и литераторов, имена которых напечатаны в объявлении, будут участвовать в этом издании, под общей редакцией, которую взял на себя *в-н Краевский*» (С, 1860, № 4, стр. 462). «С.-Петербургские ведомости» напечатали от имени редакции «Отечественных записок» ответ на недоумения Костомарова («Наше время», 1860, №№ 33, 34) о том, что Краевский назван: «главный редактор — заметьте, не издатель, как Брокгауз, а главный редактор»; в этом ответе разъясняется: «. . . в программе не говорится ни слова о главном редакторе, там сказано только, что общую редакцию „Словаря“ принимает на себя А. А. Краевский. < . . . > Дело общего редактора состоит не в том, чтоб командовать, как думает „Наше время“, всеми частями издания, чтоб в каждый отдел и в каждую статью вносить свою мысль < . . . > а быть связывающим звеном < . . . > заботиться о полноте издания. Для выполнения такого дела, конечно, не требуется, чтоб особенное чудо свершилось над человеком, который взял на себя общую редакцию» (СПбВед, 1860, 16 сентября, № 200). Со второго тома редактором «Словаря» стал П. Л. Лавров. Издание прекратилось на шестом томе в 1863 г.

Стр. 83. . . . если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностью, то и тот наслепил бы публику. — Бекон (Вакон) Френсис (1561—1626) — английский философ-материалист, обосновавший индуктивный метод познания в науке нового времени.

Стр. 83. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся. — В строительстве собора св. Петра в Риме (1506—1626) принимали участие многие великие зодчие, живописцы и скульпторы итальянского Возрождения, в том числе Микеланджело и Рафаэль.

Стр. 83. Перекресток, где ракитка. . . — Д. Д. Минаев приводит стихотворение А. А. Фета из цикла «Гадания» (1842). Оно было впервые опубликовано в «Москвитянине» (1842, № 3, стр. 20), где имело еще одну строфу. Без этой последней строфы стихотворение опубликовано в издании стихотворений Фета 1856 г. (СПб., 1856, стр. 42).

Стр. 83. . . . тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта. . . — А. А. Фет (1820—1892) действительно не был коренным петербургским поэтом. Его молодость прошла в Москве, и лишь период его близости с «Современником» в 1850-х годах мог дать основание причислить его к петербуржцам.

Стр. 83. «Переулоч, где Фонтанка». — Пародия с «петербургским» колоритом Д. Д. Минаева на названные стихи Фета.

Стр. 83—84. «Прогресс и ум во всем в нас видны ∞ Прогресса, такта и ума». — Минаевский сатирический «перевел» стихотворения А. С. Пушкина «Простите, верные дубравы!» (1817), что подчеркнуто последней строфой, заключительный стих которой аналогичен по строению пушкинскому «Веселья, граций и ума».

Стр. 83. Дюссо (Dussot) — владелец известного петербургского ресторана на Большой Морской (ныне ул. Герцена) посещавшегося великосветской публикой (см.: Мизневич, стр. 486).

Стр. 83. На чтении публичных лекций // Талант мы рады поощрять . . . — В февральском фельетоне «Современника» Новый Поэт, отмечая необычно большое число состоявшихся в Петербурге в 1860 г. публичных лекций, восклицал: «А лекций-то, лекций-то сколько! Лекции в Пассаже, лекции в зале 2<-й> гимназии. . . Все наши ученые и юные авторитеты читают теперь лекции» (С, 1860, № 2, стр. 389). В марте он вновь возвращался к этому вопросу: «Никогда не были в Петербурге в таком ходу публичные благотворительные лекции, как в нынешнюю зиму». И далее перечисляет ряд подобных лекций: «Г-н Тернер читал лекцию о рабочих классах вообще и об русском рабочем классе в особенности»; «Г-н Срезневский читает педагогические лекции о русском языке», Костомаров — о русской истории, Спасович — об уголовном праве, О. Миллер — о Шпллере, а Сюзор, «по примеру прошлых годов, также начал чтение. В первой лекции он разбирал „Легенды веков“ В. Гюго и вообще говорил громкие фразы о значении этого поэта» (С, 1860, № 3, стр. 210—211).

Стр. 84. *Нас занимают виги и торы, // Рим и парламента азарт. . .* — Виги и торы — английские либеральная и консервативная политические партии. В декабрьском номере «Современника» за 1860 г. отдел «Русская литература» был занят статьей Н. Г. Чернышевского «Нынешние английские виги (М а к о л е й. Полное собрание сочинений. Том I. Критические и исторические опыты. Издание Николая Тиблена. СПб., 1860)» — С, 1860, № 12, стр. 221—244. Итальянские события осенью 1860 г. были в центре внимания каждого политического обозрения в журнале любого направления, так же как и заседания английского парламента. «Отечественные записки» писали: «. . . окончились заседания английского парламента (. . .) кончилась сессия, которую англичане, избалованные своим государственным устройством, называют малопродуктивною в законодательном отношении, но которая для континентального наблюдателя, конечно, останется надолго очень памятна по своему огромному политическому значению (ОЗ, 1860, № 9, стр. 65—66).

Стр. 84. *И что Каткову отвечает // В «Ведомостях московских» Тур. . .* — Евгения Тур — псевдоним писательницы графини Е. В. Салиас де Турнемир (1815—1892). С 1858 г. она печатала в «Русском вестнике» статьи критико-биографического характера. В 1860 г. вследствие полемки с Катковым о С. П. Свечкиной Е. Тур покинула журнал Каткова (см. об этом ниже, стр. 311—312) с намерением основать свой собственный журнал «Русская речь». В данном случае имеется в виду следующее «Объяснение Евгении Тур»: «В 20-й книжке „Русского вестника“ напечатана статья против объявленной о нашей газете («Русская речь») (. . .) „Русскому вестнику“ вдумалось предположить, что два-три слова нашей программы о нетерпимости и исключительности направления нарочно употреблены были нами против него, во враждебном для него смысле. . .» (МВед, 1860, 19 ноября, № 252). «Отечественные записки» по этому поводу замечали: «В Москве г-жа Тур заводит в пику „Русскому вестнику“ „Речь“, ну а дело известное, коли пойдет на речь, даму не переговорить» (ОЗ, 1860, № 12, стр. 73). Под редакцией Е. Тур журнал «Русская речь» просуществовал полгода. Она вела в нем отдел критики.

Стр. 84. *Что случилось с Ицкой, нашим Крезом. . .* — Имеется в виду петербургский миллионер-откупщик Исаак Осипович Утин. Так же он назван в пародии Н. С. Курочкина «Не — Парус» (И, 1860, 19 августа, № 32), которая частично приводится в «Письме постороннего критика», в связи с эниграммой Салтыкова-Щедрина на Краевского:

Перед ним волнуется и свищет
Неугомонная толпа,
А он, мятежный, Ицку ищет,
Чтоб говорить про откупа.

(Вр, 1861, № 1, отд. III, стр. 55). Крез — последний царь Лидии (Малая Азия) (ок. 560—546 гг. до н. э.), один из богатейших людей древности, что сделало его имя нарицательным.

Стр. 84. *И как с привозным ut-diez'ом // В последний раз пропел Кравцов.* — Эти строки Минаева являются откликом на сообщения о теноре И. Кравцове, публиковавшиеся в тогдашней печати. «Прекрасный, как уверяют, тенор, обладающий, подобно г-ну Тамберлику, грудным ut-diez, — уже приехал, — сообщали «С.-Петербургские ведомости» (1860, 21 августа, № 182). В сентябрьских «Заметках Нового Поэта» приводилась биографическая справка, перепечатанная из «Северной пчелы». В ней сообщалось, что Иван Кравцов родился в 1833 г. в Петербурге. Окончив с отличием курс медицинских наук, он занялся изучением музыки. Сначала пел в Петербурге как любитель, затем отправился в Италию, где дебютировал в Неаполе и Венеции, а в 1859 г. пел в Париже (С, 1860, № 9, стр. 128). В ноябрьском фельетоне Панаева говорилось, что Кравцов пел два раза в «Отелло», но оба выступления оказались неудачными. «Свой ut-diez г-н Кравцов (. . .) потерял на дороге из Парижа в Петербург» (С, 1860, № 11,

стр. 120). Фельетонисты других журналов горячо обсуждали провал Кравцова («Кравцов и новая нота» — *ОЗ*, 1860, № 12, стр. 55—56; «Г-н Кравцов и пение в России вообще» — *МВед*, 1860, 23 декабря, № 279).

Стр. 84. *Средь благородного собрания, // Меж танцев — толк у нас оди.* . . . — В июльском фельетоне Нового Поэта среди рассказов о различных клубах Петербурга упоминалось Благородное собрание, «некогда помещавшееся в доме Пашкова на Литейной, а теперь у Полицейского моста, в доме г-на Елисеева»; оно, по словам Панаева, «имеет множество членов и находится в самом цветущем состоянии: члены его состоят из петербургских служащих и отставных чиновников. Помещение клуба не только очень удобно, даже роскошно. Большая зала с вход превосходны. Обеды этого собрания (. . .) отличаются дешевизною. . .» (*С*, 1860, № 7, стр. 128).

Стр. 84. *Что стоит гласног изгнанья // Из всех журналов Беллюсти.* — Священник и публицист И. С. Беллюстин (1818 (1819?)—1880) в «Журнале Министерства народного просвещения» в статье «Теория и опыт», высказываясь о проекте устава низших и средних училищ, писал: «Грамотность, как и всякое из средств, которое дается человеку для личного употребления его, — дело ни великое, ни малое, ни доброе, ни злое, а совершенно безразличное» — и заключал: «. . . вместе с грамотностью развивались в народе не польза и благо, а зло и вред» (*ЖМНП*, 1860, № 10, стр. 37, 43). «Свисток» в шестом номере сразу же откликнулся на это:

Припомнит, что не без искусства
На грамотность ударил Даль —
И обнаружил много чувства
И остроумье, и мораль;
Но отразил его Карнович,
И против грамоты сдвин
Теперь остался Беллюстин!

(*С*, 1860, № 12, «Свисток», № 6, стр. 34). Об отношении Достоевского к вопросу о распространении в народе грамотности и о полемике по этому поводу см. выше, стр. 240).

Стр. 84. . . . *никто уж не читает // Ни Кушнерева, ни Дюма.* — Писатель И. Н. Кушнерев помещал бытовые очерки обличительного характера в «Искре» и «Веке». Они были собраны в книге «Очерки и рассказы» (М., 1862). Дюма — очевидно, имеется в виду Александр Дюма-отец (1803—1870). Оценку его Достоевским см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 252—253; см. также выше, стр. 161—163.

Стр. 84. . . . *надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея.* — В «Современнике» в февральских «Заметках Нового Поэта» сообщалось: «Пора бы, кажется, подумать о памятнике Пушкину. Года два тому назад многие из наших известных литераторов горячо рассуждали о том, каким бы образом приступить к этому делу, покричали, потолковали — и разошлись. . .» (*С*, 1860, № 2, стр. 375). В ноябре 1860 г. «Московские ведомости» в разделе «Вести и слухи» ошеломили читателей: «. . . разрешено поставить памятник нашему любимому и первому современному поэту (Пушкину) в Царско-сельском саду» (*МВед*, 1860, 16 ноября, № 249); как слух об этом же упоминает Новый Поэт (*С*, 1860, № 12, стр. 404). Памятник Пушкину работы скульптора Р. Баха был открыт в Лицейском саду в Царском Селе (ныне г. Пушкин) лишь 15 октября 1900 г.

Стр. 84. . . . *о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротой.* . . . — Движение в пользу организации воскресных школ возникло в конце 1850-х годов. Главное участие в нем принимала учащая молодежь. Революционно настроенная интеллигенция рассматривала их как один из возможных очагов антиправительственной пропаганды. В сентябре 1859 г. в Киеве кружок студентов университета, где попечителем учебного округа был Н. И. Пирогов, открыл воскресную школу, затем школы начали открываться и в других городах. Циркуляр Министерства внутренних дел от

22 марта 1860 г. впервые узаконил воскресные школы. К этому времени в Петербурге составилась группа лиц, постоянно занимавшихся делами школ. При книжных магазинах Глазунова и Кожанчикова была открыта подписка для желающих помочь делу воскресных школ денежными взносами. «О подписке в пользу петербургских частных воскресных школ», открытой в конторе «Отечественных записок», сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях» (1860, 1 сентября, № 189). «Современник» постоянно информировал о вновь открывающихся школах (С, 1860, № 7, стр. 144; № 10, стр. 394). О положительном отношении Достоевского к воскресным школам свидетельствует следующее газетное объявление: «25-го октября, в зале Пассажа, литературное чтение в пользу частных воскресных школ». Среди участвующих был назван Ф. М. Достоевский, который выступил с чтением главы из «Нечистики Незвановой» (СПбВед. 1860, 20 октября, № 228). В первом своем номере «Времени» в разделе «Внутренние новости» высказалось в поддержку воскресных школ (Вр, 1861, № 1, стр. 15—16). С конца 1860 г. отношение правительства, встревоженного подъемом демократического движения, к воскресным школам начало резко меняться. 8 января 1861 г. издано высочайшее повеление о надзоре за ними, а в июле 1862 г. воскресные школы были закрыты «впредь до преобразования их на новых основаниях».

Стр. 84. . . . об изданиях, предпринимаемых для народного чтения. . . — См. об этом выше, стр. 21.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЧУДЕСНОЕ БЕГСТВО ЖАКА КАЗАНОВЫ
ИЗ ВЕНЕЦИАНСКИХ ТЕМНИЦ (ПЛОМБ)
(ЭПИЗОД ИЗ ЕГО МЕМУАРОВ)»

(Стр. 86)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Вр, 1861, № 1, отд. I, стр. 93—94, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXII, стр. 235—236. На основе сравнительного анализа проблематики и стиля авторство Достоевского установлено Л. П. Гроссманом (см.: там же, стр. 227). Печатается по тексту первой публикации.

Джованни Джакомо Казанова (Casanova de Seingalt; 1725—1798) — знаменитый итальянский авантюрист XVIII в.; писатель, историк и мемуарист. Над своими мемуарами «Histoire de ma vie», в которых он описал свои бурные похождения, Казанова работал в конце жизни, написав их на французском языке. Задолго до выхода в свет полного текста мемуаров автор сам опубликовал из них лишь один эпизод — именно тот, перевод которого был напечатан в журнале братьев Достоевских — «История моего бегства из венецианских „Пломб“» (Histoire de ma fuite des «Plombes» des Venise. Prague, 1788). В полном виде (хотя и в литературной обработке) текст мемуаров Казановы был напечатан впервые в 1822—1828 гг., посмертно, в немецком переводе с французского оригинала, а затем издан по-французски в 1826—1832 и в 1843 гг. Высоко оцененные уже при появлении первого тома молодым Г. Гейне, мемуары Казановы получили с этого времени всемирную известность и были вскоре переведены на многие европейские языки.

Как указано в заметке Достоевского, перевод эпизода из мемуаров Казановы во «Времени» был первым русским переводом отрывка из сочинения знаменитого авантюриста, хотя сам Казанова встречался с Суворовым, писал Екатерине II и вообще как личность, знаменательная для своей эпохи, был известен в России уже с конца XVIII в. Сокращенный русский перевод

мемуаров Казановы в одном томе вышел на русском языке уже после смерти Достоевского (СПб., 1887).

Перевод эпизода из мемуаров Казановы для «Времени» был сделан (как это видно из формы имени «Жак» и из текста редакционного предисловия) с французского. Имя переводчика не установлено. Не знаем мы и того, когда Достоевский впервые познакомился с мемуарами Казановы, историко-культурное и психологическое значение которых он верно понял и высоко оценил в своей заметке. Упоминание мемуаров Казановы в повести «Дядюшкин сон» (1859; см.: наст. изд., т. II, стр. 368, 518) делает вероятным, что знакомство это имело место либо уже в 1840-х годах, либо в 1850-х — во время жизни Достоевского в Семипалатинске. О том, что Достоевский не только читал переведенный во «Времени» отрывок, но знал и другие страницы «Истории моей жизни» Казановы, свидетельствует как содержащаяся в его заметке сжатая характеристика личности знаменитого авантюриста и «эксцентрической» откровенности его книги, так и известное сходство, которое можно усмотреть между приемами описания внешнего облика Свидригайлова (в «Преступлении и наказании») и особенно Ставрогина (в «Бесах») с близкими штрихами портрета доминиканца патера Мансини в падуанском эпизоде первой части (гл. III) мемуаров Казановы («голубые глаза», «черты Аполлона», «ослепительная белизна», «коралловые губы» и т. д.).¹

Стр. 86. . . . *французы ценят Казанову, как писателя, даже выше Лесажа.* — Лесаж Ален-Рене (1668—1747) — французский писатель, автор правооппортуно-сатирических романов «Хромой бес» (1707) и «История Жиль Блаза из Сантьяны» (1715—1735), хорошо известных в России с середины XVIII в. и оказавших значительное влияние в конце XVIII—начале XIX в. на развитие также и русского нравственно-сатирического романа. Достоевский ценил в «Жиль Блазе» «сухость рассказа» которой он намеревался следовать в «Жизни великого грешника» (см.: наст. изд., т. IX, стр. 132 и 522). В повести «Кроткая» Достоевский вспоминает «сцену Жиль Блаза с архиепископом Гренадским» («История Жиль Блаза», кв. 7, гл. II—IV) и оценивает ее как «шедевр». О раннем знакомстве Достоевского с «Хромым бесом» и «Жиль Блазом» свидетельствуют его письма к М. М. Достоевскому от 14 февраля 1844 г. и к А. Е. Врангелю от 14 июля 1856 г. (в последнем письме Достоевский с горечью сопоставляет себя с Жиль Блазом, но неспшим в указанной сцене наказание за свою правдивость). В письме к Д. Д. Кишенскому от 5 сентября 1873 г. Достоевский, снова обращаясь к тому же эпизоду из романа Лесажа, пишет: «. . . я убедился, что между нами произошла классическая и вековечная история Жиль Блаза с архиепископом Гренадским», а в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г. рекомендует «Жиль Блаза» в числе других выдающихся литературно-художественных произведений для чтения его дочери. Французское издание «Жиль Блаза» было в библиотеке Достоевского (*Гроссман, Семинарий*, стр. 33). О любви Достоевского к этому роману ср. свидетельство Е. А. Штакеншнейдер (*Достоевский в воспоминаниях*, т. II, стр. 320). Опыт Лесажа в жанре авантюрного романа, а также созданный им образ «хромого беса» Асмодея учитывались Достоевским при решении им своих художественных задач (в частности, при создании сцены Ивана с чертом в «Братьях Карамазовых»). Лесаж был также автором романа «Похождения Роберта Шевалье, прозванного Бошеном, капитана флибустьеров в Новой Франции» (1732); пародийное упоминание о «флибустьерах» в «Бесах» (см.: наст. изд., т. XII, стр. 308—309) делает возможным предположение о знакомстве Достоевского хотя бы по названию и с этим менее известным романом Лесажа.

Стр. 86. *Этот эпизод издан был им особою книгой и потом уже вошел в его мемуары.* — См. об этом выше, стр. 282.

¹ J. Casanova de Seingalt. Memoires, t. I, Paris, 1833, p. 75—76.

«ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
«ТРИ РАССКАЗА ЭДГАРА ПОЭ»

(Стр. 88)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 1, отд. I, стр. 230—231, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXII, стр. 232—235. Авторство Достоевского обосновано Л. П. Гроссманом (там же, стр. 226—227).

Печатается по тексту первой публикации.

Предисловие (от редакции) было предпослано опубликованному во «Времени» переводу трех рассказов Э. По: «Сердце-обличитель», «Черный кот» и «Черт в ратуше», переведенных Д. Михайловским.¹ В № 3 была напечатана и еще одна новелла По — «Похождения Артура Гордона Пэйма». Все четыре рассказа на русском языке появились впервые.

Несмотря на замечание автора заметки, что «два-три рассказа Эдгара По уже были переведены на русский язык в наших журналах», число появившихся переводов к тому времени было гораздо большим, и Достоевский, вероятно, знал если не все, то многие из них. Об этом свидетельствуют разнообразные сюжеты новелл американского писателя, упоминаемые в Предисловии (см. выше, стр. 88—89). Есть основания предполагать, что писателю были в той или иной мере известны и некоторые американские и английские издания Э. По (хотя по-английски он не читал) и во всяком случае французские переводы — в первую очередь Ш. Бодлера.² Об этом свидетельствует упоминание Достоевским рассказов «Необыкновенный аэростат», «Разговор с мумией» и «Месмерические откровения», не переведенных к тому времени на русский язык.³

Имя нового автора могло попасть в поле зрения русского писателя уже в конце 1840-х годов, когда в России впервые стали появляться упоминания об американском новеллисте. Еще при жизни По «Новая библиотека для воспитания», издаваемая П. Редкиным (кн. I, М., 1847), помещает перевод рассказа «Золотой жук».⁴ В 1852 г. «Пантеон» (№ 9) публикует биографический очерк Ш. Бодлера «Эдгар Эллен Поэ. Североамериканский поэт». В 1853 г. в «Отечественных записках» (№ 11) появляется «Голландский воздухоплаватель»; в 1856 г. в «Русском инвалиде» (№№ 119 и 120, 13 мая и 1 июня) — «Тысяча вторая ночь» (без указания авторства По), в «Сыне отечества» (№ 25, 23 сентября) — «Рукопись, найденная в бутылке», в «Библиотеке для чтения» (№ 10) — «Спуск в Мельстром», в 1857 г. в «Библиотеке для чтения» (№ 3) — «Длинный ящик» и «Человек толпы», в «Сыне отечества»

¹ О переводчике рассказов см. в издании: 1926, т. XIII, стр. 607.

² Из европейских мы прежде всего имеем в виду следующие издания: *Tales, by Edgar Poe*. London, Wiley and Putnam, 1846; *Enterré viif, la Lettre dérobée, l'Homme dans la foule, le Coeur mort qui bat*. traduit d'Edgar Poe, par William Hughes, Voir REID (Mayne). Paris, 1855; *Histoires extraordinaires* par Edgar Poe, traduction du Charles Baudelaire. Paris, M. Lévy, 1856; *Nouvelles histoires extraordinaires*, par Edgar Poe, traduction du Charles Baudelaire. Paris, M. Lévy frères, 1857.

³ Данные о первых переводах отдельных рассказов По см. в примеч. к кн.: Э. А. По. Полное собрание рассказов. Изд. «Наука», М., 1970 (Литературные памятники).

⁴ Американская исследовательница Д. Делани, сравнившая русский, английский и французский тексты повести, пришла к выводу, что русский перевод был сделан с французского (Joan Delaney. Poe's «The Gold Bug» in Russia: A Note on First Impressions. «American Literature», vol. XLII, № 3, November, 1970, pp. 375—379).

(№№ 11 и 12, 17 и 24 марта) — «Загадочное убийство» и там же, в № 35, 1 сентября — «Украденное письмо». В 1858 г. выходит отдельным изданием «Вильям Вильсон» (СПб., 1858), и в следующем году — «Говорящий мертвец» (СПб., 1859).¹

Первые русские переводы По были более или менее случайны. Не предлагала еще никакой концепции творчества нового автора и русская критика. Но уже в начале 1860-х годов положение меняется и начинает все более явно обнаруживаться угол зрения, под которым русские журналы отбирают, а затем и оценивают творчество По.

Одна из наиболее заметных попыток представить читателю избранного По была сделана во «Времени». Предпосланное рассказам предисловие — по сути первая серьезная и глубокая оценка писателя в России. Многие аспекты намеченного Достоевским подхода к проблематике американского повелителя были позже подхвачены и развиты другими критиками (см., например, статью Е. Лопушинского «Эдгар Поэ (американский поэт)» в «Русском слове», 1861, № 11; «Эдгар По как психолог» — «Дело», 1874, № 7—8, и др.). Особенно важна мысль Достоевского о различии между фантастикой Э. По и Э.-Т.-А. Гофмана. В то время как Гофман, подобно большинству других европейских романтиков, олицетворял «силы природы в образах» и искал свой идеал «вне земного», По, по определению Достоевского, «фантастичен» лишь «внешним образом», не выходя за пределы материальной, земной действительности. Его метод имеет скорее характер своеобразного психологического эксперимента: По «почти всегда берет самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою пронизательности, с какою поражающею верностью рассказывает он о состоянии души этого человека» (стр. 87). Эти черты фантастики По и такие, как «смелость» его воображения (благодаря которой «вы <...> ярко видите все подробности представленного вам образа или события»), Достоевский сочувственно выделяет в своем предисловии, так как они были созвучны сложившемуся у него к этому времени взгляду на природу фантастического. В то же время характерно, что несколькими годами позже, в связи с публикацией в «Эпохе» тургеневских «Призраков», Достоевский писал их автору: «Поэтическая правда считается дичью. Надо только одно копирование с действительного факта <...> Форма «Призраков» всех изумит. А реальная их сторона даст выход всякому изумлению <...> Но тут главное понять эту реальную сторону <...> Если что в «Призраках» и можно бы покритиковать, так это то, что они *не совсем* вполне фантастичны. Еще бы больше надо» (письмо от 23 декабря 1868 г.). Ср. мысли о фантастическом, высказанные писателем в письме к А. Н. Майкову (см. письмо от 11/23 декабря 1868 г.), в романе «Идиот» и в записных тетрадях 1870 г. «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему», — писал Достоевский позднее, подводя итоги своим размышлениям на эту тему, в письме к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г.

Характер творческой декларации имеет в Предисловии и то, что Достоевский подчеркивает значение для По чистоты идеала, равно как определение его — «красота действительная, истинная, присущая человеку» (стр. 88). «Всего Гофмана» Достоевский прочел еще в Инженерном

¹ Часть перечисленных здесь переводов была названа в комментарии Л. Гроссмана (1978 г. XXII стр. 227), однако исследователь ошибочно причислил к ним два рассказа других авторов, появившиеся в «Современнике» в 1838 и 1839 гг.: «Походная жизнь» (1838, т. IX, отд. VI стр. 66—84) и «Праздник мертвецов» (1839, т. XIII, отд. VI, стр. 127—161). На самом деле первый из них принадлежит С. Бутеневу, а второй — перевод с малоросского» (подпись: В. Н. С.). Эта ошибка восходит, очевидно, к «Энциклопедическому словарю» Брокгауза и Эфрона (статья о Э. По, т. XXIVа (48), стр. 830—831), где упомянутые рассказы названы в качестве первых отечественных переводов из американского писателя. На нее указал В. Бенди (W. T. Bundy. Were the Russians the First to Translate Poe? «American Literature», vol. XXXI, № 4, January, 1960, pp. 479—480).

училище (см. письмо к М. М. Достоевскому от 9 апреля 1838 г.). Для Достоевского 1861 г. примечательна высокая оценка поэзии, юмора, «светлого идеала» Гофмана («Гофман неизмеримо выше По как поэт»), и в то же время критический анализ его романтической фантастики, сделанный рукою писателя-реалиста, выделяющего у Гофмана также на первое место «силу действительности», «типы и портреты».

Спустя более чем десятилетие после данной заметки имя Э. По еще раз возникает под пером Достоевского: в черновом наброске к рассказу «Сон смешного человека», в том месте, где герой рассуждает о природе сновидений (гл. III), писатель помечает на полях: «У Эдгара Поэ».¹ Очевидно, ассоциация с По вызвана была раздумьями о зыбкости границ между реальным и ирреальным. Этот мотив — один из основных в творчестве американца — занимал давно и Достоевского и трактовался им в качестве одной из особенностей человеческой психики. Под тем же углом зрения воспринимал он аналогичные проблемы и у По.

Сближение творческих принципов Достоевского и По делалось многократно; о нем, правда вскользь, писали К. Д. Бальмонт, Л. П. Гроссман, В. Л. Львов-Рогачевский, Р. Г. Назиров, Д. Фангер и другие;² эта тема находит свое место также в работах В. Астрова и М. Виднэс.³ Специально этот вопрос рассмотрен в книге американской психологической исследовательницы Джоан Делани-Гроссман.⁴

Стр. 88. . . . *оживает египетская мумия гальванизмом.* . . . — Имеется в виду рассказ Э. По «Разговор с мумией» (русский перевод — 1895 г.).

Стр. 88. . . . *умерший человек ∞ рассказывает о состоянии души своей.* . . . — По всей вероятности, речь идет о новелле «Месмерическое открытие» (русский перевод — 1896 г.).

Стр. 89. . . . *описание путешествия на луну.* . . . — Сюжет новеллы По «Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля» (русский перевод — 1853 г.).

Стр. 89. . . . *полет шара, перелетевшего из Европы через океан в Америку.* — Рассказ Эдгара По «История с воздушным шаром» (русский перевод — 1896 г.). Появление рассказа По, принятого за хроникальную заметку о действительном событии, вызвало в Нью-Йорке сенсацию.

Стр. 89. . . . *в рассказе о потерянном письме, об убийстве, сделанном в Париже орангутангом, в рассказе о найденном кладе.* . . . — Имеются в виду следующие рассказы Эдгара По: «Похищенное письмо» (русский перевод — 1857 г.), «Убийство на улице Морг» (русский перевод — 1857 г.), «Золотой жук» (русский перевод — 1847 г.).

¹ ИРЛИ, ф. 100, 29499.

² См.: Э. По. Собрание сочинений. Пер. К. Д. Бальмонта. М., 1911, т. I, стр. VII; Л. Гроссман. Гении Европы. В кн.: Библиотека, стр. 118; В. Львов-Рогачевский. Л. Андреев. Критический очерк. Изд. «Русский книжник», М., 1923, стр. 52; Р. Г. Назиров. Об этической проблематике повести «Записки из подполья». В кн.: Достоевский и его время, стр. 148; D. Fanger. Dostoevsky and Romantic Realism. Cambridge, Harvard University Press, 1965, , 223.

³ См.: V. Astruc. Dostoevsky on Edgar Allan Poe. «American Literature», vol. XIV, № 1, March, 1942, pp. 70—74; Мария Виднэс. Достоевский и Эдгар Аллан По. «Scando—Slavica», t. XIV, Copenhagen, 1968, pp. 21—32.

⁴ Joan Delaney-Grossman. Edgar Allan Poe in Russia. A Study in Legend and Literary Influence. Würzburg, 1973, pp. 44—53.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 2, отд. II, стр. 1, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 9 февраля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в изданиях: 1918, т. XXII, стр. 237. Авторство Достоевского (по содержанию и стилистическим признакам) обосновано Л. П. Гроссманом (см.: там же, стр. 227—228).

Печатается по тексту первой публикации.

Очерком «Процесс Ласенера» редакция «Времени» открыла серию публикаций, посвященную знаменитым западноевропейским уголовным процессам XIX в. Инициатива в деле постоянного печатания в журнале материалов этого раздела (как можно с большой долей уверенности полагать, учитывая постоянный интерес Достоевского, художника и психолога, к материалам русской и зарубежной уголовной хроники) принадлежала Ф. М. Достоевскому. Вслед за первой публикацией «Процесс Ласенера» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 1—50) редакция в 1861—1862 гг. поместила следующие — аналогичные по содержанию и форме — материалы: 1) Лезюрк. Из уголовных дел Франции. (1796—1851) (Случай судебной ошибки) (*Вр*, 1861, № 4, стр. 411—457); 2) Мадам Лафарж. Из уголовных дел Франции (*Вр*, 1861, № 5, стр. 162—206); 3) Каролина английская и Бергами (процесс 1820 г.) (*Вр*, 1861, № 7, стр. 47—100); 4) Мадам Лакост (*Вр*, 1861, № 10, стр. 497—523); 5) Таинственное убийство. Из уголовных дел Франции 1840 г. (*Вр*, 1862, № 1, стр. 30—102); 6) Убийцы Пешара. (Французское уголовное дело 1857—1858 гг.) (*Вр*, 1862, № 2, стр. 1—71). Последний очерк этой серии был напечатан в «Эпохе»: «Госпожа де Прален (Praslin), процесс 1847 г.» (*Э*, 1864, № 1—2, стр. 221—280).

Вскоре очерки, напечатанные во «Времени», были перепзданы в виде отдельной книги без имен автора и переводчика, под заглавием «Любопытнейшие процессы из уголовных дел Франции и Англии» (вып. 1. СПб., 1862).

Как выяснил на основании анализа гонорарных ведомостей редакции «Времени» Б. В. Томашевский (1926, стр. 607), перевод материалов «Процесса Ласенера» был выполнен Р. Р. Штрацманом.

Французский оригинал, с которого, по поручению редакции, делались переводы, установлен В. Д. Раком. Это многотомное издание: Armand Fouquier. Causes célèbres de tous les peuples. Édition illustrée, tt. 1—9. Paris, 1857—1874 (или его перепечатка: Édition populaire illustrée, tt. 1—7. Paris, 1859—1867). Ср.: В. Д. Рак. Источники очерков о знаменитых уголовных процессах в журналах братьев Достоевских. *Материалы и исследования*, т. 1, стр. 239—240. Изложение процесса Ласенера было помещено в т. 1 сборника Фукье (1857), оставив два его выпуска (4—5). Перевод остальных семи процессов для «Времени» и «Эпохи» был выполнен группой его сотрудников также с некоторыми сокращениями по томам 1—4 издания Фукье.

Г. М. Фридлиндер обратил внимание на то, что уже в 1860 г. в № 1 журнала «Свечок», к редакционному кружку которого были близки братья Достоевские, был помещен отчет о напущенном уголовном процессе г-жи Лемуан, а в № 1 «Свечоча» за 1861 г. подобный жанр публикаций был продолжен.¹ Это дает основание полагать, что печатание изложения процесса Лемуан в «Свечоча» либо было осуществлено по идее одного из братьев Достоевских, либо, наоборот, могло явиться толчком к зарождению у редакторов «Времени» мысли о систематической публикации в журнале подобного же рода материалов. Печатая их, издатели «Времени», как видно из данной заметки, руководствовались не только желанием доставить подписчикам журнала чтение,

¹ Фридлиндер, *У истоков почвенничества*, стр. 405.

занимательное благодаря своему чисто внешнему, авантюрному интересу, но исходили в первую очередь из рано сложившегося у Достоевского и получившего отражение уже в его рассказах и фельетонах 1840-х годов представления о глубине социально-психологического содержания, заключенного в материале «текущей», газетной, в том числе судебно-уголовной, хроники. Наряду с этим материал иностранных судебно-уголовных процессов, печатавшихся во «Времени», представлял в условиях России начала 1860-х годов, так же как параллельно печатавшиеся во «Времени» «Записки из Мертвого дома» самого Достоевского, актуальный общественно-политический интерес в связи с предстоящей в России судебной реформой и обсуждением остро назревших вопросов преобразования уголовного кодекса и пенитенциарной системы, к которому призывала тогдашняя и либерально-дворянская и демократическая общественность (см. об этом: *Нечаева, «Время»*, стр. 110—125).

Пьер-Франсуа Ласенер (Lacenaire, 1800—1836) — вор и убийца, известный своей изощренной жестокостью, герой шумевшего судебного процесса, приговоренный в 1835 г. в Париже к смертной казни. Имя Ласенера получило широкую известность не только благодаря его процессу, изложение которого печаталось во французских газетах 1830-х годов и позднее вошло в ряд сборников знаменитых уголовных процессов, но и благодаря написанным Ласенером в заключении апологетическим стихам и мемуарам, где он пытался изобразить себя как «жертву общества» и сознательного мстителя, воодушевленного идеями борьбы с социальной несправедливостью. Полуапокрифические мемуары и стихотворения Ласенера (*Mémoires, révélations et poésie de Lacenaire*) были изданы (возможно, в чьей-то литературной обработке) посмертно в Париже в 1836 г. Вслед за ними вышло другое, уже вполне апокрифическое издание: *Lacenaire après sa condamnation; ses conversations intimes*. Paris, 1836.

«Убийца и грабитель, — пишет по поводу показаний на суде и мемуаров Ласенера известный исследователь французской поэзии 1830-х годов, — вздумал принять перед эшафотом позу гонимого в обществе рокового страдальца, жертвы общества <...> Ласенер пытался превратить свой бандитизм в социальное бунтарство. „В эту эпоху, — писал он в своих мемуарах, — началась моя дуэль с обществом, которая прерывалась иногда по моему желанию, но которую меня заставляла возобновить нужда. Я решил сделаться бичом общества“.¹ Но как ни старался Ласенер оправдать убийства и грабежи разговорами о революции, как ни пытался он выдать себя за мятежного представителя революционной демократии, как ни остроумничала реакция, позволяя утверждаться представлению о „революционном поэте Ласенере“, чтобы иметь право повторять: „Вот каковы они, ваши революционные поэты — они убивают старух!“ — представители революционной литературы поспешили с негодованием отвергнуть всякую мысль о близости к ним Ласенера, о своем родстве с ним».²

Декларации Ласенера о том, что он не обыкновенный, рядовой убийца и грабитель, но поэт-революционер, мститель обществу, вызвали отповедь его современника — одного из наиболее популярных французских революционных поэтов 1830-х годов — Эжезиппа Моро (Н. Moreau, настоящее имя — Пьер Жак Руйо (Roulliot; 1810—1838)). В поэме «Ласенер-поэт», вошедшей в его сборник «Незабудка» (*Le Myosotis*, 1838), Моро с негодованием обрушился на Ласенера, который осмелился называть себя поэтом, «в старушечьей крови собирая лундоры», и на мешанско-буржуазную публику, подымавшую на щит этого «поэта-громилу». Если в прошлые столетия, в эпоху Вийона или Сальватора Розы, поэты и художники нередко были принуждены стать преступниками, заявлял Моро, то в современном обществе поэты-про-

¹ *Mémoires, révélations et poésie de Lacenaire*. Paris, 1836.

² Ю. Д а н и л и н. Поэты польской революции. ГИХЛ, М., 1935, стр. 312—314; ср. о Ласенере: *Фридлендер*, стр. 135—137; *ЛН*, т. 77, стр. 499—500.

тестанты и преступники не имеют между собою ничего общего, между ними лежит целая пропасть.¹

Указанную совокупность фактов, известных Достоевскому из материалов процесса Ласенера и из откликов на него французской литературы и журналистики 1830—1840-х годов (стихи Ласенера упоминаются, а одно из стихотворений даже цитируется в публикации «Времени»), нужно учитывать для того, чтобы понять причины психологического интереса, который длительное время вызвала у писателя «загадочная» личность этого необычного убийцы. Молодой человек, хотевший в прошлом посвятить себя изучению права, а позднее — неудачливый литератор, Ласенер был достаточно образован и осведомлен (хотя и понаслышке) в демократических и социалистических теориях своего времени, чтобы пытаться — хотя и безосновательно — разыграть роль «интеллигентного» убийцы, руководимого идеей индивидуального мщения обществу: «Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставить себя жертвой своего века» (стр. 90). Эти черты сближали облик Ласенера в представлении Достоевского с типами современных ему молодых людей — героями замышлявшихся им романов и повестей. Имя Ласенера встречается в романе «Идиот» и рабочих тетрадях к «Подростку» (см.: наст. изд., т. VII, стр. 334—335; т. VIII, стр. 350; т. XVI, стр. 291).

«ПРИПИСКА К СТАТЬЕ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО О ШИЛЛЕРЕ»»

(Стр. 90)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 2, отд. II, стр. 114, где данные строки были опубликованы в качестве заключения статьи Страхова, без отделения от ее основного текста и без указания на принадлежность заключительных строк редакции (ценз. разр. — 9 февраля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено Л. П. Гроссманом в издании: *1918*, т. XXII, стр. 238—239. Авторство Достоевского на основании указания Страхова отмечено издателем И. П. Метченко в кн.: Н. Н. Стр а х о в. Критические статьи, т. 2. Киев, 1902, стр. 251.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья Н. Н. Страхова, к которой Достоевский присоединил свое заключение (последние два абзаца журнальной публикации), явилась полемическим откликом редакции «Времени» на анонимную рецензию (вероятно, самого редактора) в «Библиографическом указателе» выходившего под редакцией П. И. Вейнберга журнала «Век» (1861, № 1, стр. 38—39). Здесь, в связи с оценкой т. IX сочинений Шиллера в переводе русских писателей под редакцией Н. В. Гербеля (см. об этом издании ниже, стр. 291), рецензент писал: «Мы не слишком высоко ставим Шиллера как поэта и особенно как историка и философа, но считаем предприятие г-на Гербеля очень полезным при том крайне бедном знакомстве с произведениями иностранной словесности, которым отличается русская публика. Стыдно сознаться, что у нас до сих пор не переведены целиком ни Шекспир, ни Байрон, ни Гете, а между тем журналы наши часто изобилуют прекрасными переводами других, совершенно ничтожных поэтов» («Век», 1861, № 1, стр. 38).

Начальные слова этого заявления («Мы не слишком высоко ставим Шиллера» и т. д.) вызвали резкую отповедь Страхова, который писал, возражая рецензенту «Века»: «Если бы такие слова попались нам в „Современнике“, мы несколько не удивились бы. Но „Век“! Ужели и он туда же? < . . »

¹ Э. М о р о. Незабудка. Избранное, Гослитиздат, М., 1937, стр. 109—113.

„Век“ заговорил о Шиллере по поводу издания 1-на Гербеля. Это издание должно было привести ему на память, что Шиллер принадлежит к главным любимцам нашей читающей публики, что без этого и издание Гербеля было бы невозможю. Но, очевидно, на эту любовь наших читающих и шипущих людей к Шиллеру, любовь, идущую от Жуковского и продолжающуюся до наших дней, „Век“ смотрит неблагоклонно. Ему кажется, изволите видеть, что любовь пала на человека, мало ее достойного. Поэтому „Век“ принимается толковать о том, что не дурно бы перевести Гете, Байрона и проч. Совет очень хороший, но только не лишней ли? Такие вещи по советам да по указам не делаются. Между тем „Век“, кажется, серьезно думает, что всё это (вкусы публики, — *Ред.*) переделать очень легко, что можно сейчас уничтожить любовь к Шиллеру и заставить читателей полюбить какого угодно другого поэта. Этот взгляд на литературу свысока, это желание учить ее и распоряжаться ею — представляет и смешную и вместе несносную черту, которая часто является в нашей журналистике.

Между тем если на литературу смотреть с уважением, то дело явится совсем в другом свете. Мы должны особенно ценить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великим всемирным поэтом, но, сверх того, быть изящным поэтом. Поэзия Шиллера доступнее сердцу, чем поэзия Гете и Байрона, и в этом его заслуга; от этого ему многим обязана и русская литература.

Вообще же, если какой бы то ни было гений находит у нас сильный отголосок, то тут остается одно: должно радоваться его влиянию, а не выступать вперед с фразами: мы-де его не очень ценим. Если и вперед какой-нибудь *властитель дум* овладеет нашими думами, то, конечно, это будет зависеть не от „Века“ или какого-нибудь другого скорого ценителя; такие явления определяются внутреннею жизнью литературы и всего общества» (*Вр*, 1861, № 1, стр. 13—14).

Вслед за приведенными словами в журнальной публикации следует приписка Достоевского.

Выступление Страхова против «Века» в защиту Шиллера и прочно сложившейся симпатии к его творчеству русской публики не было случайным эпизодом. Оно отражало устойчивую позицию журнала братьев Достоевских в широко развернувшейся в России 1860-х годов дискуссии об оценке классических литературных явлений прошлого в связи с наступлением новой полосы общественно-исторического и культурного развития, появлением новых общественных требований к литературе и новых эстетических вкусов.

Для Достоевского был вообще характерен постоянный, обостренный интерес к творчеству его выдающихся предшественников и современников. Желая найти адекватную форму художественного воплощения для идейно-психологических типов, нравственных и общественных проблем своей эпохи, Достоевский еще в годы литературного ученичества внимательно присматривался к тому, как решали аналогичные задачи другие деятели русской и мировой литературы, стремился выработать свою оригинальную художественную манеру с учетом их опыта и достижений. И позднее Достоевский воспринимал творчество Шиллера, Ж. Санд, Бальзака, В. Гюго как живые явления, близкие ему по своему моральному пафосу, по направлению основных идейно-художественных исканий. Это определило пафос его статей и редакционных заметок во «Времени», посвященных явлениям западноевропейской литературы.

Основное свое эстетическое положение, обусловившее в 1860-х годах его позицию в названной дискуссии, Достоевский в том же номере «Времени» сформулировал в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Предлагая здесь свое решение вопроса о том, что в искусстве может быть признано полезным или бесполезным, Достоевский предостерегал от слишком поспешного и узкого подхода к этому вопросу. Он доказывал, что большое, серьезное, настоящее искусство никогда не может быть несовременным и вполне бесполезным для общества, хотя бы критика до поры до времени не могла осознать и точно определить коэффициента его общественной полезности, так как задача эта сложна и не всегда может быть решена в данной исторической обстановке даже выдающимся критиком (Достоевский имел в виду оценку Добролюбовым своего собственного творчества — см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 271—272).

Из этой широкой постановки вопроса о современности и пользе в искусстве вытекала принципиальная позиция Достоевского, нашедшая свое отражение в данной и в других статьях (о «Египетских ночах» Пушкина) и заметках (об Э. По) этого тома, а равно и в оценке явлений русской и западной литературной классики в остальных статьях «Времени».

Представители не только одной революционно-демократической, но порой и либеральной критики и журналистики 1860-х годов (в данном случае П. И. Вейнберг), стремясь утвердить мысль о необходимой связи искусства с современностью, склонны были нередко в полемическом задоре отвергать те или иные явления литературы и искусства прошлого (например, В. А. Зайцев и Д. И. Писарев — Шекспира или Пушкина) как устаревшие, «несовременные», видя в преклонении перед ними проявление узкого эстетизма, следствие игнорирования современных требований к искусству. Достоевский же стремился, наоборот, утвердить мысль, что, хотя пересмотр многих широко популярных прежде эстетических суждений и критических оценок был в его время действительно необходим, пересмотр этот должен был вести не к сужению, а к расширению круга выдающихся явлений прошлой и современной литературы, достойных внимания общества, — при одновременном углублении понимания социально-философского и культурной значимости этих явлений, которое делает возможным именно новый период русской жизни. Эта мысль получила особенно отчетливое выражение в данной приписке Достоевского-редактора к статье Страхова. Выступление Страхова по частному поводу — в защиту живого, неумирающего значения Шиллера для русского общества — Достоевский-редактор использовал для того, чтобы сжато сформулировать свою литературную программу, дальнейшей планомерной реализацией которой можно считать, если рассматривать их в связи с данной припиской, помещенные вслед за нею во «Времени» статьи А. А. Григорьева «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики»,¹ «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» и ряд других статей журнала.

В частности, в первой из названных статьей А. Григорьева широко поставлен вопрос о насущной необходимости для русской журналистики и критики выработать вполне объективное, исторически обоснованное, свободное от увлечения и полемических односторонностей прошлого отношение к основным явлениям западноевропейских литератур нового времени — от итальянской литературы XVI и французской литературы XVII в. до 1800—1840-х годов. Высоко оценивая значение Белинского, который был, по его словам, «главным общественным двигателем нашим и великим глашатаем истины», Григорьев указывал, что критик «был поставлен в такие же условия борьбы, как Лессинг» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 36), а потому не был свободен в своей оценке ряда явлений как русской, так и западной литературы от благородных «увлечений», явившихся своего рода неизбежными издержками его страстной и энергичной натуры. «В высшей степени одаренный художественным пониманием <...> отзывавшийся на всё с необыкновенной чуткостью, он, однако, как человек стремления и прогресса, не задумывался заменять явления явлениями, когда одни казались ему ближе к истине <...> Своего рода террорист литературный, он приносил жертвы за жертвами, хотя, конечно, едва ли принес бы в жертву, например, Пушкина и его значение в нашей жизни» (там же, стр. 36—37). К такого рода «жертвам» увлечений Белинского Григорьев относил Корнеля и Расина, Шиллера (в период «примирения» критика с действительностью), а также писателей «юной французской словесности», в том числе поименованных Достоевским, в его приписке

¹ О принадлежности помещенной во «Времени» анонимно статьи «Знаменитые европейские поэты перед судом русской критики» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 35—59) А. А. Григорьеву см.: Б. Ф. Егоров. Ал. Григорьев — критик. Статья I. Приложения. «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 98. Труды по русской и славянской философии, III, Тарту, 1960, стр. 236.

к статье Страхова, В. Гюго, Бальзака, Э. Сю, Ф. Сулье и др. «Мы далеки от намерения упрекнуть нашу критику, в особенности критику периода Белинского, в опрометчивости ее суждений или в излишней самостоятельности взгляда < . . . > — разъяснял тут же свою точку зрения А. Григорьев, отмежевывая ее от точки зрения консервативной критики, упрекавшей Белинского, а затем и его последователей в „непочтительности к авторитетам“. — Речь идет вовсе не о погранных авторитетах, а о правильности нашей оценки знаменитых европейских писателей, о множестве укоренившегося вздора на их счет в нашей критике» (там же, стр. 37). Григорьев добавлял: «Дело нравственного возбуждения, совершенное в лице его (Белинского, — *Ред.*) нашего критиком, так велико и благотворно по своим последствиям, что от многих принесенных критиком жертв мы можем уже теперь и отказаться, без опасения повредить делу прогресса» (там же).

Особую насущную необходимость строгой критической проверки всей постепенно сложившейся системы мнений русской публики о западной литературе Григорьев обосновывал тем, что «с Белинским кончаются наши часто неправильные, но всегда серьезные и искренние отношения к великим западным писателям. По смерти Белинского в критике нашей как в этом, так и в другом отношении начинается ряд маний и праздношатаний мысли» (там же, стр. 49). В подтверждение этого Григорьев ссылаясь на статьи А. В. Дружинина в «Библистекe для чтения» 1850-х годов об английской литературе, уничтожительные отзывы той же «Библиотеки для чтения», «Отечественных записок» А. А. Краевского, газеты «Век» П. И. Вейнберга (см. выше, стр. 289) и других русских газет и журналов о Шиллере, В. Гюго, Ж. Санд, Гейне.

В своей статье Григорьев несколько раз возвращался к вопросу об оценке Гюго, Бальзака и других французских романистов 1840-х годов русской критикой. Напоминая, что Белинский в «Литературных мечтаниях» был «жарким поклонником Бальзака и других современных французских деятелей» (к которым он впоследствии относился — за исключением Ж. Санд — более сдержанно), Григорьев писал по этому поводу: «. . . не поверить < . . . > великому аналитику сердца человеческого Бальзаку в действительном бытии той эксцентрической „Comédie Humaine“, которой пеструю и мрачную картину развертывал он всё шире и шире с каждым своим произведением, не увлечись всем этим трудно даже и в наше время человеку с сердцем, плотью и кровью, а в ту молодую эпоху нашего сознания было просто даже невозможно» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 43).

Далее Григорьев писал, вспоминая о времени расцвета французской «нейстой школы»: «Настала эпоха юной французской словесности, с ее блестящими представителями: Виктором Гюго, молодым еще тогда Александром Дюма, Бальзаком, Сю, Сулье, Жаненом, Мюссе, Мериме, Нодье и т. д. Что это было волканическое извержение действительных, более или менее ярких талантов, более или менее могучих сил, пора, кажется, в этом убедиться. Каждая из этих сил бросила миру немало впечатлений, а некоторые, как Гюго и Бальзак, очень много. Нет ни одного таланта из поименованных, который бы не оставил по себе на память хоть одной замечательной книги. . . Книги эти не только производили, но и сейчас способны производить сильнейшее впечатление < . . . > Не говорим о Бальзаке, в первоначальном поклонении которому Белинский был гораздо правее, чем в последующем отречении от него» (там же, стр. 58).

К этому месту статьи в журнальном тексте сделано особое примечание: «С Бальзаком в нашей критике вышла престранная история. Из всех современных ему писателей Франции он более всего подходил под мерку нашей критики сороковых годов. Помимо отрицания, которого у него почти не было, тогдашняя натуральная школа должна бы была благоговеть перед ним. Реальнее его, может быть, и не было писателя во Франции. А по *типам*, чем мы особенно тогда дорожили и теперь дорожим, он стоит совершенно уединенно в своей литературе. Припомним „Père Goriot“, „Eugénie Grandet“, „Les parents pauvres“¹ и другие его высокие произведения» (там же, стр. 58—59).

¹ «Отец Горио», «Евгения Гранде», «Бедные родственники» (*франц.*).

Под цитированным примечанием, повторяющим мысль, высказанную Достоевским в комментируемой приписке, нет подписи «Ред.» (так помечались во «Времени» редакционные примечания к статьям сотрудников журнала). Поэтому у нас нет оснований считать его принадлежащим Достоевскому, а не Григорьеву. Тем не менее то или другое участие Достоевского в редактировании текста примечания более чем вероятно. За это говорит не только очевидная связь примечания к статье Григорьева по содержанию с припиской Достоевского и самый его стиль, но и данное в конце перечисления произведений Бальзака: не случайно, по-видимому, из числа произведений французского романиста выделены романы, особенно ценившиеся Ф. М. Достоевским: «Отец Горю» (внимание к философской проблематике этого романа отражено в «Преступлении и наказании» и черновиках Пушкинской речи), «Евгении Гранде» (переведенная Достоевским) и диалог «Бедные родственники» («Кузен Понс» и «Кузина Бета»), которую, как мы знаем из женевского дневника А. Г. Достоевской за август—сентябрь 1867 г., писатель вскоре после брака рекомендовал для чтения своей жене (*ЛН*, т. 86, стр. 167—174; ср.: там же, стр. 176 и 181 — о чтении А. Г. Достоевской по совету мужа «Евгении Гранде» и «Отца Горю»). Об отношении Достоевского к Бальзаку см.: наст. изд., т. I, стр. 459, 511; т. VII, стр. 344, где приведена основная литературная проблема. О том, что «вся глубина, всё содержание художественного произведения заключается . . . в типах и характерах», Достоевский, развивая свою концепцию реализма, продолжал утверждать и позднее — см.: *ДП*, 1876, апрель, гл. 1, подглава 2.

Имя Шиллера, творчество которого Страхов защищал в своей статье от критики Вейнберга, получило в России широкую известность уже в XVIII в., при жизни великого немецкого поэта. Первый русский перевод «Разбойников» Н. Н. Сандунова вышел в 1793 г.; вслед за ним появились переводы «Заговора Фиеско в Генуе» (Н. И. Гнедича; 1803) и «Роварства и любви» (С. И. Смирнова; 1806). На протяжении последнего десятилетия XVIII в. и первой половины XIX в. (по 1850 г.) произведения Шиллера переводили в России около 100 авторов — среди них Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, А. Х. Востоков, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, К. С. Аксаков, Ап. Григорьев.¹ Особенно большую роль в истории «русского» Шиллера сыграли переводы В. А. Жуковского (баллады и другие стихотворения, «Орлеанская дева»), которые стали крупной вехой не только в ознакомлении русского читателя с наследием немецкого поэта, но и в истории русской поэзии первых десятилетий XIX в. Вызвав к себе в 1800-х годах восторженное отношение в литературном кружке братьев Тургеневых, из которого вышел Жуковский, Шиллер благодаря высокому гуманизму, свободолобивым идеалам, философско-этической устремленности своей поэзии и драматургии сыграл в 1830—1840-х годах заметную роль в духовной жизни А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. К. Станкевича, В. Г. Белинского, И. С. Тургенева, Ап. Григорьева и ряда других, различных по конкретному содержанию своих общественных устремлений представителей поколения 1840-х годов. Высокую оценку поэзии Шиллера — пламенного «адвоката человечества» — дал в 1830—1840-х годах В. Г. Белинский, особенно подчеркнутый в своих статьях высокое воспитательное значение наследия немецкого поэта не только для русской публики предшествующих десятилетий, но также для своего и будущих поколений.

Новый этап в истории восприятия идей Шиллера русским обществом, издания и изучения в России его сочинений совпадает с общенациональным демократическим подъемом, наступившим после смерти Николая I и поражения самодержавия в Восточной войне. Издание первого русского собрания сочинений Шиллера, которое было осуществлено в 1857—1860 гг. в Петер-

¹ См.: О. А. С м о л я н. Первые переводы и постановки Шиллера в России. В кн.: Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 3—41.

бурге в 12 томах под редакцией Н. В. Гербеля,¹ имело закономерно в этих условиях огромный успех и стало заметным событием тогдашней русской общественно-литературной жизни. Со статьями и рецензиями на издание Гербеля выступили представители различных лагерей русской общественной мысли — революционные демократы Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, М. Л. Михайлов и их противники — защитник теории «чистого искусства» А. В. Дружинин, либерал С. С. Дудышкин и др. Выход издания Гербеля был приурочен к столетней годовщине со дня рождения поэта (1859), которая не только на его родине, но и в других странах отразила острую борьбу вокруг наследия Шиллера. Это полностью относится и к России 1850—1860-х годов.²

О восторженном отношении Достоевского к Шиллеру, проходящем через всю его жизнь, а равно об отражении идей и образов Шиллера в романах Достоевского см.: наст. изд., т. III, стр. 526; т. VII, стр. 366, 396; т. XV, стр. 536, 537 и др. Там же дана сводка основной литературы вопроса. В итоговой форме свою оценку Шиллера и его значения для русской культуры Достоевский выразил в словах: «Французский конвент 93 года, посылая патент на право гражданства au poète allemand Schiller, l'ami de l'humanité,³ хоть и сделал тем прекрасный, величавый и пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской России этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время — во Франции, но даже и потом, во всё наше столетие, в котором Шиллера, гражданина французского и l'ami de l'humanité, знали во Франции лишь профессоры словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. А у нас он, вместе с Жуковским, в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил» (ДП, 1876, июнь, гл. 1, подглавка 1).

Русские революционные демократы 1860-х годов, в частности Н. Г. Чернышевский, разъясняя значение Шиллера для русского общества, стремились подчеркнуть освободительный пафос его творчества, связь идейно-эстетического содержания произведений поэта с социально-революционной проблематикой его собственного и последующего времен (см.: *Чернышевский*, т. IV, стр. 502—507). Достоевский — художник и мыслитель, обращаясь к Шиллеру и его персонажам, выдвигал на первый план гуманизм немецкого поэта, его высокий этический пафос, предельную широту и общечеловечность философской и моральной проблематики его творчества. Подобному пониманию общего духа произведений Шиллера, которую разделял и М. М. Достоевский, была близка оценка немецкого поэта в других статьях «Времени». Такая широко-гуманистическая интерпретация творчества Шиллера, защищающая его от нападок либеральной критики и соединенная с подчеркиванием социального смысла творчества Гюго, Бальзака и других французских романистов, значительно отличала литературную позицию «Времени» от позиции «эстетической» критики 1860-х годов, исходившей из идеалов вневременного «чистого» искусства, и сближала ее объективно с демократической мыслью эпохи.

Стр. 90. . . вспомним, например, Бальзака, Виктора Гюго, Фредерика Сультя, Сю и много других. . . — Об отношении Достоевского к Бальзаку см. выше, стр. 293; В. Гюго, так же как и Бальзак, был на всем протяжении жизни Достоевского одним из его любимых писателей — см. об этом: наст. изд., т. VII, стр. 344; т. XV, стр. 463, т. XVII, стр. 404; ср. предисловие

¹ Шиллер в переводах русских писателей. Под редакцией Н. В. Гербеля. Тт. I—XII. СПб., 1857—1860.

² Об откликах на юбилей Шиллера 1859 г. в России, о статьях, вызванных изданием Гербеля, и отразившихся в них различных социально-идеологических оценках творчества поэта см.: С. В. Терехов. Шиллер в русской критике 50—70-х годов XIX в. В кн.: Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 124—139.

³ немецкому поэту Шиллеру, другу человечества (примеч. Достоевского).

Достоевского к публикации во «Времени» романа Гюго «Собор Парижской богородицы» (1862). Об интересе Достоевского к представителям французского социально-авантюриного романа 1840-х годов Ф. Сулье и Э. Сю с присущими этому роману демократическими тенденциями и вниманием к жизни обитателей городского «дна» см.: наст. изд., т. I, стр. 459; т. II, стр. 357, 498, 518. К их именам Достоевский, говоря о многих «других», присоединял мысленно, по-видимому, в первую очередь имя Поль де Кока (см. о нем: наст. изд., т. I, стр. 481; т. II, стр. 480—481), а возможно, и А. Дюма-отца. Отзвуки чтения правописательно-бытовых романов Поль де Кока заметны не только в творчестве Достоевского 1840-х годов, но и в повести «Вечный муж» (см.: наст. изд., т. IX, стр. 477). «Граф Монте-Кристо» и другие романы А. Дюма упоминаются в повести «Дядюшкин сон» (см.: наст. изд., т. II, стр. 357, 518, 519); с героями его же романа «Три мушкетера» сравнивает себя и друзей своей молодости в одной из сцен своего «фантастического» вражья генерал Иволгин в романе «Идиот» (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 92).

Стр. 90. *Перед ними был виноват отчасти Белинский.* — См. об этом выше, стр. 291—292.

Стр. 90. *Мы скоро надеемся представить большую статью под следующим заглавием: «Поэты и романисты Запада перед судом нашей критики».* — Обещанная статья «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» (см. о ней выше, стр. 291) была помещена: *Вр*, 1861, № 3, стр. 35—59. В этой статье А. А. Григорьева журнал вновь возвратился также и к суждениям о Шиллере, высказанным русской критикой. Проанализировав кратко историю восприятия и оценки Шиллера в России и эволюцию взглядов Белинского на творчество великого немецкого поэта, Григорьев, между прочим, писал: «... взгляд свысока на Шиллера Белинского (периода примирения с действительностью, — *Ред.*) и других адептов гегелизма не имел ничего общего с современным взглядом свысока на Шиллера . . . ну хоть бы газеты „Век“ . . .» (*Вр*, 1861, № 3. Критическое обозрение, стр. 46—47).

ОБРАЗЦЫ ЧИСТОСЕРДЕЧИЯ

(Стр. 91)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 3, отд. V, стр. 54—70, без подписи (пенз. разр. — 21 февраля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXIII, стр. 9—33.

Печатается по тексту первой публикации

Настоящая статья — первая из двух статей Достоевского, опубликованных в 1861 г. в журнале «Время» и посвященных полемике с «Русским вестником» М. Н. Каткова по поводу женского вопроса в «Египетских ночей» А. С. Пушкина.

Вторую статью, тесно связанную с нею по содержанию, — «Ответ „Русскому вестнику“» — см. выше, стр. 119—139.

Поводом для написания статьи послужил литературный скандал, разразившийся весной 1861 г. после появления в «С.-Петербургских ведомостях» корреспонденции Тиммермана «Из путевых заметок от С.-Петербурга до Иркутска», подписанный инициалами М. Т. (*СПбВед*, 1861, 14 февраля, № 36, стр. 185—186). Корреспонденция представляла собою описание публичного чтения импровизации итальянца из «Египетских ночей» (1835) Пушкина женой председателя Казенной палаты в Перми «статской советницей» Евгенией Эдуардовной Толмачевой на благотворительном литературно-музыкальном вечере в пользу сиротских приютов, устроенном в помещении пермского дворянского благородного собрания. Невольным зачинщиком скандала оказался поэт и переводчик, впоследствии почетный академик П. И. Вейнберг

(1831—1908), исполнявший в это время обязанности редактора еженедельника «Век».¹ Укрывшись под псевдонимом Камень-Виногород, представляющим перевод его имени и фамилии — Петр (от греч. камень) Вейнберг (от нем. виноградная гора), Вейнберг напечатал в своем еженедельнике фельетон «Русские диковинки», в котором насмешки над восторгами корреспондента «С.-Петербургских ведомостей» перемежались необоснованными указаниями на «темперамент» Толмачевой, ставящими под сомнение ее человеческое достоинство и женскую честь («Век», 1861, 22 февраля, № 8). «В юмористическом» изображении Вейнберга Толмачева была представлена новоявленной Клеопатрой, жрицей разнузданного сладострастия, потешающейся над своими слишком робкими поклонниками.

Ответ на «Русские диковинки» последовал почти незамедлительно. Под заголовком «Безобразный поступок „Века“» газета «С.-Петербургских ведомостей» (1861, 3 марта, № 51) напечатала письмо-протест поэта-демократа М. Л. Михайлова, сопроводив его многообещающим подстрочным примечанием: «Редакция „Санктпетербургских ведомостей“ получила несколько писем по поводу выходки журнала „Век“ против г-жи Толмачевой <...> Вполне разделяя благородное негодование на такой нелитературный поступок „Века“, помещаем, на первый раз, письмо М. Л. Михайлова. Вслед за тем сообщим и другие». Мотивируя свои обвинения в адрес «Века» и персонально Камня-Виногорова, Михайлов подчеркивал, что вряд ли найдется человек «с живым сердцем в груди, который, зная настоящие общественные условия и положение женщин, решился бы публично оскорблять женщину и выдавать ее головою на посмеяние <...> глупцам и невеждам». Таким образом, благодаря вмешательству Михайлова полемика по частному и, казалось бы, случайному поводу, грозившая вылиться в заурядную газетную перебранку, приобрела смысл принципиального конфликта между сторонниками и противниками женской эмансипации, являвшейся, как известно, одним из лозунгов демократического движения шестидесятых годов.

Ознакомившись с содержанием письма Михайлова еще до появления его в печати, редакция «Века» в специальной «заметке» поспешила сообщить, что она уже «приняла все меры <...> для заявления перед г-жею Толмачевой чистосердечного своего извинения». Вместе с тем она заверяла читателей, что «по общему содержанию» статьи г-на Михайлова <...> не замедлит представить свое объяснение» («Век», 1861, 1 марта, № 9, стр. 328). «Объяснение от редакции „Века“, подкрепленное «Ответом Камня-Виногорова», действительно появилось в следующем же номере еженедельника, однако оба «документа» были составлены таким образом, что, по существу, сводили на нет принесенные ранее извинения. Редакция «Века» не смогла категорически осудить Камня-Виногорова скорее всего потому, что такая акция означала бы слишком суровый бойкот главного редактора. С другой стороны, она не решилась и на последовательную защиту позиции Вейнберга, так как неблагоприятность и безответственность его «поступка» были все-таки очевидны. Достоевский не знал о субъективных мотивах, предопределивших уклончивую манеру объяснений редакции «Века»; он мог и не знать, что Камень-Виногород и Вейнберг — одно и то же лицо. Впрочем, вряд ли это повлияло бы на характер его реакции на статью Вейнберга-Виногорова.

В мартовской же книжке журнала «Время» была напечатана анонимно и еще одна полемическая статья, направленная против «Века», — «Один поступок и несколько мнений г-на Камня-Виногорова в № 8 газеты „Век“». Автором этой статьи был Н. Н. Страхов (см.: Н. Н. Страхов. Критические статьи (1861—1894), т. II. Киев, 1902, стр. 252—263; ср.: *Нечаева*, «Время», стр. 267). Страховская статья заканчивалась миролюбивым постскриптумом, в котором сквозило удовлетворение редакционной «заметкой» «Века» и готовность в соответствии с этим прекратить полемику. И в основном тексте статьи и в постскриптуме не было намеков на последующие ретиранды

¹ О П. И. Вейнберге см.: Ю. Д. Левин. П. И. Вейнберг-переводчик. В кн.: Россия и Запад. Из истории литературных отношений. Изд. «Наука», Л., 1973, стр. 220—257.

«Века». Все это свидетельствует о том, что написанная до появления в печати подробных «объяснений» «Века» (и, следовательно, раньше статьи Достоевского) статья Страхова отражала еще не вполне определенную точку зрения журнала «Время» на вопрос о Толмачевой. Помещение в одной книжке журнала сразу двух статей, направленных против «Века», оправдывалось, таким образом, логикой развития событий.

Как видно из воспоминаний самого П. И. Вейнберга (см.: 1918, т. XXIII, стр. 6—8), виднейшие представители демократического лагеря осудили его поведение как «антиобщественный поступок». Н. А. Некрасов сделал это при личной встрече с Вейнбергом. В. С. Курочкин не ограничился устным порицанием и напечатал в «Искре» под псевдонимом «Пр. Знаменский» сатирическое стихотворение «„Египетские ночи“ и петербургские фельетоны» (И, 1861, 31 марта, № 12). Автором одного из протестующих «писем», напечатанных газетой «С.-Петербургские ведомости» вслед за письмом М. Л. Михайлова, был Н. В. Шелгунов.¹ Наконец, А. И. Герцен, уведомленный о неловком положении, в которое попала редакция «Века», напечатал «Русские диковинки», писал К. Д. Кавелину 3 (15) мая 1861 г.: «. . . что ты возишься с вашим журналом и Виногоровым? Брось его. Редакция завралась — этого не поправишь ответами, и вопрос так стал, что les fleurs² будут не с вашей стороны. Тебе-то что за радость, что и твое имя поминуют рядом с Вейнбергом?» (Герцен, т. XXVII, кн. I, стр. 153).

О личности Е. Э. Толмачевой и о ее дальнейшей судьбе (в 1861 г. она оставила мужа, уехав с Тиммерманом из Перми в Казань; в том же году она посетила в Лондоне А. И. Герцена), а также о поддержке статей Достоевского в ее защиту радикальной студенческой молодежью 1860-х годов см.: Г. Ф. К о г а н. Разыскания о Достоевском. ЛН, т. 86, стр. 583, 584, 590.

Достоевский и некоторые его сотрудники продолжили полемику вокруг Толмачевой после выступления «Русского вестника» (см. выше, стр. 126—132), отразив новые, на этот раз уже откровенно ретроградные насмешки журнала Каткова над Толмачевой и женской эмансипацией. На этом этапе полемики Достоевский и его журнал получили поддержку Чернышевского (см. ниже, стр. 306—307). О продолжении этой полемики и о позднейших отзвуках ее в романах Достоевского см. ниже, стр. 301—302).

Стр. 92. . . . редакция состоит из таких серьезных людей. — В редакцию «Века» входили: К. Д. Кавелин, А. В. Дружинин, В. П. Безобразов и П. И. Вейнберг.

Стр. 97. «Угодно ль на себе примерить?» — Цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 14).

Стр. 99. . . . ее собственные слова, приведенные корреспондентом, чрезвычайно умны и основательны. . . — Достоевский имеет в виду заявление Толмачевой после чтения ею «Египетских ночей»: «. . . если мы все, и мужчины, и дамы, и девицы читаем, не конфузясь, грязные и безнравственные французские романы, смотрим, не краснея, сальные и пошлые французские водевили, то было бы в высшей степени смешно и дико не прочесть публично прекрасное художественное произведение великого поэта» (СПбВед, 1861, 14 февраля, № 36).

Стр. 101. Да, я читал это место у апологиста. . . — Подразумевается саркастически прокомментированная Камнем-Виногоровым характеристика, данная корреспондентом «С.-Петербургских ведомостей», манеры чтения Толмачевой (см. выше, стр. 96, 97). Однако Камень-Виногоров и Достоевский не обратили внимания на первую половину этой характеристики, которая отнюдь не заслуживала насмешки: «Она читала просто и вместе с тем эффектно, с полным пониманием внутреннего смысла стихов, с умением придать надле-

¹ Еще два аналогичных по тону письма, напечатанные в той же газете, подписаны псевдонимами: кн. Ц-в (князь Д. Н. Цертелев? — Ред.) и Г-ко (СПбВед, 1861, 14 и 17 марта, №№ 59 и 62).

² насмешники (франц.).

жащее значение каждой мысли и каждой картины поэта» (*СПбВед*, 1861, 14 февраля, № 36).

Стр. 104. . . . когда Тартюф говорит Дорине «Прикройте это . . .» — Цитируется комедия Мольера «Тартюф» (акт III, сц. 2).

«СВИСТОК» И «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

(Стр. 105)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 3, отд. V, стр. 71—84, без подписи (ценз. разр. — 21 февраля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXIII, стр. 78—100.

Печатается по тексту первой публикации.

Настоящая статья, напечатанная в одной книжке с предыдущей, — развернутое полемическое выступление, отражающее неприятие Достоевским общественно-литературной позиции катковского «Русского вестника». Уже в январской книжке этого журнала за 1861 г. Катков публикует нечто вроде воинственной декларации — «Несколько слов вместо „Современной летописи“», в которой оповещает публику о намерении не отказываться «от своей доли полицейских обязанностей в литературе». Подобное заявление носило подчеркнуто антидемократический характер. Однако всячески понося «Свисток» — сатирическое приложение к «Современнику», Катков отнюдь не скрывал своего высокомерно-пренебрежительного отношения по существу ко всей новой русской литературе. Он называл ее «скудной», «ничтожной», неспособной к подлинно самобытному развитию. Этой точке зрения Достоевский противопоставляет свою. Именно русская литература, и до сих пор только она, исключительно самобытная, талантливая и честная, утверждает Достоевский, успешно выполняет в стране важнейшую общественную миссию — нравственно «формирует человека».

Одним из предметов спора между журналом Достоевского, с одной стороны, и такими разными по направлению журналами, как «Русский вестник», «Современник» и особенно «Отечественные записки» — с другой, был вопрос о значении творчества Пушкина. Возражения Достоевского Каткову и С. С. Дудышкину, сформулированные в настоящей статье, представляют собою отчетливое предвосхищение речи Достоевского о Пушкине (1880). «Главные положения „Речи о Пушкине“, — замечает по этому поводу Л. П. Гроссман, — были высказаны Достоевским за двадцать лет до ее произнесения не только в статьях о русской литературе, но и в его полемике» (1918, т. XXIII, стр. 77).

Отповедь Каткову в настоящей статье, как и возражения демократической критике, сгруппированные в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве», сопровождалась отговорками, свидетельствующими о такте Достоевского-журналиста. Высмеивая «кабинетное» высокомерие публицистики «Русского вестника», Достоевский тем не менее полагает, что этот журнал все-таки «стоит читать». Еще характернее положительная оценка Достоевским деятельности «Свистка» как полезной и даже необходимой, отвечающей общественным потребностям эпохи. В этом отношении многозначительно сравнение им «свиста» «Современника» со «свистом» Вольтера (см. выше, стр. 139, и ниже, стр. 309).

Достоевский ратует не за размежевание общественных и литературных сил, а за их объединение, но, разумеется, за такое объединение, при котором в качестве центростремительного начала возобладали бы «почвеннические» идеалы. В дальнейшем эта тенденция скажется в «двухсторонней» полемике с западниками и славянофилами (см. статью «Два лагеря теоретиков», 1862).

О полемике Достоевского с «Русским вестником» и ее общественно-политической и идеологической проблематике подробно см. в кн.: *Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы*, стр. 91—108.

Стр. 105. *Я сейчас говорил о чистосердечии.* — См. выше статью «Образцы чистосердечия» (стр. 91—104).

Стр. 105. . . . «Русский вестник» стоит читать. . . — Достоевский имеет в виду богатый информацией политический и в особенности, конечно, литературный отделы журнала. В последнем нередко печатались произведения лучших писателей того времени — Тургенева, Островского, Щедрина, Толстого и др.

Стр. 105. Вторая книжка «Русского вестника» уже вышла с библиографическим отделом, покамест еще незначительным. . . — В февральской книжке «Русского вестника» за 1861 г. были напечатаны: «Заметка о русской журналистике» Я. К. Грота и рецензии М. Н. Лонгинова на Сочинения И. С. Тургенева в издании Н. А. Основского (М., 1860) и на третье издание Стихотворений Надежды Тепловой (Герюхиной) (М., 1860).

Стр. 106. . . . как только начал издаваться «Русский вестник». . . — С января 1856 г. и в течение нескольких последующих десятилетий журнал являлся единоличной собственностью М. Н. Каткова и выходил под его редакцией.

Стр. 107. . . . и даже с визгом, как выразился недавно один из этих сви-стунгов. . . — См.: С, 1861, № 1, «Свисток», № 7, гл. «Ответ на вопрос, или Освистанный вместе со всеми другими журналами „Современник“», стр. 40.

Стр. 108. . . . от вас веяло таким ораторством, пальмерстонством, кавурством. . . — Смысл этой полемической реплики пояснен в статье Достоевского «Ответ „Русскому вестнику“» (см. выше, стр. 121).

Стр. 108. . . . читал я и об тротуарах, посыпаемых песком в июле месяце. . . — Намек на статью Н. Ф. Павлова «Из московских записок» (РВ, 1859, № 8, кн. I).

Стр. 109. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее и с обоих концов ∞ без нравственного очищения, без внутреннего развития, — никакие специальности ∞ не войдут настоящим образом в наше сознание ∞ не мешают и чего-нибудь посинтетичнее. . . — Характернейшая для Достоевского мысль, сквозящая и в статье «Образцы чистосердечия» (см. выше, стр. 103). Достоевский — публицист 1870-х годов и Достоевский — автор «Братьев Карамазовых» будет настаивать на необходимости существеннейшего дополнения обычного гуманитарно-нравственного просвещения и воспитания просвещением *духовным*, заимствованным из родной «почвы», то есть от народа, в инстинктивно-христианской духовной основе которого заложена, по глубокому убеждению писателя, спасительная идея о всеобщем и всемирном братстве людей.

Стр. 110. Правда, тогда был Белинский, а теперь человека-то такого симпатичного нет. — Косвенный выпад против Добролюбова и Чернышевского. Достоевский считал их людьми даровитыми, но часто ошибающимися, людьми, унаследовавшими «гениальную мысль» Белинского, но не его гениальность (см. ниже, примеч. к стр. 112).

Стр. 110. . . . об «Современнике» говорится в «статье» то, что об нем теперь все говорят. . . — Начиная с 1859 г. все более проявлялся революционно-демократический курс «Современника», руководители которого убедились в антинародном характере подготавливаемых правительством реформ (освобождение крестьян «без земли»). В связи с этим ряд органов печати (в том числе вначале и вольная русская печать за границей) обвиняют их в скептицизме, отрицании положительных устоев общественно-политической и экономической жизни страны, в глумлении над искусством, литературой и наукой (история, философия). Первым против «крайностей» «Современника» выступил от лица русской революционной эмиграции А. И. Герцен, напечатавший в «Колоколе» свои получившие широкий общественный резонанс статьи «Very dangerous!!!» («Колокол», 1859, 1 июня, л. 44) и «Лишние люди

и желчевики» (там же, 1860, 15 октября, л. 83), в которых выражалось несогласие с дискредитацией Добролюбовым и Чернышевским либерального «обличительного направления» в литературе и представителей мыслящего дворянства — «лишних людей».

С 1861 г. усиливаются выступления против «Современника» либеральной печати. В февральском и апрельском номерах «Русского вестника» за 1861 г. появляются статьи «Старые боги и новые боги» и пространные извлечения из книги профессора Киевской духовной академии П. Юркевича «Из науки о человеческом духе», приписывающие Чернышевскому невежество и цинизм в области философии и нравственности. Несколько позже только в одной книжке журнала «Отечественные записки» печатаются сразу шесть статей против «Современника» (см. ниже примеч. к статье «По поводу элегической заметки „Русского вестника“», стр. 333). Выражая типичное для благонамеренно-либеральной среды той эпохи отношение к «молодому поколению» и его вождям, профессор Петербургского университета А. В. Никитенко определял в своем дневнике (ноябрь 1860 г.) философию Чернышевского как «философию отчаяния» и неверия, рассчитанную на то, чтобы «устроить наилучший нравственный порядок вещей на земле, и мало не нуждался в основаниях нравственности, следуя единственно за физиологическими отправлениями нашего тела», и приходил в конце концов к выводу: «Такие господа, как Чернышевский, Бов и прочие, вообразили себе, что они могут взять силой право, на которое они еще не приобрели права < . . . > Считаю себя передовыми людьми, руководителями общественного мнения, они действовали как зажигатели, как демагоги . . .» (А. В. Никитенко. Дневник, т. II. ГИХЛ, М., 1955, стр. 162, 163, 165).

Стр. 111. *Всё это готово считать, как мы уже сказали где-то, свою домашнюю стирку за интересы всего человечества.* — Выражение «домашняя стирка» было употреблено Достоевским в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 100).

Стр. 111. *Украли пук моих стихов!* — Цитата из эпиграммы И. И. Дмитриева (перевод из Э. Лебрена; 1729—1807) «Я разорвался от воров!» (1803—1805).

Стр. 111. . . . *недавний прием Лакордера в Французскую академию. Гизо, отвечая на его речь. . .* — Прием аббата Ж. Лакордера во Французскую академию, во время которого Лакордер и известный историк и политический деятель Ф. Гизо обменялись речами (24 января 1861 г.), пронизанные описывается в февральском политическом обозрении «Временн» за 1861 г. Цитата из речи Гизо, приведенная ниже Достоевским, заимствована им из указанного обозрения (см.: Вр, 1861, № 2, стр. 68—71).

Стр. 112. . . . *есть много умных людей, наследовавших гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении. . .* — Поскольку здесь и выше Достоевский говорит об отсутствии в современной литературной критике деятеля масштаба Белинского, способного объединить разрозненные общественные силы в стремлении к единой цели, это его заключение можно считать скрытым выпадом против Добролюбова и Чернышевского.

Стр. 112. *Уж не для того ли вы и похвалили Пушкина, чтоб сказать что-нибудь в пику «Современнику»?* — «Похвала» М. Н. Каткова Пупкину (см. о ней выше, стр. 110) была полемически направлена против «Очерков гоголевского периода» и других статей Чернышевского, в которых, по словам Каткова, «. . . у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя. . .» («Несколько слов вместо „Современной летописи“» — Вр, 1861, № 1, стр. 480). Догадка Достоевского об отнюдь не восторженном личном отношении Каткова к Пупкину подтвердилась в ходе дальнейшей полемики (см. выше «Ответ „Русскому вестнику“» и примеч. к стр. 132 этой статьи).

Стр. 113. *Падобно, чтоб обстоятельства заставили нас пожить вместе с народом и хоть на время, непосредственно, практически, а не свысока, не в идее только разделить с ним его интересы, тогда, может быть, мы и узнаем народ и его характер со и, узнав народ, может быть, и поймем его народ-*

ность. . . — «Программная» мысль Достоевского, неоднократно высказывавшаяся им в художественном творчестве и публицистике 1860-х годов («Записки из Мертвого дома», объявление об издании журнала «Время», Введение к «Ряду статей о русской литературе», первая половина статьи «Книжность и грамотность»).

Стр. 115. *Неужели ж вы сходитесь с странными мнениями г-на Дудышкина и его чудовищных последователей в «СПб. ведомостях», № 61, 1861 года?* — Речь идет о статьях: С. С. Дудышкин. Пушкин — народный поэт (*ОЗ*, 1860, № 4); Гымалэ (Ю. А. Волков). Литературные впечатления (*СПбВед*, 1861, 14 марта, № 61). Достоевский называл «чудовищной» и первую из них (см.: «Г-н — бов и вопрос об искусстве» — наст. изд., т. XVIII, стр. 71). Несколько позже, в статье «Книжность и грамотность», он выражал намерение «тиснуть особую статью в ответ на все мнения г-на Дудышкина» (см. выше, стр. 9), сводившиеся к отрицанию народности творчества Пушкина, к вульгарному пониманию народности как простонародности. Намерение это не осуществилось, по всей вероятности потому, что некоторые положения статьи «Книжность и грамотность» являлись, по сути дела, развернутым полемическим опровержением точки зрения С. С. Дудышкина и его единомышленников.

Гымалэ (Ю. А. Волков) запальчиво вызывал противников Дудышкина на открытый бой и требовал от них хотя бы «единого доказательства» народности Пушкина. Особенно «чудовищной» должна была представляться Достоевскому характеристика, данная Гымалэ пушкинскому изображению Татьяны: «Это очерк, набросанный великим талантом, но талантом, у которого не было родной почвы < . . . > и ничего народного, истинно нашего, не отразилось в этом грациозном очерке, которому мы, по крайней мере, не умеем, не можем сочувствовать. . .»

С самим Катковым о Пушкине Достоевский непримиримо полемизирует в статье «Ответ „Русскому вестнику“» (см. выше, стр. 132—138).

Стр. 115. . . *между нами, под секретом, ведь иногда свист и полезен, ей-богу!* — На первых порах своей редакторской и публицистической деятельности Достоевский стремился смягчить вражду к «Современнику», и в частности к «Свистку», в выступлениях и других сотрудников «Времени».

«ПРИМЕЧАНИЕ К «ПИСЬМУ С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА В РЕДАКЦИЮ „ВРЕМЕНИ“» Л. К.»

(Стр. 117)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 4, отд. IV, стр. 151—152, без подписи (ценз. разр. — 19 апреля 1861 г.).

Авторство Достоевского подтверждается отсылкой в статье «Ответ „Русскому вестнику“» (см. выше, стр. 119).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 198—199.

Печатается по тексту первой публикации.

Автором «Письма с Васильевского острова» был, вероятно, по предположению Б. В. Томашевского, Н. Н. Страхов (1926, т. XIII, стр. 596).

Письмо было откликом на редакционную статью журнала «Русский вестник» «Наш язык и что такое свистуны», резко задевавшую «Время» и «Современник» (см.: *РВ*, 1861, № 3, стр. 1—38). Заступаясь от имени неизвестного читателя за журнал «Время», автор «Письма» положительно отзывался о направлении журнала и приветствует развернувшуюся на его страницах полемику с другими изданиями («Отечественными записками», «Современником», «Русским вестником»). Подчеркивая, что этой полемикой журнал нару-

шил молчание, господствовавшее в русской журналистике, критик одобряет намерение редакции свободно говорить «о всех журналах, о литературных явлениях».

Стр. 117. *С олимпийским высокомерием* ∞ *страница 21-я*). . . — На странице 21 «Русского вестника» читаем: «Бедная жалкая литература! Но что виною ее положения? Неужели в самом деле мы так сотворены, что не можем мыслить и вести себя как следует людям зрелым? Нет, не думаем < . . . > Дело в том, что мысль наша не имеет к себе уважения и что ей трудно уважать себя < . . . > в ней притупляются все лучшие инстинкты и роскошно разрастается всякая дрянь» (РВ, 1861, № 3, стр. 21).

Стр. 117. . . . *лучшие люди* ∞ *господами положения*. . . — Имеются в виду следующие слова из редакционной статьи «Русского вестника»: «Даже у лучших людей между нами нет ни в чем чувства общего дела. Поднимается ли глупейший гам и скандал на наших литературных площадях, они безразлично спешат пробраться мимо и запереться у себя в доме, оставляя свистунов господами положения. . .» (РВ, 1861, № 3, стр. 21).

Стр. 117. *И неужели такого пятилетнего олимпийца* ∞ *молодое «Время»?* — «Русский вестник» начал выходить с 1856 г., за 5 лет до начала издания «Времени».

Стр. 117. . . . *говорили в прошлом нумере* ∞ *слова в нашей критике*. — Речь идет о следующих положениях статьи Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“»: «Остается только ждать, что нового скажет „Русский вестник“ в своем новом отделе»; «Разве подождать, что скажет „Русский вестник“»; «. . . мы многого ждем от него»; «. . . я уверен, что в „Русском вестнике“ не может быть бесполезного и совершенно неудавшегося отдела. В новом отделе своем он скажет нам что-нибудь новое и полезное» (стр. 103, 110, 112, 116).

Стр. 118. . . . *вышел из пятилетнего олимпийского своего молчания*. . . — С начала издания «Русский вестник» имел постоянный отдел «Современная летопись», где печатались статьи на актуальные политические темы. С начала 1861 г. «Современная летопись» стала выходить отдельным приложением, а в самом «Русском вестнике» появился (с № 2) раздел «Литературное обозрение и заметки», в котором стали печататься статьи разнообразного содержания, в том числе характеризующие различные литературные издания (Сочинения И. С. Тургенева. Изд. Н. А. Основского, М., 1860; Стихотворения А. С. Хомякова. М., 1861; Политическая экономия настоящего и будущего. Соч. Бруно Гильдебранта. СПб., 1860, и др.); теоретические и полемические заметки («Заметки о русской журналистике» и «Критические заметки» — Я. К. Грота); редакционные выступления («Старые боги и новые боги» и «Наш язык и что такое свистуны», полемизирующие с журналами «Время» и «Современник»); отклики на текущие литературные явления (выход в свет журнала «Солдатская беседа»; 50-летие литературной деятельности П. А. Вяземского и т. д.).

Стр. 118. . . . *«о величии Белинского»* ∞ *Литературное обозрение»* 21-я). — См. об этом примеч. к статье: «„Свисток“ и „Русский вестник“» (стр. 296, 297).

Стр. 118. . . . *есть намек на какого-то особого великого незнакомца*. — Намек на издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова.

Стр. 118. . . . *лорд Пальмерстон тот и подвергается свисткам и насмешкам* ∞ *получил свою награду*. . . — Пальмерстон Генри Джон Демпл, лорд (1784—1865), — английский государственный деятель, лидер партии тори. С 1855 по 1865 г. (с перерывом в 1858—1859 гг.) — премьер-министр. В 1853—1856 гг. был одним из вдохновителей военных действий Англии против России. В 1861 г. в «С.-Петербургских ведомостях» в статье «Литературные впечатления. „Время“. Журнал политический и литературный. Январь, 1861», за подписью: Гымалэ (Ю. А. Волков), говорилось: «В статье „Постороннего критика“ (см. о ней след. примеч. — Ред.) есть, между прочим, указание на то, как продергивают в иностранных журналах

знаменитые личности, какой грудой памфлетов и карикатур наделяется в Англии лорд Пальмерстон. < . . . > но разве дела лорда Пальмерстона < . . . > не имели другой награды и другого результата, кроме минутного настроения общества» (*СПбВед.*, 1861, 9 февраля, № 32).

Стр. 118. . . . мы положительно знаем, что «*СПб. ведомости*» говорили о петербургском незнакомце, а не о московском со про какого-то другого незнакомца. . . . — Под «петербургским незнакомцем» подразумевается издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский. В статье «Постороннего критика», обращенной к редактору «Отечественных записок», читаем: «Неужели ж из того, что гласность раз ошиблась, — долой ее. Нет, милостивый государь, если вы любите гласность, извиняйте и уклонения ее < . . . > вы член комитета Литературного фонда, вы даже казначей его, вы главный редактор Энциклопедического лексикона. . . » (*Вр.*, 1861, № 1, стр. 53, 54). Под «московским незнакомцем» подразумевается, как и выше под первым из «великих незнакомцев» редактор «Русского вестника» М. Н. Катков.

ОТВЕТ «РУССКОМУ ВЕСТНИКУ»

(Стр. 119)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр.* 1861, № 5, отд. V, стр. 15—39. без подписи (ценз. разр. — 4 мая 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXIII, стр. 37—75.

Печатается по тексту первой публикации.

Настоящая статья — вторая из двух статей, посвященных полемике с «Русским вестником» о женском вопросе и «Египетских ночах» Пушкина. Первую статью «Образцы чистосердечия» см. выше, стр. 91—104.

После появления «Образцов чистосердечия» Достоевского и статьи Н. Н. Страхова «Один поступок и несколько мнений г-на Камня-Виногорова в № 8 газеты „Века“» (*Вр.* 1861, № 3) Страхов вскоре написал для журнала братьев Достоевских еще одну полемическую реплику — «Безобразный поступок „Века“» — в ответ на объяснения редакции и самого Виногорова (Вейнберга), помещенных в № 10 «Века». Однако краткий ответ Страхова (датированный 4 марта 1861 г.) не удовлетворил Достоевского; по-видимому, не удовлетворила его и вторая статья Страхова — ответ не «Веку», а «Русскому вестнику», фрагмент которой был приведен Достоевским в конце настоящей статьи (под видом письма, присланного редакции) (см. выше, стр. 137—139). Вместо нее во «Времени» появилась данная статья самого Достоевского.

Обе статьи Страхова и фрагмент третьей его статьи (процитированный Достоевским) перепечатаны в издании: Н. Н. Страхов. Критические статьи (1861—1894), т. II. Изд. И. П. Матченко, Киев, 1902, стр. 252—270. Там же в примечаниях издателя на стр. 266 и 267 освещена их история.

В статье «Наш язык и что такое свистуны» (*РВ.*, 1861, № 3) Катков с консервативных позиций напал на защитников Е. Э. Толмачевой, особенно выделив при этом Достоевского. Отвечая на выпады Каткова и заодно подводя итог спорам вокруг женской эмансипации, разгоревшимся в ходе обсуждения «Безобразного поступка „Века“», Достоевский высказывает характерную для него (после создания «Записок из Мертвого дома») мысль, что вся эмансипация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу < . . . > По-нашему, — подчеркивал далее Достоевский, — весь вопрос об эмансипации сводится на обыкновенный и всегдашний вопрос о прогрессе и развитии. Чем правильнее разовьется общество, тем оно будет

жормальнее, тем ближе подойдет к идеалу гуманности, и отношения наши к женщине определятся сами собою безо всяких предварительных проектов и утогий» (стр. 126—127). Такое отношение к женскому вопросу уже таило в себе зародыши основополагающих идей о грядущей всеобщей гармонии и всечеловеческом братстве, пронызывающих позднейшую публицистику Достоевского и его роман «Братья Карамазовы».

Точка зрения писателя на женский вопрос, являвшийся, по Достоевскому, составной частью общей задачи воспитания и перевоспитания общества в духе основных заповедей Христа, была, конечно, чужда Каткову. Но она во многом противоречила также и атеистическим воззрениям разночинно-демократической интеллигенции: Чернышевский и М. Л. Михайлов уже в 1861 г. говорили о необходимости прежде всего экономического и политического раскрепощения женщины. Тем не менее именно Чернышевский поддержал Достоевского в его полемике с Катковым (см. ниже, стр. 306—307).

Вторая и наиболее примечательная часть содержания настоящей статьи — глубокий художнический анализ «Египетских ночей», опровергающий мнение Каткова о недостаточной будто бы глубине пушкинского творчества. В этом смысле «Ответ „Русскому вестнику“» — прямое продолжение и развитие статьи «Свисток» и «Русский вестник», в которой Достоевский сформулировал свои тезисы о Пушкине как поэте-мыслителе, главном художественном выразителе «русской мысли», о «всемирности» и «всецеловечности» его гения, о заложенной в нем способности «всеоткликать» и «всеопнимания».

Интерес к пушкинскому образу Клеопатры у Достоевского отражен уже в «сентиментальном романе» «Белые ночи» (см.: наст. изд., т. II, стр. 116). В 1854 г., живя в Семипалатинске, Достоевский, по свидетельству мемуариста, часто с восторгом декламирует стихи Пушкина, причем особое предпочтение в этом смысле оказывалось им «Пиру Клеопатры» (т. е. импровизации итальянца из «Египетских ночей» — «Чертог сиял. Гремели хором. . .»). «Лицо его при этом сияло, глаза горели (. . .) Как-то вдохновенно и торжественно звучал голос Достоевского в такие минуты» (Достоевский в воспоминаниях, т. I, стр. 250).

Повесть Пушкина «Египетские ночи» (1835) была напечатана посмертно Жуковским (С, 1837, т. VIII, стр. 5—24). Достоевскому текст ее (в том числе стихотворный) был известен по изданию Сочинений Пушкина под ред. П. В. Анненкова.

Достоевский по поводу заявления Каткова о недопустимости в настоящем искусстве «последних выражений страсти» с иронией писал: «Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-вашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление. Именно такой точки зрения неизменно придерживается Достоевский-художник в 1860—1870-е годы, изображая уродливые отклонения в психике и поведении своих персонажей, проповедующих «содомский идеал» или же трагически ощущающих борение в своей душе «содомского идеала» с «идеалом Мадонны».

По Достоевскому, душа Клеопатры — «это душа паука, самка которого съедает (. . .) своего самца в минуту своей с ним сродки» (стр. 136). В статье В. Л. Комаровича «Достоевский и „Египетские ночи“ Пушкина» и позднейшей литературе вопроса дана сводка случаев употребления этой характерной для писателя метафоры в «Записках из подполья» и в его романах. Комарович отметил, что образ паука постепенно вырастает у Достоевского «в символ идеи потусторонней пустоты и этического безразличия, которая должна предстать во всем своем безобразии перед теми, кто „не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастно, зверскою шуткой и каким угодно подвигом“». Подчеркивая огромное значение для позднего Достоевского всего того, что было им сказано о Пушкине в 1861 г., исследователь пишет: «. . . если А. Д. Градовский мог сказать, что „во всей речи (о Пушкине) чувствуется, что Пушкина комментирует именно автор „Братьев Карамазовых“».

то мы теперь можем выразиться иначе — в авторе „Братьев Карамазовых“ отчасти чувствуется комментатор „Египетских ночей“ Пушкина (Пушкин и его современники. Вып. ХХІХ—ХХХ. Пгр., 1918, стр. 44—45, 48).

«Несмотря на переворот, происшедший в его мирозерцании, Достоевский в „женском вопросе“ оставался близок к воззрениям утопических социалистов, — справедливо пишет, оценивая пафос данной статьи, В. Я. Кирпотин. — Он считал женщин и детей, наравне с бедными, униженной и оскорбленной стороной в современном ему обществе. В эмансипации женщины Достоевский видел частный случай „реставрации“ поруганного и приниженого человека вообще» (Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы, стр. 98).

«Достоевский вывел спор из узких газетных рамок, он < . . . > придал ему всеобщее значение < . . . > Он нашел в „Египетских ночах“ сколок со всеобщего состояния мира в момент кризиса античной цивилизации < . . . > Достоевский рассмотрел в античном сюжете „Египетских ночей“ прообраз и „модель“ кризиса, разгоравшегося все более сильно и все более жгуче в Европе и в России < . . . > История Клеопатры и ее трех любовников превращалась в грандиозную поэму со всемирно-историческим значением о кануне гибели погрязшей в неправде и грехах цивилизации» (Кирпотин, Достоевский-художник, стр. 93).

Кроме названных работ В. Л. Комаровича и В. Я. Кирпотина, анализ интерпретации Достоевским «Египетских ночей» см. в работах: Б. В. Томашевича, Пушкин, кн. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 417—418 (ср.: там же, стр. 55—64, анализ пушкинской «Клеопатры»); В. Я. Кирпотин, Достоевский о «Египетских ночах» Пушкина. «Вопросы литературы», 1962, № 11, стр. 112—121; Фридлендер, Эстетика Достоевского, стр. 112.

В «Записках из подполья» (1864) Достоевский вернулся к параллели между современным «цивилизованным» человеком и Клеопатрой, которая «любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах» (наст. изд., т. V, стр. 112). Инцидент с Толмачевой и «безобразным поступком „Века“» писатель саркастически припомнил и во время работы над рядом своих романов 1860-х годов. Так, анализ предварительных планов и ранних черновых набросков романа «Идиот» показывает, что черты, напоминающие о пушкинской Клеопатре, ощущались здесь в первоначальном облике Настасьи Филипповны (см.: наст. изд., т. IX, стр. 382, 383; ср.: т. VII, стр. 383—384; т. XII, стр. 282—283, 284—285).

Стр. 119. . . . мы получили его книжку за день до выхода нашей. — Речь идет о книжке «Русского вестника» (1861, № 3), в которой была напечатана статья «Наш язык и что такое свистуны», и апрельской книжке журнала «Время» за тот же год. Так как цензурное разрешение на выход указанной книжки «Времени» датировано 19 апреля 1861 г., можно полагать, что мартовский номер «Русского вестника» был получен Достоевским в 20-х числах апреля.

Стр. 119. . . . Прочтя его злую статью против нас, мы наскоро успели сделать одну заметку в смеси нашего журнала. — Подразумевается обширное полемическое в отношении Каткова и его статьи «Наш язык и что такое свистуны» примечание Достоевского к одной из страниц «Письма с Васильевского острова в редакцию „Времени“», помещенного в отделе «Смесь» апрельской книжки журнала (см. выше, стр. 117—118).

Стр. 120. . . . «Русский вестник» предполагает, что мы будто бы обиделись его статьей и приняли его выходку против «Свистка» «Современника» на свой счет. — Подразумевается следующий отрывок из статьи Каткова «Наш язык и что такое свистуны»: «Журнал „Время“ выпустил против нас едкую статейку на наши „Несколько слов вместо „Современной летописи“ < . . . > Собрав все средства своей иронии и сарказма, „Время“ казнит нас беспощадно. По всем признакам, оно обиделось тем, что мы слишком пеуважа-

тельно отозвались о наших литературных критиках в журнальных самообзорах; может быть, то же оно приняло на свой счет, что было сказано нами о балаганных отделах в журналах, полагая, что прямо или косвенно это обозначение может быть отнесено к той половине его книжек, которые заняты критическими статьями. Но мы не имели в виду „Времени“, и даже не знали о нем, когда писали наши строки» (РВ, 1861, № 3, «Литературное обозрение и заметки», стр. 18).

Стр. 120. . . *протрубившего еще в начале года с олимпийским величием о том, что он «идет, идет!»* — Речь идет о статье «Несколько слов вместо „Современной летописи“» (РВ, 1861, № 1), в которой оповещалось об открытии в этом журнале специального литературно-критического отдела.

Стр. 121. . . *не говорит нам, что мы будто бы глумились над г-ном Громекой и хотели имя его превратить в собрикет*. — Подразумеваются несколько достаточно иронических фраз из статьи Достоевского «„Свисток“ и „Русский вестник“» («Я читал статьи г-на Громеки и т. д. — см. выше, стр. 108), вызвавших следующую отповедь в статье Каткова «Наш язык и что такое свистуны»: «Г-н Громека сказал несколько горячо прочувствованных слов о деле ему знакомом. Кому было угодно, тот мог оспаривать его слова: но ничего неблагонамеренного в них не было, и публика встретила их с сочувствием. Откуда же эти попытки сделать его скромное и почтенное имя каким-то прозвищем, *собрикетом?*» (РВ, 1861, № 3, «Литературное обозрение и заметки», стр. 20). Собрикет — насмешливое прозвище, кличка (от франц. *sobriquet*). Тем не менее отношение Достоевского к статьям С. С. Громеки, напечатанным Катковым, было резко отрицательным, хотя это и не высказывалось им прямо.

Стр. 121. *Мы сказали уже раз, что от вашего журнала повеяло таким пальмерстонством, каурством*. — См. выше, примеч. к стр. 108.

Стр. 121—122. *Вы жельчно завидуете Белинскому и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь — розгой эпиграммы, разумеется*. — Скрытая «зависть» к Белинскому сквозила в отрывке статьи Каткова «Наш язык и что такое свистуны», изобилевавшем резкими выпадами против литературной критики журнала братьев Достоевских. «С нынешнего года, — писал здесь Катков, — издается у нас ежемесячный журнал „Время“, в котором половина книги бывает занята прекрасными критическими статьями, писанными приятным слогом, где тоном самого счастливого самодовольства разбираются все фазы нашей духовной жизни, объясняется, как прежде была у нас гладь и ширь необъятная, как потом господствовал у нас французский классицизм, и как мы шалили романтизмом < . . . > и как явился великий Белинский, что тако Пушкин, и что такое Лермонтов < . . . > и как всё замыкается великим Островским» (РВ, 1861, № 3, «Литературное обозрение и заметки», стр. 14—15). В таком контексте определения «великий Белинский» и «великий Островский» имели иронический смысл. «Невеждой и крикуном» (хотя и не в буквальном смысле этого слова) выглядел Белинский также в статье «Из современных записок», принадлежавшей перу известного библиографа, а впоследствии начальника главного управления по делам печати М. Н. Лонгинова (1823—1875). Утверждая, что Белинский «не знал последовательно событий истории литературы» и «отношений писателей между собою», что «история литературы самая слабая сторона в сочинениях» критика, Лонгинов писал: Нельзя принимать безусловно всех его литературных приговоров, писанных иногда в ослеплении пристрастия. Это могут делать только некоторые рьяные фельетонные витязи, о которых сказано в одном неизданном стихотворении:

Затем на скопище клеветы
Решил верховный их совет,
Что, так как нет авторитетов,
Белинский будь авторитет

Они умели занять у Белинского только его недостатки и довести их до крайностей < . . . > Поставьте Белинского в пример людям самонадеянным и неве-

жественным, они дойдут до нелепости, пародируя и преувеличивая именно его темные стороны. За эти недостатки подлежит и Белинский велицепрятому суду. . . » (РВ, 1861, № 6, стр. 129, 130—131). Автором процитированного «неизданного стихотворения» был князь П. А. Вяземский, в стихах которого имя Белинского фигурирует неоднократно (П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. Изд. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 312, 447, 448, 451, 452, 460). Других пародий или эпиграмм, прямо или косвенно задевающих Белинского, в книжках «Русского вестника» за 1861—1862 гг. нет. Нет их и в приложении к нему за те же годы — «Современной летописи».

Так как статья М. Н. Лонгинова появилась в печати несколько позже «Ответа „Русскому вестнику“», остается предположить, что Достоевский каким-то путем заблаговременно узнал о ее содержании и в полемике с Катковым с раздражением намекал главным образом на нее. Можно предполагать также, что благодаря появлению в печати столь сурового «Ответа „Русскому вестнику“» Лонгинов воздержался от более грубых выпадов против Белинского и процитировал в своей статье лишь сравнительно безобидные строки «неизданного стихотворения».

Стр. 122. *Это наша Диогенова бочка.* — Согласно античному преданию, киник Диоген (ок. 404—323 гг. до н. э.) призывал довольствоваться малым и потому сам жил в бочке. В данном случае этим выражением характеризуется позиция «Свистка» в отношении литературно-общественной жизни.

Стр. 123. . . . «Русский вестник», — последний, говоривший о нем. . . — Перечень газетных и журнальных статей, написанных в связи с оскорблением Е. Э. Толмачевой еженедельником «Век», см. выше, на стр. 292—294.

Стр. 124. . . . *всякая дорога хороша, если только ведет к цели, сказал какой-то практический мудрец нашего времени.* — Контекст и в особенности слова «какой-то» свидетельствуют о том, что под «практическим мудрецом» Достоевский в равной степени мог подразумевать и конкретное реальное лицо, и собирательный образ циника, попирающего в стремлении к корыстной цели элементарные этические нормы. Не лишен вероятности намек Достоевского в данном случае на французского дипломата Талейрана (1754—1838). В связи с этим следует отметить, что в начале следующего 1862 г. журнал братьев Достоевских поместил на своих страницах анонимную рецензию на русский перевод «Записок Талейрана». Обходя вопрос о содержании и достоверности этих записок, рецензент сосредоточил все свои усилия на характеристике жизни и деятельности Талейрана с точки зрения нравственной. Он справедливо указывал на то, что Талейран был человеком беспринципным, готовым ради власти и денег служить любому правительству и любому политическому режиму (см.: Вр, 1862, № 2, стр. 125—129 и др.). В интерпретации Достоевского-polemиста «практическим мудрецом нашего времени», но уже на литературном поприще, был и А. А. Краевский. Так как в 1861 г. полемика с ним велась постоянно, Достоевский мог ограничиться пока отдаленным намёком на характер его литературно-общественной деятельности. Наконец, в данном случае Достоевский мог намекать и на М. Н. Каткова. Эта версия подтверждается ходом полемики Достоевского с редактором «Русского вестника» в статье «Щекотливый вопрос» (1862).

Стр. 125. . . . *ведь это новая вавилонская башня.* . . . — Об истолковании Достоевским смысла этого библейского символа см.: наст. изд., т. XV, стр. 527.

Стр. 125. *Помню я, как у нас Жорж Занд называли Егором Зандом, а Барбеса — балбесом.* — Подразумевается одно из высказываний О. И. Сенковского, любившего потешаться над «безнравственностью» и «сумасбродством» убеждений и творчества Ж. Санд: «. . . великая Егор Санд произвела великую драму „Козима“, каковая великая драма, от природы очень скучная, а по содержанию своему весьма беспутная, упала головою вниз, хотя в ней разложена была полная коллекция безнравственных умствований, которые составили славу романов упомянутой Егора Санд» (БДЧт, 1840, т. ХLI, № 8, стр. 27 и 36). То издевательски грубая, то добродушно-ироническая руссификация псевдонима и названий произведений французской писательницы была обычным явлением в практике литературно-театральных обзоре-

ний Сенковского, печатавшихся в журнале «Библиотека для чтения» в течение 1834—1840 гг. Еще в 1835 г. Сенковский сообщал своим читателям: «Есть на свете странное существо, которое днем называется г-ном Георгием Зандом, а на закате солнца г-жею Дюдеван» (*БдЧт*, 1835, т. IX, № 4, стр. 115). В том же году он утверждал, что «г-жа Дюдеван (Жорж Занд) тогда только положит перо, когда издаст по роману на каждое имя, находящееся в месяце-слово. Едва успели прочитать с отвращением историю ее Якова, как она уже издаст историю Андрея» (*БдЧт*, 1835, т. VIII, № 1, стр. 48). Тем не менее отношение Сенковского к Жорж Санд было скорее двойственным, нежели безоговорочно враждебным. Так, например, русский перевод повести Жорж Санд «Ускок», которым восхищался юноша Достоевский (см.: *ДП*, 1876, июнь), появился именно в «Библиотеке для чтения» (1838). Подробную характеристику мнений о личности и творчестве Жорж Санд «Библиотеки для чтения» Сенковского см. в статье Л. М. Жихулиной «Французский романтизм в русской журналистике тридцатых годов XIX в.» («Ученые записки Ленинградского пед. инст. им. М. Н. Покровского». Факультет языка и литературы. 1940, т. IV, вып. II, стр. 172—176). Арман Барбес (1809—1870) — французский революционер. Вместе с Луи Огюстом Бланки (1805—1881) руководил в 1839 г. вооруженным восстанием в Париже, которое потерпело поражение.

Стр. 125. . . *выгодно для всех «умеющих разрешать загадку жизни».* — Намек на стихотворение Г. Гейне «Вопросы» (Книга песен. Цикл стихов «Северное море», II); русск. пер. Ф. И. Тютчева и М. Л. Михайлова (см.: Генрих Гейне. Переводы русских поэтов. М., 1956, стр. 28, 92).

Стр. 125. . . *выставлен был на смех и на позор публике некто Виссарион Вихляев; имя Виссарион сильно намекало на одно из действующих лиц тогдашней литературы.* — В 1830—1840-е годы Белинский, его идеи и манера речи пародировались на театральных подмостках не раз. По свидетельству А. И. Вольфа, в сезон 1838—1839 гг. «для разезда дана была комедия „Семейный суд“, замечательная только тем, что в числе действующих лиц фигурирует студент Виссарион Григорьевич Глупинский, всё толкующий о гегелевской философии, об объективной индивидуальности и проч. Явно, что под именем Глупинского следует разуметь Белинского, находившегося тогда еще в Москве, но уже сделавшегося известным своими критическими статьями. Только знаменитость может удостоиться чести пародии. Мартынов был натурален и прост в этой роли и нисколько ее не утрировал» (*Вольф, Хроника*, ч. I, стр. 71). Автором этой комедии был В. А. Каратыгин. В сезон 1847—1848 гг. в чиновничьей и купеческой среде большим успехом пользовался водевиль П. А. Каратыгина «Натуральная школа». А. И. Вольф характеризует этот водевиль следующим образом: «Что касается до „Натуральной школы“, то она имела, что называется у французов, un succès de scandale (скандальный успех). Под видом учителей, выписанных для женского пансиона, являются представители молодого литературного поколения, сотрудники „Отечественных записок“ и „Современника“, и употребляют фразы, напичканные философскими и научными терминами, которыми часто злоупотреблял Белинский. Максимов 1-й копировал И. И. Панаева, выведенного в пьесе под именем Вихляева. . .» (там же, стр. 125). Достоевский, по-видимому, смешивает обе пьесы.

Стр. 126. . . *ишь пачулей надушился, обольстителъ, ловлас. . . ∞ Вот к этому-то самому торному и удобному способу прибегнула относительно нас и «Русский вестник».* . . — Сравнивая полемические приемы Каткова с «заушениями» падкой на дешевую сенсацию «толпы», глумившейся в свое время и пад Белинским, Достоевский не преувеличивал. В изображении редактора «Русского вестника» Достоевский — автор статьи «Образцы чистосердечия» — действительно был представлен одним из «эманципаторов с грязными руками», бульварным волокитой, мечущим бисер перед доступной женщиной. Катков писал: «Уничтожив Камня-Виногорова, критик журнала „Время“ обращается в заключение к г-же Толмачевой с изяществом франта, надушенного пачулей <. . .> с чувством возвышенного самодовольства он выставляет на вид изящество своих манер и сличает свою особу с распростертым фельетонистом,

который грубо заявил неприличие факта, любезно признанного опасным». И далее: «Мы не знаем, из каких внутренних побуждений взялись обличительные заметки Камня-Виногорова; но не совсем опрятный тон этих заметок много ли хуже этого опрятного легкомыслия, которое слышится в словах эlegantного критика, поднесшего свой букет артистке с любезным замечанием, что настоящее слишком грязно и пошло для нее, что она с своими воззрениями и мимическими чтениями „Египетских ночей“ принадлежит лучшему будущему?» (РВ, 1861, № 3, стр. 25, 34, 35). Ловлас — герой-соблазнитель в романе С. Ричардсона «Кларисса Гарло» (1747—1748), имя его стало нарицательным.

Стр. 126. . . уж не выводит ли «Русский вестник» нашего участия в эманципации из того, что мы соглашаемся, что в романах Дюма-фиса и во французских водевилях чрезвычайно много сального, циничского обнаженного, грубо извращенного, и что читать и смотреть их несравненно опаснее, чем слушать «Египетские ночи»? — Подразумевается согласие Достоевского с заявлением Толмачевой о том, что развращающим воздействием на «дам и девиц» чреватые не «Египетские ночи» Пушкина, а «грязные и безнравственные французские романы» и «пошлые французские водевили» (см. выше, стр. 294). Дюма-фис — Александр Дюма-сын (1824—1895) — французский романист и драматург, автор романа (1848) и драмы (1852) «Дама с камелиями» (ср. наст. изд., т. IX, стр. 407).

Стр. 127. Читали вы «Семейную хронику»? Помните там, как жена Багрова целый год прикладывала к голове своей пластырь? — Достоевский упоминает одно из колоритных описаний чрезмерно крутого обращения со своими домочадцами Степана Михайловича Багрова — деспотического главы патриархального семейства, изображаемого в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова (С. Т. Аксаков. Собрание сочинений, т. I, М., 1955, стр. 113).

Стр. 127. . . ведь это было восемьдесят лет назад. . . — Рассказав о насильной — по приказу помещика-самодура Куролесова — выдаче замуж крепостной женщины, у которой уже «есть муж и двое детей», автор хроники заключает: «Трудно поверить, что могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет. Но в истине рассказа нельзя сомневаться» (там же, стр. 123).

Стр. 128. В этом номере нашего журнала мы печатаем подробнейшее изложение известного процесса госпожи Лафарж. . . — Истории г-жи Лафарж, осужденной в 1840 г. за отравление мужа, была посвящена одна из статей цикла «Из уголовных дел Франции» (Вр, 1861, № 5).

Стр. 128. Это «каких еще прав. . .» достойно самого забористого субботнего фельетона блаженной памяти Фаддея Булгарина! — Это же место из статьи «Русского вестника» сурово осуждается в «Полемических красотах» Чернышевского. Отмечая, что в статье «Наш язык и что такое свистуны» содержатся «спор с „Временем“ об историко-литературных и эстетических вопросах» и «подробная диссертация о г-же Толмачевой, доказывающая, что Камень-Виногор был в сущности прав, а лишь неосторожно выразился», Чернышевский приводит соответствующую цитату из статьи Каткова, сопровождая ее следующим резюме: «Напрасно „Русский вестник“ печатает такие вещи. Говорим ему это в предостережение. Какую роль тут он принимает на себя? Стремление женщины к эмансипации он смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это — обскурантизм» (Чернышевский, т. VII, стр. 720, 721). Обращаясь к «Русскому вестнику», Чернышевский пишет далее: «Потрудитесь прочесть помещенную в „Современнике“ нынешнего года статью г-на Филиппова „О гражданских законах“, вот вы и увидите, каких прав недостает женщине даже по гражданским законам (. . .). Тогда вы и не скажете, что в „гражданском положении женщины, именно у нас, ничем не уступает мужчине“» (там же, стр. 722). Столь конкретное совпадение материала полемики в «Ответе „Русскому вестнику“» и «Полемических красотах», появившихся в печати несколько позднее, свидетельствует о том, что в данном случае позиция Достоевского в отношении «Русского вестника» одобрялась Чернышевским. Такое предположение подтверждается и заключительным

выпадом Чернышевского против Каткова в связи с вопросом о женской эмансипации: «То, что говорила г-жа Толмачева, находят справедливым и благородным почти все просвещенные люди (за исключением вас, чего мы не ждали)» (там же).

Стр. 129. . . . *умысел другой тут был.* — Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты» (1808).

Стр. 130. *А ведь вы знаете историю; вы часто о ней говорите.* — Намек на конфликт Каткова с профессором Н. И. Крыловым, специалистом по истории римского права, отважившимся на сотрудничество во враждебной «Русскому вестнику» газете «Молва». В отмщение за это Катков поместил на страницах своего журнала несколько ругательно-полемических статей, указывающих на «ученическое неведение» историка.

Стр. 132. . . . *«вопрос, которого не разрешите вы!»* — Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Стр. 132. *Он и перед этим еще говорил о Пушкине много оригинального.* . . . — Достоевский имеет в виду суждения Каткова о Пушкине (в статье «Наш язык и что такое свистуны»), предваряющие полемику с защитниками Толмачевой и апологетами «Египетских ночей». Сделав ни к чему не обязывающий реверанс в сторону журнала «Время» («Нам очень приятно, что „Время“ горячо отстаивает Пушкина от г-д —бова, Дудышкина и других»), Катков далее так пишет о поэте: «. . . пусть скажут, соответствует ли всё им сделанное тем силам, которые в нем чувствуются, и пусть также скажут, что значит Пушкин для остального мира, между тем как везде, а равно и у нас, видим мы могущественное влияние Байронов и Шиллеров? Дело не в личных силах того или другого писателя, а в той жизни, которой он служит органом, в той идее, которую он носит, в том значении, которое имеет его слово для человечества. Пушкин действительно выразил момент жизни нашего общества, и мы чувствуем понятные нам указания этой жизни; он, может быть, коснулся и более глубоких основ ее, которые могли бы иметь всемирное значение, но эти намеки не ясны для нас самих, не только для кого-нибудь со стороны; мы сами сомневаемся и спорим об их значении». И далее: «Давно уж замечено о странной судьбе наших талантов: они исчезали со сцены в ту самую минуту, когда только что можно было ожидать от них зрелого слова; они являлись проблесками и исчезали в ту самую пору, когда начинали становиться действительной силой. Как будто судьба колебалась, дать ли ход тем развитиям, которые могли бы запечатлеть наше русское слово бессмертным значением; как будто не было еще решено, наступила ли пора заявить в нашей жизни истинные начала, которые таятся в нашем призвании. Действительно, пора эта еще не наступала, и жизнь лучших умов в нашей среде была и остается жизнью одних надежд и чаяний» (РВ, 1861, № 3, стр. 17—18). Заметив по поводу именно этих суждений Каткова: «но теперь мы не будем разбирать его окончательного мнения», — Достоевский выступит с развернутым возражением своему оппоненту в статье «Книжность и грамотность» (см. выше, стр. 17—18).

Стр. 132. . . . *с появлением бессмертной статьи г-на Дудышкина.* — Эпитет «бессмертная» в отношении статьи С. С. Дудышкина «Пушкин — народный поэт» (ОЗ, 1860, № 4) ироничен (см. следующее примеч. и стр. 133).

Стр. 132. *На все эти мнения мы будем отвечать в особой статье, как мы уже обещали прежде, в начале появления нашего журнала.* — Речь идет об обещании, данном Достоевским в заключительной части Введения к «Ряду статей о русской литературе». В «особой» статье Достоевский собирался опровергнуть «некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах», то есть в «Современнике» (статьи Добролюбова о Марко Вовчок, Никитине и др.) и в «Отечественных записках» (статья Дудышкина). В дальнейшем этот замысел формально раздробился. Ответом Добролюбову явилась статья «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 70—103). Отдельной статьи против Дудышкина Достоевский не написал.

Стр. 133. . . . *по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской.* — Венера Медицейская — римская копия

с греческой статуи I в. до н. э., найденная в 1680 г. близ Рима и приобретенная семейством Медичи (отсюда ее название). В настоящее время — в галерее Уффици во Флоренции. Венера Милосская — эллинистическая греческая статуя II в. до н. э., найденная в 1820 г. на острове Милосе. Хранится в Париже, в Лувре. Обе статуи — изображения обнаженной Афродиты, греческой богини любви.

Стр. 134. *Разве резец не только Фидия и Праксителя со до последних выражений страстности?* — Фидий (V в. до н. э.) и Пракситель (IV в. до н. э.) — великие древнегреческие скульпторы.

Стр. 134. *Разве Рашель со на клятву Клеопатры.* — Рашель (сценическое имя Феликс-Элизы Рашель) (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса, выступавшая в классическом репертуаре и гастролировавшая в 1850-х годах в Москве и Петербурге.

Стр. 134. . . . *во времена толь, например, Алексея Михайловича.* . . . — Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь с 1645 г., отец Петра I.

Стр. 135. *Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Саба?* — Де Сад, маркиз (Донасьен-Альфонс-Франсуа, граф де Сад, 1740—1814) — французский аристократ, эротический писатель, автор романов «Justine ou Les malheurs de la vertu» (1790); «Juliette» (1798) и др., описывающих извращенную жестокость. См. о нем: наст. изд., т. III, стр. 364, 526, 538; т. XII, стр. 297—298; В. Е р о ф е е в. Метаморфоза одной литературной репутации. «Вопросы литературы», 1973, № 6, стр. 135—168.

Стр. 135. . . . *о каких любовниках тут говорится со из было новое . . .* — Неточная цитата из III главы «Египетских ночей» (в оригинале вместо «тут говорится» — «идет речь», вместо «п'авеча» — «авеча»).

Стр. 135. . . . *«два журналиста в качестве литераторов».* . . . — «Египетские ночи», гл. III. Достоевский иронически относит эти слова к представителям современной ему журналистики начала 1860-х годов.

Стр. 135—137. *Пир; его картина со царица торжественно произносит свою клятву.* — Изложение стихотворной импровизации итальянца («Чертог сиял. . .»), завершающей повесть «Египетские ночи». Импровизация эта представляет дополненную поэтом обработку более раннего стихотворения Пушкина «Клеопатра» (1824—1828).

Стр. 136. . . . *болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвилле при виде своих жертв.* — Бренвилле (Brinvilliers, ок. 1630—1676). Мария-Маргарита, маркиза, отравительница, героиня нашедшего уголовного процесса. В 1676 г. осуждена и обезглавлена за отравление отца, сестер и двух братьев с целью овладения наследством. При аресте у маркизы Бренвилле была обнаружена исповедь с описанием ее переживаний в момент совершения преступлений.

Стр. 137. . . . *он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории.* . . . — По всей вероятности, Достоевский имеет в виду церемонию бракосочетания Клавдия Друза Нерона (37—68), римского императора с 54 г., славившегося своей жестокостью и распущенностью, с мальчиком Споров (см.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 158).

Стр. 137. . . . *отрывок из письма к нам одного приятеля.* . . . — На самом деле это отрывок из полемической статьи Н. Н. Страхова, также посвященной истории с Толмачевой и вопросу о «Египетских ночах» (см. выше, стр. 300). Статья предназначалась для журнала «Время», но Достоевский не напечатал ее (см.: Н. Н. Стр а х о в. Критические статьи, т. II. Киев, 1902, стр. 263—270; ср.: Нечаева, «Время», стр. 267—268).

Стр. 138. . . . *Пушкин применил к нам стихи Петрарки.* . . . — Цитируемые стихи — из послания Ф. Петрарки (1304—1374) к Джакомо Колонна («A Giacoma Colonna») — Пушкин выбрал эпитафией к гл. VI «Евгения Онегина».

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в тексте журнальной публикации названной статьи: *Вр*, 1861, № 8, отд. II, стр. 135 (ценз. разр. — 23 авг. 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 571.

Н. Н. Страхов писал в своих «Воспоминаниях»: «В моих статьях иногда редакция приставляла к имени автора, на которого я нападал, какой-нибудь лестный эпитет, напр<имер>, *талантливый*, *даровитый*, или в скобках: *(впрочем, достойный уважения)*. Были и вставки; так, в статье „Нечто о полемике“ было вставлено следующее место. . . <далее приводится текст данной вставки>.

Эта похвала свисту вообще и Вольтеру в частности нарушает тон статьи и выражает вовсе не мои вкусы. Но редакция не могла не вступиться за то, что имело силу в тогдашних правах и на что признавала и за собою полное право. Вставка принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию. Скоро, впрочем, всякие поправки такого рода вовсе прекратились» (*Биография*, стр. 235).

Вставка Ф. М. Достоевского в статью Страхова не только свидетельствует о принципиальном расхождении между ним и автором статьи в отношении к «Свистку» и вообще сатирической журналистике 1860-х годов, но и существенна для понимания эстетического среда и творческой программы писателя. Высоко ценивший сатиру Вольтера, и в частности его «Кандида» (см.: наст. изд., т. XV, стр. 307), Достоевский сам ни в период издания «Времени», ни позднее не был чужд «свиста». В течение всей своей жизни он постоянно охотно обращался к шаржу, карикатуре, злободневной полемике, которыми пронизано все его творчество романиста, повествователя и публициста. Это делало Достоевского восприимчивым и к демократической сатире 1860-х годов (см. выше, стр. 105—119), побудив его ввести в статью резко «антинигилистически» настроенного Страхова данную редакционную оговорку, которая в реальном контексте общественно-идеологической борьбы начала 1860-х годов объективно означала поддержку добролюбовского «Свистка» (чему Страхов не мог сочувствовать).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТЕРИКА

(Стр. 140)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 7, отд. IV, стр. 50—57, без подписи (ценз. разр. — 3 июля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXIII, стр. 103—104.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья является ответом на очередной выпад редактора «Русского вестника», последовавший после напечатания в журнале «Время» (1861, № 4) анонимного фельетона П. А. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов».

Усмотрев в фельетоне любовь аморализмом и безнравственностью, напоминающее «квасной цинизм» обскуранта Аскоченского (отсюда броское название его полемической статьи: «Одного поля ягоды»), Катков распространял свое заключение о содержании фельетона на весь критико-

публицистический отдел журнала «Время». Есть основания считать, что в момент написания статьи Катков считал автором возмущившего его фельетона самого Достоевского: злые намешки его над «фальшивыми подобиями» настроений и мыслей, способных развиваться по сочетаться в разнообразнейших комбинациях, составлять из себя поэмы, критические статьи, целые книги», по-видимому, являлись тенденциозной интерпретацией творческой манеры Достоевского с характерными для нее обращениями вспять, к углубленной разработке ранее намеченных идей и образов. Очевидно, что в данном случае подразумевался не какой-то безвестный фельетонист, произведение которого, быть может, случайно попало на страницы толстого журнала, а писатель уже именитый, зарекомендовавший себя перед публикой успешной пробой сил в различных литературных жанрах. Еще очевиднее ощущается личный выпад против Достоевского в следующей сентенции Каткова: «Часто от людей, по-видимому весьма порядочных, даже *пожилиши на свете и изведавши кое-что*, услышите вы вдруг самые бессовестные речи, обличающие совершенное отсутствие чувства истины в говорящем» (курсив наш, — *Ред.*). Подчеркнутые слова намекали на немолодой возраст Достоевского и пребывание его на каторге (в своем ответе Достоевский цитирует обе тирады Каткова; см. выше, стр. 140—141, 145). Таким образом, возможность скомпрометировать настойчиво полемизировавший с ним журнал должна была представляться Каткову вдвойне заманчивой, поскольку под его неотразимый, как ему казалось, удар попадало главное лицо из редакционного кружка этого журнала.

Защита фельетона П. А. Кускова Достоевским была, очевидно, связана с тем, что в его фельетоне встречались суждения, гармонизировавшие с важнейшими идейно-эстетическими принципами писателя.

В настроениях реальных людей и литературных героев от пушкинского Онегина до тургеневского Базарова (не говоря уже о настроениях персонажей, созданных им самим) Достоевскому неизменно импонируют тоска, интеллектуальное и сердечное беспокойство, порожаемое мучительным сознанием несовершенства окружающей действительности, несоответствия бытующих в человеческом общежитии зачастую пошлых или жестоких отношений искомому высокому идеалу. О подобных чувствах и переживаниях идеальная речь и в фельетоне «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов» — в той его части, которая посвящена Я. П. Полонскому. Анализируя стихотворение Полонского «Статуя», Кусков оттеняет в нем поэтическое выражение именно этой «святой тоски», настоятельно подчеркивая вместе с тем (как и Достоевский в полемике с «Современником») одухотворяющее воздействие на человека красоты «бесполезного» на первый взгляд искусства (*Вр*, 1861, № 4, стр. 141). В другом месте фельетона согласие с идейно-эстетическим сгедо Достоевского высказывалось в форме назидания литераторам, его не исповедующим: «... мы открываем друг другу все грязнейшие закоулки души нашей, с разным сбродом наваленных туда разбитых идей и сочиненных чувствований, но никогда никому не показываем мы тех глубочайших, сокровенных пагубов, в которых всюду, на каждом месте ясно и четко написано: „Я брат твой!“».

Стр. 146. Он не отвечал на серьезный ответ наш против его обвинения и придрался к страничке нашего фельетона... — То есть игнорировал статью Достоевского «Ответ „Русскому вестнику“», в которой опровергался целый ряд положений статьи Каткова «Наш язык и что такое свистуны» и, в частности, утверждение о том, что публицисты «Времени» такие же «свистуны», как и публицисты «Современника». Вместо ответа на все Катков в очередной полемической статье «Одного поля ягоды» «придрался» к фельетону П. А. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов».

Стр. 146. ... он говорит о пропавшем четвертаке... — Слово «четвертак» Катков заимствовал из фельетона П. А. Кускова, в котором приводится следующий диалог между преступником и представителями следствия: «— За что ты убил его? . . . — А за то, что мне тогда водки хотелось, а денег

не было. — Сколько же ты нашел у него? — Четвертак. — И стоило из-за четвертака убивать человека! . . . — Всё равно, сказал он: что из-за четвертака, что из-за тысячи» (*Вр*, 1861, № 4, стр. 136). В ходе дальнейшей полемики (см. статью Достоевского «Щекотливый вопрос» (1862)) Достоевский многократно пародирует выражение «пропавший четвертак», приписывая первоначальное его «изобретение» Каткову.

Стр. 146. . . . *когда-то он подобным же образом извещал публику о пропащей с чьего-то стола книге, по поводу отпадения от журнала одного из его прежних сотрудников.* — Речь идет о редакционной статье в «Современной летописи» «Русского вестника» (1860, № 5) «Объяснение», которая явилась полемическим ответом на статью «Московских ведомостей» «Краткое сказание о последних деяниях „Русского вестника“» за подписью Май (*МВед*, 1860, № 109). В «Объяснении» содержалось обвинение — очевидно, адресованное Б. И. Утину — в краже книг из кабинета редакции: «Но если редактор „Московских ведомостей“, движимый столь дорогим для него интересом гласности, захочет ближе ознакомиться с бытом редакции „Русского вестника“, то мы покорнейше просим его пожаловать к нам, осмотреть наш кабинет, наши книги < . . . > Второго тома книги Гнейста он не найдет теперь в нашем кабинете. Кто-то выпросил его у нас . . . » (*РВ*, 1860, № 5, стр. 166—167).

Чернышевский в статье «История из-за г-жи Свечиной» (1860) по поводу этих слов в редакционной полемической заметке журнала Каткова с возмущением писал: «Что это такое? Помилуйте! Неужели объявление публике, что векто, написавший под именем Мая статью против редакции „Русского вестника“, брал прежде на просмотр книги у одного из редакторов „Русского вестника“ и двух из этих книг не успел еще возвратить ему? На какой ответ напрашиваются эти слова? Как не вздумалось писавшему эти странные слова, что ведь противники легко могут сочинить из них объявление о подписке для вознаграждения редакции „Русского вестника“ за убыток, понесенный ею от неаккуратности неизвестного в возвращении двух из числа книг, которые брал он из редакции? Что за радость напрашиваться на осмеяние?» (*Чернышевский*, т. VII, стр. 324).

Стр. 146. *Не можем отказать г-ну Кускову, автору обруганного фелетона, в помещении здесь его письма к «Русскому вестнику».* — Имеется в виду полемичное «Письмо П. А. Кускова к „Русскому вестнику“», где, в частности, отмечается: «Может быть, в том, что я сказал о мошеннике и о разбойнике, что-нибудь и не так, и неловко выражено, непонятно сказано, но навязать мне то, что вам хочется, — вам не удастся. Ведь не так легко обмануть публику» (*Вр*, 1861, № 7, стр. 60). Касаясь далее явных промахов Каткова в интерпретации стихотворения Я. П. Полонского «Статуя» и «Египетских ночей» Пушкина, П. А. Кусков продолжал: «. . . неужели так-таки в вышеприведенных строчках г-на Полонского ничего и нет, кроме того, что вам угодно было заметить в них? И нет тут горькой жалобы на невежество, погубившее, может быть, больше, нежели погубило само время? И нет тут ничего такого широкого, подо что подошли даже вы с вашим журналом, потому что отзыв ваш о „Египетских ночах“ и о самой „Статуе“ г-на Полонского есть если не отбитие рук и одежды прекрасному художественному произведению, то непременно попытка отбить их» (там же, стр. 60—61).

Стр. 146. . . . *по примеру прежних его переписок, столь известных публике. . .* — Подразумеваются две «переписки»: 1) между сотрудниками «Русского вестника» (во главе с Катковым) — в связи с предпринятой ими в 1857 г. травлей профессора римского права в Московском университете Н. И. Крылова и 2) между Евгенией Тур и М. Н. Катковым, возникшей на основе различного отношения к литературному наследию С. П. Свечиной (1782—1859), писательницы религиозно-мистического направления, покинувшей Россию (в 1817 г.) и перешедшей в католичество. Вскоре после смерти писательницы в Париже вышло в свет двухтомное издание, включающее в себя ее биографию переписку и сочинения (*Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres publiées, par le C-t de Fallout, de l'Académie française*, 1860). Одним из русских откликов на это издание явилась статья Евгении Тур «Госпожа Свечина», опубликованная в «Русском вестнике» (1860, № 4). Печатаемая эту

статью, Катков почел необходимым сопроводить ее послесловием, пересыпанным упреками Евгении Тур за тенденциозно-отрицательное, по его мнению, освещение литературной деятельности Свечиной (см.: *РВ*, 1860, № 4, стр. 392). Евгения Тур отвечала Каткову пространным «Письмом к редактору», заканчивающимся следующим полемическим резюме о значении и характере литературной деятельности Свечиной: «Рьяные приверженцы папы особенно были благодарны этой женщине за то, что она усиливалась удержать некоторых лиц из их лагеря от подражания Ламенне. Если, м<ило- стивый> г<осударь>, такие люди, как Ламенне, искренние католики, отступались с ужасом от темного учения, которым проникнута г-жа Свечина, то вы можете с спокойною совестью не принимать на себя защиты ее памяти от совершенно справедливых нареканий» (*РВ*, 1860, № 4, стр. 411). В дальнейшем «переписка» между Катковым и Е. Тур и ее защитниками, обвинявшими редактора «Русского вестника» в грубости тона и нетерпимости, принимала подчас очень резкие формы (см.: *РВ*, 1860, № 4, стр. 468—488; № 10, стр. 434—434; № 11, стр. 100—105, 210). Позиция Каткова в конфликте с Евгенией Тур и Н. И. Крыловым резко порицалась Достоевским.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1862 год>

(Стр. 147)

Источники текста

ЧН — Черновые наброски. Хранятся: *ГБЛ*, ф. 93, I, 2, 6, лл. 11, 111, 112 (в записной книжке 1860—1862 гг.). Опубликованы: *ЛН*, т. 83, стр. 127—128, 156, 158.

Вр, 1861, № 9.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 9, с подписью: редактор М. Достоевский (ценз. разр. — 23 сентября 1861 г.).

В собрании сочинений впервые включено в изданиях: 1883, т. I, отд. III, стр. 24—27.

Печатается по тексту первой публикации.

В объявлении о подписке на журнал в 1862 г. программа «Времени» подробно, как ранее, не излагается. Редакция с удовлетворением говорит об успехе журнала у публики и кратко напоминает основные принципы и убеждения, придерживаться которых намерена твердо и впредь. Объявление острополюемично по содержанию, причем объекты полемики обозначены (хотя прямо не названы) достаточно четко; манера Достоевского выражаться уклончиво, язвительно названная М. Е. Салтыковым-Щедриным разговорам «в пустыне и о пустыне» (*Салтыков-Щедрин*, т. VI, стр. 21), несколько не помешала «Современнику» и «Русскому слову» разгадать и основную направленность полемики и отреагировать на нее.

Достоевский по-прежнему настаивает на независимости «Времени», ратует за беспристрастную «полемику идей», полезную и необходимую. Все усилил журнал собирается сосредоточить на главном: «... надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальшевиднее». «Время» вновь подтверждало свою верность идеалам русской литературы и высказанному неоднократно в критическом отделе взгляду на литературу «как на силу самостоятельную, а не как на средство...» Уже знакомые понятия — «почва», «почвенная сила», «любовь», «законы развития» — повторяются как слова-заклинания и в новом объявлении.

Дискуссии между различными общественно-политическими группами «Время» признает явлением неизбежным и в целом положительным, хотя утверждает, что пока они ни к чему реальному не привели: «еще только раз-

доры и споры. . . » Достоевский не удовлетворен позицией «Русского вестника» «Отечественных записок», «Дня». Ему претит фразерство, эгоизм, самодовольство, слепое самолюбие. Но в отличие от первого объявления в объявлении на 1862 г. полемика с «западническими» (по тогдашней терминологии) журналами — «Русским вестником», «Современником», «Русским словом» решительно вышла на первый план. Достоевский использовал в объявлении наброски из записной книжки для несуществующей статьи о Добролюбова и Пирогове. Слова о скептицизме, убивающем «все», восходят к репликам писателя в записной книжке о «крайнем свисте» Добролюбова: «свистать и свистать — ведь это шум! Любви к делу мало! Гуманности мало!», «все освистать, все благородное и прекрасное, каждый факт освистать, прикинуться Диогенами, скептиками. . . » Такие же упреки адресовал Достоевский Чернышевскому: «В смехе, в вечном смехе есть шум. Вы изгоняете энтузиазм из молодежи, а ведь наше время такое, что энтузиазм необходим». Аналогичны и прозрачные слова о «желчи», заимствованные у Герцена («Лишние люди: и желчевики») и «физиологически» обоснованные: «Зато самолюбия, желчи в нас накопилась бездна; немудрено — сидячая жизнь! Справьтесь с медициной». О «желчи» и «желчевиках» в применении к Добролюбову и Чернышевскому Достоевский часто рассуждает в записных тетрадях 1860—1862 гг. «Стертый и тупоносый» — характерная, устойчивая для Достоевского формула, высмеивающая утилитарный, уравнилельный идеал, поборниками которого он чаще всего называл то руководителей «Современника», то «Русского вестника». Наконец, центральный в объявлении образ «воздушного шара» родился в полемике с Чернышевским: «Вы зовете с собой на воздух, навязываете то, что истинно в отвлечении, и отнимаете всех от земли, от родной почвы. < . . . > Вы только одному общечеловеческому и отвлеченному учителю, а еще материалисту». Понятно, что такой сильный акцент на полемике с «Современником» не мог не вызвать ответной реакции. Объявление, несомненно, в значительной степени побудило М. А. Антоновича выступить со статьей «О почве» (С, 1861, № 12, стр. 171—188). Говоря о «Времени», М. А. Антонович проиизировал: «. . . реформа не онемечила верхний слой, а просто голько оторвала его от почвы и пустила в облака, между небом и землею. В этом положении, конечно неудобном и невыгодном для животных не пернатых, верхний слой образовался, то есть усвоил себе западноевропейскую образованность, коей научился у иностранных учителей» (Антонович, стр. 22—23). Слова Антоновича прямо задевали текст объявления: «Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухопавателя, поднявшегося на 7000 футов от земли». Сравнение Достоевского остановило внимание и Д. И. Писарева. проиизировавшего в статье «Московские мыслители» (1862): «Мы — фантазеры, верхоглядья, говоруны; мы на воздушном шаре поднялись, а ведь воздушный шар, как говорит объявление: „Времени“, тот же мыльный пузырь» (Писарев, т. I, стр. 278). В следующем объявлении — о подписке на 1863 г. — полемика «Времени» с «Современником» станет еще более жесткой и резкой.

Стр. 147. *Не в похвалу ∞ нашей журналистике.* — Согласно «Списку экземпляров, разосланных по губерниям в 1862», напечатанном при первом номере «Времени» за 1863 г., у журнала было 4302 подписчика — больше, чем у «Отечественных записок» и «Русского слова», но меньше, чем у «Современника» и «Русского вестника». Это был успех для журнала, издающегося всего второй год, поразительный. «Время» имело основания гордиться таким результатом. Причины успеха «Времени» сильно интересовали и противников журнала. Писарев, например, в статье «Цветы невинного юмора» (1864) так вспоминал о популярности «Времени», сравнивая журнал с гоголевским Афанасием Ивановичем: «. . . это доказывает только, что Пульхерия Ивановна у нас на Руси составляет лицо не единоличное, а в некотором смысле коллегиальное» (Писарев, т. II, стр. 335).

Стр. 148. *Даже во многих ∞ любовь.* — Продолжение полемики с «отрицательным» направлением «Современника» и принципами «реальной кри-

тики» Добролюбова, сформулированным в статьях «Темное царство» и «Луч света в темном царстве».

Стр. 149. *Если б Белинский прожил ∞ полямь.* — Об отношении Достоевского к Белинскому в период издания «Времени» см. выше, стр. 236—237.

Стр. 149. *Многие из теперешних ∞ ушли дальше.* — Речь идет об «Отечественных записках», где много раз в объявлениях о подписке и статьях главных критиков журнала говорилось о прогрессе, достигнутом им в разработке проблемы народности после смерти Белинского. См. подробнее: наст. изд., т. XVIII, стр. 272.

Стр. 149. *Другие наши ∞ за народ.* — Имеются в виду славянофилы. См. выше, стр. 253—259.

Стр. 149. *Третьи хотят ∞ самый лучший.* — Имеется в виду «Русский вестник» Каткова, англоманство которого было излюбленной мишенью для полемики и пародий в 1850—1860 годах; его часто высмеивал и Достоевский.

Стр. 149. *Четвертые бродят ∞ в стертый пятиалтынный.* — Речь идет о журналах «Современник», «Русский вестник» и в меньшей степени «Русское слово». Выражение «стертый пятиалтынный» Достоевский впервые употребил в статье «Книжность и грамотность» (см. выше, стр. 118), определяя тип человека, утратившего национальные черты и превратившегося в «общечеловека». Начиная с «Объявления», эти же самые слова Достоевский будет язвительно относиться к теоретикам крайнего «западничества» и в либеральном и в революционно-демократическом его вариантах. В набросках к «Объявлению о подписке на 1863 год» он писал: «Не против прогресса мы, боже сохрани, <. . .> но дело в том, что в прогресс-то идут стертые пятиалтынные, люди без предания, с ненавистью, а ненависть есть явление ненормальное». В самом тексте «Объявления» Достоевский пояснит, что именно и кого он имеет в виду, употребляя это сравнение: «Они (теоретики, — *Ред.*) хотят единственно начал общечеловечных и верят, что народности в дальнейшем развитии стираются, как старые монеты, что всё сливается в одну форму, в один общий тип, который, впрочем, они сами никогда не в силах определить». Здесь в равной степени задеты Катков, а также и руководители и сотрудники «Современника» — Добролюбов, Чернышевский, Антонович.

ВЫСТАВКА В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ ЗА 1860—61 ГОД

(Стр. 151)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 10, отд. II, стр. 147—168, без подписи (ценз. разр. — 27 октября 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1918, т. XXII, стр. 108—141.

Печатается по журнальной публикации.

Статья не была включена Н. Н. Страховым в составленный им для вдовы писателя список анонимных статей Достоевского во «Времени». Впервые по содержанию и стилю приписана Достоевскому Л. П. Гроссманом (1918, т. XXII, стр. 101—107) и независимо от него О. фон Шульцем (*Schoultz*, SS. 6, 12—56).

Б. В. Томашевский, соглашаясь, что «многое в этой статье говорит в пользу принадлежности ее Достоевскому», полагал, что вопрос этот «не следует считать решенным», во-первых, ввиду различия композиционного построения данной статьи и позднейшей статьи Достоевского «По поводу выставки» в «Дневнике писателя» за 1873 г., а во-вторых, потому что напечатанная через год в журнале на ту же тему статья «По поводу годичной выставки в Академии художеств» (*Вр*, 1862, № 10, отд. II, стр. 66—87) подпи-

сана «П. К.». Томашевский расшифровал этот криптоним как «Платон Кусков» и высказал предположение, что сумма, полученная от редакции «Времени» Кусковым в 1861 г. по гонорарной ведомости, — «гонорар за данный отчет» (1926, т. XIII, стр. 607—608). На этом основании Томашевский отнес статью в раздел приписываемых Ф. М. Достоевскому (там же, стр. 529—547). В. С. Нечаева в отличие от Томашевского считает автором статьи 1862 г. П. М. Ковалевского (Нечаева, «Время», стр. 264—265). В своих воспоминаниях последний не упоминает о своем сотрудничестве во «Времени» (ср.: П. М. Ковалевский и. Стихи и воспоминания. СПб., 1912, стр. 277—278). Но имя Ковалевского значится в гонорарной книге журнала за январь 1863 г. как получившего 138 рублей «за прошлый год» (ГБЛ, ф. 93, I, 3.22, л. 63).

Относительно статьи 1861 г. Нечаева высказала гипотезу, что «соавтором Ф. М. Достоевского был Я. П. Полонский»: «... считая Ф. М. Достоевского автором первых пяти страниц статьи о „Выставке в Академии художеств за 1860—1861 год“, т. е. описания и критики картины Якоби „Партия арестантов на привале“, мы думаем, что следующие 22 страницы написаны лицом, близко стоявшим к современной художественной жизни, следившим за ней (автор вспоминает выставки прежних лет), свободно ориентировавшимся в ее направлениях и специфике творчества разных авторов» (Нечаева, «Время», стр. 264). Соображения В. С. Нечаевой о возможном соавторстве Полонского были поддержаны Г. М. Фридендером, который, однако, полагал, что «принципальные эстетические положения < . . > статьи, без сомнения, принадлежат Достоевскому» (ЛН, т. 83, стр. 122; Фридендер, Эстетика Достоевского, стр. 145).

С того времени, как статья была приписана Достоевскому Л. П. Гроссманом и О. ф. Шульцем, прошло более 50 лет. Тем не менее мы по-прежнему не располагаем прямыми свидетельствами о принадлежности ее перу писателя и вынуждены решать этот вопрос на основании косвенных данных. Но тщательное изучение всех доводов, высказанных как в пользу авторства Достоевского, так и против него, позволят в настоящее время согласиться с итоговым выводом Л. П. Гроссмана и О. фон Шульца и, несмотря на высказанные в свое время Б. В. Томашевским сомнения, перенести ее (как и следующую статью «Рассказы Н. В. Успенского») из раздела «Приписываемое» в основную корпус собрания статей писателя.

Главнейшие доводы в пользу авторства Достоевского сводятся к следующему:

1) статья (и не только начальные ее страницы, но и вторая половина) окрашена многочисленными характерными приметами стиля Достоевского. Таковы: 1) частые обращения к упоминаемым (или воображаемым) лицам в первом лице, придающие отдельным пассажирам форму диалога с отсутствующим собеседником («А знаете ли вы, г-н Якоби. . .» — стр. 154); 2) повторение одинаковых или близких по смыслу слов и понятий с целью усиления эмоционального эффекта («Вы слишком гнались за эффектом и натянули эффект» — стр. 154; «Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная» — стр. 167; «Разумеется, никто, ровно никто» — стр. 167); 3) уточнения внутри фразы, придающие ее течению как бы нервный, «спотыкающийся» характер («Он не расставался с ним до конца, даже и в кандалах» — стр. 152, ср. стр. 153; «Есть, правда, и ныне несколько сцен из военного быта, но, к счастью, немного, и именно к счастью» — стр. 168; — курсив наш, — *Ред.*). Большое число аргументов стилистического характера в пользу авторства Достоевского суммировано в вышеуказанной работе О. фон Шульца;

2) при анализе картины В. И. Якоби «Партия арестантов на привале» автор статьи не только обнаруживает непосредственное, близкое знакомство, и притом по личному опыту, с каторгой и арестантским бытом («Будьте уверены, что не только нескольких тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных подкандалников, чтоб не стереть себе ногу» — стр. 155), но, как справедливо отметили Л. П. Гроссман и О. ф. Шульдц, повторяет многие размышления и оценки Достоевского, высказанные в «Записках из Мертвого дома» (ср. характеристики этапного офицера и арестанта в лох-

мотях на стр. 152, 153, завершающихся в обоих случаях классифицирующим отнесенным их к определенному разряду «этого рода»; употребление по отношению к арестантам (вслед за Герценом и Некрасовым) определения «несчастные» — стр. 154; сравнение преступника, оборовавшего мертвеца, с «мерзкой гадиной <...> вроде скорпиона» (стр. 152) и т. д.);

3) только в двух статьях «Времени» — данной и напечатанной в № 12 за 1861 г. также анонимной статьи «Рассказы Н. В. Успенского» (см. выше, стр. 180—181) — развивается мысль о противоположности средств и результатов фотографии («дагерротипизма») и художественного творчества в решении общей для них задачи отображения (воспроизведения) действительности. Поэтому есть все основания считать, что обе они написаны (полностью или частично — это другой вопрос) одним автором. Причем, как видно из обеих статей, речь идет не о второстепенном для их автора тезисе, но о центральном, важнейшем для него положении, составляющем как бы краеугольный камень его эстетики. Сколько-нибудь развернутого изложения той же идеи мы не встретим в статьях ни М. М. Достоевского, ни А. А. Григорьева, ни Н. Н. Страхова или кого-либо другого из ведущих сотрудников журнала. Между тем изложение это не только созвучно часто развивавшемуся Ф. М. Достоевским в его письмах 1860-х годов тезису о различии между его пониманием реализма и неудовлетворяющим его реализмом его современников (см., например, письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 11/23 декабря 1868 г., Н. Н. Страхову от 26 февраля/10 марта 1869 г.), но и совпадает по духу с его позднейшей декларацией в записной тетради 1876—1877 гг.: «Реализм, фотография. Фотография на себя не похожа — и проч.», а также близким рассуждением в романе «Подросток» (ч. 3, гл. VII — наст. изд., т. XIII, стр. 370);

4) призыв автора статьи, обращенный к Якоби («Пусть же он видит в „несчастных“ арестантах людей, да пусть же и нам покажет это <...> Допустим, что большею частью арестанты так сживаютя со своим безвыходным положением, что становятся ко всему равнодушны; но в то же время нельзя не допустить, что они люди. Так давайте же нам их как людей, если вы художник» — стр. 154) созвучен письмам Достоевского к брату из Сибири о впечатлениях от обитателей «Мертвого дома» и тем художественным задачам, которыми он сам руководствовался, создавая «Записки» (см. об этом: наст. изд., т. IV, стр. 275, 289—290);

5) похвала автора статьи Н. П. Огареву, который в поэме «Рассказ этапного офицера» сумел «в своем черством герое откопать человека» и по смыслу и фразеологически близка позднейшей эстетической декларации Достоевского «найти в человеке человека» (1880—1881);

6) вслед за В. Г. Белинским¹ автор статьи называет роман «Три мушкетера» А. Дюма «сказкой», а самого Дюма относит к романистам-«сказочникам» (стр. 151—152, 162) в противовес Гоголю и романистам гоголевской школы. Это свидетельствует об определенном влиянии идей Белинского и о хорошем знакомстве автора со статьями критика последних лет. Таким знакомством из постоянных сотрудников «Времени» обладали лишь А. А. Григорьев (которому, однако, нет оснований ее приписывать) и Ф. М. Достоевский;

7) в различных местах статьи ощутимо не только близкое, как бы «интимное» знакомство автора статьи с художественным миром и эстетическими декларациями Гоголя («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Тарас Бульба», «Мертвые души», статьи из «Арабесок»), но и прямое воздействие стиля Гоголя (см, например, сопоставление романов А. Дюма и картин Айвазовского на стр. 161—163). И то и другое в равной мере характерны для Ф. М. Достоевского;

8) в статье упоминается «московский Иван Яковлевич» (Жорейша), который под именем Семена Яковлевича выведен в романе «Бесы» (наст. изд., т. XII, стр. 234).

Что касается контр-аргументов, выдвинутых Б. В. Томашевским, то оба они несостоятельны: пинципалы, проставленные в 1862 г. под статьей «Вре-

¹ Белинский, т. X, стр. 109—113.

мени» о следующей академической выставке, не дают основания для вывода о том, что обе статьи принадлежат одному лицу; наоборот, в первом случае отсутствие подписи скорее указывает на то, что статья написана одним из основных, постоянных сотрудников журнала, во втором же редакция, подписав статью авторскими инициалами, тем самым указала, что за статью и за данные в ней оценки отвечает посторонний автор, а не редакция. Указание на различное композиционное построение статей 1861 и 1873 гг. (как и на различные художественно-идеологические акценты оценки в них состояния и задач русского изобразительного искусства) верно, но не может служить аргументом против авторства Достоевского; сравнительный анализ показывает, что статья 1861 г. была не только написана в другое время, но и преследовала во многом иные художественно-общественные задачи, что было обусловлено конкретным состоянием русского изобразительного искусства и спецификой идей Достоевского именно начала 1860-х годов (см. об этом: Фридендер. *Эстетика Достоевского*, стр. 145—157).

Сложнее обстоит дело с решением вопроса, написана ли статья Достоевского единолично, или в написании ее второй половины кроме него участвовал кто-либо другой из сотрудников журнала.

Предположение В. С. Нечаевой, что в написании статьи помимо Достоевского мог участвовать кто-то другой, вызвали три обстоятельства: 1) как уже сказано выше, статья не была включена Н. Н. Страховым в составленный им список статей Ф. М. Достоевского, напечатанных во «Времени». Само по себе это не может служить аргументом: Страхов не включил в него и некоторые другие статьи и заметки, которые, как мы теперь знаем, заведомо принадлежали Ф. М. Достоевскому. Тем не менее Страхов мог не включить ее в список сознательно, располагая какими-то неизвестными нам соображениями; 2) между энергичным началом статьи (разбором картины В. И. Якоби) и продолжением ее ощущается известное различие тона (хотя и во второй половине статьи налицо многочисленные элементы стиля Ф. М. Достоевского); 3) автор обнаруживает довольно близкое знакомство с программой преподавания в Академии художеств и с академическими выставками предшествующих лет (ср. его замечание об «Умирающем гладиаторе» А. П. Бронникова, об изображении сосны и пальмы на сюжет «из Лермонтова или из Гейне» и т. д.). И все же гипотеза В. С. Нечаевой о поэте Я. П. Полонском как возможном соавторе Достоевского представляется сомнительной. Основанием для ее выдвижения послужил интерес Полонского к живописи и его занятия изобразительным искусством. Но это не аргумент: случаи соавторства Достоевского и Полонского нам неизвестны. Характер их взаимоотношений не дает основания для предположения о возможности возникновения у них изначально замысла совместной работы: между тем Полонский был слишком известным (и слишком самолюбивым) автором, чтобы Достоевский, заказав ему статью, мог затем решиться в корне переделать ее и напечатать без подписи. Проведенное Н. Н. Фояковой и Г. В. Степановой изучение статей, изобразительных материалов и архива Я. П. Полонского не дало никаких конкретных доказательств его соавторства.

В 1860 г. Полонский поместил в «Русском слове» (№ 10, отд. III, стр. 27—33; № 11, отд. III, стр. 65—71; № 12, отд. III, стр. 33—41) три письма «О выставке в Академии художеств» (предыдущего года). Композиционно «письма» Полонского построены так же, как вторая часть данной статьи во «Времени»: автор ее перечисляет одно за другим отдельные полотна, снабжая это перечисление своими оценками и характеристиками. Но помимо того, что письма Полонского в отличие от статьи «Времени» не содержат сколько-нибудь серьезной, принципиальной попытки анализа общего положения русской живописи, данные в ней конкретные оценки отдельных работ (например, более ранней картины Якоби «Светлый праздник нищего») не дают основания для вывода о том, что автором «Писем» 1860 г. и заключительной части статьи во «Времени» 1861 г. было одно лицо.

В качестве соавторов Достоевского (в различное время его жизни) нам определенно известны лишь четыре лица: А. Н. Плещеев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, М. М. Достоевский. Данными о соавторстве Достоевского

публициста с другими лицами (в том числе о его соавторстве в период работы во «Времени» с кем-либо из постоянных сотрудников журнала, кроме его старшего брата) мы не располагаем. Но как редактору журнала Ф. М. Достоевскому приходилось редактировать статьи других сотрудников — и эта работа нередко превращалась в фактическое соавторство. Так могло быть и с данной статьей однако лишь при условии, если первоначальным ее автором был сравнительно молодой, начинающий, малоизвестный литератор или лицо, близкое к редакции, один из постоянных сотрудников «Времени». Ни Я. П. Полонский,¹ ни Д. В. Григорович (также записавший живописью, посещавший в молодые годы классы Академии художеств и написавший в 1863—1867 гг. две статьи о художественных выставках), ни А. Н. Майков (автор ряда аналогичных статей-отчетов о художественных выставках в «Современнике» и «Отечественных записках» 1847—1855 гг.) им быть не могли.

К изложенным выше соображениям следует добавить следующее.

Эстетическая программа, излагаемая в данной статье, не была выражением частных художественных мнений и вкусов одного из временных, эпизодических сотрудников журнала. Хотя статья написана по поводу выставки картин русских художников, т. е. на материале изобразительного искусства, ее эстетические декларации имеют столь широкий принципиальный характер и притом в такой мере созвучны общей эстетической платформе журнала, что она могла быть написана только одним из его редакторов или постоянных сотрудников «Времени». К тому же предпоследний абзац статьи гласит: «Портретов выставлено довольно много, точно так же немало и фотографий. Но мы поговорим о них в другой раз, именно по поводу сочинений г-на Даля» (стр. 168). Это обещание журналом выполнено не было: статьи о сочинениях В. И. Даля во «Времени» ни в 1861 г., ни позднее не появилось. Между тем подобное обещание могло дать лишь лицо, близкое к редакции, скорее всего — один из его редакторов. Причем обещание поговорить с читателем «в другой раз < . . . > по поводу сочинений г-на Даля» скорее всего, если основываться на общих итогах изучения журнальной практики того времени, свидетельствует не о намерении редакции поместить статью другого автора о Дале, а о намерении (по-видимому, неосуществленном) того же самого лица выступить на страницах одного из ближайших номеров журнала со статьей на заявленную тему. Но, в то время как и по содержанию и по стилю статья «Выставка в Академии художеств в 1860—61 гг.» несет на себе многочисленные приметы авторства Ф. М. Достоевского, оснований для сближения ее по содержанию и стилю со статьями других главных сотрудников «Времени», определявших лицо журнала (особенно в первое время его существования), — Н. Н. Страхова, Ап. Григорьева, М. М. Достоевского — нет.

Наконец, хотя первая половина статьи (разбор картины Якоби) захватывает более широкий и принципиальный круг вопросов и, как уже было отмечено выше, написана более энергично, изменение тона и характера изложения во второй части не дает оснований для вывода о том, что первая часть статьи была написана Достоевским, а вторая — другим лицом. В основе статьи — от начала до конца — лежит одна и та же стройная и продуманная художественно-эстетическая концепция, которая сплавляет воедино отдельные суждения и оценки автора, хотя внешне кажется, что они высказываются им по частным поводам, независимо друг от друга. Это несомненное внутреннее единство статьи противоречит предположению о том, что ее могли написать два таких достаточно далеких друг от друга по своим художественным идеям и вкусам лица, как Ф. М. Достоевский и Полонский.

Итак, мы не располагаем аргументами, которые бы позволили уверенно утверждать, что вторая половина статьи написана другим лицом и что статью следует на этом основании отнести к числу работ, написанных Достоевским в соавторстве. Те фактические сведения об академических выставках предыдущих лет, которые в ней содержатся, хотя писатель и не мог быть знаком

¹ Против авторства Полонского говорит и содержащийся в статье отрицательный отзыв о картине «Весталка» «по Полонскому» с принципиальным обоснованием различия задач поэзии и живописи (стр. 168).

с их экспозицией лично, он мог почерпнуть из устных бесед с М. М. Достоевским, Д. В. Григоровичем, П. М. Ковалевским или с кем-то другим. И даже если принять предположение, что в написании второй части статьи принимали известное участие М. М. Достоевский или другое лицо, то это участие следует признать второстепенным: оно сколько-нибудь серьезно не повлияло на общий тон и направление статьи, всецело заданные основным ее автором, то есть Ф. М. Достоевским.

Статья о выставке появилась в журнале в эпоху ярых споров внутри Академии и вне ее стен о перспективах развития современного русского изобразительного искусства, почти за десятилетие до выхода из Академии художников-передвижников и оформления их товарищества. Вмешавшись в дискуссию о путях развития русской живописи, Достоевский выступил с резкой критикой Академии и официального академического искусства и с горячей защитой молодого реалистического направления русской живописи. В то же время, как и в статье «Рассказы Н. Успенского» (см. об этом ниже, стр. 336), утверждая мысль о верности искусства действительности как первом обязательном и необходимом условии его существования и развития, Достоевский на примере картины Якоби показывает, что идея реализма в свою очередь может быть понята формально как забота об одной лишь простой внешней, фотографической достоверности изображения. Между тем реализм в подлинном смысле слова, утверждает Достоевский, предполагает наличие у художника широкого понимания жизни, глубокого, сознательного отношения к ее явлениям, умение постигнуть личность человека и его внутренний мир во всей их сложности и индивидуальной неповторимости, которые Якоби (в отличие от автора «Записок из Мертвого дома») не сумел творчески увидеть и передать в своей картине.

Более подробный анализ статьи см.: Фридендер, *Эстетика Достоевского*, где имеется сводка основной литературы вопроса — русской и зарубежной. Ср.: Ф. М. Достоевский об искусстве. Составление, вступ. статья и примеч. В. А. Богданова. Изд. «Искусство», М., 1973.

Мысли о вреде дагерротипизма в искусстве, близкие к идеям, высказанным в данной статье и в статье «Рассказы Н. Успенского» (стр. 180—181), есть в рецензии Н. Сведенцова «Сочинения В. Даля» (*Св.*, 1862, № 3, отд. III, стр. 23—38). Но Сведенцов во «Времени» не участвовал. В стилистическом же отношении его статья несходна с обеими статьями «Времени». Поэтому наиболее вероятно предположение о влиянии на Сведенцова идей, выраженных Достоевским.

Открытие выставки в Академии художеств состоялось 10 сентября 1861 г. В связи с этим был издан «Указатель художественных произведений годичной выставки императорской Академии художеств за 1860—1861 академический год» (СПб., 1861), сообщающий ряд сведений, которыми воспользовался Достоевский при работе над статьей. В сентябре—октябре крупнейшие литературные журналы, а также ряд газет поместили статьи о выставке.¹ В обсуждении ее, в частности, приняли участие кроме Достоевского драматург и критик Д. В. Аверкиев — в «Русском инвалиде» (19 сентября, № 204), поэт, беллетрист и художественный критик П. М. Ковалевский — в «Современнике» (№ 9, отд. II, стр. 71—82),² поэт М. П. Розенгейм — в «Отечественных записках» (№ 10, отд. III, стр. 34—41), поэт-искровец Д. Д. Минаев — в «Русском слове» (№ 10, отд. V, стр. 1—22), археолог и писатель П. Н. Петров — в «Иллюстрации» (14 и 21 сентября, №№ 186 и 187).

Статьи Петрова, Розенгейма и анонимного рецензента «С.-Петербургских ведомостей» (17 сентября, № 204) содержат лишь обозрение выставки

¹ См.: Материалы к библиографии по истории Академии художеств. 1757—1957. Л., 1957, стр. 162—163. Под нераскрытым здесь псевдонимом «К. Рьянов» (№ 3554) напечатал свою статью Д. В. Аверкиев. Обзор же Л. М. Жемчужникова (№ 3548) относится к выставке 1860 г.

² О Ковалевском, и в частности, об авторстве данного обзора, см.: Н. Д м т р и е в а. Из истории русской художественной критики 60—70-х гг. XIX века. «Искусство», 1950, № 2, стр. 85—89.

и не затрагивают каких-либо общих вопросов развития русского изобразительного искусства или теории реализма. В большей или меньшей степени коснулись подобных вопросов в своих статьях (как и Достоевский) Аверкиев, Ковалевский и Минаев.

Ковалевский писал в «Современнике», что общество «требует и от искусств *насущного и полезного*». Он с удовлетворением констатировал, что подобно литературе и русская живопись «сделала большой шаг вперед»: «. . . художники наши начинают наконец выходить из пошлой рутины, вступают на реальный путь и проникаются чувством современности» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 81 и 82). «На том полотне, на котором красовались некогда только сильные неба и высшие мира < . . . >, — замечает Ковалевский, — теперь являются какие-нибудь чиновники; офицеры, их жены, свахи и различная челядь, мужики и мужички, пляшущие у кабака, арестанты на дороге в Сибирь» (там же, стр. 81). Если для Ковалевского главою литературы был Гоголь, то в живописи он отстаивал принципы искусства П. А. Федотова: «Его можно назвать Гоголем живописи» (там же, стр. 82).

Напротив, Минаев в «Русском слове», отметив, что русской литературе свойственно «великое достоинство — сближение с жизнью, с обществом и нераздельная связь с ним», утверждал: «В другом совершенно положении находится русская живопись. Этот мир живет в стороне от большой дороги жизни и наших общественных интересов и волнений» (РСл, 1861, № 10, отд. V, стр. 2 и 3).

Рецензент «Библиотеки для чтения» писал, что выставка 1861 г. произвела на него «приятное впечатление»: «. . . живопись начинает делать то же, что давно уже делает литература: это разрабатывать *русскую действительность* — хотя в этом случае с ее стороны почти одни еще только попытки. . . » (БдЧт, 1861, т. 167, сентябрь, стр. 29).

В своей статье Минаев подробно остановился на положении молодого русского художника и, подобно Достоевскому, подверг резкой критике принципы обучения, господствовавшие в Академии художеств. Основная причина, тормозящая развитие *русской школы живописи*, по его мнению, — академическое искусство, ставящее «форму выше содержания», построенное на внешней отделке и эффектах (см.: РСл, 1861, № 10, отд. V, стр. 3—5, 15). Все писавшие о выставке 1861 г. единодушно критиковали программные темы, предложенные воспитанникам Академией (см. ниже, примеч. к стр. 156, 158).

Характеризуя жанровые и пейзажные картины, представленные на выставке, Ковалевский сформулировал общие принципы своего понимания искусства, художественной правды, соотношения искусства и жизни. «Если пейзаж, снятый с природы, — писал он, — не будет одушевлен вдохновением художника, если он не пройдет сквозь его поэтическое чувство, — он, как бы ни был искусно написан, не произведет никакого впечатления на зрителя» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 77). Ковалевский отверг в живописи, подобно Достоевскому, «копиизм» и «снимки с природы, имеющие фотографическую верность» (там же). Он писал: «. . . чтобы сделаться серьезным жанристом < . . . > мало одного наблюдения, простого списыванья (хотя бы очень верного и изящного) картинок, представляющихся в действительности и не имеющих никакого особого значения, — необходимо, чтобы явления, останавливающие художника в действительности и которые он переносит на свое полотно, были проникнуты его собственной мыслью и прочувствованы им. Повторяем, только произведения, прошедшие через мысль и чувство, приобретают художественное достоинство. . . » (там же, стр. 75).

Минаев в «Русском слове» также критически отозвался о «картинах-фотографиях», порицая тех художников, которые «гоняются не за общей правдой целой картины, а за ее частными подробностями» (РСл, 1861, № 10, отд. V, стр. 20). Картины, построенные на внешних эффектах, на принципах академической рутинности, вызвали отпор у Аверкиева, причем «дагерротипическая верность природе», «отсутствие < . . . > художественной идеи», не освещенные впечатлениями творца картины, также отвергались им (см.: РИ, 1861, 19 сентября, № 204).

Несомненно близость ряда отдельных принципиальных суждений, высказанных в вышеназванных статьях — особенно в статье Ковалевского в «Современнике», — с суждениями данной статьи.¹

Подобно автору статьи во «Времени», Ковалевский отвергает и условную риторичность академической живописи, и фотографизм натуралистических полотен, «списанных с действительности», но не освещенных творческой «мыслью», и различного рода внешние романтические «эффекты» (см.: С, 1861, № 9, отд. II, стр. 71—74, 77, 80, 82). Он приветствует обращение современных русских живописцев к реальной жизни, инициатором которого был «Гоголь живописи» — П. А. Федотов, изучению «народных нравов», изображению «мужичка в лаптях» и «чиновника в видмундире с заплатами» (там же, стр. 82). Следует, однако, отметить, что, хотя Ковалевский был лично знаком с Достоевским и сотрудничал во «Времени», предположение о нем как о возможном соавторе Достоевского при написании второй половины данной статьи приходится отвергнуть, как и предположение о соавторстве Полонского: при сходстве оценок ряда картин и художников в статье «Современника» и в статье Достоевского (Якоби, Калам, Ларсон) в других случаях Достоевский и Ковалевский заметно расходятся между собой и в выборе репертуара выделенных ими имен, и в оценке некоторых художников и произведений (пейзажи Клодта, Диде и др.). Несходен и стиль обеих статей. Наиболее полным и глубоким теоретическим обоснованием некоторых важных и существенных проблем реалистического искусства, искусства художественной правды, — проблем, волновавших демократическую журналистику 60-х годов XIX в., — стала статья Достоевского о выставке в Академии художеств.

Стр. 151. *На выставке есть одна картина, перед которой с утра до вечера стоит толпа зрителей ∞ еще более блестящих и звонких успехов.* См. также: стр. 152—154. *Партия арестантов на привале ∞ и нам покажет это.* И стр. 154—155. *Художественности в этом смысле в картине -на Якоби нет ни на волос ∞ Самая художественная фигура во всей картине— это, конечно, офицер; он очень хорош.* — Якоби Валерий Иванович (1834—1902), еще будучи студентом Академии художеств, привлек к себе на годичных выставках внимание критиков, в частности В. В. Стасова, картинами «Разносчик фруктов» (1859) и «Светлый праздник нищего» (1860), сочувственно изображавшими жизнь городской бедноты. Известность принесла Якоби данная картина — «Привал арестантов» (1861). Первые отклики на нее критики были безусловно одобрительными: П. Н. Петров, Д. В. Аверкиев, рецензент «С.-Петербургских ведомостей», позднее присоединившийся к их голосам М. П. Розенгейм отметили в своих обзорах большой интерес публики к картине и подробно пересказали ее содержание, расценив картину Якоби как произведение правдивое, глубоко драматическое и мастерское по выполнению (*Илл.*, 1861, 14 сентября, № 186, стр. 174; *РИ*, 1861, 19 сентября, № 204; *СПбВед.*, 1861, 17 сентября, № 204; *ОЗ*, 1861, т. 138, № 10, стр. 39). Обозреватель «Библиотеки для чтения» внес особую, полемическую ноту в обсуждение выставки. Он заявил, что картины Якоби и Перова — это «лучшие и совсем уже народные», что «по мысли и по выполнению» они «вполне верны русской жизни». Но вместе с тем журнал утверждал: «... в некоторых подробностях сюжета вы так и чувствуете удар в известную сторону, желание понатянуть, пораскрасить» (*БдЧт.*, 1861, т. 167, сентябрь, стр. 30). Эпизод с перстнем критик расценил как нетипичный («Подобные случаи, может быть, бывали, но чтоб это было общим постоянно повторяющимся явлением между нашими арестантами, мы этого не думаем»), основанный на внешних эффектах («и зачем же художнику было вводить этот шарж <арестант, стаскивающий перстень> в свою картину, в которой все прочее типично, спокойно

¹ Отметим, что Минаев сотрудничал во «Времени» в 1861 г., Ковалевский — в 1862 г., Аверкиев печатался в «Эпохе» в 1864—1865 гг. (см.: *Нечаева*, «Эпоха», стр. 234, 250, 254—260).

и высокоправдиво»). Автор обзора в «Библиотеке для чтения» полемически заявил, что недостатки картин Якоби и Перова будто бы — результат следования этих художников идеям, развиваемым в демократической журналистике (см. об этом ниже, в примеч. к стр. 167).

П. М. Ковалевский писал в «Современнике» о тяжелом настроении, которое вызывала картина Якоби: «Я долго смотрел на эту картину. . . Разные мысли перебегали в голове моей, как темные тучи над картиной. . . Мне казалось, что и меня, как этих несчастных, сырость проникала до костей, и, глядя на них, свинцовая тоска давила мое сердце. . . Что довело их до преступлений — до воровства, до грабежей, до убийства? — нищета, дикость и невежество». Ковалевский адресовал Якоби и ряд замечаний, в том числе, как рецензент «Библиотеки для чтения» и как Достоевский, он порицал эпизод с перстнем. «Ну к чему, например, этот под телогой ворующий перстень с руки мертвого арестанта?» — спрашивал Ковалевский (ср. выше, стр. 155). Утверждение Достоевского, что перстень — «собственность казны: арестант не может иметь имущество, сходно с высказанным Ковалевским: «Да и каким образом мог остаться у арестанта в кандалах перстень на руке?» Критик «Современника» отметил и другие преувеличения и натянутости: «. . . и физиономия у этого вора не человеческая: какие-то огненные растрепанные волосы или клочки волос. . . К чему это?» (ср. выше, стр. 152—153). Отметив «не совсем удачные и неверные подробности», «небрежность и неловкость кисти» художника, Ковалевский выразил надежду, что Якоби «приобретет технику». «Эта картина есть залог, что от него можно ожидать многого» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 72—74).

Д. Д. Минаев, пересказав сюжет картины Якоби, также сочувственно писал: «От всей картины веет холодом и ужасом, и от нее не может оторваться глаз зрителя. . . Произведение г-на Якоби есть лучшее на всей выставке. . .» (РСЛ, 1861, № 10, отд. V, стр. 10). Критик «Русского слова» отверг замечания «строгих ценителей-судей» — а именно «Современника» — в адрес Якоби: «Г-н Якоби действительно не поклонник формы, и он считает ее второстепенным делом, считает средством, а не целью < . . . > Поэтому мы и не решаемся делать упрек г-ну Якоби за некоторую небрежность или, вернее, неверность в мелких подробностях рисунка» (там же, стр. 11).

Стр. 151—152. *Ведь и сказка «Три мушкетера» имела огромное количество читателей* ∞ *Знаменитый благе́р* ∞ *совершенно презрительный тон относительно его не совсем уместен.* — Речь идет о романе французского романиста и драматурга Александра Дюма-отца (Dumas, 1803—1870) «Три мушкетера» (1844; первый русский перевод — 1845). См. о Дюма на стр. 161—162. Критические замечания Достоевского в адрес Дюма содержатся также в цикле «Ряд статей о русской литературе» — во «Введении» и в статье «Книжность и грамотность» (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 45, 48; т. XIX, стр. 53 и примеч. к ним). Благе́р (от франц. *blagueur*) — болтун, рассказчик пустых небылиц, враль.

Стр. 154. *Но нашелся же художник, который в известной поэме — «Рассказ этапного офицера» сумел в своем черством герое откопать человека.* — «Рассказ этапного офицера» (1857—1858) — поэма Н. П. Огарева (1813—1877), опубликованная в «Полярной звезде» за 1859 г. (книжка эта была в библиотеке Достоевского — см.: *Библиотека*, стр. 162). Имя Огарева как политического эмигранта не могло быть названо в статье. В поэме Огарева рассказчик, сопровождающий партию каторжников, офицер, проникся сочувствием и состраданием к осужденному на каторгу крепостному крестьянину, вступившемуся за честь своей жены и убившему барина-насильника.

А. Г. Достоевская писала, что «Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта <Огарева> . . .» (*Достоевская, А. Г., Воспоминания*, стр. 167). В. В. Тимофеева (О. Починковская) вспоминала, что особенно любил писатель строки из поэмы Огарева «Тюрьма» (1857—1858)

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и мечтал,

Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

(см.: *Достоевский в воспоминаниях*, т. II, стр. 174).

О встречах Достоевского и Огарева в Женеве в 1867 г. см. в дневнике А. Г. Достоевской (*ЛН*, т. 86, по указателю имен).

Стр. 156. *Будем надеяться, что г-н Якоби на хорошей дороге ∞ большинству наших художников.* — 1861—1869 гг. В. И. Якоби провел за границей, жил в Германии, Франции и Италии. Здесь он написал довольно много жанровых и исторических полотен («Выход из тратории», «Гарантелла» «Кардиналу Гизу показывают голову адмирала Колиньи», «Террористы и умеренные» и др.). По возвращении в Россию в 1870-е годы Якоби создал серию картин на сюжеты из русской истории — преимущественно из времени Анны Иоанновны — «Арест Бирона» (1870), «Заседание кабинета министров» (1876), «Шуты при дворе Анны Иоанновны» и т. д. Однако В. В. Стасов в 1901 г. писал, что В. И. Якоби, «подававший большие надежды своим „Этапом ссыльных“ (1861)», «никогда их потом не оправдал» (В. В. Стасов. *Избранные сочинения*, т. III. Изд. «Искусство», М., 1952, стр. 660).

Стр. 156. *В нынешнем году выставлено ∞ картина оканчивается.* — На заданную Академией художеств на золотую медаль программную тему «Харон перевозит души через реку Стикс» картины выставили пять художников — Беляков Егор Егорович (род. 1831), Литовченко Александр Дмитриевич (1835—1890), Померанцев Константин Петрович (род. 1834), Шульц Эдуард Иванович (1838—1877) и неоконченную — Маковский Константин Егорович (1839—1915). Картина была выставлена несколько позднее других). Литовченко получил за свою картину вторую золотую медаль. Академическая тема и написанные на нее картины вызвали резко отрицательное отношение к себе всех критиков, писавших о выставке. «О „Харонах, перевозящих души через реку Стикс“, о „Великих княгинях Софьях Витовтовнах, вырывающих поясы у князей Косых на свадьбе Василия Темного“ и о других подобных риторических картинах, с более или менее удачными академическими позами мы не скажем ни слова, — писал Ковалевский. — Может быть, за академической точки зрения они имеют большое достоинство, но мы не любим фраз и реторики ни в литературе, ни в живописи» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 80). «Где же тут высказаться русскому художнику, русской школе в воздушных и едва уловимых для освящения фигурах греческой мифологии? — говорил в рецензии Минаева. — Художник только тогда совершенно отвечает за свою картину, когда он вполне хозяин ее содержания, когда она задумана, выстрадана им самим» (РСЛ, 1861, № 10, отд. V, стр. 8). Считая, что основная задача русской живописи — «разрабатывать русскую действительность», рецензент «Библиотеки для чтения» категорически отверг обе программные темы (*Бд'т*, 1861, т. 167, сентябрь, стр. 31). Аверкиев и Петров в своих рецензиях утверждали, что, кроме рутинности и внешних, поверхностных картин, эти темы ничего породить не могут (см.: *РИ*, 1861, 19 сентября, № 204; *Илл.*, 1861, 14 сентября, № 186, стр. 171). См. также ниже, примеч. к стр. 158.

Стр. 157. *Г-н Алексеев поставил «Вакханку, которая выставила непомерную левую грудь. . .* — Аверкиевым эта «вакханка, или нимфа кирпичного цвета (вероятно, художник хотел похвастать освещением)» была отнесена к произведениям низкопробным, дурного вкуса (*РИ*, 1861, 19 сентября, № 204). В дальнейшем Алексеев Николай Михайлович (1813—1880) занимался живописью религиозного содержания, выполнил ряд живописных и мозаичных работ для Исаакиевского собора в Петербурге.

Стр. 157. . . и «*Нимфу с сатиром*» г-на Мане из Парижа. *Ужас, ужас, ужас!* ∞ дал телу нимфы колорит пятнадцатидневного трупа. — Мане Эдуард (Manet, 1832—1883) — французский художник, один из основоположников импрессионизма. Очевидно, как указал Л. П. Гроссман (см.: 1918, т. XXII, стр. 104), речь идет о картине Мане «*La nymphe surprise*» («Испуганная нимфа», 1861). Картина Мане не была принята также и Минаевым: «Слабее этой картины нет ничего на выставке. Всё — рисунок, расположение

фигур, колорит, — всё это до такой степени слабо, неверно, что невольно двинешься смелости французского художника» (*РСЛ*, 1861, № 10, отд. V, стр. 14). Аверкиев также писал о «довольно плохой нимфе» Мане (*РИ*, 1861, 19 сентября, № 204).

Стр. 157. Харон — в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через «реку ужаса» — Стикс — в царство мертвых.

Стр. 157. . . . академизму дела нет до того, что Харон старик не сердитый, что он рассердился только, увидав между тенями живого человека, Данта ∞ вечным делом. — В «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь третья) Харон, увидев Данте на берегах одной из рек преисподней — Ахерона, вскричал сердито: «А ты, живая душа, прочь от умерших»; «косматое лицо его успокоилось» после слов сопровождавшего Данте Вергилия: «Напрасный гнев, Харон! < . . . > Так повелено там, где воля есть закон безусловный!» (Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Перевод Ф. Фан-Дима. СПб., 1842, стр. 33. Об этом издании см. ниже, примеч. к стр. 158).

Стр. 158. Влияние Флаксмана видно в рисунке ∞ с окружающей средою. — Джон Флаксман (Flaxman John, 1755—1826) — английский скульптор и рисовальщик, представитель классицизма. Прославился как автор иллюстраций к Гомеру, Гезиоду, Эсхилу, Данте. Иллюстрации Флаксмана представляют собою контурные рисунки, изданные в гравюрах. Они были выполнены им в подражание античным памятникам, в частности вазовой живописи, и отличались строгостью линий и композиции. Его иллюстрации к «Божественной комедии» Данте были изданы в Лондоне в 1797 г. Первый полный перевод «Ада» Данте в России (прозаический перевод Ф. Фан-Дима — псевдоним Е. В. Кологривовой) был издан с иллюстрациями Флаксмана (СПб., 1842).

Стр. 158. Публика любит также четырема картинами одинакового содержания: «Великая княгиня София Витовтовна вырывает пояс у князя Василия Косого на свадьбе Василия II Темного». См. также стр. 158: Нынешнее «Вырывание пояса» ∞ опускается занавес. — На эту заданную Академией художеств программную тему в 1861 г. картины выставили пять художников: Вениг Богдан Богданович (1837—1872), Верещагин Василий Петрович (1835—1909), Гун Карл Федорович (1830—1877), Дмитриев (Оренбургский) Николай Дмитриевич (1837—1898) и Чистяков Павел Петрович (1832—1912). Верещагин, Гун и Чистяков были удостоены первой золотой медали.

«Неужели русская история так бедна драматическими положениями, что нужно было остановиться на таком бедном и ничтожном историческом случае, как домашняя ссора на свадьбе Василия Темного?» — писал Минаев (*РСЛ*, 1861, № 10, отд. V, стр. 9). «Можно бы выбрать сюжет более драматический, более известный, чем каприз, дерзость вздорной женщины», — утверждалось также в «С.-Петербургских ведомостях» (1861, 17 сентября, № 204). См. об оценке критикой программных тем выше, в примеч. к стр. 156. Сами же картины о соре на свадьбе Василия Темного, по замечанию Петрова, близки «к современной французской школе, с эффектом, блеском красок, порывистыми движениями и полуфантасгическою, полуроусскою костюмовкою, но во всяком случае, позднейшего времени. . .» (*Илл.*, 1861, 14 сентября, № 186, стр. 171).

Стр. 158. Тоже трое из этих художников ∞ за «Олимпийские игры». — В 1860 г. за картины на программную тему «Олимпийские игры» второй золотой медалью были награждены Б. Б. Вениг, К. Ф. Гун и П. П. Чистяков. Один из критиков писал тогда: «Вот на тему „Олимпийские игры“, заданную академиею, повторяется, без варпаццй, кулачный бой у г-д Литовченко, Белякова, Гуна, Венига и Верещагина. Г-н Чивилев к кулачному бою присоединил бег в перегонку < . . . > композиции страшно скучны, — скучны именно по отсутствию идеи о знаменитых играх, на которые стекались со всех сторон родины уроженцы изящной Эллады. . .» (*Искусства*, 1860, № 2, октябрь, кв. первая, стр. 22). «Публика преспокойно проходила мимо них, — писал об «Олимпийских играх» критик под псевдонимом «Некто», — отказываясь любоваться красотой и крепостью мышц борцов» (*РИ*, 1860, 25 сентября,

№ 206). К. А. Варнек отнес эти картины к «ложному направлению, заключающемуся в одряхлевшем мелодраматизме» (там же, 15 октября, № 222).

Стр. 159. . . . на *Фальконетовом монументе* . . . и ниже: *фальконетовскую руку* . . . — Имеется в виду памятник Петру I («Медный всадник»), выполненный французским скульптором Э.-М. Фальконе (Falconet, 1716—1791) и установленный в 1782 г. на Сенатской площади в Петербурге.

Стр. 159. *Потом танцовщица, с легкостью пуха, «лятящего от уст Эола»*. . . — См. описание танца Истоминой в XX строфе гл. первой «Евгения Онегина»:

И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола. . .

(Пушкин, т. VI, стр. 13).

Стр. 160. *К таким же театральностям следует причислить и огромную картину «Государственный сейм, на котором Иван Замойский приносит жалобы народа королю Зигмунду III»*. — Речь идет о картине художника-любителя Викентия Смоковского. Минаев отметил, что все лица списаны Смоковским с одного натурщика, «. . . будто стоит целая толпа братьев-близнецов, одетых в один и тот же костюм». «Что же касается до общего характера его картины, — писал Минаев, — то нужно отдать ему полную справедливость: в картине нет никакого характера» (*РСЛ*, 1861, № 10, отд. V, стр. 18).

Стр. 160. *Немалое внимание зрителей обращают на себя еще две картины, стоящие рядом. Это «Умиравший отец г-на Журавлева и «Духовное завещание» г-на Черкасского. ∞ первую серебряную медаль*. — Минаев в «Русском слове» и «С.-Петербургские ведомости» с похвалой отозвались о картине Журавлева (*РСЛ*, 1861, № 10, отд. V, стр. 18; *СПбВед*, 1861, 17 сентября, № 204).

Журавлев Фирс Сергеевич (1836—1901) — в дальнейшем видный художник-жанрист. В 1863 г. в группе четырнадцати студентов во главе с И. Н. Крамским вышел из Академии художеств, протестуя против программной темы «Пир в Валгалле», стал одним из организаторов Артели художников. Демократизмом, обличительным пафосом своего творчества Журавлев был близок к передвижникам, на их выставках экспонировались его работы. Известность и признание современников принесли Журавлеву картины «Кредиторы описывают имущество вдовы» (1862), «Перед венцом» (1874), «Купеческие поминки» (1876).

Иван Яковлевич — московский юридивый И. Я. Корейша (1780—1861), послуживший для Достоевского прототипом юридивого Семена Яковлевича в романе «Бесы» (см. о нем: наст. изд., т. XII, стр. 234).

Картина С. П. Черкасского (род. 1827) вызвала также критический отзыв Минаева: «Единства в картине нет никакого, и что выражают сгруппированные вокруг умирающей лица — понять без объяснения невозможно». Как и Достоевскому, одна из фигур напомнила ему «что-то вроде Ивана Яковлевича» (*РСЛ*, 1861, № 10, отд. V, стр. 18). К числу «вмученных композиций в роде жанра» отнес эту картину и Петров (*Илл*, 1861, 14 сентября, № 186, стр. 174). В 1860 г. Черкасский получил первую серебряную медаль за картину «Помещик принимает жалобы крестьян».

Стр. 161—162. *Между произведениями давно признанных мастеров первое место занимают три картины знаменитого профессора Айвазовского. ∞ естественная правда тут есть, но нет правды художественной*. — Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) — русский художник-маринист, мастер морского пейзажа. Его картины, экспонированные на выставке 1861 г., вызвали горячее одобрение (в «Иллюстрации», «Отечественных записках», «С.-Петербургских ведомостях»), но и весьма серьезные замечания критиков. «Дагерротипная верность природе — отличительная черта его, — писал Аверкиев об Айвазовском. < . . . > Но зато картины его поражают отсутствием всякой задачи, всякой художественной идеи. . . » (*РИ*, 1861, 19 сентября, № 204). «Он < . . . > может только необыкновенно, дагерротипически верно, передать красоту, напр<имер>, волн, — утверждал обозреватель, — но впе-

чатление, которое вид их произвел на него, он не передает. . . ». Ковалевский отметил: «. . . картина „Буря над Евпаторией“, огромного размера, отличается теми эффектами, до которых г-н Айвазовский такой охотник» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 78). В том же ключе писал об Айвазовском и Минаев: «. . . овладев тайной красок морских видов, г-н Айвазовский дальше и не пошел, и нужно заметить, что все его картины очень однообразны. < . . . » Мы видим в его картинах заученность, непонятный для нас фокус, но не видим творчества и вдохновения» (РСл, 1861, № 10, отд. V, стр. 19).

Стр. 162. *Точно Арамис или Портос ∞ подвиги д'Артаньяна.* — Герои романов А. Дюма-отца «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845) и «Десять лет спустя» (1848—1850).

Стр. 162. . . . *карикатур Хама.* . . . — Псевдоним французского карикатуриста А.-Ш.-Г. Ное (А.-Ch.-H. Noé, 1819—1879).

Стр. 163. . . . *Аксаков.* . . . — Имеется в виду С. Т. Аксаков (1791—1859) как автор «Записок ружейного охотника» (1852) и «Рассказов и воспоминаний охотника о разных охотах» (1855).

Стр. 163. *Бросьте два-три пятна из розового золота, как сделал Гоголь в описании степи.* . . . — Речь идет об описании степи во II главе «Тараса Бульбы» (1835): «По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам» (Гоголь, т. II, стр. 59).

Стр. 163. *Положим, что граф Монте-Кристо богат; но к чему же изумрудный флакон для яду?* — Речь идет о романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1841—1845; первый русский перевод — 1845).

Стр. 163. *У Гоголя Манилов с Чичиковым в своих сладостях только раз договорились до «имени сердца».* ∞ «Да уж оттого». — См. гл. II первого тома «Мертвых душ» (Гоголь, т. VI, стр. 27).

Стр. 164. *Кроме г-на Айвазовского есть года г-на Ларсона.* . . . — О Ларсоне см. ниже, примеч. к стр. 164.

Стр. 164. . . . *есть «Ниагарский водопад» г-на Рейснера.* . . . — Эта картина в каталоге не обозначена.

Стр. 164. . . . *два вида г-на Горавского.* . . . — См. ниже, примеч. к стр. 165.

Стр. 164. . . . *буря г-на Вележева.* . . . — Вележев Дмитрий Васильевич (1841—1861) — русский художник. За картину «Буря» получил первую серебряную медаль. О ней также одобрительно отзывался Минаев: «. . . „Буря“ г-на Вележева < . . . » замечательна по колориту и по свежести» (РСл, 1861, № 10, отд. V, стр. 20).

Стр. 164. . . . «*Озеро четырех кантонов*» *Калама.* . . . — О Каламе см. ниже, примеч. к стр. 164.

Стр. 164. . . . *работа г-на Иванова, которая поставлена в первой комнате и озадачивала всех посетителей выставки.* ∞ *до чего может доходить бездарность.* — Рецензент «С.-Петербургских ведомостей» писал: «. . . нельзя не остановиться перед головою старухи, написанной г-ном Ивановым. На лице старухи нет никаких черт, заметных у живого человека: это какое-то светло-коричневое пятно, напоминающее иконы < . . . » деланные богомазами и малярами» (СПбВед, 1861, 17 сентября, № 204).

Стр. 164. *Тринадцать картин шведского живописца Ларсона ∞ картина была бы хороша.* — Ларсон (Larson) Маркус (1825—1864) — шведский живописец-пейзажист, преимущественно маринист. Отрицательным был отзыв о картинах Ларсона не только Достоевского, но и Ковалевского: «Это полотна, на которых с различными вычурами и закорючками, полосами и зигзагами намалеваны пестрейшие краски. . . » (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 80). «Такого злоупотребления красок нам не удавалось еще встретить нигде < . . . » — присоединился к мнениям Ковалевского и Достоевского Минаев. — Замечательно при этом, что самый любимый цвет Ларсона — это желто-бурый цвет шведских перчаток». Он так же, как и Достоевский, обратил внимание на «громадную морскую картину» «Кораблекрушение в Богусландских шкерах

при закате солнца»: «Смотрите вы на картину, но в ее пестрых цветах ничего не можете разобрать. . .» (РСЛ, 1861, № 10, отд. V, стр. 20 и 21).

Стр. 164. Картина Калама «Озеро четырех кантонов» составляет истинное украшение выставки. ∞ расположение духа. — Калам (Calame) Александр (1810—1864) — швейцарский живописец-пейзажист и литограф. Автор «Школы рисования», в которой разработана техника писания пейзажей. В России по методу Калама писал свои пейзажные этюды Я. П. Полонский (см. об этом: Н. Н. Ф о н я к о в а. Спасское-Лутовиново в этюдах Я. П. Полонского. ЛН, т. 76, стр. 605—630).

Стр. 164—165. Другой швейцарец, Диде (Diday), выставил водопад Рейхенбах в швейцарских Альпах. ∞ с своею грандиозною обстановкой. — Франсуа Диде (1802—1874) — швейцарский живописец-пейзажист, один из основателей Женевской школы живописцев. У Диде учился рисунку и живописи Я. П. Полонский (см. об этом: ЛН, т. 76, стр. 628). Сходное с оценкой Достоевского суждение о представленных на выставке 1861 г. иностранных живописцах было высказано Ковалевским: «Первое место между ними принадлежит Каламу. Он выставил прекрасный пейзаж „Озеро четырех кантонов“. Очень также хорош „Водопад в швейцарских Альпах“ Карла Диде. . .» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 80).

Стр. 165. Трудно вычислить все прекрасные пейзажи ∞ Первое место занимают два прекрасные вида г-на Горавского. — Горавский Аполлинарий Гиляриевич (1833—1900) — пейзажист и портретист. На выставке 1861 г. экспонировались его картины «Вид реки Арагвы в окрестностях Шамуни» и «Вид между Генуею и Ниццею».

Стр. 165. Затем нельзя не упомянуть о прекрасных работах г-д Рязанова, д'Альгейма, Каменева, Дюкера, Суходольского, Грязнова, Попова, Мещерского. . . — На выставке 1861 г. экспонировалось четыре пейзажа («Рязанские виды») Рязанова Виктора Михайловича (род. 1829). Из работ Ивана д'Альгейма были выставлены «Хата полесовщика», «Шалаш» и «Фонтенебло». Академик Каменев Валериан Константинович (1823—1874) выставил два пейзажа — «Виды из окрестностей Петербурга». Экспонировались две картины Дюкера Евгения Эдуардовича (1841—1916) — «Лифляндские виды». Суходольский Петр Александрович (1834—1903) за три пейзажа «Виды из окрестностей Петербурга» был награжден второй золотой медалью. Грязнов Василий Федорович (род. 1836) выставил картину «Вид из окрестностей г. Белебея». Попов Александр Павлович (род. 1835) за четыре пейзажа «Виды Московской губернии» получил вторую золотую медаль. Из пейзажей Мещерского Арсения Ивановича (1834—1903) экспонировались «Закат солнца» и «Вид на южном берегу Крыма».

Стр. 165. . . и в особенности г-на Клодта 1-го ∞ истинного художника. — Клодт Михаил Константинович (1832—1902). — известный русский художник-пейзажист. На выставке 1861 г. экспонировалось семь картин Клодта — виды Нормандии, Бретани и Швейцарии, написанные по этюдам и впечатлениям заграничного путешествия. Эти работы Клодта вызвали одобрительный отзыв Ковалевского: «Это не простые снимки с природы, имеющие фотографическую верность; — это картины, исполненные простоты, правды и поэзии < . . . > Г-н Клодт 1-й становится новыми своими произведениями в ряды наших лучших пейзажистов. . .» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 77—78). Клодт стал членом-учредителем Товарищества передвижных выставок; в 1870—1879 г. постоянно участвовал на выставках передвижников. В картинах 1860—1870 г. Клодт запечатлел пейзаж России деревенской, крестьянской — «Большая дорога» и «Дубовая роща» (1863), «Вечерний вид в Орловской губернии» (1874), «Лесная даль в полдень» (1878) и многие другие. Самым глубоким и художественно совершенным произведением Клодта была признана современниками картина «На пашне» (1872).

Стр. 165. Между жанристами первое место в нынешнем году принадлежит г-ну Бракелееру, который выставил картину «Ловля мышей». — Бракелеер (Braekeleer) Фердинанд (1792—1883) — бельгийский живописец, автор исторических и жанровых картин,

Стр. 166. Г-на Морозова «Отдых на сенокосе» и г-на Корзухина «Пьяный отец семейства» награждены Академиею вторыми золотыми медалями совершенно по заслугам. . . — Обе картины были доброжелательно встречены посетителями выставки и всеми рецензентами. Картина Морозова «Отдых на сенокосе» в 1862 г. была направлена на всемирную выставку в Лондон.

Морозов Александр Иванович (1835—1904) в 1863 г., как и другие будущие передвижники, вышел из Академии художеств (см. об этом выше, в примеч. к стр. 160), вошел в Артель художников, в дальнейшем был экспонентом выставок передвижников. Писал главным образом жанровые картины: «Выход из церкви в Пскове» (1864), из быта деревни — «Бесплатная сельская школа» (1872). В 70-е годы пишет пейзажные картины в русле венецианской традиции, лучшая из них — «Летний день» (1878).

Корзухин Алексе́й Иванович (1835—1894) — русский художник-жанрист. Участвовал в создании Товарищества передвижных выставок, из которого затем вышел, но в своих картинах деревенской жизни был близок передвижникам. Современники выше всего ценили его работы «Перед исповедью» (1877), «В монастырской гостинице» (1882), «У краюшки хлеба» (1890), а также картины о крестьянских детях.

Стр. 166. . . . которые и не снились нашим мудрецам. — Перефразированные слова Гамлета:

Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

(В. Шекспир. Гамлет. Перевод М. Вронченко. СПб., 1828, стр. 42, д. I, явл. V).

Стр. 166. Г-н Шильдер за картину «Расплата с кредитором» признан академиком ∞ «Расплата с кредитором» очень сильно отзывается мелодрамой ∞ только в водевилях. — Эта картина была отнесена в обзоре выставки Петровым к «числу вымученных композиций» (Илл., 1861, 14 сентября, № 116, стр. 174). Не удовлетворила она и Минаева: «. . . видно, что вышла какая-то беда, а какая именно — это художественный ребус, недоступный даже для самых догадливых» (РСЛ, 1861, № 10, отд. V, стр. 13).

Шильдер Николай Густавович (1828—1898) выступил в 1850-х годах как жанрист и баталист. Картина его «Искушение» (1856) была в числе первых картин, приобретенных П. М. Третьяковым для художественной галереи. В дальнейшем Шильдер выставлялся очень редко и перешел на изготовление царских портретов.

Стр. 166—167. «Проповедь в селе» г-на Перова отличается очаровательною наивностью. Тут почти всё правда ∞ и крестный ход, и ребятишки. — Перов Василий Григорьевич (1833—1882) — русский художник-реалист, живописец и график, один из основателей и крупнейших мастеров передвижничества. За картину «Проповедь в селе» получил в 1861 г. первую золотую медаль. Большинство обозревателей высоко оценило талант художника. «Совершенно оригинальный юмористический талант у г-на Перова, он никого не напоминает < . . . > — писал Аверкиев, — если он будет продолжать, как начал, то обещает замечательного художника» (РИ, 1861, 19 сентября, № 204). Ковалевский назвал имя Перова в числе тех учеников Академии, чьи картины «более других обращают на себя внимание» (С, 1861, № 9, отд. II, стр. 77). К суждению Достоевского близко и сказанное Минаевым: «Художник этот отличается простодушным, наивным юмором в своих произведениях. Этой же самой наивной простотой веет и от новой его картины» (РСЛ, 1861, № 10, отд. V, стр. 12). Картина Перова вызвала раздражение у критика «Библиотеки для чтения», разразившегося полемическим выпадам в адрес передовой демократической журналистики: «Смеем заверить молодого художника, что ни в одной сельской церкви он не встретит, чтобы помещик сидел прямо и так близко перед иконостасом < . . . >; мы очень хорошо понимаем, что в этом случае он хотел показать то, о чем так много и с таким самоуслаждением говорится в наших газетах, забывая, что его мирозозер-

панье должно быть гораздо спокойнее и правдивее и что руководителем и помощником его должна быть другая литература» (*БдЧт*, 1861, т. 167, сентябрь, стр. 30).

Достоевский и после 1861 г. неизменно доброжелательно относился к Перову. В 1872 г. он позировал художнику для известного портрета, снимок с которого помещен в т. I наст. изд. (см. об этом: *Достоевская, А. Г., Воспоминания*, стр. 219—220). В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский одобрительно отозвался в главе «По поводу выставок» о картине Перова «Охотники на привале».

Стр. 167. *Еще одна замечательная картина отличена высшею академическою наградою, первую золотую медалью: картина г-на Клодта 2-го «Последняя весна». ∞ эта прекрасно выполненная, но злосчастная картина. — Довольно резко писал о недостатках этой картины Петров: «... „Умирающая“ барона Клодта <...> кажется мело рамою, несколько приторною, между тем в ней много истинного чувства, хотя и не без натяжек». «Грешки от желания усилить эффект выкупаются», по его мнению, сценой между матерью и отцом (*Илл*, 1861, 14 сентября, № 186, стр. 174). Картина вызвала и одобрительные отзывы — Аверкиева, Ковалевского, Минаева, рецензента «С.-Петербургских ведомостей» (см.: *РИ*, 1861, 19 сентября, № 204; *С*, 1861, № 9, отд. II, стр. 76; *РСл*, 1861, № 10, отд. V, стр. 11; *СПбВед*, 1861, 17 сентября, № 204).*

Клодт Михаил Петрович (1835—1914) — русский художник-жанрист, член Товарищества передвижных выставок. Наряду с жанровыми картинами, элегическими по своему характеру («Большой музыкант» (1875), «Подвечное платье» (1875), «Перед отъездом» (1878)), написал также ряд картин на историческую тематику.

Стр. 168. *Так, несколько лет тому назад один художник, кажется г-н Бронников, выставил умирающего гладиатора, по Лермонтову ∞ довольно туманно.* — Речь идет о картине художника Бронникова Федора Андреевича (1827—1902) «Гладиатор-славянин, умирающий на арене цирка» (1857), написанной на сюжет стихотворения М. Ю. Лермонтова «Умиравший гладиатор» (1836). Позднее в «Дневнике писателя» 1873 г. Достоевский положительно оценил картину Бронникова «Гимн пифагорейцев».

Стр. 168. *В нынешнем году тоже есть три подобные картины. «Весталка», по г-ну Полонскому, «Капитанская дочка», по Пушкину, и «Фауст с Мефистофелем», по Гете. ∞ за невозможное дело.* — Речь идет о картинах В. С. Крюкова — «Весталка, из стихотворения г-на Полонского», В. В. Шереметьева — «Фауст перед домом Маргариты» и И. О. Миодушевского — «Сцена из повести Пушкина „Капитанская дочка“». Минаев писал: «... чтоб завладеть, усвоить себе художественные образы поэта, нужно самому быть развитым художником»; эти же картины, по его мнению, бесцветны и бесхарактерны (*РСл*, 1861, № 10, отд. V, стр. 15—17).

Стр. 168. *В произведении литературном излагается вся история чувств, а в живописи — одно только мгновение.* — В этом утверждении Достоевский следует за немецким писателем и критиком Г.-Э. Лессингом (Lessing, 1729—1781), изложившим теорию различия искусств в трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766, первый русский перевод — 1859).

Стр. 168. *«Сцены из военного быта» выставлены г-ном Иебенсом. ∞ форма соблюдена вполне.* Иебенс (Jebens) Адольф (1819—1888) — немецкий художник; 1845—1866 гг. провел в Петербурге в качестве портретиста при императорском дворе, был избран членом Российской Академии художеств. «Сколько мы знаем по опыту и по мастерским военным рассказам гр. Толстого, — писал Минаев, — военный быт немножко разнообразнее того, чем он представляется иностранному художнику <...> А то написал шеренгу солдат, подписал: „Сцена из военного быта“ — и дело с концом!» (*РСл*, 1861, № 10, отд. V, стр. 14).

Стр. 168. *...ученик Поля Делароша...* — Деларош (Delaroché) Поль (1797—1857) — французский исторический живописец. Его картины —

преимущественно на исторические темы — отличаются романтическими эффектами при внешнем правдоподобии и внимании к передаче подробностей быта.

ПО ПОВОДУ ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ЗАМЕТКИ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

(Стр. 169)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 10, отд. IV, стр. 189—199, без подписи (ценз. разр. — 27 октября 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в изданиях: 1918, т. XXIII, стр. 107—122.

Печатается по тексту первой публикации.

В июльской книжке «Русского вестника» за 1861 г. Катков напечатал «Заметку для журнала „Время“, в которой отверг, как несостоятельную, критику в свой адрес Достоевского («„Свисток“ и „Русский вестник“», «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика») и некоторых сотрудников «Времени» (прежде всего П. А. Кускова). В следующей книжке «Русского вестника» появилась «Элегиическая заметка» того же Каткова, вновь обличающая (без указания имен) «крикунов», «свистунов» и всякого рода «бессовестных» людей, подвизающихся на поприще публицистики. Эта две заметки (а не одна, как пишет Достоевский) послужили ближайшим поводом для его очередной отповеди Каткову. Следует иметь в виду и еще одну предпосылку полемики. Рассуждениям о «гнили разложения» в «Элегиической заметке», написанной в гневно-сходном с раздраженным тоном «Несколько слов вместо „Современной летописи“» (*РВ*, 1861, № 1), предшествовала статья «Виды на entente cordiale¹ с „Современником“», в которой Катков указал на несколько фактических неточностей, допущенных Чернышевским в полемике с «Отечественными записками» и профессором киевской духовной академии П. Д. Юркевичем (см.: *РВ*, 1861, № 7, стр. 66, 75—76, 93). Катков явно мстил Чернышевскому за «Полемические красоты», однако его указания, по-видимому, произвели известное впечатление на Достоевского, который в своей статье соглашается, что «крикуны ошибаются < . . . > науки не признают», что они «легкомысленны < . . . > на всё бросаются» и т. п. Тем не менее Достоевский обнаруживает несомненное расположение к этим людям. Он готов извинить их промахи и заблуждения, так как убежден, что они делают все-таки нужное дело. В этом смысле особенно примечательно одно место настоящей статьи, в котором сквозит глубокое уважение к Чернышевскому. Зло критикуя «кабинетно-профессорскую», брызгливую манеру полемики Каткова, отмечая в ней плохо скрытое равнодушие к общественным нуждам и интересам, Достоевский пишет: «Да и к чему в самом деле вам со всякой этой „гнилью“ якшаться? Вы уверены, что „придет жизнь — и гниль исчезнет сама собою“. Когда же она придет? Как же она придет? . . . видно, что вы об этом не очень задумываетесь; да и зачем! Те, кто об этом заботятся, могут ошибаться, окопругетировать себя, ну а вам неприлично ошибаться и себя компругетировать». На это есть чернорабочие; над ними смеются, они крикуны, свистуны, пустозвоны; и работа такая черная, скучная, хлопотливая даже. Надо лазить, трубы чистить, тяжести таскать, крющиться. . . А знаете ли вы, что исторический ход дела — странная вещь? И так не похож иногда на теоретический!» (стр. 176—177). Тональность и лексика этой отповеди, особенно в конце ее, напоминают ставшее впоследствии широко известным знаменитое заявление Чернышевского в статье «Политико-экономические

¹ Сердечное согласие (франц).

письма к президенту Американских Соединенных Штатов» (С, 1861, № 1): «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное» (*Чернышевский*, т. VII, стр. 923). Катков был первым из числа реакционно-либеральных публицистов, встретивших это заявление Чернышевского с крайним раздражением (см. заключение статьи Каткова «Старые боги и новые боги» — *РВ*, 1861, № 2).

Как и в предшествующих статьях «Свисток» и «Русский вестник», «Ответ „Русскому вестнику“», «Литературная истерика», Достоевский в настоящей статье берет под свою защиту людей деятельных, «беспокойных» и «тоскующих», то «меньшинство» образованных людей, которое он считает основной движущей силой всякого прогресса. В период полемики с Катковым эти «беспокойные», симпатичные ему натуры обнаруживаются Достоевским чаще всего в демократическом лагере.

Стр. 169. *Стонет сизый голубочек. . .* — первая строка стихотворения И. И. Дмитриева, неоднократно перелавганного на музыку (см.: Г. К. И в а н о в. Русская поэзия в отечественной музыке. Вып. 1. Изд. «Музыка». М., 1966, стр. 118).

Стр. 170. *В том же номере есть и другая заметка. . .* — Достоевский допускает ошибку: «Заметка для журнала „Время“, которую он подразумевает, была напечатана не в августовской, а в июльской книжке «Русского вестника» за 1861 г.

Стр. 172 . . . *чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватили из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде.* — Достоевский подразумевает следующее место из «Заметки для журнала „Время“»: «. . . в этом журнале пространно разбирается одна из наших статей. Разбор этот действительно не отличается ни особенно добросовестностью, ни знанием дела; рецензент находит в статье то, чего автор не говорит; спутывает мысли и факты и опровергает произведения собственной фантазии; но у нас достаточно своих забот, и мы не имеем досуга заботиться еще об улучшении критики в этом журнале; защищаться же от его критики не имеем ни охоты, ни надобности» (*РВ*, 1861, № 7, «Литературное обозрение и заметки», стр. 97). Из контекста «Заметки. . .» не ясно, против какой именно рецензии или статьи «Времени» нацелен этот выпад.

Стр. 173 . . . *нет науки, нет литературы? Ведь это всё так старо! Вы уж так часто об этом говорили и прежде. . .* — Достоевский имеет в виду высокомерные суждения Каткова о скудости современной «литературы без науки», высказанные в статье «Несколько слов вместо „Современной летописи“» (*РВ*, 1861, № 1).

Стр. 173. *Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет. . .* — Подразумеваются пренебрежительные суждения о русской народности в той же статье Каткова, подвергнутой резкой критике в статье Достоевского «Свисток» и «Русский вестник» (см. выше, стр. 113—114). По вопросу о народности «Русскому вестнику» возражали также «Отечественные записки», поддержанные Достоевским в статье «Книжность и грамотность» (*Вр*, 1861, № 7). «Русский вестник», — отмечал здесь Достоевский, — бесконечно неправ, говоря, что „там, где идет спор о народности, там, значит, ее нет“, и „Отечественные записки“ совершенно правы, отвечая ему на это. . .» (см. выше, стр. 19).

Стр. 175. *«Иван Александрович! Ступайте управлять департаментом!»* — Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. III, явл. 6). В данном случае Достоевский применяет против Каткова его же полемическое оружие. В полемике с «Временем» (см. выше статью «Литературная истерика») Катков обвинял сотрудников этого журнала (мета главным образом в Достоевского) в хлестаковщине, фразерстве и фанфаронстве.

Стр. 176. . . . *один я соловей ∞ Нет, вы нам сами сделайте свое собственное фью-фью-фью, как говорит г-н Щедрин, которого вы так хорошо знаете.* — Стремясь уязвить самолюбие Каткова, Достоевский ставит его на одну доску с автором бессодержательных и претенциозных обличений, высмеянных в очерке Щедрина «Литераторы-обыватели» (С, 1861, № 2). Обращаясь к этому обличителю, Щедрин писал: «Вспомните, мой cher, что соловей потому имеет право наслаждаться самим собой и заслушиваться до опьянения своих песен, что песни, которые он поет, суть его собственные песни! Сделайте-ка нам ваше собственное „фю-ию-ию-ию“, и тогда я первый буду признавать ваше право на самонаслаждение» (Салтыков-Щедрин, т. III, стр. 452). «Щедрин, которого вы так хорошо знаете» — намек на то, что большинство очерков из циклов «Губернские очерки» и «Невинные рассказы» (1856—1857) впервые публиковались в «Русском вестнике». В течение 1857 г. в типографии Каткова было отпечатано также несколько отдельных изданий «Губернских очерков».

Стр. 176. . . . *жизнь придет сама собою и принесет что-нибудь, самое лучшее, аглицкого товару-с.* . . . — Намек на англоманство Каткова, которое особенно желчным осмеянию подвергнется несколько позже в статье Достоевского «Щекотливый вопрос» (октябрь 1862 г.).

Стр. 176. *Налагаете бремена тяжкие и неудобь-носимые. . . и т. д.* — Достоевский имеет в виду слова из Евангелия: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобьносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 46).

Стр. 176. *Мы согласились, что крикуны ошибаются.* — Согласие с Катковым имеет здесь безусловно проницательский оттенок. Достоевский намекает на одно из основных положений своей статьи «„Свисток“ и „Русский вестник“», где «крикуны» и «свистуны» до известной степени оправдываются им и даже берутся под защиту (см. выше, стр. 110—111).

Стр. 177. . . . *вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими „полемическими красотами“.* . . . — «Полемические красоты. Коллекция первая», направленные против «Русского вестника», были напечатаны в шестой книжке «Современника» за 1861 г.

Стр. 177. *Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным.* — Достоевский имеет в виду резкий тон Чернышевского в «Полемических красотах» и неоправдавшиеся надежды «Русского вестника» на смягчение этого тона. В отрывке из статьи Каткова «Старые боги и новые боги» (РВ, 1861, № 2), цитируемом в «Полемических красотах», есть строки: «Будем надеяться, что философские понятия господ, пишущих в „Современнике“, мало-помалу прояснятся, и что они найдут наконец возможность обходиться без шарлатанства. И теперь уж по некоторым частям заметен значительный прогресс. Г-н Чернышевский, по-видимому, главный вождь этой дружины, начинает уже говорить человеческим языком по предметам политической экономии» (Чернышевский, т. VII, стр. 716). Подчеркнув несостоятельность подобных надежд Каткова, Чернышевский писал: «Довольны вы, „Русский вестник“, этим объяснением? Или, может быть, вам любопытно будет узнать, отчего я не читал вас? На первый раз скажу: от глубокого равнодушия. Если же угодно будет знать больше, я скажу и больше — мне всё равно» (там же, стр. 720).

Стр. 177. *Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним.* — До опубликования настоящей статьи выпады Достоевского против Чернышевского были сравнительно немногочисленны и не отличались враждебностью. Чернышевский, например, подразумевался при нападках Достоевского на «утилитарную» теорию искусства в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Гораздо резче выпады против Чернышевского в записных книжках 1860—1862 гг. Говоря: «Мы так часто задевали. . .», Достоевский, быть может, имеет в виду и выпады против Чернышевского некоторых сотрудников журнала, например Н. Н. Страхова.

Стр. 177. «Отечественные записки», после этих кравот, поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. — В июльской книжке «Современника» за 1861 г. Чернышевский поместил вторую половину «Полемиических красот» («Коллекция вторая, красоты, собранные из „Отечественных записок“»). Достоевский имеет в виду следующие отклики на них и на ряд других статей Чернышевского («О причинах падения Рима», «Граф Кавур», «Непочтительность к авторитетам» и др.), напечатанные в августовской книжке «Отечественных записок» за 1861 г.: 1) Н. В. Альбертини. Политические идеи Токвиля и отзыв о нем в «Современнике»; 2) Н. В. Альбертини. Автору «Полемиических красот»; 3) К. Н. Бестужев-Рюмин. Французские софизмы в параллель с русскими; 4) Анонимный обзор в отделе «Русская литература», принадлежащий, судя по некоторым полемиическим выпадам, перу фактического редактора журнала С. С. Дудышкина; 5) заключительную часть раздела «Современная хроника России», написанную С. С. Громекой; 6) приложенное к этой хронике пространное письмо «От С. С. Громеки к Н. Г. Чернышевскому». Все эти публицисты обвиняли Чернышевского в поверхностной или грубо тенденциозной интерпретации текущих проблем политики, философии, истории и литературы.

Стр. 177. . . . только в «Десяти итальянках» и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. — «Десять итальянок» — «A decade of italian woman» — нечто вроде исторического романа или очерков английского писателя Томаса Адольфуса Троллопа (1810—1892). В августовской книжке «Отечественных записок» за 1861 г. печаталось окончание этого произведения, без указания имен автора и переводчика.

Стр. 177. То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. — Упоминаний о таких брошюрах в книжках «Русского вестника» и «Современной летописи» за 1861—1862 гг. нет. В указателе литературы о Чернышевском, относящейся к этому периоду, о нем зафиксирована только одна брошюра: С. С. Гоголкин. Заметка на статью «Современника» «Национальная бестактность». Изд. 2-е, Львов, 1864. По словам автора указателя, «заметка» эта, датированная ноябрем 1861 г., представляла собою «оттиск из какого-то заграничного издания», вышедшего в свет, надо полагать, в конце 1861 или в начале 1862 г. (см.: О Чернышевском. Библиография. 1854—1910. Составил М. Н. Чернышевский. Изд. 2-е, испр. и доп., СПб., 1911, стр. 8, 12). Но эта брошюра была написана не в Москве и скорее всего позже настоящей статьи Достоевского. Возможно, говоря об «отдельных брошюрах», Достоевский подразумевал направленную против Чернышевского статью П. Д. Юркевича (1827—1874) «Из науки о человеческом духе», которая сначала была напечатана в «Трудах Киевской духовной академии» (1860, № 4) и перепечатывалась затем, в весьма значительных извлечениях, в апрельской и майской книжках «Русского вестника» за 1861 г. Достоевского могло ввести в заблуждение следующее замечание Каткова, предвещающее перепечатку статьи Юркевича в «Русском вестнике»: «Имя г-на Юркевича, преподающего в Киевской академии философию, встретилось нам здесь впервые, под статью, которая по своему объему (195 страниц) могла быть издана особою книжкою» (РВ, 1861, № 4, стр. 79).

Стр. 177. . . . к чему вы напечатали стихотворение князя Вяземского. . . — Речь идет о стихотворении П. А. Вяземского из цикла «На дороге и дома», напечатанном в августовском номере «Русского вестника» за 1861 г. под рубрикой «Заметка». По-видимому, Достоевский истолковал это стихотворение как пасквиль на Чернышевского, использованный Катковым в качестве ответа на «Полемиические красоты». Любопытно приблизительно аналогичная реакция на это стихотворение со стороны И. С. Тургенева. 30 октября (11 ноября) 1861 г. он писал Достоевскому: «Сейчас прочел стихотворение Вяземского в „Русском вестнике“. Экая мерзость! — Нет, видно, кроме Вашего журнала, нигде участвовать нельзя» (Тургенев, Письма, т. IV, стр. 302).

Стр. 177. . . мы уже вам пророчили прежде, что вы рано ли, поздно ли, поворотите на одну дорожку. Дорожка эта торная, гладкая. — Достоевский имеет в виду свою оценку направления «Русского вестника», высказанную в статье «Книжность и грамотность»: «„Русский вестник“, вступив благополучно на свою новую болгаринскую дорогу, дошел наконец до того, что, по свидетельству „Отечественных записок“, усомнился даже в существовании русской народности» (см. выше, стр. 8). Прогноз Достоевского оправдался, и впоследствии он с удовлетворением вспоминал в статье «Необходимое литературное объяснение, по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (1863), что «Время» «обличало г-на Каткова и предрекало ему новобуларинский путь» уже в самом начале шестидесятых годов.

РАССКАЗЫ Н. В. УСПЕНСКОГО

(Стр. 178)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 12, отд. II, стр. 174—183, без подписи (ценз. разр. — 28 декабря 1861 г.).

В собрание сочинений включено впервые в издании: 1918, т. XXII, стр. 145—160.

Печатается по тексту первой публикации.

Как и статья «Выставка в Академии художеств за 1860—61 год», данная статья не была включена Н. Н. Страховым в составленный им, по просьбе вдовы писателя, список статей Достоевского, опубликованных анонимно во «Времени» и «Эпохе». Впервые она была приписана Достоевскому по содержанию и стилистическим признакам Л. П. Гроссманом (1918, т. XXII, стр. 142—144). Аргументацию Гроссмана дополняют и расширяют наблюдения О. фон Шульца (*Schoultz*, SS. 6, 41, 46) и Г. М. Фридлендера (История русской критики, т. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 274; *Фридлендер, Эстетика Достоевского*, стр. 147). Совокупность приведенных всеми ими доказательств позволяет в настоящее время уверенно считать Ф. М. Достоевского автором статьи.

Из конкретных указаний Гроссмана на принадлежность статьи Достоевскому наиболее существенны следующие. Анонимный автор говорит о Н. Успенском: «Надо принять во внимание, что он явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого < . . . > если б он первый, раньше поименованных писателей, явился к нам с своими картинками из народной жизни, мы бы судили о нем совсем по-другому. То-то и есть лиха беда начало!» Гроссман справедливо подчеркнул, что «это характернейший для Достоевского критерий», применяемый им даже ко Льву Толстому (1918, т. XXII, стр. 142): эти слова сходны с заключением Достоевского о прозе Пушкина и Толстого в письме к Н. Н. Страхову от 24 марта (5 апреля) 1870 г.: «Явиться с „Арапом Петра Великого“ и с „Белкиным“ значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с „Войной и миром“ значит явиться после этого *нового слова*». Гроссману принадлежат и первые указания на соответствие критических суждений анонимного автора о «фотографичности» изображений Успенского с общелитературной позицией Достоевского и на их перекличку с рассуждениями на ту же тему в статье «Выставка в Академии художеств». Не менее важно отмеченное Г. М. Фридлендером совпадение оценки рассказов Н. Успенского с оценкой их в статье «Два лагеря теоретиков» (1862).

В 1861—1862 гг. именно Достоевский вел во «Времени» упорную полемику с Катковым. Отголоски ее слышатся и в настоящей статье, что также может свидетельствовать в пользу принадлежности ее писателю. Анонимный автор замечает как бы вскользь: «Теперь иному нашему мудрецу общественные

особенности Англии несравненно знакомее, чем русские, которых он не только не видит и не понимает, но даже потерял всякую способность чутья и понимания их. . .» Это типичный для Достоевского-полемиста выпад против редактора «Русского вестника», которого он неоднократно порицал за неуважение к русской литературе и народности, за англоманию и надменный общественный индифферентизм (ср. выше, стр. 110—111, 113, 114, 139, 173, 176). Далее мы читаем: «Наш журнал обвиняют в том, что мы хотим понять и изучить современность одним искусством и какими-то еще восторгами художников и поэтов». Здесь подразумевается в первую очередь опять-таки Катков, который в связи с началом публикации во «Времени» «Ряда статей о русской литературе» попытался инкриминировать этому журналу (и прежде всего Ф. М. Достоевскому) потворство поборникам эстетики искусства для искусства. В статье «Наш язык и что такое вистуны» он писал о Достоевском: «В пример того великого действия, которое истинная художественность производит на душу человеческую, критик берет из русской поэзии одно маленькое стихотворение, которое либо по нашему невежеству вовсе было неизвестно нам, либо по бесчувствию было нами забыто. Мы и теперь не знаем в точности, чье это стихотворение — г-на Полонского, г-на Фета или кого другого. Стихотворение это называется „Диана“. . .» (РВ, 1861, № 3, стр. 15). Процитировав отрывок из статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве», в котором шла речь о названном стихотворении Фета (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 96—97), Катков продолжал с издевкой: «Какое прелестное место! Возьмите эти слова отдельно, что найдете вы сказать против них? Их нельзя прочесть иначе как с наслаждением, они так наркотически шевелят наш мозг и приводят в такую приятную игру целую вереницу представлений. Но слышите эти прелестные слова, „эту страстную жизненность“, это „ждет и верит“, это „моление“, эту „тоску о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему“, слышите все это с предметом слов, слышите слово с смыслом . . . и вы поймете вполне, что хотели мы сказать, говоря о статьях, которые могут быть очень хороши, если взять их отвлеченно, то есть независимо от предмета. Не слычайте мыслей с их предметом и слов с их смыслом, и вам будет легко жить на свете и приятно читать критические статьи. Это тот журчащий поток полупонятий, полуобразов и полутонов, который так непробудно усыпляет нашу маленькую русскую мысль, так одуряет наши невинные умственные движения и так неотразимо затопляет нашу скромную литературу» (РВ, 1861, № 3, стр. 16).

Предвидя подобного рода обвинения, Достоевский еще в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» выделял фетовское стихотворение из ряда обычных антологических стихотворений: «Конечно, мы согласны, может существовать и такой гадецкий антологический червячок, который действительно потерял всё чутье действительности, который не понимает, что у него тоже есть жизнь, который перебрался в прошедшее и поселился там. . . Что ж делать? И тем и этим жить надо. Действительность слишком разнообразна» (наст. изд., т. XVIII, стр. 97—98). Анонимный автор данной статьи разделяет эту точку зрения. Не желая повторять уже сказанного, он в ответ на обвинения Каткова ограничивается лаконичной отповедью: «Мы никогда не говорили такого вздора; мы всегда только отстаивали и заявляли самостоятельное значение искусства, естественность его самостоятельности и, таким образом, его полную необходимость в деле общественного развития и сознания, но вовсе не исключительность. Впрочем, мы писали для тех, которые способны хоть что-нибудь понимать» (стр. 181—182).

Успенский Николай Васильевич (1837—1889) — русский беллетрист-демократ, автор рассказов и очерков из народной жизни, высоко оцененных Н. А. Некрасовым и революционно-демократической критикой 1860-х годов, а также И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, Достоевским, И. А. Буниным.

В августе 1861 г. печатаниями Некрасова был издан первый сборник рассказов Н. В. Успенского (Рассказы Н. В. Успенского, ч. 1—2. СПб., 1861), объединивший его произведения, печатавшиеся в «Современнике» 1858—1861 гг. Сборник этот был воспринят современниками как одно из программных произведений демократической беллетристики 1860-х годов

и вызвал оживленные споры в тогдашней критике и журналистике о задачах и методах изображения народной жизни (см. об этом во вступительной статье Е. И. Покусаева и примечаниях М. Я. Блинчевской к книге: Н. Успенский и й. Повести, рассказы и очерки. Гослитиздат, М., 1957, а также в статье и примечаниях К. И. Чуковского к книге: Н. Успенский и й. Сочинения. Изд. «Academia», М.—Л., 1933). Выходом первого издания «Рассказов» Успенского и возникшей по этому поводу дискуссией вызвана и статья «Времени» о нем.

Н. Г. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» (С, 1861, № 9, стр. 79—106; *Чернышевский*, т. VII, стр. 855—889) оценил рассказы Н. В. Успенского как предвестие нового этапа в изображении народа в литературе 1860-х годов: Григоровича, Тургенева и других дворянских беллетристов сочувствие народу побуждало в той или иной мере закрывать глаза на темноту и невежество тогдашней народной массы, обделенной не только политическими правами и материальными благами, но и сознанием своего угнетенного положения и своих интересов. Н. Успенского же горячая любовь к народу заставляет быть к нему беспощадным — таков основной тезис статьи Чернышевского. Ибо лишь освободившись от всяких утешительных иллюзий относительно социально-экономического положения народных масс и уровня их исторической сознательности, литература и революционное движение смогут действительно помочь пробуждению народа, повороту его на путь активной борьбы с самодержавием.

Достоевский подошел к оценке рассказов Н. Успенского и их значения с других позиций. Не случайно в начале статьи он подчеркивает, что Н. Успенский как автор народных рассказов «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого», которые сказали о народе «во сто раз более, чем он, и сказали верно. . .» (стр. 178). В этом можно усмотреть прямую полемику со статьей Чернышевского. Русская литература, по мысли Достоевского, при всех своих достижениях «не доросла еще до широкого и глубокого взгляда» на народ. Это — дело будущего. Пока же она выразила не столько идеалы самого народа, сколько «мысль высших классов общества» о нем (стр. 178, 178—179).

Н. Успенский «подходит к народу правдиво и искренно» — в этом его заслуга, по Достоевскому. Но — и здесь писатель возвращается к положениям, высказанным им недавно в статье «Выставка в Академии художеств» в связи с разбором картины Якоби — одного этого мало. Писателю нужны не только знание жизни, наблюдения и факты, но и *современная общественная мысль о народной жизни*, «взгляд и идея . . . выведенные уже вследствие разработки накопленного матерьяла» (стр. 179). Такая идея принципиально отличается от «предзаданного, заранее составленного взгляда», мешающего художнику уловить реальную правду жизни (там же).

Недостаток рассказов Успенского, как и картины Якоби, Достоевский усматривает в том, что в них не ощущается «выжитая действительною жизнью мысль» (стр. 179). Отсюда упрек его по адресу Успенского, как и Якоби, в «дагерротипизме». Лишь поднявшись на более высокую ступень реализма, на ступень, где наблюдения и факты освещаются мыслью художника — не «предзаданной», а выведенной из самой жизни и помогающей ее глубокому творческому осмыслению, Н. Успенский и разночинно-демократическая литература в целом могут стать тем «новым словом» о народе, которого требует историческая эпоха, по которой еще не сказано, — таков общий вывод Достоевского, переключившийся с его более поздней оценкой деятельности другого видного представителя демократической литературы 1860-х годов — Ф. М. Решетникова — в письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) мая 1871 г.: «*Нового слова*, заменяющего помещицье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове, уже не помещицьего). . .»

Стр. 178. Г-н Успенский пишет со уже несколько лет, и печатается почти всегда в «Современнике». — Только два первых рассказа Н. В. Успен-

ского — «Старуха» и «Крестины» были напечатаны в журнале «Сын отечества» (СО, 1857, №№ 18, 24). После этого с февраля 1858 г. он стал постоянным сотрудником «Современника».

Стр. 178. . . . он пользуется в публике некоторым вниманием, особенно благодаря рекомендациям «Современника». — В статье «Не начало ли перемены?» Н. Г. Чернышевский писал: «Публика считает маленькими пьесы г-на Успенского заслуживающими внимания. Отчего же это? Нам кажется, что причину тут не одна беспорядочная талантливость. . . Есть у г-на Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас» (Чернышевский, т. VII, стр. 856). Он же, рецензируя в «Современнике» (С, 1861, № 4) двухтомное собрание «Картин из русского быта» В. И. Даля, подчеркивал: «В одной страничке очерков Успенского или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г-на Даля» (там же, стр. 983). По существу, лестной рекомендацией творчеству Успенского являлись также критические замечания об устаревшей хрестоматии А. Д. Галахова, высказанные Н. А. Добролюбовым в рецензии на сборник «Русская лира» (С, 1860, № 4): «. . . до сведения юношества дошло, что есть теперь у нас и другие замечательные писатели, о которых хрестоматия г-на Галахова ничего не сообщает. . . Тогда явилась потребность в другом сборнике, по возможности без Ломоносова, Державина, Княжнина и т. п. и по возможности более с Кольцовым, Лермонтовым, Аксаковым, Майковым, Огаревым, Полонским, Тютчевым, Фетом, Гончаровым, Григоровичем, Островским, Писемским, Толстым, Тургеневым, Успенским, Щедриным и пр.» (Добролюбов, т. VI, стр. 186—187).

Стр. 179. Так поступает иногда и газета «День» ∞ (№ 9-й Дня). — Достоевский отсылает читателя к одной из передовых статей И. С. Аксакова в газете «День», в которой утверждалось, что без такого перехода невозможно успешное решение «вопроса о земских повинностях, об областном управлении, о судопроизводстве и о прочих преобразованиях, необходимость в которых так уже гласно заявлена» (Д, 1861, № 9, 9 декабря). Вопрос об отношении аксаковского «Дня» к земству и пореформенному дворянству затрагивается Достоевским несколько позже также в статье «Два лагеря теоретиков» (1862).

Стр. 181. Эдак пришлось бы ∞ Островского растянуть на двести томов, да и тогда эти двести томов не передали бы нам того, что передал Островский в двух. — Намек на первое двухтомное собрание сочинений А. Н. Островского, изданное Г. А. Купелевым-Безбородко (СПб., 1859).

Стр. 183. Два парня-работника лежат на печи. — Достоевский характеризует основное содержание рассказа Н. Успенского «Змей» (1858).

П Р И Л О Ж Е Н И Е I

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВОПРОС ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ

(Стр. 187)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Вр, 1861, № 11, отд. II, стр. 76—104, без подписи (ценз. разр. — 7 ноября 1861 г.).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья «Вопрос об университетах» — вторая из двух статей, помещенных под общим заголовком «Ряд статей о русской литературе. Статья пятая». Она явилась заключительным звеном названного цикла, так как задуманное Достоевским продолжение его (см.: т. XVIII, стр. 238) осуществлено не было и в журнале не появилось.

Статья «Вопрос об университетах» не была включена Н. Н. Страховым в список журнальных статей Достоевского, составленный по просьбе вдовы писателя при подготовке первого посмертного издания сочинений (см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 209). Поэтому она не была введена в это и во все последующие издания сочинений Достоевского. Вопрос о возможности и о степени участия Достоевского в написании данной статьи впервые был поставлен В. С. Нечаевой, высказавшей обоснованное предположение, что если автором первой главки статьи «Вопрос об университетах» мог быть как Ф. М., так и М. М. Достоевский, то вторая ее главка по содержанию и стилю с большей долей вероятности должна быть приписана младшему из двух братьев (*Нечаева*, «*Время*», стр. 144—148).

Анализ обеих частей пятой, завершающей публикации из цикла «Ряд статей о русской литературе» свидетельствует прежде всего о тесной связи, существующей между обеими статьями, вошедшими в состав этой публикации.

Приступая к первой статье, посвященной газете «День», Достоевский пишет: «Вот явилась газета „День“, всего только пять номеров, а уж поднялась ругань. Явился „новый вопрос“ об университетах, и вот полился на нас целый водопад статей об университетах. Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях. . .» (стр. 57; курсив наш, — *Ред.*).

В начале же статьи «Вопрос об университетах» мы читаем: «В первом номере газеты „День“ помещена была статья об университетах покойного Хомикова» (стр. 187). И далее почти буквально повторяется то, что было сказано в первой статье: «Как только г-н Костомаров появился со своей статьей в 237 № „С.-Петербургских ведомостей“, так тотчас же со всех сторон, как водопад, полились статьи об университетах» (стр. 187, курсив наш, — *Ред.*).

Отсюда ясно, что обе статьи были подготовлены к печати одним лицом. Последнее постаралось установить между ними внутреннюю связь и мотивировать для читателя появление двух статей на разные темы в одной книжке журнала, под объединяющим их общим заголовком. Поскольку первая статья, как мы знаем, принадлежит Ф. М. Достоевскому, а начало второй статьи варьирует и повторяет начало первой, из двух редакторов журнала этим лицом мог быть только он. Есть основания считать значительной долей участия его и в создании коллективной статьи «Вопрос об университетах».

В пользу авторства Достоевского может быть выдвинут целый ряд соображений:

1) в начале второго раздела о русских университетах в статье говорится, что, как обнаружило обсуждение этого вопроса, они в последнее время «стремятся сознать себя частью живого организма всей России, а не искусственной пересадкой из иностранной земли, чем они и были долгое время, то есть по крайней мере столько же, сколько была этим пересадком наша литература, наш европеизм и весь новый русский человек, только теперь, только в наш век начавший понемногу сознавать себя, свою личность, свое положение. . .» (стр. 203); приведенные слова связывают статью «Вопрос об университетах» с общей проблематикой цикла «Ряд статей о русской литературе», сформулированной Ф. М. Достоевским во введении к нему;

2) автор в сходном с Достоевским тоне полемизирует с «Русским вестником» М. Н. Каткова;

3) пронизируя над выдвинутым в «Современной летописи» «Русского вестника» предложением о строгом надзоре над русскими учеными, посылаемыми для усовершенствования за границу, автор статьи во «Времени» так формулирует позицию катковских изданий: «Чуть отвернулось от него (русского ученого-стипендиата, — *Ред.*) бдительное око надзора, как уже он тотчас в bal-Mabille и за гризетками!» (стр. 208). И по содержанию и по тону фраза эта перекликается с ироническим описанием Парижа и традиционных представлений о нем русских туристов в позднейших «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), где также фигурирует форма «мабиль» (вместо более правильного: Mabille — см.: наст. изд., т. V, стр. 49, 362, 363);

4) высмеивая призыв «Современной летописи» к «неустанному надзору» над лицами, окончившими университет и посылаемыми для усовершенствования за границу, автор статьи во «Времени» горячо берет под защиту русское юношество; он обвиняет «Русский вестник» в неуважении к нему и отвергает «систему наград и похвальных листов» (стр. 208); это близко напоминает позднейшие высказывания Достоевского на ту же тему (см., в частности, письмо Достоевского к В. П. Меццерскому от начала ноября 1873 г., где Достоевский, как редактор «Гражданина», протестует против помещения в журнале строк Меццерского о необходимом «труде надзора правительства» над учащейся молодежью);

5) полемизируя с «Современной летописью», автор комментируемой статьи спрашивает: «Да жила ли вы в губерниях? <...> знаете ли вы губернскую жизнь?» (стр. 209). Из двух редакторов «Времени» (если считать, что автором статьи был скорее всего один из них) жизнь в губерниях была известна лишь Ф. М. Достоевскому, так как брат его после 1840-х годов жил только в Ревеле и Петербурге (впрочем, слова эти мог написать также и Страхов).

Ни один из приведенных аргументов не дает основания приписать статью «Вопрос об университетах» единоличному авторству Достоевского. Но в своей совокупности они свидетельствуют об его участии в ее написании. Скорее всего Ф. М. Достоевский принимал значительное (если не основное) участие в написании начала и конца статьи, материал для средней ее части (стр. 188—202) подготовлен кем-то другим (М. М. Достоевским? Н. Н. Страховым?); хотя и она, по-видимому, несет на себе определенные следы редактуры писателя.

Статья «Вопрос об университетах» — отклик редакции «Времени» на развернувшееся в 1861 г. в русской печати (и продолжавшееся в течение последующих лет) обсуждение предстоящего преобразования системы университетского образования в России.

До 1860-х годов в России действовал университетский устав 1835 г., разработанный министром народного просвещения Николаем I С. С. Уваровым, автором известной реакционной формулы «самодержавие, православие, народность». Устав 1835 г. всецело подчинял университеты назначаемым правительством попечителям, устанавливал обязательное преподавание на всех факультетах богословия, церковной истории и действующего права и опутывал профессоров и студентов — как внутри университета, так и вне его стен — мелочной, тщательной разработанной системой казенно-полицейской опеки. Особенно нестерпимым положение университетов стало в эпоху «мрачного семилетия» (1848—1855), когда Николай I, напуганный революцией 1848 г. на Западе, постарался еще больше урезать программу университетского образования, а также права профессоров и студентов.

Общественный подъем конца 1850-х годов и осознанная постепенно самим правительством Александра II насущная необходимость привести систему высшего образования хотя бы в какой-то мере в соответствие с социально-экономическими потребностями страны, заставили царя в конце 1858 г. образовать при Министерстве народного просвещения комиссию для составления проекта нового устава российских университетов. Составленный комиссией проект устава был направлен для обсуждения в советы университетов, а затем передан для обсуждения и редактирования новой комиссии, составленной из попечителей и восьми профессоров университетов. Выработанная ею редакция проекта вместе с замечаниями на нее, а также журнальными и газетными статьями, посвященными вопросам университетской реформы, была опубликована уже после появления комментируемой статьи в официальном двухтомном издании «Замечания на проект общего устава императорских российских университетов», ч. 1—2 (СПб., 1862).

Обсуждение университетского вопроса и нового проекта университетского устава происходили в начале 1860-х годов в обстановке начинающихся волнений в деревне и подъема студенческого движения, вливавшегося в общее русло демократического движения эпохи. Это сообщило полемике вокруг университетского вопроса в 1861-м и следующих годах яркую политическую

окраску и сделало ее ареной напряженной борьбы между противоположными лагерями тогдашней общественной мысли.

Вспоминая о студенческих волнениях 1861 г. и об отношении к ним редакции «Времени», Страхов писал: «Студенты (Петербургского университета, — *Ред.*) составляли сходки, учредили свою кассу, библиотеку, издавали сборник, судили своих товарищей и т. д. < . . . > Было немало и беспорядков, то есть выходов за границы всевозможных льгот, и начальство решилось наконец принять меры для прекращения этого хода дел. Чтобы заручиться непререкаемым авторитетом, оно исходатайствовало высочайшее повеление, которыми запрещались сходки, кассы, депутаты и тому подобное (имеются в виду реакционные «путятинские» — по имени министра Е. В. Путятина — «временные правила», ограничивавшие также доступ в университеты разночинца, — *Ред.*). Повеление вышло летом, и когда студенты осенью явились в университет, нужно было привести его в исполнение. Студенты задумали противиться < . . . > Власть вынуждена была два или три раза забирать их днем, на улице, огромными толпами < . . . > Их посадили даже в Петропавловскую крепость < . . . > Разумеется, весь город только и говорил о студентах. С заключенными дозволялись свидания, и потому в крепости каждый день являлось множество посетителей. И от редакции „Времени“ был им послан гостинец. У Михаила Михайловича был зажарен огромный ростбиф и отвезен в крепость с прибавкою бутылки коньяку и бутылки красного вина. Когда студентов, признанных наиболее виновными, стали наконец увозить в ссылку, их провожали далеко за город родные и знакомые < . . . > Университет закрыли, с тем чтобы подвергнуть полному преобразованию» (*Биография*, стр. 231—232).

Первая уличная студенческая демонстрация в Петербурге, которую имеет в виду Страхов, происходила 25 сентября 1861 г., нападение полиции и войск на собравшуюся у здания университета толпу студентов, арест нескольких сотен из них и заключение в Петропавловскую крепость — 12 октября, закрытие университета до принятия нового устава (до этого он уже один раз закрывался правительством 25 сентября, но был вновь открыт после первой волны студенческих арестов 11 октября) последовало вскоре после появления статьи во «Времени», 20 декабря 1861 г. 14 октября 1861 г. подал в отставку в знак протеста против действий правительства профессор К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич, Б. И. Утин, А. Н. Пыпин. Как свидетельствуют воспоминания Н. Н. Страхова и Л. Ф. Пантелеева (*Биография*, стр. 231—232; Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. Гослитиздат, М.—Л., 1958, стр. 246, 734), членом редакционного кружка «Времени» было, по-видимому, известно о намерении группы студентов отчаянной попыткой захватить в Царском Селе наследника престола и предъявить Александру II требование конституции. Одновременно с Петербургским университетом волнения студентов происходили в Московском, Казанском и других русских университетах. О положении университетов в конце 1860-х годов и о студенческих волнениях 1861 г. см.: А. В. Никитенко. Дневник, т. II. Гослитиздат, М.—Л., 1955, стр. 243—252; Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. Гослитиздат, М.—Л., 1958, стр. 433—270; 732—739 (примечания С. А. Рейсера); Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. Соцэргиз, М., 1958, стр. 170—196; С. Я. Гессен. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932; История Москвы, т. IV, М., 1954, стр. 303—312; История Московского университета, т. I, М., 1955, стр. 249—254; Очерки истории Ленинграда, т. II, М.—Л., 1957, стр. 246—261.

В этой исторической обстановке появилась во «Времени» статья «Вопрос об университетах». В той же книжке была помещена другая публикация, также явившаяся откликном (хотя и завуалированным) на университетский вопрос в России и связанные с ним общественные события, — обширная рецензия М. И. Владиславлева на книгу В. Игнатовича «История английских университетов» (*Вр*, 1861, № 11, стр. 1—49; анализ этой статьи см.: *Нечаева*, «Время», стр. 142—144; о позднейших выступлениях журнала, посвященных студенческому вопросу и проблемам высшего образования, см.: там же, стр. 149—154).

Непосредственным поводом для выступления «Времени» со статьями по университетскому вопросу явилась публикация в октябре 1861 г. в других периодических изданиях первых статей, посвященных положению русских университетов и характеру необходимых в них преобразований. До этого момента правительство строго ограничивало обсуждение университетского вопроса рамками специальных комиссий, советов профессоров и сбором их мнений в официальном порядке. Теперь же, в октябре 1861 г., перед лицом студенческих волнений, показавших необходимость форсировать университетскую реформу, оно допустило — хотя и ограниченное — обсуждение университетского вопроса в периодической печати.

В августе в журнале «Светоч» издатель Д. Калиновский в статье «Новые правила приема в университеты» (*Св.*, 1861, № 8, Русская хроника, стр. 1—12) начал на передовое студенчество, упрекая его в необоснованных непомерных претензиях на участие общества. С резкой отповедью Калиновскому в защиту студенческой молодежи выступил сотрудник «Современника» И. А. Плотровский (*С.*, 1861, № 9, отд. II, стр. 29—36). Московская славянофильская газета «День» напечатала 15 октября, посмертно, статью А. С. Хомякова, в которой защищались университеты в связи с более ранним походом против них реакции и угрозой их закрытия правительством. Вслед за этим в октябре—ноябре близкая к кругам петербургской университетской профессуры газета «С.-Петербургские ведомости» опубликовала ряд откликов по университетскому вопросу. Здесь со статьями, посвященными задаче и состоянию русских университетов и соображениями о путях их преобразования, выступили видные либеральные профессора — историки Н. И. Костомаров (1817—1885), М. М. Стасюлевич (1826—1914), Н. П. Барсов (1839—1889), исследователь древнерусской литературы М. И. Сухомлинов (1828—1901), ботаник, с 1876 г. — ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов (1825—1902; см. о нем: наст. изд., т. I, стр. 496), а также общественный деятель и педагог А. С. Воронов («Педагог») (1819—1875) и другие лица. Статьи «С.-Петербургских ведомостей», защищавшие необходимость университетской реформы и обосновывавшие различные планы ее как на опыте пережитых русскими университетами в последние годы событий, так и на примере организации современного университетского образования на Западе, вызвали целую серию полемических выступлений в «Современной летописи» — газете, выходившей с 1861 г. в качестве еженедельного приложения к консервативно-охранительному журналу М. Н. Каткова «Русский вестник». Основным автором этих статей, печатавшихся в газете как редакционные, без подписи, был скорее всего помощник по изданию журнала и близкий единомышленник Каткова профессор физики Московского университета, впоследствии биограф Каткова, Н. А. Любимов (1830—1897), но определенное участие в них, по-видимому, принимал и сам Катков. Свою главную задачу консервативные публицисты «Русского вестника» видели в борьбе со студенческим движением и с распространением в русском юношестве освободительных идей. Соответственно они отстаивали приоритет в университетском преподавании казенно-благонамеренного «воспитания» над «образованием» (т. е. приобретением не только узкоспециальных знаний, но и более широкого, независимого философско-научного кругозора, — тезис, который защищала передовая профессура во главе с Костомаровым и Бекетовым), отстаивали сохранение опеки правительства над университетами и строгого надзора над студенчеством и его корпоративной организацией.

В статье «Вопрос об университетах» излагается и анализируется история указанной полемики, с момента появления статей А. С. Хомякова (15 октября) и Н. И. Костомарова (26 октября) до выступления А. Н. Бекетова (17 ноября), и характеризуется позиция каждого из участников дискуссии. Дальнейшие статьи по университетскому вопросу, продолжавшие печататься в «С.-Петербургских ведомостях», «Современной летописи» и других периодических изданиях до конца 1861 г., в ней не учтены. Отсюда очевидно, что статья была закончена вскоре после 17 ноября (ноябрьская книжка «Времени» вышла 30 ноября; цензурное разрешение ее — 7 ноября; но материал продолжал сдаваться в цензуру и после этой даты).

Как уже отмечалось выше, авторы статей в «С.-Петербургских ведомостях» защищали — хотя и не последовательно — университетскую автономию, высказывались за освобождение профессоров и студентов от полицейской опеки, за приближение программы русских университетов к западноевропейским и за необходимость свободного развития науки. Но при этом они не делали попыток выйти за пределы предначертанных правительством узких рамок обсуждения университетского вопроса как *особого, специального вопроса*, находящегося в компетенции администрации и лишь одной профессорской корпорации.

Иной была позиция органов революционной демократии 1860-х годов — «Современника» и «Русского слова». Оба они рассматривали вопрос о реформе высшей школы не как узкоспециальный, частный вопрос, но как часть общего вопроса о политическом и социально-экономическом строе России, требующем радикального обновления. Критикуя старую крепостническую систему высшего образования, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский,¹ Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев и их последователи связывали ее критику с борьбой против всех вообще институтов самодержавно-крепостнического русского общества и государства, без уничтожения которых, как они понимали, не была возможной защищаемая ими последовательная демократизация русских университетов и всей высшей школы.

Как видно из комментируемой статьи, позиция «Времени» по университетскому вопросу имела определенные точки совпадения с программой демократической журналистики. Как и представители последней (и в отличие от либеральных профессоров, помещавших статьи в «С.-Петербургских ведомостях»), авторы статьи «Вопрос об университетах» рассматривают этот вопрос не как частный, узкоспециальный, который подлежит обсуждению лишь одной ученой корпорации и может быть рассмотрен изолированно от остальных насущных вопросов русской жизни, но как выражение *общего* ее состояния. В утверждении этого тезиса — основной пафос комментируемой статьи: «Университет тесно связан с организмом всей земли нашей, как неотъемлемая часть ее, — читаем мы в ней. — Следственно, болезни всего организма — его болезни, процветание всего организма — и его процветание. Если всё тело здорово — и он здоров; если же оно больное, то нельзя вылечить, например, один голько нос» (стр. 203); «... все наши прожектеры и реформисты университетов совершенно не берут в соображение главного: это того практического состояния <...> и положения, в котором находится теперь наша наука» (стр. 206); «Наука у нас почти не требуется на практике» (стр. 204); «Наука в промышленности и торговле находит свое применение. Нет торговли и промышленности — науки теряют огромную часть своих применений. . .» (стр. 205).

Стремление связать университетский вопрос с вопросом об общем — в том числе и о социально-экономическом — уровне развития русского общества, защита образования, которое требует «доверия», а не «враждебного отношения», сближает позицию «Времени» с позицией демократической журналистики эпохи.

Но, критикуя предлагаемые либералами полумеры за их недостаточность, демократические журналы предлагали другую, более глубокую и серьезную программу как университетских, так и общих преобразований.

¹ См. в особенности статью Н. Г. Чернышевского «Опыты открытий и изобретений» (С, 1862, № 1, «Свисток», стр. 44—56 — Чернышевский, т. X, стр. 60—71). В названной статье, включающей пародийный отклик на ту дискуссию об университетском образовании, которая характеризуется в статье «Вопрос об университетах», Чернышевский высмеивает как охранительные идеи «Современной летописи», так и выступления петербургских и московских профессоров — Н. И. Костомарова, М. М. Стасюлевича, Б. Н. Чичерина и других, показывая, что по сути дела позиции охранителей и либералов 1860-х годов в университетском вопросе мало чем отличались друг от друга.

Авторы же статьи во «Времени» — и в этом проявляется непоследовательность их позиции — пишут, что сами они в противовес другим журналам не предлагают «никаких реформ» (стр. 205). Справедливо характеризуя большую часть мер, предлагаемых либеральными профессорами как временные и «пальятивные» (стр. 203), не затрагивающие фундамента общественного здания, авторы вместе с тем вообще осуждают «дух ломки, перестройки, вырывания с корнем, пересадки», «готовность хоть сейчас же ломать и перестраивать сызнова», видя в склонности русского общества к ней «многозначительный и отчасти очень грустный факт» (стр. 206): «У нас все смотрят на науку как-то отвлеченно» (стр. 205). Таким образом, сближаясь с «Современником» в критике либеральных «пальятивов» и связывая, подобно ему, университетский вопрос с общим состоянием русского общества, с необходимостью всестороннего и глубокого изменения всего его «организма», редакторы «Времени» в комментируемой статье, как и в других статьях журнала, защищают в отличие от «Современника» программу мирного, безреволюционного развития России после реформы.

Как уже отмечалось выше, в 1862 г. отредактированный специальной комиссией, созданной Министерством народного просвещения, «Проект общего устава императорских российских университетов» и замечания, высказанные в ходе его обсуждения советами университетов и отдельными лицами, были опубликованы в специальном министерском издании «Замечания на проект общего устава императорских российских университетов» (ч. 1—2. СПб., 1862). Здесь перепечатаны и те статьи «С.-Петербургских ведомостей» и «Современной летописи», которые разбираются и цитируются в статье «Вопрос об университетах» (ч. 2, стр. 155—209). Однако сама статья «Вопрос об университетах» (так же как отклики на университетские темы «Современника» и «Русского слова») в министерское издание не вошла. Факт этот указывает на отрицательное отношение официально настроенных издателей сборника к попытке «Времени», так же как и других тогдашних демократических органов печати, связать обсуждение университетского вопроса с более широким кругом вопросов русской жизни, сделать его предметом дискуссии не одних ученых специалистов, но и «профанов».

После ряда провокативных и дополнительных обсуждений в правительственных верхах разработанный министерством либерально-буржуазный устав был утвержден Александром II 18 июня 1863 г. При окончательном утверждении устава 1863 г. в него был внесен ряд поправок, ограничивающих права русских университетов и студенчества по сравнению с первоначальным проектом. Все же устав 1863 г. был значительным шагом вперед по сравнению с уставом 1835 г. и способствовал приспособлению русских университетов к потребностям нового этапа развития страны.

Стр. 187. *Вопрос об университетах.* — Название данной статьи «Времени» текстуально повторяет злюбленную формулу «Современной летописи», с которой полемизировал журнал братьев Достоевских. Здесь мы читаем: «Вопрос об университетах так близок к нам. . .» (СЛ, 1861, № 44, 1 ноября); «Вопрос об университетах продолжает наполнять столбцы «С.-Петербургских ведомостей»» (СЛ, 1861, № 45, 8 ноября). Это позволяет предположить участие в написании статьи Н. Н. Страхова, который любил пользоваться для названия своих работ аналогичными «готовыми» формулами.

Стр. 187. *«Стой, братцы, стой со ведь вы не так сидите!»* — Цитата из басни И. А. Крылова «Квартет» (1811).

Стр. 187 . . . *статья об университетах покойного Хомякова.* . . — Статья А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России» была помещена в славянофильской газете «День» (1861, № 1, 15 октября, стр. 3—7) с примечанием редакции: «Эта статья Хомякова сохранилась в рукописи и была написана, вероятно, в 1850 году. По некоторым соображениям она не может теперь быть напечатана вполне и не войдет в имеющийся явиться на днях первый том полного собрания сочинений Хомякова, а потому пред-

лагаем ее здесь в отрывках». В собрание сочинений А. С. Хомякова статья была включена лишь в 1911 г. Датируя статью не 1850, а 1858 г., издатели восстановили строки, опущенные по цензурным требованиям в первой публикации. В них Хомяков квалифицировал воздействие органов царского правительства на общественное образование как «действие отрицательное» и критиковал «схоластический характер, недостаточность и шаткость официально преподаваемого учения веры» (А. С. Хомяков. Сочинения, т. I. М., 1911, стр. 349, 352). Критика дореформенной системы образования в России велась Хомяковым с позиций защиты славянофильского идеала воспитания подрастающего поколения в духе патриархальных, семейных и родовых преданий, причем основой воспитания он считал живое религиозное чувство, а не догматическую веру и церковные обряды.

Стр. 187. . . . профессор Костомаров написал свою статью об университетам. — Н. Костомаров. Замечание о наших университетах (по поводу напечатанной в № 1 газеты «День» статьи Хомякова). *СПбВед*, 1861, № 237, 26 октября (цитируемые отрывки — стр. 1305—1306).

Стр. 189. . . . в «Современной летописи» «Русского вестника» в № 44 тотчас же явилось возражение. (Без подписи). — *СЛ*, 1861, № 44, 1 ноября (цитируемые отрывки — стр. 11, 12, 13).

Стр. 190. . . . третье мнение — а на профессора Стасюлевича. . . — М. Стасюлевич. Другое замечание о наших университетах *СПбВед*, 1861, № 241, 31 октября (цитируемые отрывки — стр. 1325). Говоря, что статья Стасюлевича появилась «вслед» за статьей «Современной летописи», «Время» допускает неточность.

Стр. 191. . . . г-н Барсов со утверждает, что из русских университетов надобно сделать *tabula rasa*. . . — Н. Барсов. Третье замечание о наших университетах. *СПбВед*, 1861, 4 ноября, № 245. Закладывая свое «замечание», автор писал: «Пусть будет открыт университет, растворяющий двери для всех, без всяких форм, и учащаяся юность покажет и, главное, сознает сама, что ей надо: мы верим — основание подобного университета будет своего рода *tabula rasa*, на которой крупными буквами напишется всё лучшее и благородное русской национальности» (стр. 1347).

Стр. 191—191. «Нет ничего ошибочнее со не мог быть прочен» — *СЛ*, 1861, № 45, от 8 ноября (цитируемые отрывки — стр. 12, 13, 14. Курсив в цитатах принадлежит редакции «Времени»).

Стр. 192. Пульверизация студенческого быта. . . — Под пульверизацией (от франц. pulvérisation — распыление) автор статьи в «Современной летописи» имел в виду разрушение прежней корпоративной организации студенчества.

Стр. 193. . . . как уже и было делаемо графом Сперанским. — Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839); граф, выдающийся русский государственный деятель времен Александра I и Николая I. После возвращения из ссылки с 1826 и по конец 1830 г. руководил составлением свода законов, возглавляя II отделение собственной е. и. в. канцелярии. К этому периоду относится его мероприятие по подготовке квалифицированных кадров русских правоведов, о чем напоминает автор статьи в «Современной летописи». Придя к выводу, что каждому русскому университету нужен хотя бы один профессор-юрист, Сперанский предложил отобрать наиболее способных студентов духовных академий и университетов, причислить их к возглавлявшемуся им II отделению и направить для дальнейшего образования за границу. Местом обучения группы будущих юристов был избран Берлинский университет. По свидетельству зятя и биографа Сперанского, молодые люди обучались здесь «под надзором» Ф. К. Савиньи (1779—1861), основателя исторической школы права, «были вверены особенному попечению и руководству» профессора А. Ф. Рудорфа (1803—1873). Числясь на государственной службе, студенты, обучавшиеся в 1830—1834 гг. в Берлине (братья С. И. и Я. И. Баршевы, П. Д. Калмыков, Н. И. Крылов, А. В. Куницын и др.) «постоянно представляли II Отделению письменные отчеты» о своих успехах. Сам Сперанский, бывая за границей, каждый раз стремился «переговорить о ходе их занятий с профессорами» (М. А. Корф. Жизнь графа Сперанского.

СПб., 1861, ч. II, стр. 329—330). По возвращении на родину перечисленные выше молодые ученые стали профессорами права в университетах Петербурга, Москвы, Харькова, Казани, Одессы.

Стр. 194. . . . *развить бы приват-доцентство*. . . — Приват-доцент — внештатный преподаватель университета, не имеющий звания профессора и получающий оплату за свои лекции не от университета, а от слушателей. Звания приват-доцента в то время не существовало в России; оно было введено университетским уставом 1863 г.

Стр. 194. *Граф С. Г. Строганов лично знал всех лучших студентов*. . . — Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) с 1835 по 1847 г. попечитель Московского университета. Как отметил Ф. И. Буслаев, он «. . . во время переходных и выпускных экзаменов любил знакомиться с успехами и способностями экзаменующихся студентов и с особенным вниманием и участием следил за теми из них, которые были уже у него на примете по дарованиям и прилежанию. Таких он прочил для будущего их назначения в профессора или в учителя, как например Соловьева, Каткова, Селина, Кудрявцева, Шестакова, Кавелина, Ершова, Давыдова, Авилова» (И. М. Соловьев. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1. СПб., 1914, стр. 138).

Стр. 194. . . . *«Современная летопись» уже в 46<-м> своем номере предумышляет чрезвычайно хитрую вещь*. — СЛ, 1861, 15 ноября, № 46 (цитируемые отрывки — стр. 16, 17).

Стр. 195. . . . *«Университеты у нас служат ∞ местами, сообщающими молодым людям права на чин*. — Согласно ст. 128 Общего устава императорских российских университетов 1835 г., лица, удостоенные ученых степеней, при вступлении в гражданскую службу утверждались согласно действовавшей таблицы о рангах в следующих классах: доктор в 8-м, магистр в 9-м, кандидат в 10-м. Студенты, окончившие университет без ученой степени кандидата, получали 12-й класс (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. II. СПб., 1864, стр. 762).

Стр. 197. . . . *статью «Педагога»*. . . — «Мысли о наших университетах». — СЛБВед, 1861, № 252, 12 ноября (цитируемые отрывки — стр. 1385). «Педагог» — псевдоним А. С. Воронова (см. о нем выше, стр. 344).

Стр. 197. . . . *и профессора А. Бекетова*. — А. Бекетов. Об университетах. СЛБВед, 1861, 17 ноября, № 256 (цитируемые отрывки — стр. 1403, 1404).

Стр. 197. . . . *упомянем еще о заметке, сделанной г-ном Сухомлиновым*. . . — М. Сухомлинов. Четвертое замечание о наших университетах. СЛБВед, 1861, 4 ноября, № 245.

Стр. 197. . . . *«весьма худая та политика ∞ переменять обычаями*. — Цитата из Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения. См.: Сочинения императрицы Екатерины II, т. I. СПб., 1849, стр. 12—13.

Стр. 197. *Мы ничего лучше не делаем ∞ нашей склонности*. — Там же стр. 12.

Стр. 197. *Мы не включаем сюда Дерптского университета*. . . — Дерпт (Юрьев) — прежнее название г. Тарту.

Стр. 203. *«У нас пойдет уж музыка не та!»* — Цитата из басни И. А. Крылова «Квартет».

Стр. 204. . . . *изучать Санхоньятона, || Зубрить «Республику» Платона и т. д., и т. д.* — неточная цитата из поэмы И. С. Тургенева «Помещик» (1846; строка VI). В оригинале: «Он изучал Санхоньятона, || Зубрил „Республику“ Платона. . .» (Тургенев, Сочинения, т. I, стр. 171).

Санхоньятон (Sanhoniathon) — легендарный финикийский историк; в 1836—1837 гг. ему была приписана «История Финикии», оказавшаяся подделкой; «Республика» («Государство») — диалог Платона, в котором он излагает свой проект идеального государственного устройства.

Стр. 206. . . . *по щучьему веленью*. . . — Формула русской народной сказки (По щучьему веленью, по моему хотенью (прошенью), т. е. чудесным образом, само собой). Ср.: А. А. Афанасьев. Русские народные сказки, т. I. Гослитиздат, М., 1957, стр. 409—414 (№№ 166—167);

Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 517—518.

Стр. 206. . . . она ∞ защищала во имя науки учащегося мещанина от полицейских розог. — По университетскому уставу 1804 г. проступки студентов подлежали рассмотрению не городской полиции, а университетского суда, шкала взысканий которого исключала телесные наказания. Этот пункт устава продолжал действовать и после 1835 г.

Стр. 206—207. *Говорят иные ∞ что студенту нужна действительная жизнь*. . . — Имеется в виду А. Н. Бекетов. См. его цитируемые выше слова о «жизни вне университета со всеми ее приманками и тяжкими испытаниями» как «могучем воспитательном элементе» (стр. 201). Ср. также полемические замечания по адресу Бекетова в конце статьи («. . . мы не можем с ним во всем согласиться, как, может, и понял читатель» — стр. 209).

Стр. 207. *Науку не следует вести на помочах*. . . — Формулировка, текстуально совпадающая с одним из основных тезисов А. Н. Бекетова: «Юноша, которого ведут на помочах к известной цели, предохраняя его искусственно от житейских соблазнов, непременно утратит часть своих способностей, если не будет в состоянии действовать против своих влечений. < . . > Главное условие при университетском образовании заключается в том, чтобы познания приобретались добровольно. Человек, работающий по принуждению, не может работать хорошо. Это будет тот же крепостной труд. . . » (*СПбВед*, 1861, № 256, стр. 1404; ср. выше, стр. 201 и 209).

Стр. 207. . . . *выше облака ходячего*. . . — Формула, восходящая к традиционным сравнениям русских былин (Выше лесу стоячего, ниже облака ходячего). Ср.: Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Изд. «Художественная литература», М., 1966, стр. 136.

Стр. 208. . . . *уже он тотчас в bal-Mabille — и за гризетками!* — Баль-Мабиль (вернее: Mabilie — Мабий) — увеселительное заведение (кафепаптан) в Париже, где устраивались публичные балы с канканом. Ср.: наст. изд., т. V, стр. 49 и 362—363.

Стр. 209. *«Молодой человек ∞ это всё сам написал?»*. — Автор статьи жгато излагает своими словами предложения, сформулированные в третьей статье «Современной летописи» (1861, № 46, стр. 18—19). Ср. выше, стр. 194—195.

Стр. 209. . . . *мысль г-на Бекетова, что всё зависит от учителей и профессоров*. . . — Ср. выше, стр. 200—202.

П Р И Л О Ж Е Н И Е II

РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМЕЧАНИЯ ИЗ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ОЧЕРКЕ М. И. СЕМЕВСКОГО «ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ»

(Стр. 211)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 1, на задней стороне обложки журнала (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

Печатается по тексту первой публикации.

Объявление в равной мере может принадлежать Ф. М. и М. М. Достоевским.

Очерк историка, постоянного сотрудника журналов братьев Достоевских М. И. Семевского «Царица Прасковья» был напечатан: *Вр*, 1861, №№ 2—5 (о Семевском см.: наст. изд., т. XVIII, стр. 296).

Судя по письму М. И. Семеvского к М. П. Погодину от 11 декабря 1860 г., публикация очерка должна была начаться с первого же, январского номера журнала: «Первая половина труда уже печатается в журнале «Время». Изданье новое, и редакторы (Достоевские) Христом-богом просили «Прасковью» к себе» (*ЛН*, т. 86, стр. 377).

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ А. А. ГРИГОРЬЕВА «О ПОСТЕПЕННОМ, Н О БЫСТРОМ И ПОВСЕМЕСТНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕВЕЖЕСТВА И БЕЗГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (ИЗ ЗАМЕТОК НЕУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА)»»

(Стр. 241)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 3, отд. V, стр. 39, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 21 февраля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 569.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья подписана псевдонимом А. А. Григорьева — «Один из многих ненужных людей».

Очевидный смысл примечания — мистифицировать читателя и представить ведущего литературного критика «Времени» неизвестным лицом, пригласившим статью в редакцию. По-видимому, редакторы сочли необходимым в примечании отмежеваться от некоторых парадоксальных и резких суждений А. Григорьева о современных литературных явлениях. Как нам известно, оба брата Достоевских относились к статьям А. Григорьева настороженно, а иногда и прямо выражали несогласие с его взглядами и оценками (см.: *Биография*, стр. 204; *Григорьев, Воспоминания*, стр. 476). Но стилистические признаки дают основание считать автором данного примечания ответственного за отдел критики Ф. М. Достоевского.

В самом общем виде разногласия братьев Достоевских с Григорьевым декларируются в этом редакционном примечании. Помещая полемически острую статью Григорьева, не все положения которой они разделяли, редакторы остались верны принципу, сформулированному в программных объявлениях об издании журнала, не падать литературных авторитетов и смело участвовать в идейной полемике. «Закулисные тайны литературы», которых касается А. Григорьев, должны быть известны публике; ее нужно уважать, а следовательно, и больше доверять «прямому и здравому чутью» читателей — так формулирует свою позицию редакция «Времени». Эта формулировка развивает, в частности, тезисы анонимной статьи «Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и Нового Поэта» (см.: *Вр*, 1861, № 1, стр. 46—65).

«ПРИМЕЧАНИЕ К РОМАНУ Э. ГАСКЕЛЛ «МЕРИ БАРТОН»»

(Стр. 241)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 4, отд. I, стр. 523, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 19 апреля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 569.

Печатается по тексту первой публикации.

Роман английской писательницы Э. Гаскелл (Elisabet Gaskell, 1810—1865) «Мери Бартон» (1848) публиковался в журнале в переводе Е. А. Беке-

товой (жены давнего знакомого Достоевского и бабки А. А. Блока) в №№ 4—9 «Времени» за 1861 г. По свидетельству Блока, он унаследовал от бабки и берег в своей библиотеке тот «экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский» (*Блок*, т. 7, стр. 11). О причинах, которые могли вызвать интерес Достоевского к роману Гаскелл и о близости отдельных его идейных мотивов к «Преступлению и наказанию» см.: Л. П. Гроссман. Достоевский и чартистский роман. «Вопросы литературы», 1959, № 4, стр. 147—158; *Фридендер*, стр. 203; ср.: там же, стр. 300. Поскольку роман был выбран для перевода Ф. М. Достоевским, ему же, по-видимому, принадлежит и данное примечание. Оно повторяет тезисы писателя об отличии русской цивилизации от западноевропейской (см. выше, стр. 19). Впрочем, в данном случае подчеркнута «благонамеренная» формулировка о «наделе крестьян наших землей», навсегда спасающей Россию от «язвы» пролетариата, могла возникнуть и вследствие особой оглядки на цензуру — нужно учесть, что роман Гаскелл начал печататься во «Времени» вскоре после манифеста 19 февраля, в обстановке крестьянских волнений и напряженных дебатов о будущем страны.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. Н. СТРАХОВА «НЕЧТО О ПЕТЕРБУРГСКИХ
ЖУРНАЛАХ»»

(Стр. 212)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 4, отд. II стр. 121, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 19 апреля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании 1926, т. XIII стр. 570.

Печатается по тексту первой публикации.

«Нечто о петербургских журналах» — первое из серии полемических писем в редакцию Н. Н. Страхова, подписанное «Н. К.» (впоследствии псевдоним этот раскрылся: Н. Косица). Примечание представляет выпад против А. А. Краевского и его журнала «Отечественные записки». Поскольку Достоевский особенно не любил Краевского и в статьях 1861—1864 гг. постоянно остро полемизировал с ним, есть основание считать его автором данного примечания (ср. выше, стр. 82, 267—268, а также: В. В. Виноградов. Достоевский в А. А. Краевский. В кн.: *Достоевский и его время*, стр. 17—32).

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «МАДАМ ЛАФАРЖ
ИЗ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ»»

(Стр. 212)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 5, отд. I, стр. 162, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 4 мая 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 570.

Печатается по тексту первой публикации.

Содержание и стиль примечания указывают на авторство Ф. М. Достоевского.

Компилятивная статья «Мадам Лафарж — очередная из серии публиковавшихся во «Времени» очерков знаменитых французских уголовных процессов. Как и два предыдущих очерка, составленных Р. Р. Штрандманом

(«Процесс Ласенера» — *Вр*, № 2, стр. 1—50) и Дорошенко («Лезюнк. Из уголовных дел Франции (1796—1851). Случай судейской ошибки» — *Вр*, № 4, стр. 411—457), очерк этот — перевод (частично пересказ) статьи «Madame Lafarge» (1840) из собрания А. Фукье «Знаменитые процессы всех народов» (*F o u q u e r Armand. Causes célèbres de tous les peuples. Edition illustrée. T. I, liv. 7—8. Paris, Lebrun, 1857—1874*) — см. выше, стр. 284; ср.: В. Д. Р а к. Источник очерков о знаменитых уголовных процессах в журналах братьев Достоевских. *Материалы и исследования*, т. I стр. 239—241).

Перевод, по-видимому, принадлежит Ю. П. Померанцевой, которой, согласно гонорарным ведомостям журнала, было выплачено за № 5 «Времени» 30 рублей. Ф. М. Достоевский воспользовался деталями процесса Лафарж в полемике с М. Н. Катковым в статье «Ответ „Русскому вестнику“» (стр. 128).

«ПРИМЕЧАНИЕ К «ПОВЕСТИ ОБ ОДНОМ СУМАСШЕДШЕМ ПОЭТЕ»
П. А. КУСКОВА»

(Стр. 212)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 5, отд. I, стр. 240, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 4 мая 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в изданиях: 1926, т. XIII, стр. 570.

Печатается по тексту первой публикации.

Примечание, которое по стилистическим признакам можно приписать Ф. М. Достоевскому, позволяет говорить о сочувственном отношении последнего к П. А. Кускову (1834—1909). Стихи и фельетоны Кускова вызывали насмешки не только демократических журналов — «Русского слова» и «Современника», но и А. Григорьева, настаивавшего на удалении Кускова из числа сотрудников «Времени» (*Григорьев, Воспоминания*, стр. 442). «Оригинальность» формы и независимость позиции были теми качествами, которые в глазах Ф. М. Достоевского, по-видимому, искупали недостатки произведений этого забытого литератора 1860-х годов.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ»»

(Стр. 212)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 5, отд. II, стр. 41, с подписью: *Ред.* (ценз. разр. — 4 мая 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в изданиях: 1926, т. XIII, стр. 570.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья, к которой относится примечание, анонимная. О. фон Шульц приписал ее Ф. М. Достоевскому (см.: *Schoultz*, стр. 8). Б. В. Томашевский обоснованно отклонил атрибуцию Шульца, высказав предположение, что статья принадлежит А. А. Григорьеву (см.: 1928, т. XIII, стр. 610). Однако следует согласиться с Б. Ф. Егоровым, отводящим эту атрибуцию «по следующим соображениям: 1) в статье содержится характеристика пушкинской Татьяны («Изукрашенная», т. е. приукрашенная), которой никогда бы не допустил Григорьев; 2) автор в споре западников и славянофилов не может «не отдать предпочтения западничеству», что исключено для Григорьева 1861 г. 3) автор был студентом «лет 16—17 тому назад», т. е. в 1844—1845 гг.,

когда Григорьев уже давно закончил курс учения; 4) статья написана фельетонным, легковесным тоном, крайне нехарактерным для Григорьева» (Б. Ф. Егоров. Библиография статей и писем Ап. Григорьева. «Труды по русской и славянской филологии». Тарту, 1960, вып. 98, т. III, стр. 245).

Можно высказать предположение, что автором статьи был А. Н. Плещеев. Она написана человеком 40-х годов, увлекавшимся идеями утопического социализма и — что еще важнее — сохранившим верность увлечениям молодости. Автобиографические данные, приведенные в статье, также говорят в пользу авторства Плещеева, поступившего в Петербургский университет в 1843 г. и учившегося там до лета 1845 г.

Статья написана по поводу драмы П. Д. Боборыкина «Ребенок» (1861). А. Н. Плещеев в 1850—1860-е годы часто выступал с театральными обзорами и рецензиями в газетах «Московский вестник» и «Московские ведомости»; в «Заметках кое о чем», он, в частности, высоко оценил комедию П. Боборыкина «Однодворец», поставив ее «гораздо выше» «Свадьбы Кречинского» А. В. Сухова-Кобылина (*МВ*, 1860, 16 октября, № 42, стр. 672). В пользу авторства Плещеева свидетельствуют и гонорарные ведомости журнала: за май месяц ему было выплачено 150 рублей (за повесть «Ловкая барыня») и дополнительно 25 рублей, что соответствует объему статьи «По поводу одной драмы».

Примечание-возражение к статье было вызвано несогласием редакции с отзывом ее автора о пушкинской Татьяне: «Ведь вот, хотя бы всё та же *Татьяна*, положим даже изукрашенная: неужели вы думаете, этот образ не имеет громадного значения в истории нашей русской женщины» (*Вр*, 1861, № 5, стр. 41). Впоследствии Ф. М. Достоевский сжатую характеристику героини «Евгения Онегина» в данном редакционном примечании развернет в глубокий психологический этюд в Пушкинской речи (1880 г.).

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ П. А. КУСКОВА «ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА»

(Стр. 213)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 5, отд. V, стр. 11, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 4 мая 1861).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 571.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья, к которой относится примечание редакции, анонимная. Имя ее автора устанавливается на основании прямой отсылки в тексте статьи к предыдущему фельетону П. А. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов»: «И со всяким из нас ежеминутно повторяется история разбойника, рассказанная мной в прошлом месяце» (*Вр*, 1861, № 5, стр. 9). Имеется в виду автобиографический эпизод в апрельском фельетоне П. А. Кускова (см.: *Вр*, 1861, № 4, стр. 131—148), которому и принадлежат обе статьи.

В статье «Вместо фельетона» разбирается принадлежащий Н. Ф. Щербине проект «Читальника» для народа. Ф. М. Достоевский не только выполнил обещание редакции вернуться к разбору статьи Щербины в «Книжности и грамотности», но и воспользовался в ней некоторыми полемическими тезисами П. А. Кускова, развив и заострив их (см.: выше, стр. 235—236, 250—251). Таким образом, есть веские основания считать именно его и автором данного примечания.

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 5, на задней странице обложки журнала (ценз. разр. — 4 мая 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 571. Печатается по тексту первой публикации.

Я. П. Полонский предпринял в «Свежем предании» попытку создать на материале своих юношеских московских воспоминаний роман в стихах, продолжающий жанровую традицию «Евгения Онегина». Главный герой «Свежего предания» (Жамков, прототипом которого был друг Беллинского поэт И. П. Ключников (1811—1895)) окружен авторским сочувствием и задуман как герой «прошедшего времени», идеалист эпохи 1830—1840 гг., полемически противопоставленный современному поколению. Судя по письму А. С. Суворина к М. Ф. де Пуле от 17 июля 1861 г., были такие петербургские читатели, которые ставили роман Полонского «на одну доску с „Онегиным“ Пушкина. . .» (*ЛН*, т. 86, стр. 382).

Объявление редакции, предваряющее публикацию незаконченного романа в стихах Полонского (*Вр*, 1861, № 6, и 10, 1862, № 1) и, вероятно, судя по его энергичному тону, написанное Ф. М. Достоевским, отражает общее мнение о романе братьев Достоевских — еще в большей степени — Н. Н. Страхова, как это явствует из письма Ф. М. Достоевского к Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 г.: «3 главы наши вышли еще в июне и произвели сильное разнообразное впечатление < . . . > В публике отзывы (как я слышал) различные, но что хорошо, что ценители делятся довольно резко на две стороны: или бранят, или очень хвалят — а это самое лучшее: значит, не пахнет золотой серединой, черт ее возьми! Иные в восторге, хвалят очень и ужасно бранятся, что нет продолжения < . . . > Друг Страхов заучил все эти три ваши главы наизусть, ужасно любит цитовать из них, и мы, собравшись иногда вместе, кстати или некстати, приплетаем иногда к разговору ваши стихи».

Ф. М. Достоевский возлагал большие надежды на роман Полонского, настаивал на скорейшем печатании следующих глав, о содержании которых, как очевидно из того же письма к поэту, он знал от самого Полонского: «. . . я знаю, какое у вас дальше в романе развитие. Сильно подействует и поставит перед публикой роман самостоятельно и крепко». О личных и литературных отношениях Ф. М. Достоевского и Я. П. Полонского см.: Из архива Достоевского. Письма русских писателей. ГИЗ, М.—Пгр., 1923, стр. 62—88; примеч. А. С. Долинина к изданию: *Д, Письма* (по указателю).

Однако уже вскоре энтузиазм редакции по отношению к «Свежему преданию» уменьшился, чему сильно способствовал резкий и язвительный разбор первых трех глав романа А. А. Григорьевым в письме к Н. Н. Страхову от 12 августа 1861 г.: «Роман Полонского произвел на меня — приятное впечатление, — но только приятное, и это скверно. Во-первых, это не роман, а рассказ, повесть < . . . > Роман в стихах, чтобы быть романом, должен быть картиною целой эпохи, картиною типической. Ни в герое, ни в круге жизни «Свежего предания» нет типического захвата < . . . > Мелок захват, от этого всё вышло мелко: и Москва мелка, да и веяния могучей мысли эпохи схвачены мелко. < . . . > я думаю, что Полонский никогда не знал Москвы, народной, сердцевинной Москвы, — ибо (передние, или же всё равно) салоны разных бар — это не жизнь, а мираж: а он в них только и жил» (*Григорьев, Воспоминания*, стр. 452—453). Не согласился А. Григорьев и с объявлением редакции журнала: «Ты найдешь мой взгляд, может быть, слишком строгим — но ведь вспомни, что „Время“ заявило об этом манкированном кузнечике как о *событии*» (там же, стр. 457). Публикация следующих глав стихотворного романа Полонского вызвала уничижительный отзыв А. А. Григорьева в письме к Н. Н. Страхову от 12 декабря 1861 г.: «. . . что за *пустошь* роман

Полонского? Для меня просто каким-то внутренним *голодом* веет от этих прекрасных стихов. Потому (тупоумным от природы людям) не следует приниматься за картины *исторические* (в широком смысле этого понятия). . .» (там же, стр. 479). Страхов позднее вынужден был признать правоту Григорьева: «Прав был Григорьев, говоря, что роман Полонского „Свежее предание“ не составляет события в русской литературе. . .» (там же, стр. 487—488). Я. П. Полонский был сильно обижен критикой А. Григорьева на «Свежее предание» и пространно возражал ему в письме к Н. Н. Страхову от 9 декабря 1864 г. (см.: *ЛН*, т. 86, стр. 400—402).

Петербургская журналистка иронически комментировала слова объявления о романе Полонского — «одно из замечательнейших произведений нашей текущей поэтической литературы». Несколько язвительных страниц посвятил роману Полонского Д. И. Минаев в «Дневнике темного человека» (*РСЛ*, 1861, № 7, стр. 16—22). Задел Минаев и объявление редакции, закончив фельетонный разбор произведения ироническим резюме: «. . . решительно *новое слово* в русской поэзии» (там же, стр. 19).

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ «ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ»

(Стр. 213)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 7, отд. I, стр. 173, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 3 июля 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 571.

Печатается по тексту первой публикации.

Куно Фишер (Kuno Fischer; 1824—1907) — немецкий историк философии, его основной труд «Geschichte der neueren Philosophie» («История новой философии», тт. 1—6, 1852—1877). Четыре тома этого труда в русском переводе вышли под редакцией и в частичном переводе Н. Н. Стрехова (СПб., 1862—1865). «Время» в 1861 г. (№ 9, стр. 117—141) опубликовало еще одну главу из «Истории новой философии» в переводе Стрехова — «Учение Спинозы о боге».

Поскольку отрывок из первого тома «Истории новой философии» К. Фишера был переведен Стреховым и, несомненно, им же предложен для публикации в журнале, не исключена возможность, что и данный сопроводительный текст к публикации был написан им, а не Ф. М. или М. М. Достоевскими.

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. Н. СТРЕХОВА «НЕЧТО О ПОЛЕМИКЕ»

(Стр. 213)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 8, отд. II, стр. 138, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 23 августа 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 571.

Печатается по тексту первой публикации.

Редакционное примечание вызвано следующим местом статьи Стрехова: «Монополисты денежные наживаются злоупотреблениями; монополисты литературные от злоупотреблений банкротятся. Каждое несправедливое слово ложится не только на того, о ком сказано, но и на того, кто сказал его. Каждая минута требует отчета у монополистов, и если они дурно употребляли

свой капитал — авторитет, то настанет время, когда у них не будет ни копейки» (*Вр*, 1861, № 8, стр. 138).

Ф. М. Достоевскому принадлежат в статье Страхова, по свидетельству последнего, отдельные небольшие вставки, одну из которых критик привел в своих «Воспоминаниях». Это делает вероятным, что и данное примечание сделано им же.

«ПРИМЕЧАНИЕ К РАССКАЗАМ В. ДЕ ГАСПАРЕН «ГОЛУБЯТНЯ»
И «БЕДНЫЙ МАЛЬЧИК»»

(Стр. 213)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 10, отд. I, стр. 435, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 17 октября 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 572.

Печатается по тексту первой публикации.

Примечание, судя по стилю и противопоставлению автором «католицизма» и «евангельского учения» принадлежащее скорее всего Ф. М. Достоевскому, сопровождало публикацию в журнале двух рассказов французской писательницы графини В. Гаспарен (comtesse Valérie Boissier de Gasparin; 1813—1894) — «Голубятня» («Un Pigeonnier») и «Бедный мальчик» («Un Pauvre Garçon») из книги «Les Horizons Prochains» (1859), Достоевский имеет в виду третье издание 1860 г., экземпляр которого в составе библиотеки Н. Н. Страхова поступил, как установил Б. В. Томашевский, в библиотеку Ленинградского университета. Перевод был выполнен постоянной переводчицей журнала Ю. П. Померанцевой. «Les Horizons Prochains» — самое известное произведение протестантской (а не католической, как ошибочно утверждается в редакционном примечании) писательницы; последующие книги Гаспарен чаще всего подписывала «Par l'auteur des Horizons Prochains».

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ П. А. БИБИКОВА «ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОЙНЫ»»

(Стр. 214)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 12, отд. I, стр. 412, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 28 декабря 1861 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 572.

Печатается по тексту первой публикации.

Статья постоянного сотрудника «Времени», публициста и переводчика П. А. Бибикова (1832—1875) представляет изложение содержания только что вышедшей новой книги знаменитого французского экономиста и социолога П.-Ж. Прудона (1809—1865) «Война и мир» («La Guerre et le Paix», 1861). Подробно об этой книге и о восприятии ее в России см.: наст. изд., т. IX, стр. 444—445. Парадоксальные мысли крайне противоречивой книги Прудона найдут отклик в романе «Идиот» (там же, стр. 245) и будут сложно преломлены Достоевским в «Дневнике писателя» за 1876 г. (апрель, гл. II, подглавка 2, «Парадоксалист») и 1877 г. (апрель, гл. I, подглавка 3, «Спасает ли пролитая кровь?»). Достоевский называет прямо имя Прудона в набросках к «Дневнику писателя» за 1877 г.: «Война, Прудон, человечество не хочет войны, и, однако же, каждое 25-летие (буржуа, хочет мира, работники. Чело-

вечество так дурно устроено, что не может не *поддерживать* свое дурное зданье мечом). Великодушные в войне, в мире — жестоко́сть».

Интерес к произведениям Прудона, возникший у Достоевского еще в 1840-е годы (см. наст. изд., т. XVIII, стр. 355), оставался неизменным и в дальнейшем. Помимо упомянутой книги «Война и мир», Достоевский, по-видимому, знал если не в подлиннике, то по журнальным отзывам и изложениям, другие сочинения французского анархиста: «Систему экономических противоречий, или Философию нищеты» («Système des Contradictions économiques ou la Philosophie de la misère», 1846) и «Социальную революцию, выявленную государственным переворотом 2 декабря» («La révolution sociale démontrée par le coup d'Etat du 2 Décembre», 1852). Об уважительном отношении Достоевского к таланту Прудона свидетельствуют слова из записной книжки 1860—1862 гг.: «Молодежь горячо, с чувством, с сердцем бросается за крайними вождями, она им верит. Наши Прудоны, дескать. Увы! чтоб быть Прудоном, много надо иметь».

«ПРИМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Н. С. ЛЕСКОВА «О РУССКОМ РАССЕЛЕНИИ
И О ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ»

(Стр. 214)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 12, отд. IV, стр. 72, с подписью: Ред. (ценз. разр. — 28 декабря 1861 г.)

В собрание сочинений впервые включено в издании: 1926, т. XIII, стр. 572.

Печатается по тексту первой публикации.

Фразеологическое совпадение с примечанием к помещенной в том же номере статье Биби́кова (отд. I, стр. 412) делает вероятным, что оба примечания написаны одним лицом, которым равно мог быть как Ф. М., так и М. М. Достоевский.

Статья Н. С. Лескова — первая публикация произведения писателя в журналах братьев Достоевских. О личных и литературных отношениях Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова и об участии последнего в журналах «Время» и «Эпоха» см.: *Лесков*, т. 10, стр. 251—257 (письма Лескова к М. М. и Ф. М. Достоевским); примеч. А. С. Долинкина к изданию: *Д, Письма* (по указателю); В. В. Виноградов. Достоевский и Лесков в 70-е гг. В кн.: В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. Гослитиздат, М., 1961, стр. 487—556; Е. М. Пульхритудова. Достоевский и Лесков. В кн.: *Достоевский и русские писатели*, стр. 87—138. Проблема, которую Лесков поднимал в статье, редакция «Времени» придавала исключительно большое значение, о чем говорит данное примечание. Ранее на ту же тему в журнале была опубликована статья М. И. Венюкова (1832—1901) «Вопрос о колонизации» (*Вр*, 1861, № 9, стр. 1—17).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Места хранения рукописей

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

Печатные источники

- Антонович** — М. А. Антонович. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М.—Л., 1961.
- Барсуков** — Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Тт. I—XXII. СПб., 1880—1910.
- БдЧт** — «Библиотека для чтения» (журнал).
- Белинский** — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
- Бем** — А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Изд. «Петрополис», Прага, 1936.
- Библиотека** — Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919.
- Биография** — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I).
- Блок** — А. А. Блок. Собрание сочинений, тт. I—VIII. Гослитиздат, М.—Л., 1960—1963.
- Вольф, Хроника** — <А. И. Вольф>. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1881 года, чч. I—III. СПб., 1877—1884.
- Вр** — «Время» (журнал).
- Герцен** — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1954—1966.
- Гоголь** — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.
- Григорьев, Воспоминания** — А. А. Григорьев. Воспоминания. Изд. «Academica», М.—Л., 1930.
- Д** — «День» (газета).
- ДБ** — «Домашняя беседа» (журнал).
- Добролюбов** — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Гослитиздат, М.—Л., 1961—1964.
- Достоевская А. Г., Воспоминания** — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
- Достоевский в воспоминаниях** — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, тт. 1—2. Гослитиздат, М., 1964.
- Достоевский и его время** — Достоевский и его время. Под ред. В. Г. Базанова и Г. М. Фридляндера. Изд. «Наука», Л., 1974.

- Достоевский и русские писатели* — Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. Изд. «Советский писатель», М., 1971.
- ДП* — «Дневник писателя».
- Д, Письма* — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долпина. ГИЗ—«Academia»—Гослитиздат, Л.—М., 1928—1959.
- Дружинин* — А. В. Дружинин. Собрание сочинений, тт. I—VIII. СПб., 1865—1867.
- ЖМНП* — «Журнал министерства народного просвещения»
- И* — «Искра» (журнал).
- ИВ* — «Исторический вестник» (журнал).
- Илл* — «Иллюстрация» (журнал).
- Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы* — В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. Изд. «Художественная литература», М., 1966.
- Кирпотин, Достоевский-художник* — В. Я. Кирпотин. Достоевский-художник. Изд. «Советский писатель», М., 1960.
- Лесков* — Н. С. Лесков. Собрание сочинений, тт. 1—11. Гослитиздат, Л., 1956—1958.
- ЛН* — «Литературное наследство», тт. 1—89. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1931—1977. Издание продолжается.
- Материалы и исследования* — Достоевский. Материалы и исследования. 1—3. Изд. «Наука», Л., 1974, 1975, 1978.
- МВ* — «Московский вестник» (газета).
- МВед* — «Московские ведомости» (газета).
- Милневич* — Вл. Милневич. Петербург весь на ладони. СПб., 1874.
- НВр* — «Новое время» (газета).
- Некрасов* — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. Гослитиздат, М., 1948—1953.
- Нечаева, «Время»* — В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972.
- О Достоевском* — О Достоевском. Сборник статей, I—IV. Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929—1936.
- ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).
- Описание* — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центр. гос. архив литературы и искусства СССР—Институт русской литературы АН СССР).
- Писарев* — Д. И. Писарев. Сочинения, тт. I—IV. Гослитиздат, М., 1955—1956.
- Пушкин* — Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVII. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1959.
- РБ* — «Русская беседа» (журнал).
- РВ* — «Русский вестник» (журнал).
- РИ* — «Русский инвалид» (газета).
- РЛ* — «Русская литература» (журнал).
- РМ* — «Русская мысль» (журнал).
- РСл* — «Русское слово» (журнал).
- С* — «Современник» (журнал).
- Салтыков-Щедрин* — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, тт. I—XX. Изд. «Художественная литература», М., 1965—1978.
- СВ* — «Светоч» (журнал).
- СЛ* — «Современная летопись» (журнал).
- СО* — «Сын отечества» (журнал).
- СП* — «Северная пчела» (газета).
- СПбВед* — «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
- Тургенев, Письма* — М. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, тт. I—XIII. Изд. АН СССР—«Наука», М.—Л., 1961—1968.

- Тургенев, Сочинения* — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, тт. I—XV. Изд. АН СССР «Наука» — М.—Л., 1960—1968.
- Фельетоны* — Фельетоны сороковых годов. Изд. «Academia», М.—Л., 1930.
- Фридендер* — Г. М. Фридендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
- Фридендер, У истоков почвенничества* — Г. М. Фридендер. У истоков почвенничества (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»). «Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1971, № 5, стр. 411—416.
- Фридендер, Эстетика Достоевского* — Г. М. Фридендер. Эстетика Достоевского. В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. Изд. «Художественная литература», М., 1972, стр. 97—164.
- Чернышевский* — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
- Щербина* — Н. Ф. Щербина. Опыт о книге для народа. — *ОЗ*, 1861, № 2, стр. 279—301.
- Э* — «Эпоха» (журнал).
- 1883* — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. СПб., 1882—1883.
- 1918* — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XXIII. Изд. «Просвещение», Пб., 1911—1918.
- 1926* — Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, тт. I—XIII. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Госиздат, М.—Л., 1926—1930.
- Schoultz* — Oscar von Schoultz. Ein Dostojewskij-Fund. Commentationes humanarum litterarum. Societas scientiarum Fennica, 1—4, Helsingfors, 1924.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Текст	Примечания
Ряд статей о русской литературе	5	230
III. Книжность и грамотность. Статья первая . . .	5	230
IV. Книжность и грамотность. Статья вторая . . .	21	—
V. Последние литературные явления. Газета «День»	57	253
Петербургские сновидения в стихах и прозе	67	262
«Предисловие к публикации «Заключение и чудесное бегство Жака Казановы из венецианских темниц (пломб). (Эпизод из его мемуаров)»	86	279
«Предисловие к публикации: «Три рассказа Эдгара Поэ»»	88	281
«Примечание к статье «Процесс Ласенера»»	89	284
«Приписка к статье Н. Н. Страхова «Нечто о Шиллере»»	90	286
Образцы чистосердечия	91	292
«Свисток» и «Русский вестник»	105	295
«Примечание к «Письму с Васильевского острова в редакцию „Времени“» Л. К.»	117	298
Ответ «Русскому вестнику»	119	300
«Вставка в статью Н. Н. Страхова «Нечто о полемике»»	139	309
Литературная истерика	140	309
«Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год»»	147	312
Выставка в Академии художеств за 1860—61 год	151	314
По поводу элегической заметки «Русского вестника»	169	330
Рассказы Н. В. Успенского	178	334
Приложение I		
Ряд статей о русской литературе. Вопрос об университетах	187	337
Приложение II		
Редакционные заметки и примечания из журнала «Время»	211	346
«Объявление об историческом очерке М. И. Семейского «Царица Прасковья»»	211	346
«Примечание к статье А. А. Григорьева «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности (из заметок ненужного человека)»»	211	347
«Примечание к роману Э. Гаскелл «Мери Бартон»»	211	347
«Примечание к статье Н. Н. Страхова «Нечто о петербургских журналах»»	212	348

«Примечание к статье «Мадам Лафарж (из уголовных дел Франции)»	212	348
«Примечание к «Повести об одном сумасшедшем поэте» П. А. Кускова	212	349
«Примечание к статье «По поводу одной драмы»	212	349
«Примечание к статье П. А. Кускова «Вместо фельетона»	213	350
«Объявление о романе в стихах Я. П. Полонского «Свежее преданье»	213	351
«Примечание к статье «Главные черты истории философии»	213	352
«Примечание к статье Н. Н. Страхова «Нечто о полемике»	213	352
«Примечание к рассказам В. де Гаспарен «Голубятня» и «Бедный мальчик»	213	353
«Примечание к статье П. А. Бибикова «Феноменология войны»	214	353
«Примечание к статье Н. С. Лескова «О русском расселении и о политико-экономическом комитете»	214	354

Другие редакции

Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год. Черновые наброски (ЧН)	215
Варианты	219
Примечания	228
Список условных сокращений	355

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Редакционная коллегия:
В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор),
В. В. ВИНОГРАДОВ, Ф. Я. ПРИЙМА,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР (заместитель главного редактора),
М. Б. ХРАПЧЕНКО

Текст подготовили и примечания составили
А. И. БАТЮТО, Т. И. ОРНАТСКАЯ, Г. В. СТЕПАНОВА,
В. А. ТУНИМАНОВ, М. А. ТУРЬЯН, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР,
Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ, И. Д. ЯКУБОВИЧ

Редактор XIX тома Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том XIX

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*
Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *О. И. Буркова*, *З. В. Гришина* и *А. И. Кац*

Сдано в набор 11.09.78. Подписано к печати 11.04.79. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 22,5 + 1 вкл. (1/8 печ. л.) = 22,62 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,39. Тираж 55000. Изд. № 6405. Тип. зак. 779.
Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12